

Дорога в Мекку

Мухаммад Асад (Леопольд Вайс)

Моей жене

ПОЛЕ ХАМИДА,

которая через свои замечания и советы вложила столько своего мудрого сердца в эту книгу, что ее имя должно бы было быть начертано на заглавной странице наряду с моим.

Дорога в Мекку

Мухаммад Асад (Леопольд Вайс)

<http://tomecca.ruslim.org>
<https://inuritdino.github.io/TheRoadToMecca>

От переводчиков

На этих страницах мы восполняем пробел русскоязычного литературного пространства переводом книги «Дорога в Мекку» австрийского журналиста, путешественника, политического и общественного деятеля еврейского происхождения Мухаммада Асада. Книга «Дорога в Мекку» была переведена на множество языков, однако перевод на русский язык долгое время не был доступен.

Книга повествует о путешествиях европейца, Мухаммада Асада (урожденного Леопольда Вайса), по Ближнему Востоку, его сближении с народами Востока и их культурой, в особенности с бедуинами Аравии, его принятии Ислама и в конечном итоге превращении в человека «между двумя мирами» — Востоком и Западом. Все притязания последующей жизни Мухаммада Асада — в качестве «своего» среди бедуинов Аравии, специального советника и агента короля Сауда, участника движения Ливии по освобождению от итальянской оккупации, соучастника в становлении независимого государства Пакистан и написании его конституции, делегата в Организации Объединенных Наций от Пакистана, общественного деятеля, автора уникального перевода Корана и автобиографического бестселлера «Дорога в Мекку» — направлены на наведение мостов и укрепление взаимопонимания между двумя мирами, которые, как кажется на первый взгляд, в корне противоположны друг другу по мировоззрению, но которые, на самом деле, имеют глубокую связь и единое культурное и историческое наследие. Последнее подтверждается

деятельностью выдающихся людей, в числе которых и сам Мухаммад Асад, но не выкриками с базарных площадей, экранов телевизоров и прочих узколобых, праздных, националистических источников.

«Весьма уникальная и впечатляющая книга, полностью возвышающаяся над обыденностью своей беспристрастностью и здравомыслием», — Нью-Йорк пост.

«Энергичная книга с великолепными описаниями приключений, толкование внутреннего смысла арабской и мусульманской жизни, которое будет полезно для каждого, кто хотел бы более точно понять арабов и их землю», — Крисчен Сайенс Монитор.

«[„Дорога в Мекку“] сочетает в себе приключение и живописность настоящей книги о путешествиях, необычайно содержательные заметки о ближневосточных делах и глубокомысленный рассказ об открытии собственного смысла жизни», — Клуб «Книга Месяца», Нью-Йорк.

<http://tomecca.ruslim.org>
<https://inuritdino.github.io/TheRoadToMecca>

О переводе

Перевод выполнен участниками проекта [Ruslim.Org](http://tomecca.ruslim.org), целью которого является укрепление мира и взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур посредством активной интеллектуальной и просветительской деятельности.

Авторы перевода *не* являются профессиональными переводчиками, но имеют многолетний опыт жизни и редакторской работы в англоговорящей среде, а также являются носителями русского языка. Главный переводчик: Илья Потапов. Помощник редактора: Амна Абу Хамидах.

Иллюстрации (фотографии) к книге не воспроизводились в данном переводе. Список фотографий:

- Зейд
- Амир (нынче король) Файзал, 1927
- Король Абд аль-Азиз ибн Сауд
- Амир (позже король) Абдулла Иорданский
- Автор и северо-аравийский амир
- Амир (позже король) Сауд
- Мансур
- Риза Хан (позже шах) Иранский
- Великий Сануси
- Эльза и ее сын
- Автор, 1932

Оригинальное название книги — «The Road to Mecca» (Muhammad Asad); впервые опубликована Simon & Schuster,

Inc., New York, 1954; четвертое дополненное издание Dar al-Andalus 1980 (ограниченный тираж); переиздания 1981, 1985, 1993. Данный перевод выполнен на основе переиздания Fons Vitae Publishing и The Book Foundation 2000, 2005.

ISBN: 1-887752-37-4

Library of Congress Card Number: 00-109390

© 1980, Pola Hamida Asad

<http://tomecca.ruslim.org>
<https://inuritdino.github.io/TheRoadToMecca>

Моей жене

ПОЛЕ ХАМИДА,

которая через свои замечания и советы вложила столько своего
мудрого сердца в эту книгу, что ее имя должно бы было быть
начертано на заглавной странице наряду с моим.

Глоссарий

арабских и персидских терминов

Написание было сохранено как можно ближе к оригинальному произношению, избегая в то же самое время всех знаков и символов, которые бы неоправданно смутили неискушенного читателя. Здесь не приведены термины, появляющиеся только раз в тексте и объясненные там же.

абая — широкая, шерстяная накидка, которую одевают арабы поверх всей остальной одежды.

агайл — нерегулярная армия, набираемая на добровольной основе из центральной Аравии для службы в Ираке, Сирии и Иордании.

аль — определенный артикль, используемый перед существительными и многими именами собственными. Если существительное начинается на согласную *д, н, р, с, т, з* или *л*, артикль ассимилируется со звуком, представляемым этой согласной буквой. Например, *Ад-Даушш, Аз-Зувай*.

амир — 'тот, кто имеет полномочия', то есть губернатор, правитель, командир и т. д.

бадауи (мн. *баду*) — бедуин.

бисмиллях — 'во имя Господа'.

бурнус — накидка с капюшоном, распространенная среди арабов Северной Африки и берберов.

галлябийя — длинная, наподобие рубахи, туника, используемая в Египте и некоторых других арабских странах.

дау — судно с треугольным парусом, широко распространенное в Аравийском море, Персидском заливе и (преимущественно под именем *самбук*) в Красном море.

джанаб-и-али — почетное обращение, используемое в персидскоговорящих странах.

джард — одеялоподобная шерстяная накидка, используемая в западном Египте и Ливии.

джихад — Священная Война в защиту Ислама и мусульманской свободы.

джубба — широкая, длиной до лодыжки мантия, одеваемая многими зажиточными горожанами и большинством *уляма* в Египте, Сирии, Хиджазе, Ираке, Иране и т. д.

зауия — ложа религиозного ордена или братства.

ибн — сын; перед именем собственным — 'сын такого-то'. Часто употребляется в сочетании с именем предка, что, в этом случае, означает фамилию или имя династии, например, Ибн Сауд, Ибн Рашид.

игал — повязка на голову в виде веревки, опоясывающей арабский головной платок. Обычно, *игал* сделан из простой черной шерсти, но иногда сплетен с позолоченной серебряной проволокой.

имам — 'лидер'; более специально применяется к лидеру коллективной молитвы, а также к выдающимся ученым раннего периода и лидерам общины.

инша-Аллах — 'да будет на то воля Всевышнего'.

ихван — 'братство', здесь употребляется в значении бедуинов, поселенных и организованных королем Ибн Саудом.

ихрам — белое одеяние, одеваемое мужчинами во время паломничества в Мекку.

йа — междометие, равносильно 'О', используемому в прямом обращении (например, *йа сиди* — 'О, мой господин', *йа Аллах* — 'О Господи').

кади — судья.

кафтан — длинное облегающее платье, одеваемое повсюду на Ближнем Востоке под *джуббу* или *абая*.

кахва — кофе; в арабских странах также применяется к кофейням и гостиним.

куфия — арабский мужской головной платок.

муаззин — глашатай времени молитвы.

магреб — закат солнца.

мархаба — приветствие.

муджахид (мн. *муджахидин*) — тот, кто сражается в *джихаде*.

наргиле — сложная курительная трубка для табака, в которой дым фильтруется через воду; в некоторых странах она также называется «хука».

раджаджил — солдаты, обычно телохранители короля или амира.

риял — основная серебряная монета в нескольких ближневосточных странах.

сайид — букв. 'господин'; часто употребляется для обозначения потомков Пророка.

сиди — разговорный вариант *сайиди*, то есть 'мой господин'; почетное выражение, особенно популярное в Северной Африке.

сура — отдел, или глава, Корана, который разделен на 114 *сур*.

тарбуш — красная шляпа без полей, одеваемая мужчинами повсюду в Леванте.

уляма — ученые или чрезвычайно образованные люди; особенно применяется к религиозным деятелям, но зачастую также используется по отношению к эрудированным людям других областей знания.

уади — речная долина или пересохшее речное русло.

фаранжи (персидская форма — *фаранги*) — европеец.

феллах (мн. *феллахин*) — крестьянин или фермер.

хадж — паломничество в Мекку, одно из обязательств, предписанных каждому мусульманину, мужчине или женщине, который в состоянии его выполнить (физически, материально и т. д.).

хаджи — тот, кто совершает либо совершил паломничество в Мекку; часто используется как почетное звание.

хазрат — букв. 'присутствие'; обращение к человеку, приблизительно означающее 'Ваша честь'.

халифа — букв. 'последователь' или 'наместник'; обычно обозначает главу мусульманской общины («Халиф»).

хан — исходно титул монгольского принца или господина; ныне широко используется как почетное имя в Иране, Афганистане и т. д.

харам — 'храм', особенно Священные Мечети Мекки, Медины и Иерусалима. (Не путать с *хараам*, что означает 'запретное религией'.)

шариф — то же, что и *сайид*. В частности, применяется к определенным мусульманским правящим династиям; в этой книге — к королю Хусейну, который правил Хиджазом с 1916 по 1924 годы, и его потомкам, настоящим правящим династиям Ирака и Иордании.

шейх — букв. 'старец'; уважительное звание, широко используемое для обращения к племенным лидерам и знатым лицам, а также (в арабоговорящих странах) к ученым.

шуйух — мн. от *шейх* (с оттенком величественности); имя, применяемое в центральной Аравии к королю и иногда к его самым выдающимся *амирам*.

<http://tomecca.ruslim.org>
<https://inuritdino.github.io/TheRoadToMecca>

История одного рассказа

Рассказ, который я собираюсь поведать в этой книге, не является автобиографией человека, известного своей публичной деятельностью; не является он и повествованием о приключениях: хотя и многие необыкновенные приключения случались со мной, они никогда не были более чем простым сопровождением того, что происходило во мне; это даже не рассказ об умышленном поиске веры, так как эта вера пришла ко мне с годами безо всякого приложения усилий на ее поиск с моей стороны. Мой рассказ — простая история открытия Ислама европейцем и его жизни в мусульманском обществе.

Я никогда не думал о написании его, так как я никогда не подозревал, что моя жизнь может представлять особый интерес для кого-либо, помимо меня самого. Однако, когда после двадцатипятилетнего отсутствия на западе я посетил Париж и затем Нью Йорк в начале 1952 года, я был вынужден изменить свое мнение. Работая уполномоченным представителем Пакистана в ООН, я был естественным образом в самой гуще общественных дел и встретил огромный интерес к своей персоне со стороны моих европейских и американских друзей и знакомых. Сначала они думали, что мой случай из тех, в которых восточное государство нанимает европейского «эксперта» для определенной цели, и что я без труда вник в интересы государства, которое представляю; но, когда моя деятельность на заседаниях ООН выявила то, что я ассоциировал себя не просто «механически», но и эмоционально, и интеллектуально с политическими и

культурными целями всего исламского мира, они были озадачены. Все больше и больше люди расспрашивали меня о моем прошлом. Они узнали, что очень рано в своей жизни я начал работу для европейских газет и после нескольких лет постоянных путешествий по Ближнему Востоку стал мусульманином в 1926 году; что после моего принятия Ислама я жил почти шесть лет в Аравии и имел дружбу с королем Ибн Саудом; что после того, как я покинул Аравию, я поехал в Индию и встретил там великого мусульманского поэта-философа и духовного лидера пакистанской идеи Мухаммада Икбала. Именно он вскоре уговорил меня оставить свои планы дальнейших путешествий в Восточный Туркестан, Китай и Индонезию и остаться в Индии для разработки интеллектуальных основ будущего исламского государства, которое тогда было разве что мечтой в воображении дальновидного Икбала. Для меня, как и для него, эта мечта представляла собой путь, и, по сути, единственный путь, к пробуждению всех дремлющих надежд Ислама — созданию политического единения людей, связанных не общей родословной, но приверженностью единому мировоззрению. Я посвятил годы этой идее, изучая, составляя книги и читая лекции, и со временем получил репутацию толкователя исламского закона и культуры. Когда Пакистан был образован в 1947 году, правительство обязало меня организовать и руководить Отделением Восстановления Религии, в компетенцию которого входила разработка доктринальных и религиозных основ государственности и общества, которые могли бы служить фундаментом для только что родившегося политического образования. После двух лет этой весьма трудоемкой работы я перешел в дипломатическую службу Пакистана и был назначен главой ближневосточного отделения при Министерстве Иностранных Дел, где я посвятил себя усилению связей между Пакистаном и остальными странами мусульманского мира; и в надлежащее время я оказался в пакистанской делегации ООН в Нью Йорке.

Все, сказанное до сих пор, не является простой внешней адаптацией жителя Европы к мусульманскому обществу, в котором ему случилось жить: все это указывает на осознанную

искреннюю смену привязанности с одной культурной среды на другую, абсолютно отличающуюся от первой. И это показалось совсем странным большинству моих западных друзей. Они никак не могли представить себе, как человек западный по рождению и воспитанию мог так всецело и, судя по всему, без всяких задних мыслей и каких бы то ни было сомнений отождествлять себя с мусульманским миром, как было возможным то, что он обменял свое западное наследие на наследие Ислама, и что заставило его принять религиозное и социальное устройство, которое — и это они воспринимали как данность — было несравненно ниже всех европейских концепций.

Но почему, спрашивал я себя, мои западные друзья с такой готовностью воспринимали это как данность? Разве кто-нибудь из них действительно пытался вникнуть в религию Ислам, или их мнения были основаны на некоторых клише и искаженных понятиях, которые они унаследовали от своих прадедов? А может быть, это старый греко-римский стиль мышления, разделявший мир на греков и римлян с одной стороны и «варваров» с другой и все еще так глубоко сидевший в западном сознании, не давал им возможности, даже умозрительной, предположить самостоятельную ценность чего-либо, лежащего за сферами их культурных интересов?

Во все времена, начиная с Древней Греции и Рима, европейские мыслители и историки были предрасположены рассматривать историю мира с точки зрения и в терминах истории европейской, а также в свете культурного опыта западной цивилизации — и только. Незападные цивилизации появляются на сцене только тогда, когда их существование или внутренние перестройки имеют прямое влияние на судьбу западного человека. Таким образом, в глазах европейца история мира и множества его культурных вариаций приравнивается не более чем к расширенной истории Запада.

Естественным образом такой узкий взгляд порождает искаженное представление. Привыкший к сочинениям, которые изображают культуру и обсуждают проблемы собственной

цивилизации с чрезвычайной детализацией и в красочных тонах с поверхностными взорами, мельком, на остальной мир, средний европеец или американец легко поддается иллюзии, что культурный опыт Запада не просто выше, но не стоит ни в каком сравнении с опытом всего остального мира и, следовательно, что западное устройство жизни есть единственный законный стандарт, по которому судят другие жизненные формы, при этом подразумевается, конечно, что всякое идейное понятие, социальный институт или этическая концепция, которые идут вразрез с западной «нормой», принадлежат тем самым к низшей ступени существования. По примеру древних греков и римлян жителю Запада нравится думать, что все те «другие» цивилизации есть или были лишь многочисленными ошибочными экспериментами на пути к прогрессу, так непогрешимо преследуемому Западом, или в лучшем случае (как с цивилизациями-предшественницами, которые существовали до современного Запада и напрямую сформировали его наследие) не более чем последовательными главами в одной и той же книге, в которой, совершенно ясно, западная цивилизация является эпилогом.

Когда я растолковал эту позицию моему американскому другу, человеку значительных интеллектуальных возможностей и эрудированного ума, сначала он отнесся скептически.

— Это так, — сказал он, — древние греки и римляне *были* ограничены в своем подходе к другим цивилизациям, но не была ли эта ограниченность неизбежным результатом сложностей в коммуникации между ними и остальным миром? И разве эта трудность не преодолена в значительной степени в наше время? В конце концов, мы, западные люди, очень интересуемся нынче тем, что происходит вне наших культурных сфер. Разве ты забыл множество книг по восточному искусству и философии, которые были опубликованы в Европе и Америке за последние четверть века... о политических идеях, которые занимают умы восточных народов? Очевидно, довольно сложно недооценивать это желание представителей Запада понять то, что могут предложить другие культуры.

— В какой-то степени ты, может быть, прав, — ответил я. — Сегодня нет особых сомнений в том, что примитивный греко-римский взгляд на мир больше не существует. Грубость такого понимания была значительно смягчена по крайней мере из-за того, что более зрелые западные мыслители потеряли веру в свое культурное наследие, став скептически относиться ко многим его аспектам, и нынче начали искать культурного озарения в других частях света. Во многих из них забрезжил свет понимания того, что, возможно, существует не только одна книга и одна история человеческого прогресса, но многие: просто потому, что человечество в историческом смысле не однородная сущность, но скорее разнообразие групп с различными подходами к пониманию смысла и назначения жизни. Однако я не чувствую, что Запад стал менее заносчивым в подходе к инородным культурам, чем были когда-то греки и римляне. Он стал лишь более толерантным. Подумать хотя бы не об Исламе, но об определенных восточных культурах, духовные стороны которых притягивают духовноизголодавшийся Запад и которые в то же время являются очень далекими от западного мировоззрения, чтобы создать реальную угрозу его ценностям.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Когда западный человек обсуждает, скажем, индуизм или буддизм, — ответил я, — он всегда осознанно подходит к фундаментальным различиям между этими идеологиями и своей собственной. Он может восхищаться теми или иными их представлениями, но не может и помыслить возможности заменить этими представлениями свои собственные. Так как он априори понимает эту невозможность, он в состоянии рассматривать данные чуждые ему культуры спокойно и часто с сочувственным пониманием. Но, когда дело касается Ислама, который никоим образом не является чуждым западным ценностям, как индийская и буддистская философии, эмоциональное пристрастие почти без исключений нарушает эту невозмутимость западного человека. А может, спрашиваю я порой, это происходит *оттого*, что ценности Ислама достаточно близки ценностям Запада, чтобы создать

потенциальную угрозу многим западным концепциям духовной и общественной жизни?

И я начал рассказывать ему о теории, мысль о которой возникла у меня несколько лет назад, — теории, которая, возможно, поможет лучше понять глубоко укоренившиеся предубеждения против Ислама, так часто встречающиеся в западной литературе и современных учениях.

— Чтобы найти действительно убедительное объяснение такой предвзятости, — сказал я, — необходимо взглянуть далеко назад в историю и попытаться понять психологическую атмосферу самых ранних взаимоотношений между западным и мусульманским мирами. То, что западный человек думает и чувствует по отношению к Исламу сегодня, уходит своими корнями во впечатления, родившиеся во времена крестовых походов.

— Крестовых походов! — воскликнул мой друг. — Ты же не хочешь сказать, что то, что произошло почти тысячу лет назад, все еще может иметь влияние на людей двадцатого века?

— Как раз имеет! Я знаю, что это звучит немыслимо, но разве ты не помнишь всю неправдоподобность, с которой были восприняты ранние открытия психоаналитиков, когда они пытались показать, что многое из эмоциональной жизни взрослого человека (и большинство тех кажущихся незаметными склонностей, вкусов и пристрастий, именуемых «идиосинкразиями») может быть отнесено к опыту его раннего детства, периода наиболее активного развития? Ну а разве народы и цивилизации не являются ничем иным, как общественными индивидуумами? Их развитие непременно связано с опытом их раннего детства. Так же как и с детьми, этот опыт может быть приятным или неприятным, он может быть абсолютно рациональным или, в противовес, сформированным в результате детского наивного недопонимания события; формирующий эффект каждого такого опыта в отдельности будет зависеть в первую очередь от интенсивности первичного восприятия. Сто лет непосредственно до крестовых походов, то

есть конец первого тысячелетия христианской эры, могут быть вполне охарактеризованы как раннее детство западной цивилизации...

И я напомнил моему другу, который сам является историком, что это было время, когда впервые после Темных Веков, последовавших за распадом Римской Империи, Европа начала видеть свое собственное культурное направление. Независимо от почти забытого римского наследия, в это время начала появляться на свет литература нового периода на языках и диалектах местных народностей; вдохновленное религиозным опытом западного Христианства изобразительное искусство медленно пробуждалось после летаргического сна, вызванного несущими войны переселениями готов, гуннов и аваров; из грубых условий раннего Средневековья появлялся новый культурный мир. Именно на этой критической, чрезвычайно чувствительной фазе своего развития Европа получила самый огромный шок, выражаясь современным языком «травму», в виде крестовых походов.

Крестовые походы оставили самый сильный отпечаток на цивилизации, которая только что начала сознавать себя. В терминах истории они представляли собой самую раннюю и абсолютно успешную попытку Европы увидеть себя в свете культурного единства. Ничто из опыта Европы, предшествовавшего или последовавшего после, не могло сравниться с энтузиазмом, порожденным первым крестовым походом. Волна возбуждения пронеслась по континенту — эйфория, которая впервые переступила барьеры между государствами, племенами и классами. До этого были франки, саксонцы и германцы, бургундцы и сицилийцы, норманны и ломбарды — мешанина кланов и национальностей с едва заметной общностью, за исключением того факта, что большая часть их феодальных королевств и княжеств была остатками Великой Римской Империи и что все они открыто претендовали на христианскую веру. Однако в крестовых походах и с их помощью религиозная связь была возведена на новый уровень, стала причиной для всех европейцев без исключения — политико-религиозная идея «Христианского мира», которая в

свою очередь породила культурную концепцию «Европы». Когда в своей знаменитой речи в Клермонте в ноябре 1095 года Папа Урбан II заклинал христиан начать войну против «порочной расы», которая захватила Святую Землю, он провозгласил, вероятно, не сознавая того сам, устав для всей западной цивилизации.

Травмирующий опыт крестовых походов дал Европе свое культурное сознание и единство, но тому же самому опыту было суждено впредь создавать ложные краски, в которых Ислам будет представляться европейцам. И не просто потому, что крестовые походы подразумевали войну и кровопролитие: войны между нациями и до этого велись в большом количестве и в последующем забывались, и существовало довольно много вражды, которая в свое время казалась неискоренимой и которая позже оборачивалась взаимной дружбой; но урон, нанесенный крестовыми походами, не сводился к лязгу оружия: это был прежде всего интеллектуальный урон — настрой западного разума против мусульманского мира через намеренно ошибочное толкование учений и идеалов Ислама. Так как если предпосылки военно-религиозного похода христиан были верны, то Пророк мусульман с неизбежностью должен был быть клеймен как Антихрист, а его религия — изображена в самых зловещих выражениях как источник морального разложения и извращенности. Именно во времена крестовых походов вошло в западное сознание (и осталось там) нелепое понятие того, что Ислам есть религия грубых чувств и жестокого насилия, религия соблюдения ритуалов вместо очищения сердца. Именно тогда имя Пророка Мухаммада — того самого Мухаммада, который настоятельно требовал от своих последователей уважения к пророкам других религий, — было презрительно трансформировано европейцами в «Махунд». Век, когда дух независимого исследования и вопрошания мог бы воспрянуть, был все еще очень далек в тогдашней Европе, и власть имущие могли легко посеять темные семена ненависти к религии и цивилизации, которая настолько отличалась от религии и цивилизации Запада. И неслучайно то, что «Песнь о Роланде», которая описывает легендарную победу Христианского мира над мусульманскими «язычниками» в

восточной Франции, была написана не во времена тех сражений, но три века спустя, то есть сразу после первого крестового похода, чтобы незамедлительно стать своего рода «национальным гимном» Европы. И неслучайно также то, что эта воинственная поэма отмечает собой начало *европейской* литературы, то есть отличной от ранних, местных произведений литературного творчества, так как враждебность по отношению к Исламу повисла над колыбелью европейской цивилизации.

То, что злоба Запада по отношению к Исламу, уходящая глубоко в века и являющаяся религиозной по своему происхождению, все еще подсознательно сохраняется во времена, когда религия потеряла свою значимость в представлениях западного человека, может показаться насмешкой истории. Однако это не является чем-то удивительным. Мы знаем, что человек может полностью потерять свои религиозные убеждения, которыми его наделили с детства, но несмотря на это, некоторые эмоции, связанные с этими убеждениями, остаются в силе неосознанно в течение более позднего периода его жизни...

— ... и это, — подытожил я, — именно то, что случилось с той совокупной личностью под названием западная цивилизация. Тень крестовых походов витает над Западом и по сей день, и вся реакция его по отношению к Исламу и мусульманскому миру имеет четкие черты того бессмертного призрака...

Мой друг оставался безмолвным еще долгое время. Я до сих пор помню его высокую долговязую фигуру, шагающую из одного угла комнаты в другой, его руки в карманах пиджака, качание головой, как если бы он был сильно озадачен, и вдруг он промолвил:

— Возможно, в том, что ты говоришь, есть что-то... Действительно есть, хотя я и не могу судить твою «теорию» тотчас. В любом случае в свете всего вышеизложенного тобой же осознаешь ли ты, что твоя жизнь, которая тебе кажется столь обыденной и несложной, *должна* показаться странной и необычной для жителей Запада? Возможно, ты мог бы поделиться своим опытом с ними? Почему бы тебе не написать

автобиографию? Я совершенно уверен, что она будет увлекательна!

Со смехом я ответил:

— Возможно, я и последую твоему совету и оставлю дипломатическую миссию, чтобы написать такую книгу. В конце концов, писательство моя исходная профессия...

В последующие недели и месяцы мой шутливый ответ незаметно потерял свой шутливый оттенок. Я начал думать серьезно о том, как записать историю своей жизни и таким образом помочь хоть в малейшей степени приподнять тяжелую завесу, которая разделяет Ислам и связанную с ним культуру от западного мировоззрения. Мой путь к Исламу был во многом уникальным: я не стал мусульманином потому, что жил среди мусульман долгое время, напротив, я решил жить среди них, потому что принял Ислам. Разве не мог бы я, передавая свой личный опыт западному читателю, внести больший вклад во взаимопонимание между исламским и западным мирами, чем на дипломатической должности, связанные с которой обязанности могут быть с легкостью исполнены другим моим соотечественником? В конце концов, любой умный человек мог быть послом от Пакистана в ООН, а сколько человек было в состоянии разговаривать с Западом об Исламе так, как мог я? Я был мусульманином, но к тому же я был западного происхождения; следовательно, я мог бы разговаривать разумным, внятным языком и об Исламе, и о Западе...

Итак, к концу 1952 года я покинул должность в Министерстве Иностранных Дел Пакистана и начал писать эту книгу. Является ли она такой увлекательной, как предположил мой друг, я сказать не могу. Я могу лишь попытаться воссоздать из памяти с помощью всего лишь нескольких старых записей, обрывков дневников и некоторых газетных статей, которые я написал тогда, развитие сложного сюжета, который растянулся на многие годы и на огромные расстояния.

И вот она: не история всей моей жизни, но история тех лет до моего отправления в Индию из Аравии, тех захватывающих лет, проведенных в путешествиях по всем, за малыми исключениями, странам между Ливийской пустыней и снежными пиками Памира, между Босфором и Аравийским морем. Эта история рассказана в контексте и, что нужно иметь в виду, на временном срезе моего последнего путешествия из центральной Аравии в Мекку поздним летом 1932 года, так как именно тогда в эти двадцать три дня рисунок моей жизни стал полностью очевиден мне.

Аравии, иллюстрированной на этих страницах, больше не существует. Ее изоляция и целостность разрушились под сильным напором нефти и золота, которое нефть принесла с собой. Ее значительная простота исчезла и с ней многое то, что было по-человечески уникально. Я вспоминаю теперь тот последний путь с чувством боли, которую чувствуют по отношению к чему-то дорогому, но навсегда потерянному, — тот длинный марш через пустыню, и мы едем, едем, два всадника на двух верблюдах, сквозь плывущие лучи света...

<http://tomecca.ruslim.org>
<https://inuritdino.github.io/TheRoadToMecca>

I. Жажда

- 1 -

Мы едем, едем, два всадника на двух верблюдах, солнце пылает над нашими головами, все мерцает и блестит, и плывущие лучи света... Красноватые и оранжевые дюны, позади и спереди — одни только дюны; одиночество и пылающая тишина, и два всадника на двух верблюдах в раскачивающейся походке, которая усыпляет настолько, что забываешь и время, и солнце, и горячий ветер, и длинный путь. На гребнях дюн изредка встречаются пучки желтой травы, и то здесь, то там шишковатые кусты *хамд* извиваются на песке, словно гигантские змеи. Сонными стали чувства, ты трясешься в седле и с трудом осознаешь что-либо помимо хруста песка под ногами верблюда и трения боковины седла об изгиб своего колена. Твое лицо укутано в платок для защиты от солнца и ветра, и ты чувствуешь, как ты несешь свое одиночество в виде осязаемого существа через нее, прямо через нее... к колодцам Теймы... к темным колодцам Теймы, дающим воду тому, которого мучает жажда...

— ... прямо через пустыню Нуфуд в Тейму... — слышу я голос и не понимаю, из сна ли он или это мой компаньон обращается ко мне.

— Ты что-то сказал, Зейд?

— Я говорил, — отвечает мой напарник, — что немногие осмеливаются направиться через Нуфуд, чтобы просто поглядеть на колодцы Теймы...

Зейд и я возвращаемся из Каср Атаймин на границе между Ираком и Надждом, куда я направился по поручению короля Ибн Сауда. Закончив свою миссию и имея уйму свободного времени в своем распоряжении, я решил навестить отдаленный древний оазис Тейма, почти двести миль на юго-запад: Тэма из Старого Завета, о которой Исаия сказал: «Жители земли Тэма принесли воду тому, которого мучила жажда». Изобилие воды в Тейме, ее огромные колодцы, которым нет равных нигде в Аравии, сделали поселение в доисламский период большим центром караванной торговли и местом ранней арабской культуры. Я долго мечтал посмотреть на нее, и вот, несмотря на окружной караванный путь, мы направились из Каср Атаймин прямо в сердце великой пустыни Нуфуд — красный песок, который растянулся так величественно между горами центральной Аравии и Сирийской пустыней. В этой части огромной пустыни нет ни маршрутов, ни направлений. Ветер смотрит здесь за тем, чтобы ни животное, ни человек не могли оставить сохраняющийся след на мягком, пружинящем песке и чтобы ни один ориентир не выстоял долго в помощь ищущему глазу путника. Под порывами ветра дюны бесконечно сменяют свои очертания в медленном, еле заметном движении из одной формы в другую: холмы, убывающие в лощины, и лощины, вырастающие в новые холмы, отмеченные точками сухой безжизненной травы, которая едва заметно шелестит на ветру и горька на вкус даже верблюду.

Хотя я и пересекал эту пустыню множество раз и в разных направлениях, я бы не стал полагаться лишь на самого себя в поиске пути в данной местности, поэтому я рад, что со мной есть Зейд. Этот район является родным для него, так как он принадлежит к племени Шаммар, которое живет на южных и восточных рубежах Великой Нуфуд и которое, когда тяжелые зимние дожди неожиданно превращают песочные дюны в плодородные луга, вскармливает своих верблюдов в

центральной части этой пустыни в течение нескольких месяцев в году. Настроения пустыни у Зейда в крови, и его сердце бьется вместе с ними.

Зейд, возможно, имеет самые красивые черты, которые я когда-либо встречал у мужчин: широкий лоб, худощавое средних размеров тело с изящной костью, полное жилистой силы. Узкое пшеничного цвета лицо с выраженными скулами и грубым, но в то же время чувствительным ртом обладает той предполагаемой серьезностью, которая так отличает арабов пустыни, — достоинство и самообладание в сочетании с глубоким добродушием. Он является удачной комбинацией чистейшей бедуинской породы и городской жизни Наджда, сохраняя внутри себя уверенность инстинкта от бедуина при отсутствии эмоциональной нестабильности и практическую мудрость от горожанина без того, чтобы пасть жертвой суетной изысканности. Он, как и я, наслаждается приключением, не гонясь за ним. С ранней юности его жизнь была наполнена событиями и волнением: неопытный солдат нерегулярной кавалерии на верблюдах, набранной турецким правительством для своих кампаний на Синайском полуострове во время Первой мировой войны; защитник родной земли племени Шаммар против Ибн Сауда; контрабандист оружием в Персидском заливе; горячий любовник многих женщин во всех частях арабского мира (со всеми из них, конечно, он был в законном браке в одно время и так же законно разведен в другое); торговец лошадьми в Египте; наемник в Ираке; и, наконец, последние пять лет мой компаньон в Аравии.

И теперь, поздним летом 1932 года, как и много раз до этого, мы едем вместе, проделывая свой извилистый путь меж дюнами, останавливаясь то у одного, то у другого из редко расположенных источников воды и отдыхая ночью под звездами; и бесконечное *суишь-суишь* из-под верблюжьих ног, шуршащих о горячий песок; иногда, во время марша, хриплый голос Зейда, напевающий мелодию в такт ходу животных; ночные стоянки с приготовлением кофе и риса, а иногда и дичи; прохладные порывы ветра, обдувающие наши тела, в то время как мы лежим ночью на песке; красный рассвет над песчаными

дюнами, неистово разгорающийся как фейерверк; и иногда, как сегодня, чудо жизни, пробуждающейся в растении при попадании на него случайной капли воды.

Мы остановились для полуденной молитвы. Пока я мою свои руки, лицо и ноги водой из бурдюка, несколько капель воды падают на высохший пучок травы у моих ног — жалкое маленькое растение, желтое и безжизненное, высохшее под жесткими лучами солнца. Но как только капли воды упали на него, легкая дрожь пробежала по увядшим листовым пластинкам, и я увидел, как они медленно, с трепетом, раскрылись. Еще немного капель — и маленькие листочки двинулись, завились и потом распрямились медленно, нерешительно, подрагивая... Я задержал дыхание, выливая еще воды на пучок травы. Она начала двигаться еще быстрее, почти неистово, как если бы какая-то скрытая сила выталкивала ее из смертельного сна. Листья — какое наслаждение наблюдать за ними! — сократились и раскрылись, как лучи морской звезды, по-видимому переполненные робким, но неудержимым исступлением, настоящим маленьким необузданным плотским удовольствием. Так жизнь заново вошла победным маршем туда, где мгновение назад, казалось, была смерть, вошла явно, страстно и всепоглощающе, вне всякого понимания, во всем своем величии.

Жизнь в своем величии... ты всегда чувствуешь ее в пустыне, потому что ее так тяжело сохранить и она так трудна, всегда как подарок, сокровище, сюрприз. Ведь пустыня всегда удивляет, даже если ты знаешь ее всю жизнь. Иногда, когда тебе кажется, что ты знаешь ее во всей ее суровости и пустоте, она пробуждается ото сна и испускает свое дыхание — и мягкая бледно-зеленая трава предстает внезапно там, где только вчера был лишь песок и острая галька. Она испускает свое дыхание — и стая мелких птиц вспорхнет в воздух — откуда? куда? — тонкотелые, с длинными крыльями и изумрудно-зеленого цвета; или рой саранчи поднимется над землей в спешке и с жужжанием — серые и зловещие, бесконечные полчища голодных воинов...

Жизнь в своем величии... величие пустоты, всегда удивляющей, — в этом весь неизведанный дух Аравии, ее песчаных пустынь, как эта, и многих других сменяющихся ландшафтов.

Иногда это вулканическая порода, черная и неровная; иногда — дюны без конца и края; иногда — *уади* между скалистыми холмами, покрытыми колючим кустарником, из которого выпрыгивает испуганный заяц и проносится перед тобой; иногда — неплотный песок со следами газелей и несколькими камнями, почерневшими от огня, который разводили для приготовления пищи давно забытые путники давно минувших дней; иногда — деревушка под пальмами с деревянными колесами над колодцами, которые не переставая музицируют и поют для тебя; иногда — колодец посреди пустыни и бедуин-пастух, суеющийся вокруг него и спешащий напоить своих мучимых жаждой овец и верблюдов (бедуины поют хором, пока вода поднимается со дна колодца в больших кожаных ведрах и выливается единым броском в кожаные корыта к восторгу оживленных животных). И снова одиночество в степи, истощенной солнцем, у которого нет сострадания; куски твердой желтой травы и листовенного кустарника, который ползет по земле своими змееобразными ветвями, являются добротным кормом для твоих верблюдов; одинокая акация широко растягивает свои ветки на фоне синевато-стального неба; между земляным холмом и камнем появляются глаза, мечущиеся из стороны в сторону, и исчезают как привидение — золотистая ящерица, которая, как говорят, никогда не пьет воды; полые черные палатки из козьего волоса и стадо верблюдов, возвращающихся домой к вечеру: пастухи едут на неоседланных молодых верблюдах, и, когда они призывают своих животных, тишина земли всасывает их голоса и проглатывает их, не оставляя даже эха.

Иногда ты видишь мерцающие тени далеко на горизонте: облака ли это? Они плывут низко, часто меняя свой цвет и расположение: сейчас они напоминают серо-коричневые горы, но в воздухе, где-то над горизонтом, а теперь, напоказ всему миру, — тенистые роции пиний, но в воздухе. И когда они спускаются ниже и превращаются в озера и быстротечные реки,

которые отражают горы и деревья в манящей дрожи водной глади, ты внезапно осознаешь сущность увиденного — обольщение джиннов, мираж, который так часто вел путников путем ложных надежд и приводил в итоге к гибели — и рука невольно спускается к бурдюку с водой на твоём седле...

А также ночи, полные других опасностей. Когда кланы находятся в военном разладе, путники не разводят костров на ночных привалах, чтобы не привлечь внимания издалека, и каждый сидит на чеку долгими часами с винтовкой между ног. И в мирное время — когда после долгого одинокого блуждания, ты встречаешь караван и слушаешь вечерние разговоры серьезных обгорелых под солнцем мужчин возле костра: они говорят о простых, великих вещах, жизни и смерти, о голоде и пресыщенности, о гордости, любви и ненависти, о плотских страстях и их удовлетворении, о войнах, пальмовых рощах в далеких родных селениях... но никогда ты не услышишь праздной болтовни, так как невозможно болтать в пустыне...

И ты чувствуешь зов жизни во время жажды, когда язык прилипает к нёбу, подобно кусочку сухой древесины, и горизонт не обещает спасения, а вместо него посылает пылающий ветер-самум и вихрь песка. В другие же времена, когда ты гость в палатке бедуина и люди приносят тебе полные чаши молока — молока жирной верблюдицы в начале весны с набухшим и тяжелым выменем, когда после обильных дождей степь и дюны покрываются зеленью, будто сад, — из угла палатки ты слышишь смех женщин, тогда как они готовят барашка на открытом огне в твою честь.

Подобно красному раскаленному металлу, солнце исчезает за холмами. Звездное ночное небо — выше, чем где бы то ни было в мире, и твой сон под звездами — глубокий и спокойный, и утро — бледно-серое с холодным рассветом. И холодны ночи зимой: пронизывающие ветра заставляют трепыхаться костер, вокруг которого ты и твой напарник теснитесь, съежившись в поисках тепла. И обжигающие дни летом, когда ты едешь, едешь, раскачиваясь на верблюде, через бесконечно тянущиеся часы, твоё лицо закутано в платок для защиты от иссушающего ветра,

твои чувства усыплены, но высоко в небе, в полуденном зное, хищная птица наматывает свои круги...

- 2 -

День медленно скользит мимо нас — дюны, тишина, одиночество.

Через некоторое время тишина нарушается группой бедуинов, которая встречается на нашем пути, — четыре или пять мужчин и две женщины на верблюдах с одним животным, несущим сложенную черную палатку, кухонную утварь и прочие принадлежности кочевой жизни, а также пару детей, посаженных сверху всего этого. По мере приближения к нам они останавливают верблюдов:

— Мир и спокойствие вам.

Мы отвечаем:

— И вам мир и благословение Всевышнего.

— Куда направляетесь, о путники?

— Тейма, *инша-Аллах*.

— И откуда?

— Из Каср Атаймин, братья, — отвечаю я. После этого наступает тишина. Один из них, очевидно, лидер, — сухопарый пожилой мужчина с выраженными острыми чертами лица и черной, подчеркнутой бородой. Его взгляд также становится черным и резким, когда, пройдя по Зейду, он подозрительно останавливается на мне, страннике со светлым лицом, который так неожиданно появился из ниоткуда в этой непротоптанной местности и который говорит, что едет из стороны оккупированного британцами Ирака. Он вполне может быть (я

почти читаю это с лица «Остролицего») неверным, который тайком проникает в земли арабов. Рука старика играет с рукояткой седла, как если бы он был в замешательстве, пока его люди, разбросанные вокруг нас, очевидно, ожидают, что он начнет говорить. После нескольких мгновений он, видимо, не выдерживает тишины и спрашивает меня:

— Из каких арабов будешь? — То есть, какому клану или региону я принадлежу. Но даже до того, как я отвечаю, его черты внезапно светлеют в улыбке — он распознал меня.

— О, я вспомнил тебя теперь! Я видел тебя с Абд аль-Азизом! Но это было очень давно — четыре долгих года тому назад...

И он протягивает дружелюбно свою руку мне, вспоминая времена, когда я жил в королевском дворце в Рияде и он приехал туда в кортеже лидера клана Шаммар засвидетельствовать уважение клана Ибн Сауду, которого бедуины всегда зовут по имени, Абд аль-Азиз, без всяких формальных и почетных титулов, так как по своей свободолюбивой человеческой природе они видят только человека в короле, который, без сомнения, уважаем ими, но не более того, чего требуют заслуги обычного человека. И вот мы уже вспоминаем то одного, то другого, обмениваемся шутками о Рияде, внутри и около которого до тысячи человек ежедневно довольствуются щедростью короля, получая по отъезду подарки, которые зависят от положения получающего их: от горсти серебряных монет или *абай* до тяжелых кошельков с золотыми соверенами, лошадей и верблюдов, которых он часто раздает лидерам кланов.

Но королевская щедрость — щедрость сердца, но не кошелька. Теплота его чувств, более чем что-либо, заставляет людей его окружения, и я не исключение, любить его.

Дружба с Ибн Саудом придавала сердечный блеск моей жизни во все годы, проведенные в Аравии.

Он называет меня своим другом, хотя он король, а я простой журналист. И я называю его другом и не потому просто, что в течение тех лет, что я находился в его окружении, он всегда относился ко мне дружелюбно, ведь его дружелюбие распространяется на многих. Я называю его своим другом потому, что, бывает, он открывает мне свои самые сокровенные мысли, как открывает он свой кошелек множеству других людей. И я люблю называть его своим другом, так как, несмотря на все его недостатки, а их не так мало, он чрезвычайно хороший человек. Не просто «добросердечный», ведь доброта сердца иногда может достаться легко. Как о хорошем дамасском клинке можно сказать, что он «хорошее» оружие, потому что обладает всеми качествами, которые можно только желать для оружия такого типа, так и Ибн Сауда я считаю хорошим человеком. Он не подражает никому и всегда идет своим собственным путем. Если он и ошибается часто в своих поступках, так это потому, что он никогда не пытается быть никем, кроме самого себя.

Моя первая встреча с королем Абд аль-Азизом Ибн Саудом произошла в Мекке в начале 1927 года, несколько месяцев спустя после моего принятия Ислама.

Недавняя внезапная кончина моей жены, которая сопровождала меня в этом, моем первом паломничестве в Мекку, сделала меня грустным и замкнутым. Я отчаянно пытался выкарабкаться из темноты и совершенного опустошения. Большую часть времени я проводил в своих номерах и общался лишь с несколькими людьми. Недели пролетали, а я избегал даже традиционных визитов вежливости к королю. В один день на визите к одному из иностранных гостей Ибн Сауда (я помню, его звали Хаджи Агос Салим из Индонезии) меня оповестили о том, что по приказу самого короля мое имя было занесено в список его гостей! По-видимому, он был проинформирован о причинах моей сдержанности и принял ее с учтивым пониманием. Итак, будучи гостем и не выдав никогда хозяина, у которого гощу, я направился в красивый особняк на южной оконечности Мекки

близ скалистого ущелья, через которое пролегает дорога в Йемен. С террасы можно было наблюдать большую часть города: минареты Запретной Мечети, тысячи белых домов кубической формы с балюстрадами крыш из цветного кирпича и холмы мертвой пустыни с нависшим над ними куполом неба, которое сверкало, словно жидкий металл.

Однако я бы, возможно, и дальше продолжал бы откладывать свой визит к королю, не случись мне встретиться с амиром Файзалом, одним из его старших сыновей, в библиотеке под сводами Запретной Мечети. Мне приятно было сидеть в длинном и узком помещении окруженным древними арабскими, персидскими и турецкими фолиантами: спокойствие и темнота наполняли умиротворенностью. В один из дней обычная тишина была нарушена группой людей, неожиданно появившихся в комнате, с вооруженными охранниками впереди — это был амир Файзал со своей свитой, который проходил через библиотеку в сторону Каабы. Он был высок и худощав, полон достоинства, обычно не присущего двадцатидвухлетнему возрасту и юному лицу, как у него. Несмотря на свой юный возраст, ему была поручена ответственная должность наместника Хиджаза после того, как его отец завоевал страну двумя годами ранее (его старший брат, наследный принц Сауд и единственный из сыновей Ибн Сауда, кому Файзал уступал в возрасте, занимал должность наместника Наджда, тогда как сам король проводил полгода в Мекке, столице Хиджаза, и полгода в столице Наджда, Рияде).

Библиотекарь, молодой мекканский ученый, с которым я был дружен некоторое время, познакомил меня с принцем. Он пожал мне руку и, когда я поклонился ему, слегка коснулся моей головы кончиками пальцев, приподнимая ее в исходное положение, при этом его лицо озарилось добродушной улыбкой.

— Мы, люди Наджда, не верим в то, что человек должен преклоняться перед другим человеком; он может преклоняться только перед Богом в молитве.

Он казался добрым, мечтательным, немного замкнутым и застенчивым — впечатление, которое полностью подтвердилось последующими годами нашего знакомства. Его благородство не было напущенным, оно сияло изнутри. Когда мы разговорились в библиотеке в тот день, я внезапно почувствовал сильную тягу узнать отца этого человека.

— Король был бы счастлив повидаться с тобой, — сказал амир Файзал. — Почему ты избегаешь его?

И на следующее утро секретарь принца пригласил меня в автомобиль и повез в королевский дворец. Мы ехали через улицу, на которой располагался базар Аль-Маала, медленно пробиваясь через толпы верблюдов, бедуинов и аукционистов, продававших всякого рода бедуинские изделия: верблюжьи седла, *абайи*, ковры, бурдюки, мечи с инкрустацией серебра, палатки и медные кофейники. Далее, автомобиль выехал на более широкую и спокойную дорогу, пока мы не достигли огромного дома, где проживал король. Множество оседланных верблюдов заполняли пространство перед домом, и некоторое количество вооруженных рабов и слуг бездельничало на лестнице у входа. Меня попросили подождать в просторной комнате с колоннами, устланной недорогими коврами. Широкие, цвета хаки софы стояли вдоль стен, и из окон можно было видеть зеленые листья — начало сада, который был выращен с огромным трудом на безводной почве Мекки. Появился темнокожий раб.

— Король приглашает вас.

Я вошел в комнату, похожую на ту, в которой я только что пребывал, за исключением того, что она была светлее и меньше. Одна сторона комнаты была полностью открыта саду. Богатые персидские ковры покрывали пол, в эркере на софе, скрестив ноги и оглядывая сад, сидел король, на полу возле его ног секретарь записывал с его слов. Когда я вошел, король встал, протянул обе руки и сказал:

— *Ахлан-уа-сахлан*, — «семьей и легкостью», что означает «ты прибыл в свою семью, да будет легким твое пребывание здесь» — самое древнее и самое любезное из арабских приветствий.

Всего около секунды я мог оглядеть, не без изумления, гигантскую фигуру Ибн Сауда. Когда, зная к тому времени обычай людей Наджда, я слегка коснулся губами кончика его носа и лба, мне пришлось встать на цыпочки, несмотря на свой рост метр восемьдесят, а ему — склонить голову вниз. Затем, с извиняющимся видом, обращенным к секретарю, он сел, притягивая меня к себе на софе.

— Еще минуту — письмо почти завершено.

И в то время как он продолжил диктовать, он также начал разговор со мной, не сбиваясь и не путаясь между двумя этими занятиями. После нескольких первых формальных выражений я передал ему рекомендательное письмо. Он прочитал его, что означало, делал уже три вещи параллельно, и тогда, не прерывая своей работы с секретарем и расспрашивания о моем заработке, приказал принести кофе.

К этому времени у меня была возможность осмотреть его более тщательно. У него были правильные пропорции настолько, что его огромный рост (по меньшей мере около двух метров) бросался в глаза только тогда, когда он стоял. Его лицо, необычайно мужественное, было обрамлено традиционной клетчатой красно-белой *куфией*, увенчанной *игалом* с золотой канителью. Он носил коротко выстриженную бороду и усы в стиле жителей Наджда. У него был широкий лоб и сильный орлиной формы нос. Его пухлый рот временами казался женственным, но не мягким от нежных чувств. Когда он говорил, его черты играли на его лице необычной живостью, но в спокойствии его лицо было почему-то грустным, как будто он был погружен в свое внутреннее одиночество (возможно, глубоко посаженные глаза создавали такое впечатление). Превосходная красота его лица немного омрачалась отсутствующим выражением его левого глаза, в котором можно было разглядеть белую пленку. Позднее мне рассказали

историю этого недуга, который большинство людей считали вызванным естественными причинами. В реальности же, однако, это случилось при трагических обстоятельствах.

Несколько лет назад одна из его жен, по наущению соперничающей династии Ибн Рашида, положила яд в его сосуд с ладаном — небольшая посуда, используемая в церемониальных собраниях в Наджде, — с очевидным намерением убить его. По обычаю сосуд был сперва передан королю, перед тем как пойти по рукам гостей. Втянув первую струю, Ибн Сауд тотчас заметил, что что-то было не так с ладаном и бросил сосуд на землю. Его бдительность спасла ему жизнь, но его левый глаз был поврежден и частично ослеп. Вместо того чтобы мстить непокорной женщине, как многие другие монархи в его положении непременно бы сделали, он простил ее, так как был уверен, что она стала жертвой непреодолимого давления со стороны ее родственников, которые относились к дому Ибн Рашида. Он просто развелся с ней и отослал ее обратно в ее дом в Хаиле, одарив при этом щедро золотом и подарками.

После той первой встречи король посылал за мной почти каждый день. В одно утро я пошел к нему с намерением выпросить — без особой надежды — разрешения поехать внутрь страны: Ибн Сауд не разрешал, как правило, иностранцам посещать Наджд. Однако, когда я собирался было начать разговор на эту тему, он вдруг резко взглянул прямо на меня взглядом, который, казалось, проникает в мои невысказанные мысли, улыбнулся и сказал:

— Не поехать ли тебе, Мухаммад, с нами в Наджд и погостить у нас несколько месяцев в Рияде?

Я был ошарашен, так же как, очевидно, и другие присутствующие. Такое спонтанное приглашение незнакомцу было почти неслыханным делом.

И он продолжил:

— Я бы хотел, чтобы ты поехал с мной на автомобиле в следующем месяце.

Я вдохнул поглубже и ответил:

— Да продлит Господь твою жизнь, о Имам, но какая польза будет мне от того? Что хорошего ожидает меня, если я пролечу на автомобиле за пять или шесть дней из Мекки в Рияд, не увидев твоей страны дальше пустыни, нескольких песчаных дюн и, возможно где-то на горизонте, людей, похожих на тени... Если ты не возражаешь, верблюд был бы для меня лучшим выбором, о мудрый правитель, чем все твои автомобили вместе взятые.

Ибн Сауд засмеялся:

— Неужели тебя привлекает заглянуть в глаза моим бедуинам? Я должен предупредить тебя заранее: они отсталые люди, и мой Наджд — пустыня без прелестей, и седло будет жестким, и еда однообразна — ничего кроме риса, фиников и изредка мяса. Но так тому и быть. Если ты решился на это, то ты поедешь. В конце концов, вполне возможно, что ты не пожалеешь узнать мой народ: они бедны, ничего не знают и никому не нужны, но их сердца полны хорошей веры.

Несколько недель спустя снаряженный от короля верблюдами, провизией, палаткой и гидом, я отправился по окружному пути в Рияд, в который прибыл по прошествии двух месяцев. Это было мое первое путешествие вглубь Аравии, одно из многих, так как несколько месяцев, упомянутых королем, превратились в годы (и как легко превратились они в годы!), проведенные не только в Рияде, но и в каждом уголке Аравии. И седло больше не кажется жестким...

— Да продлит Господь жизнь Абд аль-Азиза, — сказал Остролицый. — Он любит *баду*, и *баду* любят его.

«И почему бы им не любить его?» — спрашивал я себя. Открытая рука короля по отношению к бедуинам Наджда стала отличительной чертой его администрации. Возможно, это не самая замечательная черта, так как регулярные денежные подарки, которые Ибн Сауд распределяет между лидерами кланов и их последователями, сделали их настолько зависимыми от его щедрот, что они начинают терять всякий стимул к улучшению своих жилищных условий с помощью собственных усилий и понемногу деградируют в положение вечно просящих, согласных остаться невежественными и ленивыми.

В течение моего диалога с Остролицым Зейд становится нетерпелив. В то время как он разговаривает с одним из людей, его глаза постоянно останавливаются на мне, напоминая мне, что впереди у нас еще долгий путь и что воспоминания и размышления не ускоряют хода верблюдов. Мы расстаемся. Бедуины из племени Шаммар направляются на восток и вскоре скрываются за дюнами. Мы все еще можем слышать одного из них, напевающего кочевную песню, которую напевает всадник, чтобы прищипорить своего верблюда и нарушить монотонность его хода. Я и Зейд возобновляем наше путешествие на запад к далекой Тейме, мелодия бедуинского напева постепенно сходит на нет, и тишина возвращается.

- 3 -

— Смотри! — нарушает тишину голос Зейда. — Заяц!

Я поворачиваю свои глаза в сторону комка серого меха, который выпрыгнул из кустарника, в то время как Зейд слезает с верблюда, отвяывая деревянную булаву, висящую на ручке седла. Он несется за зайцем, раскручивая булаву над головой для броска. Но, перед тем как метнуть ее, его нога путается в корнях *хамд*, он падает ничком на землю, а заяц исчезает из виду.

— Хороший ужин, — смеюсь я, а Зейд поднимается с земли, с сожалением рассматривая булаву в своей руке. — Но не пойми меня неправильно, Зейд, тот заяц был не из нашей порции...

— Нет, не из нашей, — отвечает он немного отсутствующе, и я тогда замечаю, что он болезненно хромает.

— Неужели ты покалечил себя, Зейд?

— О, пустяк. Я только подвернул лодыжку. Через некоторое время все пройдет.

Но улучшения не наступает. После еще одного часа езды я замечаю капли пота на лице Зейда. Я смотрю на его ногу и вижу, что лодыжка очень сильно вывихнута и серьезно распухла.

— Давай не будем продолжать наш путь в таком состоянии, Зейд. Разобьем лагерь прямо здесь, и ночной отдых восстановит твои силы.

Всю ночь Зейда мучает боль. Он просыпается задолго до рассвета, и его неосторожные движения также прерывают мой беспокойный сон.

— Я вижу только одного верблюда, — говорит он, и когда мы оглядываемся, то безусловно замечаем, что одно из животных — верблюд Зейда — исчезло. Зейд хочет поехать на моем на поиски потерянного, но его нога не дает ему даже встать, не говоря уже о том, чтобы пройтись, оседлать верблюда или слезть с него.

— Ты отдыхай, Зейд, а я поищу. Я вернусь обратно по своим собственным следам, что должно быть несложно.

И с рассветом я отправляюсь, следуя по следам ушедшего верблюда, которые тянутся через песчаную долину и исчезают за дюнами.

Я еду час, еще один, и третий, но следы заблудшего животного все тянутся и тянутся, как будто оно преследовало определенную цель. Я останавливаюсь в полном разгаре предполуденного времени, слезаю с верблюда, подкрепляюсь несколькими финиками и пью воды из маленького кожаного мешка на моем седле. Солнце поднялось высоко, но почему-то потеряло свой слепящий свет. Серовато-коричневые облака (необычный цвет для этого времени года) монотонно плывут по небу, странный густой, тяжелый воздух окутывает пустыню и сглаживает очертания дюн больше чем обычно.

Сверхъестественное движение на самом верху высокого песчаного холма бросается мне в глаза. Животное ли это? Может быть, потерянный верблюд? Но когда я приглядываюсь, я вижу, что движение не над холмом, но в самом гребне песчаной дюны: гребень движется еле заметно, покрываясь рябью, вперед, и тогда мне кажется, что он, капля за каплей, просачивается в мою сторону подобно гребню медленно наступающей волны. Мрачная краснота наползает на небо из-за дюны; за этой краснотой очертания гребня, как будто за кем-то натянутой вуалью, теряют свою резкость и становятся размытыми, и красный полумрак быстро распространяется по пустыне. Облако песка вихрем кружится перед моим лицом и вокруг меня, и в одно мгновение ветер начинает реветь, пересекая долину мощными порывами во всех направлениях. Просачивающееся движения первого холма было подхвачено всеми песчаными холмами в пределах видимости. В течение минут небо раскрасилось глубоким ржаво-коричневым цветом, а воздух наполнился крутящимися вихрями песочной пыли, которая, подобно красному туману, затемнила солнце и день. Это, и нет сомнений, — песчаная буря.

Мой верблюд припал к земле, ужасно напуган и теперь хочет встать. Я тяну его вниз поводом, стараясь сохранить прямое положение на ветру, который уже превратился в шторм, и ухитриться связать передние ноги животного, а также, для большей уверенности, задние. После этого я ложусь на землю и натягиваю свою *абаю* на голову. Я прижимаю свое лицо к подмышечной впадине верблюда, чтобы не подавиться

летающим песком. Я чувствую верблюд прижимает свою морду к моему плечу — без сомнения, по той же самой причине. Я чувствую песок заваливает меня со стороны, не защищенной верблюжьим телом, что заставляет меня двигаться время от времени, чтобы он не закапал меня полностью.

Я не напрасно озабочен, так как это не первый раз, когда песчаная буря застает меня врасплох в пустыне. Лежа таким образом на земле, крепко укутанный в свою *абаю*, я могу только ждать, пока буря стихнет, и слушать рев ветра и хлопанье моей накидки: хлопанье развевающегося паруса, нет — знамени, похожее на хлопанье племенных знамен, несомых на высоких шестах армией бедуинов в своем марше. Точно так же они хлопали и развевались пять лет тому назад над множеством бедуинов-наездников из Наджда — тысячи человек, и я среди них, возвращавшихся с Арафата в Мекку после паломничества. Это было мое второе паломничество. Я провел год в центральной части полуострова и успел вернуться в Мекку вовремя, чтобы участвовать в собрании паломников в долине Арафат, к востоку от Священного Города. И по пути обратно с Арафата я очутился в середине орды бедуинов Наджда, одетых в белые одежды и скачущих в возбужденном галопе по пыльной земле, — море мужчин в белых одеждах на медово-желтых, золото-коричневых и красноватых верблюдах; ревуший, потрясающий землю галоп тысяч верблюдов, продвигающихся вперед как неодолимая волна. Знамена племен, ревущие на ветру, и крики людей, которыми они оповещали о своем присутствии и о разнообразных военных подвигах своих предков, вздымались волнами над каждым отрядом, ведь для людей Наджда, людей горных районов центральной Аравии, война и паломничество струятся из одного источника... И бесчисленное количество паломников из других земель — Египта, Индии, Северной Африки и Явы — рассыпались перед нашим галопом в панике, незнакомые с этим обычаем, так как никто не смог бы выжить, стой он на пути громяющего потока, так же как смерть была бы неизбежным исходом всякого всадника, который выпал бы из своего седла в середине тысяч и тысяч мчащихся верблюдов.

Как бы ни был безумным тот галоп, я разделил это безумие, отдался этому моменту и шуму, и стремлению, и реву с чувством дикого счастья в своем сердце, и ветер, проносящийся мимо, трубил: «Никогда более ты не будешь чужим, никогда более... среди своего народа!»

И теперь, когда я лежу под колышущейся *абает*, рев песчаной бури, кажется, вторит: «Никогда более ты не будешь чужим...»

Я более не чужестранец: Аравия стала моим домом. Мое западное прошлое подобно далекому сну: не настолько воображаемому, чтобы быть забытым, и не настолько реальному, чтобы быть частью моего настоящего. Не то, чтобы я стал лотофагом, и мое прошлое было предано забвению. Наоборот, если мне приходится оставаться в городе по несколько месяцев, как, например, в Медине, где живет моя жена-арабка с моим сыном грудного возраста и находится библиотека, полная книг по ранней исламской истории, во мне нарастает нетерпение и жажда действия, движения, томление по сухому, свежему воздуху пустыни, по запаху верблюда и ощущению седла. Довольно странно, но стремление к странствованию, которое сделало большую часть моей жизни неутомонной (мне немногим больше тридцати двух сейчас) и которое искушает меня снова и снова на всякого рода опасности и схватки, не столько происходит от жажды приключений, сколько от сильного желания найти свое тихое место в мире, дойти до рубежа, где я бы мог соотносить все, что могло бы со мной произойти, с тем, что я мог бы чувствовать, думать и желать. И если я понимаю все правильно, то именно это стремление к внутреннему открытию вело меня через все эти годы в мир, абсолютно отличный в его восприятиях и внешних формах от всего, что рождение и воспитание в Европе, казалось, предназначали мне...

Когда наконец шторм стихает, я стряхиваю с себя песок, который завалил меня. Мой верблюд наполовину закопан в него, но это делает его только опытнее в том, что, должно быть, выпадало на его долю много раз. Шторм на первый взгляд не

причинил нам особого урона, кроме того, что мой рот, уши и ноздри полны песка и ветер унес овечью шкуру с моего седла. Но вскоре я обнаруживаю свою ошибку.

Все дюны вокруг меня поменяли свои очертания. Мои собственные следы и следы потерянного верблюда были напрочь стерты ветром. Я стою на нетронутой земле.

Теперь ничего не остается, как идти обратно к лагерю или, по крайней мере, попытаться идти обратно с помощью солнца и размытого представления о направлении, что является почти инстинктом у того, кто привык путешествовать в пустыне. Но здесь полностью полагаться на солнце и чувство курса не приходится, так как песчаные дюны не дают возможности идти по прямой и, следовательно, сохранять выбранный курс.

Шторм иссушил мое горло, но полагая свое местоположение лишь в нескольких часах езды от лагеря, я давно сделал последний глоток воды из своего маленького бурдюка. Однако до лагеря должно быть недалеко. Хотя мой верблюд был без воды с момента нашей последней стоянки у колодца около двух дней тому назад, он — мой старый компаньон, который может, без сомнения, отвезти меня обратно в лагерь. Я направляю его нос в сторону, где мне кажется, находится наш лагерь, и мы начинаем наше путешествие быстрым темпом.

Проходит час, другой, третий, но никаких следов Зейда или нашего лагеря не видно. Все оранжевые холмы вокруг одинаково незнакомы: несомненно, было бы довольно тяжело отыскать хоть что-нибудь знакомое в них, даже если бы не было шторма.

После полудня я натыкаюсь на обнаженные гранитные скалы, такие редкие в этих районах песчаной пустоши, и сразу вспоминаю, что мы с Зейдом проходили их вчера ближе к вечеру, незадолго до того, как разбили лагерь на ночлег. Я вздыхаю с облегчением, так как, хотя и очевидно, что я все еще далек от места, где я надеялся найти Зейда, пропустив его, вероятно, пару миль до этого или около того, теперь, наверное,

будет нетрудно найти его, просто следуя в юго-западном направлении точно так, как сделали мы вчера.

Итак, насколько я помню, было три часа езды между скалами и нашим ночлегом, но теперь, когда я еду уже три часа к ряду, — никаких признаков лагеря или Зейда. Пропустил ли я его снова? Я еду дальше, постоянно на юго-запад, параллельно высчитывая все изменения в положении солнца. Еще два часа — ни лагеря, ни Зейда... Когда наступает ночь, я решаю остановиться отдохнуть и дождаться рассвета. Я слезаю с верблюда, привязываю его, пытаюсь съесть несколько фиников, но я очень сильно хочу пить, поэтому отдаю финики верблюду и укладываюсь головой к телу животного.

Прерывистая дремота: я не сплю, но и не бодрствую, и лишь сменяющиеся вызванные усталостью состояния засыпания, прерывающиеся жаждой, которая начала причинять страдание. И где-то глубоко, там на глубинах сознания, которые никто не хочет ворошить, находится тот серый извивающийся моллюск страха: что случится со мной, если я не найду пути к Зейду и нашим запасам воды, ведь я знаю, что нет ни воды, ни поселений на расстоянии многих дней пути во всех направлениях?

С рассветом я начинаю снова. Ночью я подсчитал, что, наверно, отклонился слишком сильно к югу и что, следовательно, Зейд обязан быть где-то к северу или северо-востоку от места моего ночлега. Итак мы продолжаем свой путь, теперь к северу, северо-востоку, мучимые жаждой, уставшие и голодные, — все тот же выющийся путь из лощины в лощину: мы обходим холмы то справа, то слева. В полдень мы отдыхаем. Моя язык прилипает к небу, на ощупь он подобен старой потрескавшейся коже. Горло болезненно, глаза воспалены. Я пытаюсь поспать немного, прижавшись к животу верблюда и накинув *абаю* на голову, но не могу. После полудня мы снова на ногах, в этот раз идем в более восточном направлении, так как теперь мы зашли слишком далеко на запад, — ни лагеря, ни Зейда.

Следующая ночь. Жажда превратилась в муку. Желание воды — одна навязчивая идея в голове, и разум более не в состоянии упорядочивать мысли. Как только светает, я снова еду: утро, полдень и вечер еще одного дня проведены в седле. Песчаные дюны и зной. Дюны за дюнами — и никакого конца. Или, возможно, это и есть конец — конец всех моих дорог, всех моих поисков и открытий? Конец моего пути, на котором я нашел народ, среди которого я никогда более не был бы чужим?.. И я молю: «Господи, не дай мне погибнуть так...»

После полудня я взбираюсь на высокую дюну, надеясь получше разглядеть местность. Когда я случайно замечаю черную точку далеко на восток, мне хочется ликовать, но я слишком слаб для этого. Это, должно быть, стоянка Зейда с бурдюками воды, двумя большими полными воды бурдюками! Я возвращаюсь в седло с дрожащими коленями. Медленно и внимательно мы движемся в направлении черной точки, которая, вне всяких сомнений, есть лагерь Зейда. Теперь я делаю все необходимое, чтобы не упустить его. Я еду по прямой: вверх на песчаный холм, вниз в песчаную ложину, таким образом удваивая, утраивая наш непомерный труд, но надежда подстегивает меня — в течение скорого времени, не более двух часов, я достигну цели. Наконец после того, как мы пересекли гребень последней дюны, наша цель ясно открывается моему взору. Я останавливаю верблюда и гляжу вниз на черное что-то, менее полумили от нас, и мое сердце, кажется, останавливает свой ход: передо мною черные обнаженные гранитные скалы, которые я проходил три дня назад с Зейдом и повстречал снова два дня назад один...

Два дня я хожу кругами...

- 4 -

Я скатываюсь с седла — я абсолютно истощен. Я даже не утруждаю себя завязыванием ног верблюда, и конечно, он

слишком устал, чтобы подумать о бегстве. Я рыдаю, но слезы не появляются из моих сухих, опухших глаз.

Как давно я не рыдал... Но не все ли — давнее прошлое? Все — прошлое, и нет настоящего. Есть только жажда. И зной. И мучение.

Я не пил воды вот уже три дня, мой верблюд испил свой последний глоток пять дней тому назад. Он, вероятно, может продолжать идти еще день, возможно, два, но я точно не смогу вытянуть так долго. Может, я сойду с ума до того, как умру, так как боль в моем теле переплетена с ужасом в моей голове, который нарастает от боли и иссушает, нашептывает, разрывает...

Я хочу отдохнуть, но знаю, если я остановлюсь отдохнуть сейчас, я уже никогда не смогу подняться. Я затаскиваю себя в седло и заставляю верблюда ударами и пинками подняться, я почти падаю с седла, когда животное кренится вперед, поднимаясь на задних ногах, и снова почти падаю, когда оно кренится назад, вытягивая свои передние ноги. Мы начинаем двигаться, медленно, болезненно, прямо на запад. Прямо на запад: что за насмешка! Что это «прямо на запад» означает в этом обманчивом, волнообразном море песчаных холмов? Но я хочу жить. И мы идем дальше.

Мы плетемся всю ночь на остатках наших сил. Должно быть, настало утро, когда я падаю с седла. Мягкое падение на мягкий обнимающий тебя песок. Верблюд еще стоит некоторое время, затем плавно садится вниз на колени, затем на задние ноги и лежит возле меня, прижавшись к земле и вытянув на песке шею.

Закутанный в *абаю* я лежу на песке в узкой тени, отбрасываемой телом верблюда, — и пекло вокруг меня; и боль, и жажда, и ужас — внутри меня. Я больше не могу думать. Я не могу закрыть свои глаза: каждое движение век подобно раскаленному металлу на глазных яблоках. Жажда и пекло, жажда и давящая тишина — сухая тишина, обволакивающая тебя в свой саван одиночества и отчаяния, тишина, которая

делает звенящую в твоих ушах кровь и случайный вздох верблюда угрожающе отчетливыми, как если бы это были последние звуки на земле и вы двое, человек и животное, — последние живые, но обреченные существа на свете.

Высоко над нами в расплывающейся жаре медленно кружит стервятник, не останавливаясь, свободной, выше всех горизонтов, точкой на жестокой бледности неба...

Мое горло опухло и сжато, каждый вдох и выдох приводит в движение тысячу пытающих меня иголок, вонзающихся в основание моего языка, того большого-большого языка, которому не следует двигаться, но который не может остановиться, двигаясь болезненно взад и вперед, словно рашпиль по сухой полости моего рта. Мои внутренности пылают, скрученные мертвым хватом агонии. На секунды стальное небо становится черным для моих широко открытых глаз.

Моя рука двигается, как будто сама по себе, и ударяется о твердый приклад карабина, висящего на ручке седла. Рука замирает, и с внезапной ясностью разум видит пять добротных патронов в магазине и быстрый конец, к которому может привести нажатие на курок... Что-то шепчет во мне: «Двигайся быстро, возьми карабин до того, как не сможешь двигаться снова!»

И тогда я чувствую, что мои губы двигаются и формируют беззвучные слова, которые выходят из каких-то темных потаенных уголков моего рассудка: «Мы будем испытывать вас... непременно испытаем вас...» — и расплывчатые слова медленно принимают форму и преобразуются в стих из Священного Корана: «Мы непременно будем испытывать вас страхом, голодом, нищетой и отсутствием результатов дел ваших. Но обрадуй терпеливых, которые, когда беда затрагивает их, говорят: „Воистину, мы принадлежим Богу, и к Нему наше возвращение“».

И все горячо и темно; но сквозь эту горячую темноту я чувствую прохладное дыхание ветра и его нежный шелест, такой же как в деревьях над водой, и вода — маленький медленный ручей между берегов, покрытых травой, возле дома моего детства. И я лежу на берегу, маленький мальчик лет девяти или десяти, пожевывая стебелек травы и разглядывая белых коров, которые пасутся неподалеку с большими мечтательными глазами и невинным удовлетворением. Поодаль крестьянские женщины работают в поле. Одна из них одета в красный головной платок и голубую юбку с широкими красными полосами. Ивы по берегам ручья, и белая утка скользит по его поверхности, оставляя следы поблескивающей воды за собой. И мягкий ветер шуршит на моем лице, как фыркание животного. О да, это и есть фыркание животного: большая белая корова с коричневыми пятнами подошла довольно близко ко мне и теперь формирует мои ощущения, фыркая своей мордой, и я чувствую движение ее ног рядом со мной...

Я открываю глаза и чувствую фыркание верблюда, чувствую движение его ног рядом со мной. Он наполовину поднялся на задних ногах, поднял шею и голову, его ноздри расширены, как будто чувствуют внезапный желанный запах в полуденном воздухе. Он фыркает снова, и я чувствую возбуждение, рябь прошедшее по его длинной шее к плечам и большому наполовину приподнятому телу. Я видел, когда верблюды фыркают и сопят, чувствуя воду после долгих дней пути по пустыне, но здесь нет воды... Или есть? Я поднимаю свою голову и поворачиваю взор в сторону, куда повернута голова животного, — просто дюна, ближайшая к нам, — низкая вершина на фоне стального голого неба, лишенная движения и звука. Но ведь *есть* звук! Ведь доносится унылый звук, как вибрация старой губной гармоники, очень тонкий, нестабильный и высокий. Высокий ломкий голос бедуина, напевающего в ритм верблюжьему ходу, — сразу за этим песчаным холмом, очень близко, но, и я узнаю это в доли секунды, слишком далеко для меня, чтобы добраться до него, и для моего голоса, чтобы докричаться. Там находятся люди, но я не могу дойти до них. Я очень слаб и не могу даже подняться. Я пытаюсь кричать, но только резкий хрип выходит из моего горла. И тогда мои руки быстро, как сами по себе, добираются

до твердого приклада карабина на седле... и взором своего мозга я вижу пять добротных патронов в магазине...

С величайшим усилием мне удастся отстегнуть оружие от ручки седла. Перемещение затвора подобно поднятию горы, но в итоге оно выполнено. Я ставлю карабин на приклад и стреляю вертикально в воздух. Пуля завывает в пустоту с досадно слабым звуком. Я оттягиваю затвор еще раз и снова стреляю, потом слушаю. «Губная гармоника» бедуина останавливается. Еще мгновение абсолютной тишины. Вдруг голова человека, затем плечи появляются из-за гребня дюны, потом еще один появляется возле него. Они смотрят вниз некоторое время, затем поворачиваются и кричат что-то каким-то невидимым компаньонам. Человек спереди перебирается через гребень и не то бежит, не то скатывается вниз по склону по направлению ко мне.

Вокруг меня волнение: двое, трое мужчин — о, какое же столпотворение после всего того одиночества! — пытаются меня поднять, движение их рук и ног имеет самый беспорядочный характер... Я чувствую что-то обжигающе холодное, как лед и огонь, на своих губах и вижу бородатое лицо бедуина, склонившегося надо мною, его рука выжимает грязную, влажную тряпку около моего рта. Другая рука его держит открытый бурдюк с водой. Я делаю инстинктивное движение к воде, но он мягко отводит мою руку в ее прежнее положение, окунает тряпку в воду и снова выжимает несколько капель на мои губы. Мне необходимо стиснуть зубы, чтобы вода не обожгла мое горло, но бедуин разводит мои стиснутые зубы и снова капает воды в мой рот. Это не вода, это расплавленный свинец. Почему они так поступают со мной? Я хочу бежать прочь от этой пытки, но они удерживают меня... дьяволы... Моя кожа горит. Все мое тело в пламени. Неужели они хотят меня убить? О если бы у меня были силы добраться до своей винтовки, чтобы защитить себя! Но они даже не дают мне подняться: они держат меня на земле и разводят челюсти, чтобы капать воды в рот, а я должен ее глотать. И вот, как ни странно, вода больше не обжигает так неистово, как мгновение перед этим, и сырой лоскут на моей голове кажется приятным,

и, когда они выливают воды на мое тело, касание мокрой одежды доставляет трепетный восторг...

И тогда все исчезает: я падаю, падаю вниз в глубокий колодец, стремительное падение заставляет воздух мчаться мимо моих ушей, шум воздуха перерастает в рев, ревушая чернота, черная-черная...

- 5 -

... Черная-черная, мягкая чернота без звука, приятная и дружелюбная темнота, которая обнимает тебя подобно теплему одеялу, и ты необыкновенно усталый, сонный и ленивый хочешь навсегда остаться таковым. И нет особой надобности двигать руками или открывать глаза, но ты двигаешь руками и открываешь глаза, чтобы просто подивиться темнотой, нависшей над тобою, темнотой шерстяной бедуинской палатки, сделанной из темного козьего волоса, с узким просветом впереди, демонстрирующим тебе кусочек звездного неба ночью и плавные очертания дюн, поблескивающих в свете дня... И тогда просвет темнеет, и фигура человека появляется в нем, его накидка четко вырисовывается на фоне неба, и я слышу голос Зейда восклицающего: «Он проснулся, он проснулся!» Его аскетическое лицо появляется прямо перед моим, а его руки хватают меня за плечи. Другой человек заходит в палатку, и я не могу хорошо разглядеть его, но как только он начинает говорить медленным серьезным голосом, я узнаю в нем одного из бедуинов Шаммар.

Снова я чувствую горячую всепоглощающую жажду и держу крепко посудину с молоком, которую Зейд протягивает мне. Я не испытываю больше боли и пью, пока Зейд рассказывает мне, как эта маленькая группа бедуинов разбила лагерь возле него, когда разгорелась песчаная буря, и как по возвращении заблудшего верблюда (он вернулся самостоятельно назад ночью) они стали беспокоиться и отправились все вместе на

поиски меня, и как по прошествии почти трех суток, когда они потеряли было надежду, они услышали выстрелы моей винтовки из-за дюны...

И вот они воздвигли шатер надо мною, и мне приказано лежать здесь всю ночь и завтрашний день. Наши бедуинские друзья не торопятся; их бурдюки с водой полны; они дали моему верблюду три полных ведра воды, так как знают, что еще один день пути на юг приведет их и нас к оазису с колодцем. И в то же время верблюды имеют достаточно пропитания в виде кустов *хамд*, которые растут здесь повсюду.

Через некоторое время Зейд помогает мне выйти из палатки и стелет покрывало на песке, и я ложусь под звездами.

Несколько часов спустя я просыпаюсь от побрякивания кофейника, которым занят Зейд; запах свежего кофе — словно объятия женщины.

— Зейд! — зову я его и приятно удивляюсь, что мой голос, хотя еще и слабый, теряет свой хрип. — Не принесешь ли ты мне кофе?

— Клянусь Богом, принесу, о мой дядя! — отвечает Зейд, следуя старому арабскому обычаю называть таким образом уважаемого тобою человека, будь он старше или младше тебя (как и в нашем случае: я младше Зейда на несколько лет). — У тебя будет столько кофе, сколько твое сердце возжелает!

Я пью кофе и широко улыбаюсь счастливому лицу Зейда:

— Зачем, брат мой, мы все время подвергаем себя таким вещам, когда вместо этого могли бы пребывать в наших домах, как разумные люди?

— Потому, — Зейд улыбается в ответ, — что подобие нам с тобой не может ждать дома, пока руки очерствеют, а годы возьмут верх. И кроме того, разве люди не умирают все равно в своих

домах? Разве человек не носит свою судьбу вокруг своей шеи, где бы он ни находился?

Говоря «судьба», Зейд использует слово *кысма* («то, чем ты наделен»), которое более знакомо на Западе в своей турецкой форме — *кисмет*. И пока я попиваю из следующей чашечки кофе, в моей голове проносится мысль о том, что это арабское выражение имеет также еще одно, более глубокое, значение — «то, что ты разделяешь».

То, что ты разделяешь...

И эти слова вызывают расплывчатый иллюзорный мотив в моей памяти... и ухмылка, которая сопровождала эти слова... Чья ухмылка? Ухмылка позади клубов дыма, едкого дыма, как дым гашиша. Да, это был именно дым гашиша, а ухмылка принадлежала одному из самых загадочных людей, которых я когда-либо встречал. И я встретил его после одного из самых загадочных случаев, случившихся со мной: я пытался избежать опасности, которая казалась — только казалась! — неминуемо грозящей мне, и скакал, сам не сознавая того, к опасности, которая была намного реальнее и страшнее, чем та, которой пытался избежать. И обе опасности, реальная и кажущаяся, привели к еще одному спасению...

Все это случилось около восьми лет назад, когда я путешествовал на лошади, сопровождаемый своим татарским помощником Ибрагимом, из Шираза в Кирман на юге Ирана: пустой, безлюдный и бездорожный участок земли возле озера Нирис. Теперь зимой это была слякотная грязная степь без единой деревушки поблизости, ограниченная с юга Кух-и-Гушнеган, «горами Голода», а к северу плавно переходящая в болота, которые опоясывали озеро. После обеда, как только мы объехали одинокий холм, озеро предстало перед нами — недвижимая и бездыханная зеленая поверхность, без звука и жизни, так как вода была настолько соленая, что рыба не водилась здесь. Помимо нескольких скорченных деревьев и пустынных кустарников, соленая вода не давала шанса какой-либо зелени на рост. Земля была слегка устлана грязным

снегом, и поверх него на расстоянии около двух сотен ярдов от берега проходила узкая едва заметная дорога.

Наступил вечер, но караван-сарая Хан-и-Хет — наша ночная цель — не было видно. Нам необходимо было добраться до него любой ценой: нигде вокруг на огромные расстояния не было больше селений, а близость к болотам делала ночное продвижение к цели чрезвычайно опасным. Фактически мы были предупреждены с утра не приступать к путешествию по болотам без поддержки, так как один неверный шаг мог легко означать немедленную смерть. Помимо этого, наши лошади были сильно вымотаны после долгого дня езды по топкой земле, и им необходим был отдых и корм.

С приходом ночи начался сильный дождь. Мы ехали мокрые, утрюмые и молчаливые, полагаясь на инстинкт лошадей, нежели на наши глаза, бесполезные в кромешной тьме. Прошли часы, но караван-сарая все не было видно. Возможно, мы проехали его в темноте, и теперь нам придется провести ночь под открытым небом, а ливень все только усиливался... Копыта наших лошадей шлепали по воде, наши промокшие насквозь одежды сильно липли к телу. Черная и беспросветная ночь повисла над нами, и мы, промерзшие до костей, — под завесой ручьем текущей воды. Но мысль о болотах, находящихся столь близко к нам, была еще более леденящей. Потеряй лошади в любой момент твердую почву под ногами — «да смилуется Господь над вами», — были мы предупреждены с утра.

Я ехал впереди, Ибрагим — сзади, около десяти шагов от меня. Снова и снова вселяющая страх мысль: «Неужели мы оставили Хан-и-Хет позади себя в темноте? Какая зловещая перспектива провести ночь под холодным дождем! Но что если продолжить движение? А болота?..»

И вдруг — мягкий звук болотистой почвы из-под копыт моей лошади. Я чувствую, что животное скользит в жижу, тонет в ней немного, неистово вырывает одну ногу из нее, снова соскальзывает, и мысль пронзает мое сознание — болото! Я одернул резко поводья и вонзил шпоры в бока лошади. Она

выбросила свою голову высоко и начала яростно работать ногами. Моя кожа покрылась холодной испариной. Ночь была настолько черна, что я не мог различить своих рук, но в конвульсивных порывах лошадиного тела я чувствовал отчаянную борьбу с поглощающей ее топью. Не давая ходу мысли, я схватил кнут, обычно без дела висевший на запястье, и ударил со всей силы по заду животного, надеясь таким образом побудить его к наивысшему усилию, так как, если бы лошадь продолжила стоять сейчас, ее бы, и меня вместе с ней, начало засасывать все глубже и глубже в трясины... Не знакомое с таким жестоким обращением бедное животное — кашгайский жеребец исключительной скорости и силы — встало на дыбы, снова ударило о землю всеми четырьмя ногами, судорожно растянулось на грязи, выпрыгнуло, соскользнуло, бросилось снова вперед и опять поскользнулось; и все это время его копыта отчаянно били по мягкой илистой трясине...

Какой-то загадочный объект метнулся со свистом около моей головы... Я поднял руку и получил жесткий, непостижимый удар... что это? Время и мысли смешались в моей голове в борьбе друг с другом... Сквозь брызги дождя и тяжелое дыхание лошади я смог услышать, всего лишь на секунды, которые были подобны, однако, часам, безжалостный стон засасывающего болота... Конец, должно быть, близок. Я вытащил ноги из стремян, готовый выпрыгнуть из седла и попытаться удачу в одиночку: возможно, я мог бы спастись, распластавшись на поверхности топи. Как вдруг, совершенно невероятно, копыта лошади ударили о твердую землю — раз, другой... всхлипывая от облегчения, я потянул поводья и остановил трясущееся животное. Мы были спасены...

Только теперь я вспомнил про своего напарника и воззвал, полный ужаса: «Ибрагим!» Ответа не последовало. Мое сердце оледенело.

— Ибрагим!.. — но только черная ночь и дождь стеной вокруг меня. Он не смог спасти себя? Охрипшим голосом я крикнул еще раз: «Ибрагим!»

Тогда, вне всякого понимания, раздался еле различимый крик издалека: «Здесь... я здесь!»

Теперь ко мне вернулось разумение: как случилось так, что мы настолько далеко разъехались друг от друга?

— Ибрагим!

— Здесь... здесь!

Ведя свою лошадь за поводья и проверяя каждый дюйм земли своими ногами, я шел очень медленно и осторожно навстречу далекому звуку. И вот он Ибрагим, сидит спокойно в своем седле.

— Что случилось с тобой, Ибрагим? Разве ты не наткнулся на болота, как и я?

— Болота?.. Нет, я просто стоял, когда ты внезапно, я не понимаю почему, ускакал галопом прочь.

Ускакал галопом прочь... Головоломка разрешилась. Борьба с болотом была только продуктом моего воображения. Моя лошадь, должно быть, просто вступила на глинистую колею, и я, думая, что нас затягивает в топь, пришпорил жеребца в безумный галоп. Обманутый темнотой я принял движение лошади вперед за отчаянную борьбу с болотом и слепо мчался в ночи, не подозревающий о множестве сучковатых деревьев, которыми усыпана данная местность... Эти деревья, а не болото, были непосредственной реальной угрозой: маленький сучок, который ударил мою руку, мог бы вполне оказаться веткой побольше, которая бы разбила мне череп и таким образом подвела бы итог моему путешествию в виде неотмеченной могилы где-то в южном Иране...

Я был крайне зол на самого себя, вдвойне зол, так как теперь мы потеряли всякое направление и даже не могли подумать о его нахождении. Теперь мы никогда не найдем караван-сарай...

И снова я ошибался.

Ибрагим слез с коня прощупать почву руками и тем самым заново отыскать путь. Он ползал так на четвереньках, когда его голова вдруг ударилась о стену — темную стену караван-сарая Хан-и-Хет!

Если бы не моя воображаемая встреча с болотом, мы бы по-прежнему были в седле, пропустили бы караван-сарай и в действительности бы потерялись в болотах, которые, как мы узнали позже, начинались лишь менее чем в двухстах ярдах в направлении нашего движения...

Караван-сарай был одним из многих разрушившихся остатков эпохи Великого Шаха Аббаса — массивные кирпичные блоки со сводчатыми проходами, зияющими дверными проемами и обвалившимися каминами. Повсюду были различимы следы старинной резьбы на притолах и потрескавшейся плитке майолики. Несколько используемых по назначению комнат были устланы старой соломой и лошадиным пометом. Когда мы с Ибрагимом вошли в главный зал, мы обнаружили смотрителя караван-сарая, сидевшего возле костра на сырой земле. Около него сидел босоногий человек миниатюрного телосложения, увешанный лохмотьями. Оба поднялись на ноги при нашем появлении, и маленький незнакомец торжественно поклонился в изысканной, почти театральной манере, держа правую руку на сердце. Его накидка была покрыта множеством разноцветных заплаток; он был грязен, полностью растрепан, но его глаза светились, и лицо было ясным.

Смотритель вышел позаботиться о наших лошадях. Я сбросил промокшую насквозь тунику, а Ибрагим занялся сразу приготовлением чая на костре. Со снисходительностью великого господина, чье достоинство ничуть не страдает, когда он любезно жалуется своим подчиненным, странный маленький человек благосклонно принял чашку чая, которую Ибрагим протянул ему.

Не выказывая никакой чрезмерной любопытности, как если бы начиная беседу в гостиную, он обратился ко мне:

— Ты англичанин, *джанаб-и-али*?

— Нет, я *намсауи* (австриец).

— Будет ли невежливым спросить, торговля ли привела тебя в эти части света?

— Я пишу для газет, — ответил я. — Я путешествую по вашей стране, чтобы описать ее людям из моей. Им нравится знать, как живут другие люди и что они думают.

Он кивнул с одобрительной улыбкой и впал в безмолвие. Через некоторое время он достал маленький глиняный кальян и бамбуковый стержень из складок своей одежды. Он закрепил стержень на глиняном сосуде, потом он растер что-то вроде табака между своих ладоней и положил это осторожно, как если бы это было дороже золота, в чашу кальяна, накрывая горящими угольками. С видимым усилием он втянул дым через бамбуковый стержень, безудержно кашляя и очищая горло в процессе курения. Вода в глиняном кальяне начала булькать, и едкий запах наполнил комнату. И тогда я узнал, что это — индийская конопля, гашиш. Теперь я также понял причину столь изысканных манер этого человека: он был *хашишаши*, наркоман. Его глаза не были занавешены, как глаза курильщиков опиума, они светились своего рода отрешенной безликой энергией, уставившись далеко вдаль, на расстояния, безмерно удаленные от реального мира вокруг.

Я наблюдал в тишине. Когда наконец он закончил курить, он спросил меня:

— Не хочешь ли попробовать?

Я отказался, поблагодарив его за предложение: я пробовал опиум раз или два (без особого удовольствия), но этот гашиш, казалось, был делом, требующим усилий, и совсем непривлекательным даже для первого раза. *Хашишаши* засмеялся беззвучно, его косые глаза скользили по мне в дружелюбной иронии, когда он сказал:

— Я знаю, о чем ты думаешь, о мой уважаемый друг. Ты думаешь, что гашиш — дело дьявола, и боишься этого. Чепуха. Гашиш — дар от Бога. Очень хорош, особенно для разума. Глянь сюда, *хазрат*, и позволь мне объяснить тебе. Опиум плох, в этом нет никакого сомнения, так как он пробуждает в человеке непреодолимое желание недоступных вещей, он делает мечты человека жадными, как у животного. Но гашиш заставляет умолкнуть всякую алчность и делает человека безразличным ко всему в мире. Вот так! Он делает человека удовлетворенным. Ты можешь поставить груды золота перед *хашишаши*, не только, когда он курит, но в любое время, и он не протянет к нему даже мизинца. Опиум делает человека слабым и трусливым, но гашиш убивает всякий страх и делает человека храбрым как лев. И если бы ты попросил *хашишаши* нырнуть в ледяной ручей в середине зимы, он бы просто нырнул в него со смехом... так как он осознал, что человек без алчности — человек без страха и что, если человек выше страха, он также выше опасности, он знает, что что бы с ним ни произошло, — он лишь часть всего, что происходит...

И он засмеялся снова тем коротким, трясущимся, беззвучным смехом между издевкой и благожелательностью; потом он перестал смеяться и только ухмылялся позади облака дыма с неподвижными глазами, уставленными далеко в бесконечность.

«Моя доля во всем, что происходит...» — думал я с самим собой, лежа под дружелюбными арабскими звездами. «Я — кусочек плоти и кости, переживаний и ощущений — был поставлен внутри Бытия и нахожусь внутри всего, что происходит... „Опасность“ — просто иллюзия: никогда она не может „превзойти“ меня, так как все, что происходит со мной, — лишь часть всеобъемлющего потока, одной из частей которого я сам являюсь. Может ли быть, что опасность и спокойствие, смерть и удовольствие, судьба и удовлетворение — все только различные стороны этого маленького, величественного кусочка, который есть Я? Какую бесконечную свободу, о Господи, Ты даровал человеку...»

Я должен закрыть глаза: так отчетлива боль счастья, возникающая с этой мыслью; и крылья свободы незаметно окутывают меня, прилетевши издалека с дыханием проносящегося по моему лицу ветра.

- 6 -

Теперь я достаточно окреп, чтобы сидеть, и Зейд приносит мне одно из наших седел для верблюдов, на которое можно облокотиться.

— Устраивайся поудобнее, о мой дядя. Мое сердце радуется, когда я вижу тебя в здравии, после того как я оплакивал твою смерть.

— Ты был и остаешься хорошим другом для меня, Зейд. Что бы я делал без тебя все эти годы, если бы ты не отозвался на мое предложение и не пошел со мной?

— Я никогда не сожалел об этих годах с тобой, о мой дядя. Я все еще помню тот день, когда я получил твое письмо, больше пяти лет тому назад, в котором ты звал меня в Мекку... Мысль увидеть тебя снова была приятна мне, в особенности после того, как ты был благодетельствован благословенным Исламом. Но тогда я только что женился на одной из девственных девушек Мунтафика, и ее любовь чрезвычайно радовала меня. Эти иракские девушки, они имеют тонкие талии и жесткие груди, как это, — и улыбаясь воспоминаниям, он жмет указательным пальцем о рукоятку седла, о которое облокотился я, — и тяжело оставлять их объятия... Итак, я сказал себе: «Я поеду, но только не сейчас, подожду еще несколько недель». Но недели прошли и даже месяцы, и хотя я вскоре развелся с той женщиной — дочь собаки, она строила глазки своему кузену! — я не мог решиться покинуть службу в иракском *агайл*, моих друзей и удовольствия Багдада и Басры и всегда говорил себе: «Не сейчас, еще чуть-чуть подожду...» Но в один день, когда я ехал из одного из наших лагерей, в котором я забрал свою месячную плату, и

думал провести ночь в районе, где живут мои друзья, ко мне вдруг на ум пришел ты, и я вспомнил, что ты рассказывал мне в своем письме о смерти своей дорогой *рафика**, да смилуется над ней Всевышний, и я подумал, как тебе, должно быть, одиноко сейчас без нее, и внезапно я осознал, что должен поехать к тебе. И тут же я сорвал иракскую звезду с *игала* и выбросил ее; потом, не заходя даже домой, чтобы собрать одежду, я повернул своего верблюда в сторону Нуфуд, в сторону Наджда, и начал свое путешествие, остановившись только у следующей деревни купить бурдюки с водой и провизию. И так я ехал и ехал, пока не встретил тебя в Мекке четыре недели спустя...

* «Спутница», то есть жена.

— А помнишь ли ты, Зейд, наше первое совместное путешествие вглубь Аравии, на юг к пальмовым садам и пшеничным полям Уади Биша и оттуда к пескам Ранья, по которым никогда ранее не ступала нога неараба?

— О как хорошо я помню это путешествие, о мой дядя! Ты так стремился увидеть Пустую Четверть**, где джинны заставляют песок петь под солнцем... А помнишь, как те *баду*, живущие на ее окраине и не выдавшие в своей жизни стекла, думали, что очки сделаны из замерзшей воды? Они сами были словно джинны: читали следы на песке, как другие люди читают книгу, и по небу и воздуху они предсказывали надвигающуюся песчаную бурю за часы до ее появления... И помнишь ли ты, о мой дядя, того проводника, которого мы наняли в Ранья, — тот дьявол *бадауи*, которого ты хотел пристрелить, когда тот уже было покинул нас посреди пустыни? Как взбесил его тот аппарат, с помощью которого ты делаешь снимки!

** Ар-Руб' Аль-Хали — обширная, незаселенная песчаная пустыня, которая покрывает около четверти Аравийского полуострова.

Мы оба смеемся над приключениями, которые лежат так далеко позади нас. Но в свое время мы совсем не чувствовали охоты к смеху. Мы были в шести или семи днях пути к югу от Рияда, когда тот проводник — фанатичный бедуин из одного из поселений *Ихван*, а именно Ар-Райн, — впал в припадок ярости после того, как я объяснил ему, для чего нужен мой фотоаппарат. Он захотел покинуть нас тут же, потому что такое языческое сотворение образов подвергало опасности его душу. Я бы не возражал отделаться от него, не будь мы тогда в местности, с которой ни я, ни Зейд не были знакомы и где, оставшись одни, мы бы точно потеряли наш курс. Сначала я пытался рассуждать с нашим «дьяволом-бедуином», но все напрасно: он оставался непреклонным и повернул своего верблюда обратно в Ранья. Я ясно дал ему понять, что оставить нас умирать здесь от жажды — почти неизбежный исход — будет стоить ему его собственной жизни. Когда, несмотря на это предупреждение, он начал выдвигаться обратно, я нацелил свое ружье на него и пригрозил выстрелить с серьезным намерением сделать именно так. Последнее наконец перевесило заботу нашего друга о своей душе. Поворчав немного, он согласился отвести нас в ближайшее большое поселение, около трех дней пути от нашего расположения, где мы смогли бы предстать перед местным *кади*, чтобы разрешить наш спор. Зейд и я обезоружили его и по очереди следили ночью за тем, чтобы он не удрал от нас. *Кади* в Кува'ийа, к которому мы обратились несколько дней спустя, поначалу рассудил в пользу нашего проводника, «так как, — заявил он, — позорно делать образы живых существ» (основываясь на неправильной интерпретации высказывания Пророка, ведь несмотря на это верование, так широко распространенное среди мусульман по сей день, в то, что изображение живых существ запрещено, исламский закон не содержит каких-либо предписаний на этот счет). Тогда я показал *кади* открытое письмо от короля «всем амирам этой земли и всем, кто только прочитает это», и лицо *кади* поменялось и вытягивалось все сильнее и сильнее по мере того, как он читал: «Мухаммад Асад — наш гость и дорогой друг, и каждый, кто выкажет ему дружелюбие, выкажет его нам, и каждый, кто будет враждебен к нему, будет считаться врагом для нас...» Слова Ибн Сауда и его печать оказали магический

эффект на строгого *кади*, и он в конце концов решил, что «в определенных обстоятельствах» возможно делать снимки. Как бы то ни было, мы отпустили нашего проводника и наняли другого для сопровождения нас в Рияд.

— А помнишь ли ты те дни в Рияде, о мой дядя, когда мы были гостями у короля и тебя так печалило видеть старые конюшни дворца заполненными блестящими новыми мотоциклами?.. И великодушные короля по отношению к тебе...

— А помнишь ли ты, Зейд, как он послал нас раскрыть секреты бедуинского восстания и как мы ехали много ночей, затем тайком пробрались в Кувейт и наконец раздобыли правду о ящиках с новыми блестящими *риялами* и винтовками, которые поступали к бунтовщикам из-за моря?..

— И другая миссия, о моя дядя, когда Сайид Ахмад — да продлит Господь его жизнь! — послал тебя в Киренаику и как мы пересекли море на *дау*, направляясь в Египет, и как мы пробрались к Джабал Ахдар, избегая бдительности тех итальянцев — да будут они прокляты! — и присоединились к *муджахидин* под руководством Умара аль-Мухтара? То были захватывающие дни!

И так мы продолжаем напоминать друг другу о тех многочисленных днях, бесчисленных днях, которые мы провели вместе, и наше «А помнишь ли ты? А помнишь ли ты?» заводит нас в глубокую ночь, когда огонь костра начинает мерцать все меньше и меньше и только несколько кусочков древесины остаются гореть, и лицо Зейда отступает в тень, и само превращается в подобие воспоминания для моих тяжелых глаз.

В освещенной светом звезд тишине пустыни с нежным теплым ветром, покрывающим рябью дюны, образы прошлого и настоящего переплетаются и снова разъединяются, взывая друг к другу чудесными звуками воплощения из памяти, уносящего назад во времени, назад в первые мои годы в Аравии, к моему первого паломничеству в Мекку и темноте, которая затеняет те первые годы, — смерти женщины, которую я любил так, как не

любил ни одну женщину после, и которая теперь покоится под землей Мекки, под простым камнем без надписи, который знаменует конец ее дороги и начало новой дороги для меня: конец и начало, зов и эхо странно переплетены в скалистой долине города Мекка...

— Зейд, есть ли еще немного кофе?

— Как только прикажешь, о мой дядя, — отвечает Зейд. Он поднимает без спешки высокий и узкий кофейник в своей левой руке, и две мелкие чашечки без ручек звенят в его правой руке: одна для меня, другая для него; он выливает немного кофе в первую чашечку и протягивает ее мне. Из тени, отбрасываемой клетчатой красно-белой *куфией*, его глаза смотрят на меня серьезным видом, как будто дело намного важнее, нежели просто чашечка кофе. Эти глаза, их глубокая посадка и длинные ресницы — они, строгие и печальные в покое, всегда готовые взорваться внезапным весельем, говорят о сотнях поколений жизни в степи и свободе: глаза человека, чьи предки никогда не были эксплуатируемы и не эксплуатировали других. Но самое чарующее в нем — это его движения: спокойные, чувствующие свой собственный ритм; ни спешки, ни колебания не увидеть в них — точность и бережливость, напоминающие взаимодействие инструментов в хорошо скоординированном симфоническом оркестре. Такие движения часто можно видеть среди бедуинов; скудность пустыни отражена в них. Ведь не считая нескольких городов и деревень, жизнь в Аравии настолько мало была подвержена влиянию людских рук, что природа в своей строгости принудила человека избегать всякой распространенности в поведении и свести все телодвижения, диктуемые его волей или внешней потребностью, к нескольким, весьма определенным, базовым формам, которые оставались неизменными на протяжении бесчисленного количества поколений и которые приобрели со временем остроту однородного кристалла. И эта врожденная простота действий теперь очевидна в правильных жестах араба, а также в его отношении к жизни.

— Скажи мне, Зейд, куда мы направляемся завтра?

Зейд смотрит на меня с улыбкой:

— К чему это, о мой дядя? К Тейме, конечно...

— Нет, брат, я хотел идти в Тейму, но не теперь. Мы едем в Мекку...

II. Начало пути

- 1 -

Почти вечер, несколько дней спустя после моей схватки с жаждой, мы с Зейдом прибываем к маленькому забытому оазису, где мы намереваемся провести ночь. Под лучами заходящего солнца песчаные холмы на востоке сверкают подобно массе агата с отливом, с бесконечно сменяющимися пастельными оттенками и приглушенным отблеском света, таким утонченным в цвете, что даже глаз, кажется, совершает преступление по отношению к нему, так как может проследить лишь едва уловимый поток теней в сторону нарастающей серости сумерек. Все еще можно видеть пернатые оконечности пальм и наполовину спрятанные за пальмами, невысокие, глиняно-серые дома и стены сада; и деревянные колеса над колодцами все еще поют.

Мы останавливаем наших верблюдов на некотором расстоянии от деревни, под пальмами, снимая тяжелые сумки и седла с горячих спин животных. Несколько уличных мальчуганов собираются вокруг незнакомцев, и один из них, маленький большеглазый мальчик в изорванной тунике, предлагает Зейду показать место, где можно раздобыть дров для костра; и пока они вдвоем отправляются за дровами, я веду верблюдов к колодцу. В то время как я опускаю кожаное ведро в колодец и вытягиваю его наполненным обратно вверх, несколько женщин

приходят из деревни набрать воды в медные чаши и глиняные кувшины, которые они свободно несут на своих головах с разведенными в стороны руками, немного приподнятыми для лучшего равновесия и придерживающими уголки вуали, что создает впечатление крыльев, готовых к взмаху.

— Да пребудет с тобой мир, о странник, — говорят они.

И я отвечаю:

— И вам мир и благословение Господа.

У них черные одежды, а их лица, как почти везде у бедуинских и оседлых женщин в этой части Аравии, неприкрыты, так что можно видеть их большие черные глаза. Хотя они основались в оазисе уже многие поколения назад, они не утратили истинные манеры своих предков из кочевого прошлого. Их движения — отчетливые и точные; их сдержанность лишена застенчивости, когда они берут веревку для ведра из моих рук и помогают набрать воды для моих верблюдов — точно так же, как четыре тысячи лет назад та женщина помогла у колодца слуге Авраама, когда тот пришел из Ханаан найти жену из числа людей Паддан Арам для сына своего господина, Исаака.

Он поставил на колени своих верблюдов за городской стеной возле колодца с водой в вечернее время — время, когда женщины выходят набрать воды.

И сказал он: «О Господи, Бог моего господина Авраама, я молю Тебя, пошли мне успех сегодня и вырази милость Свою моему господину Аврааму. Вот я стою здесь возле колодца, и дочери этого города выходят набрать воды. Дай пройти мимо меня той из них, которой я скажу: „Поставь свой кувшин, я прошу тебя, чтобы я мог испить из него“, — а она скажет: „Пей, я также напою твоих верблюдов“. И пусть та самая девушка будет той, которую Ты определил для Твоего раба Исаака. И так я узнаю, что Ты выказал милость Свою моему господину.»

И так случилось, что до того, как он кончил говорить, — и вот Ребекка вышла с кувшином на плечах. Девушка была очень красива для взора смотрящего на нее, девственна, никто из мужчин не знал ее. Она подошла к колодцу, набрала воды в кувшин и начала приближаться.

И слуга побежал навстречу к ней и сказал: „Позволь мне, я прошу тебя, испить немного воды из твоего кувшина“. И ответила она: „Испей, мой господин“. И она заторопилась, и спустила кувшин на руку, и дала ему воды. И когда она напоила его, она сказала: „Я также наберу воды для твоих верблюдов и напою их“. И она заторопилась, и вылила воду из кувшина в корыто, и побежала снова к колодцу набрать воды, и набрала для всех его верблюдов...

Эта библейская история проплывает в моей голове, в то время как я стою с двумя верблюдами перед колодцем маленького оазиса посреди песков Великой Нуфуд и гляжу на этих женщин, которые взяли у меня веревку для ведер и теперь набирают воды для моих животных.

Как далеко от нас страна Паддан Арам и время Авраама, но эти женщины силой вызываемых их величавыми жестами воспоминаний стирают всякое расстояние и превращают четыре тысячи лет в ничто по шкале времен.

— Да благословит Всевышний ваши руки, сестры, и сохранит вас.

— И ты, о странник, да пребудешь под Божьей защитой, — отвечают они и поворачиваются к своим кувшинам и чашам, чтобы наполнить их водой для своих домов.

По возвращении в наш лагерь я усаживаю верблюдов на колени и завязываю их передние ноги во избежание ночных блужданий. Зейд уже развел костер и занят приготовлением кофе. Вода кипит в высоком медном кофейнике с длинным изогнутым носиком; похожий кофейник, но меньших размеров,

стоит готовый у локтя Зейда. В своей левой руке он держит огромную плоскую стальную ложку с полуметровой ручкой, в которой он жарит горсть кофейных зерен на малом огне, так как в Аравии кофе жарится непосредственно перед каждым приготовлением. Как только зерна слегка темнеют, он кладет их в медную ступку и растирает. После этого он выливает немного кипящей воды из большого кофейника в малый, высыпает порошок из растертых зерен в него и оставляет его медленно кипеть возле огня. Когда кофе почти готов, он добавляет в него несколько зерен кардамона, который делает его более горьким, ведь, как говорят в Аравии, кофе, чтобы быть хорошим, должен быть «горьким, как смерть, и горячим, как любовь».

Но я все еще не готов к досугу с чашечкой кофе. Уставший и вспотевший после долгих и жарких часов в седле, с грязной одеждой, липнущей к моему телу, я мечтаю о ванне, поэтому я решаю прогуляться обратно к колодцу под пальмами.

Уже темно; пальмовые сады безлюдны, только вдалеке, где стоят дома, лает собака. Я скидываю свои одежды и залезаю в колодец, держась ногами и руками за выступы и расщелины в кирпичной кладке и поддерживая себя веревками, на которых висят кожаные ведра, — вниз к темной воде, прямо в нее. Холодная вода, и я по грудь в ней. Возле меня в темноте висят веревки, натянутые вертикально под грузом больших, теперь погруженных в воду кожаных ведер, которые в дневное время используются для полива плантации. Под ногами я чувствую тонкую струйку воды, выходящую из подземного источника, который наполняет колодец медленным, непрерывающимся потоком бесконечного обновления.

Ветер гудит надо мною между округлыми стенами колодца, а его внутренняя часть еле-еле отражает звук, подобно морской ракушке, если приложить ее к уху, — большая гудящая ракушка, какую я любил слушать в отцовском доме много-много лет тому назад, ребенок, едва доросший до стола, чтобы заглянуть через него. Я прижимал ракушку к уху и желал знать, всегда ли звук находится там или только тогда, когда я прикладываю ее к уху. Было ли это чем-то независимым от меня или мое слушание

приводило к звуку? Много раз я пытался обхитрить ракушку, держа ее поодаль так, чтобы гул прекратился, и тогда резко приложить ее обратно к уху, но снова появлялся этот гул. И я так и не смог понять, существует ли звук, когда я не слушаю.

Я не знал тогда, конечно, что я был озадачен вопросом, который озадачивал гораздо более светлые умы, чем мой, на протяжении многих веков, — вопрос о том, существует ли такая вещь как «реальность» отдельно от нашего разума или наше восприятие создает ее. Я не знал этого тогда, но, когда смотрю назад, мне кажется, что эта великая загадка терзала меня не только в моем детстве, но и позднее, так же как, вероятно, она терзала в то или иное время, сознательно или подсознательно, каждого мыслящего человека, так как, чем бы ни была объективная истина, каждому из нас мир представляется только через форму и в пределах его отражения в нашем сознании, и, таким образом, каждый из нас может ощущать «реальность» только в соединении со своим собственным существованием. Здесь, возможно, находится действительное объяснение неизменной веры человека, начиная с самых ранних шевелений его сознания, в жизнь индивидуума после смерти — вера слишком глубокая и слишком широко встречающаяся во все времена и у всех народов, чтобы легко быть отброшенной как «принятие желаемого за действительное». Вероятно, можно даже сказать, что она была неизбежным условием самой структуры человеческого сознания. Полагать абстрактно, теоретически свою собственную смерть как абсолютное исчезновение несложно, но визуализировать ее — невозможно, так как это означало бы, как минимум, представить исчезновение всякой реальности как таковой, другими словами, представить ничто — то, что ни один человек не в состоянии сделать.

Не философы и пророки научили нас верить в жизнь после смерти: все, что они сделали, — наделили формой и духовной составляющей все инстинктивные ощущения, древние, как сам человек.

Я улыбаюсь внутри: так неуместно рассуждать о таких глубоких проблемах, когда занят мирским процессом вымывания глубоко въевшейся грязи и пота от долгого дня в дороге. Но, в конце концов, всегда ли можно различить границу между мирским и глубокомысленным в жизни? Существует ли что-либо более мирское, чем, например, отправление на поиски пропавшего верблюда, и что-либо более глубокомысленное, более сложное для понимания, нежели верная смерть от жажды?

Возможно, шок пережитого мною обострил мои чувства и обнаружил нужду воздать должное самому себе — нужду постигнуть, полнее, чем когда-либо до этого, ход моей собственной жизни. Но — опять я напоминаю себе — может ли кто-нибудь в действительности постигнуть смысл своей собственной жизни, пока он жив? Мы знаем, конечно, что случилось с нами в тот или иной период нашей жизни, и мы иногда понимаем, почему это произошло; но наше назначение, или судьба, не так легко распознаваемо, так как судьба — это все, что движется в нас и движет нами, прошедшее и настоящее, и все, что будет двигать нас и двигаться в нас в будущем, поэтому она может раскрыться только в конце пути и должна всегда оставаться неправильно или только наполовину понятой до тех пор, пока мы вышагиваем наш путь.

Как могу я сказать в возрасте тридцати двух лет, что моя судьба есть или была такое?

Иногда я думаю, что я могу различить жизни двух людей, когда я оглядываюсь назад на свою жизнь. Но, если подумать, на самом ли деле те две стороны моей жизни так отличны одна от другой, или, возможно, под всеми внешними различиями формы и направления всегда были единство чувства и цель, общая для обеих?

Я поднимаю голову и вижу круглый кусок неба и звезды над ободом колодца. Так как я стою неподвижно уже очень долго, мне кажется, что я вижу, как звезды медленно сменяют местоположение, двигаясь безостановочно в нескончаемом потоке времени — одна вереница миллионов лет за другой. И

тогда, без особого усилия, мне приходит на ум та вереница лет, которую прожил я: все те тусклые годы, проведенные в теплой безмятежности детства и уютных комнат в городе, где каждый закоулок и улица были знакомы мне; затем — в других городах, полных волнения, желаний и надежд, таких, которые знает только ранняя юность; затем — в новом мире среди людей, чья внешность и поведение казались странными поначалу, но со временем породили новую близость и новое чувство дома; потом — в чужеземных пейзажах-незнакомцах, в городах, древних, как разум человека, в степях без конца и края, в горах, целина которых напоминает девственность человеческого сердца, и в одиночестве горячих пустынь; и новые истины — новые для меня — и тот день в снегах Хинду-Куш, когда после долгого разговора афганский друг воскликнул в удивлении: «Да ты же мусульманин, только вот ты сам того не понимаешь!»; и другой день, месяцы спустя, когда я узнал это сам; и мое паломничество в Мекку; смерть моей жены, и отчаяние, последовавшее за этим, и эти бесконечные мгновения среди арабов сразу после всего этого: годы глубокой дружбы с человеком королевской крови, который своим мечом отделил для себя государство из ничего и остановился лишь в одном шаге от настоящего величия; годы блуждания по пустыням и степям; рискованные вылазки посреди воюющих бедуинских кланов Аравии и участие в ливийском сражении за независимость; долгие пребывания в Медине, где я старался подвести итог изучению Ислама в Мечети Пророка; многократное паломничество в Мекку; женитьбы на бедуинских девушках и последующие разводы; теплые человеческие отношения и унылые дни одиночества; сложные дискуссии с образованными мусульманами со всех частей света и путешествия по неизведанным землям — все эти годы погружения в мир, весьма отдаленный от мыслей и намерений западного существования.

Какая длинная вереница лет...

Все эти затонувшие годы теперь всплывают на поверхность, раскрывают свои лица еще раз и вызывают ко мне множеством голосов. И вдруг, с толчком испуга в своем сердце, я осознаю,

насколько длинным, бесконечным был мой путь. «Ты все только ехал и ехал, — говорю я себе. — И ты все еще не выстроил чего-либо из своей жизни, такого, что бы можно было охватить руками, и никогда не было ответа на вопрос „куда?“. Ты все едешь и едешь, странник во многих землях, гость у многих очагов, но стремление твое не утихло, и, хотя ты и не чужой более, ты не пустил нигде корней...»

Почему же это так? Почему, даже найдя свое место среди людей, которые верят в то, во что я сам стал верить, я до сих пор не пустил корней?

Два года назад, когда я женился на арабке в Медине, я захотел, чтобы она родила мне сына. Через сына, Таляля, который родился несколько месяцев назад, я начал чувствовать, что арабы — моя родня, а не только братья по вере. Я хочу, чтобы он пустил свои корни глубоко в этой земле и вырос, сознавая свое великое наследие в крови и культуре. Этого, как можно подумать, должно быть достаточно для того, чтобы успокоить человека, дать ему воспользоваться благами постоянного очага, построенного для себя и своей семьи. Почему же тогда мои блуждания не закончены, и мне все еще необходимо продолжать свой путь? Почему жизнь, которую я сам избрал для себя, не удовлетворяет меня полностью? Что недостающее я нахожу в этой среде? Однозначно не интеллектуальные интересы Европы. Я оставил их позади и не испытываю потребности в них. В самом деле, я так удален от них, что мне все сложнее писать для европейских газет, которые платят мне мое жалование; каждый раз, как я отсылаю статью, это похоже на метание камня в бездонный колодец: камень исчезает в темную пустоту, и даже эхо не вернется, чтобы оповестить меня о том, достиг ли он цели...

И пока я рассуждаю так, взволнованный и беспокойный, погруженный наполовину в темную воду колодца в одиноком оазисе где-то в Аравии, я вдруг слышу голос, доносящийся из глубин моей памяти, — голос старого курдского кочевника: «Стоячая вода портится и становится мутной, но, когда она движется и течет, она проясняется — так и человек в своих

странствиях». И тогда, как по волшебству, все беспокойство мое исчезает. Я начинаю смотреть на самого себя издалека, как смотрят на страницы книги, чтобы извлечь сюжет из нее. Я начинаю понимать, что моя жизнь не могла бы пойти другим путем. Так как, если я спрошу себя о том, каков суммарный итог моей жизни, что-то во мне отвечает: «Ты отправился обменивать один мир на другой: получить новый мир для себя в обмен на старый, которым ты никогда в действительности не владел». И я понимаю с пугающей ясностью, что такой обмен в самом деле может занять всю жизнь.

Я взбираюсь наверх, надеваю чистую длинную тунику, которую я принес с собой, и иду обратно к костру, где ожидает Зейд с верблюдами; я выпиваю горький кофе, который Зейд предлагает мне, и потом ложусь возле костра на землю, согретый и освеженный.

- 2 -

Я лежу, скрестив руки под шеей, и гляжу на это аравийское небо, которое изгибается надо мной, черное и звездное. Падающая звезда летит по огромной дуге, и еще одна, и еще: дуги света пронзают темноту. Просто ли осколки разрушенных планет, фрагменты каких-то космических катастроф, теперь бесцельно летающие на просторах вселенной? О нет, если вы спросите Зейда, он скажет вам, что они — огненные копья, которыми ангелы отгоняют дьяволов, втихомолку поднимающихся в определенные ночи к небу, чтобы выведать Божьи тайны... Может, это даже сам Иблис, король всех дьяволов, только что получил тот мощный огненный удар там на востоке?..

Легенды, ассоциирующиеся с этим небом и звездами, более знакомы мне, чем родной дом из моего детства...

Как же это может быть иначе? С самого моего приезда в Аравию я жил как араб, одевал только арабские одежды, говорил и грезил только на арабском; арабские обычаи и представления почти незаметно сформировали мои мысли; меня не смущали многие мысленные оговорки, которые обычно не дают возможности иностранцу — будь он даже весьма хорошо обучен манерам и языку страны — найти подход к чувствам людей этой самой страны и сделать их мир своим.

Внезапно на меня находит смех счастья и свободы, и я начинаю смеяться во весь голос так громко, что Зейд смотрит на меня в удивлении, а мой верблюд поворачивает свою голову в мою сторону в медленном, немного надменном движении, ведь теперь я понимаю, насколько простой и прямой, несмотря на всю ее длину, была моя дорога — дорога из мира, которым я не владел, в мир действительно мой.

Мой приход в эти земли... разве не был он поистине возвращением домой, возвращением на родину для сердца, которое распознало свой древний дом, бывший таковым многие тысячи лет назад, и теперь приветствует это небо, мое небо, с мучительным весельем? Ведь это аравийское небо — намного темнее, выше, праздничнее красотой своих звезд, нежели любое другое небо, — высылось сводом над длинным переселением моих предков, тех странствующих пастухов и воинов, когда тысячи лет назад они отправились на заре своего могущества, одержимые жаждой земли и трофеев, к плодородной стране Халдея и неизвестному будущему, — то маленькое бедуинское племя евреев, предков того человека, который родился в Уре Халдейском.

Тот человек, Авраам, на самом деле не был родом из Ура. Его племя было одним из многих аравийских племен, которые в тот или иной период времени проложили свой путь из голодных пустынь полуострова к сказочным северным странам, о которых рассказывали, что в них растекаются молочные и медовые реки, — заселенные земли Плодородного полумесяца, Сирии и Месопотамии. Иногда эти племена успешно превосходили поселенцев, которых они находили в новых землях, и

становились сами правителями на их территориях, постепенно перемещиваясь с покоренными нациями и преобразаясь вместе с ними в новые: так было с ассирийцами и вавилонянами, которые построили свои царства на руинах предшествовавших шумеров, или в случае халдеев, которые выросли в силе в Вавилоне, или амореев, которые позднее стали известны под именем хананеев в Палестине и финикийцев на берегах Сирии. С другой стороны, приходящие кочевники иногда были слишком слабы, чтобы покорить тех, кто прибыл ранее, и были присоединены ими; или же более ранние поселенцы вытесняли кочевников обратно в пустыню, заставляя их искать другие места для пропитания и, возможно, другие земли для завоевания. Клан Авраама, чье подлинное имя в соответствии с Бытием было *Аб-Рам*, что на древнем арабском языке означает «человек высокого запроса», был, очевидно, одним из тех слабых племен. Библейская история их пребывания в Уре, на окраине пустыни, относится ко времени, когда они обнаружили, что не могут найти для себя новых домов на земле рек-близнецов, и собирались двинуться на северо-запад вдоль Евфрата к Харрану и оттуда в Сирию.

Тот «человек высокого запроса», тот давний мой предок, которого Бог послал в неизведанные пространства для обнаружения своей собственной сущности, понял бы прекрасно, почему я здесь, ибо ему также пришлось странствовать по многим землям, прежде чем он смог выстроить из своей жизни что-то, что можно охватить руками, и быть гостем у многих очагов, прежде чем ему было дозволено пустить корни. Для его внушающего страх опыта моя озадаченность не была бы проблемой. Он бы знал, как знаю теперь я, что смысл всех моих исканий лежал в скрытом желании быть в согласии с собой и с миром, подход которого к сокровенным вопросам жизни, самой реальности был отличным от всего, к чему я привык со времени моего детства и юности.

Какой длинный путь — из моего детства и юности в центральной Европе к моему настоящему в Аравии; но какой приятный для воспоминаний и мысленных путешествий назад в прошлое...

Я вспоминаю те годы раннего детства, проведенные в польском городе Львове, тогда в числе владений Австрии, в доме, бывшем тихим и величавым, как улица, на которой он располагался, — длинная улица, сероватая и изящная, с рядами каштанов по краям, вымощенная деревянными блоками, которые приглушали стук копыт лошадей, превращая каждый час дня в ленивое время после обеда. Я любил эту красивую улицу с осознанием, выходящим далеко за пределы моих юных лет, и не просто потому, что это была улица моего детства. Я любил ее, как мне кажется, из-за атмосферы неизменного благородства, с которым она тянулась из пышного центра того самого пышного из городов к спокойствию леса на окраине города и большому кладбищу, которое было спрятано в том самом лесу. Красивые экипажи иногда пролетали на бесшумных колесах под аккомпанемент копыт, отстукивающих оживленное и ритмичное *тап-тап*, или, если дело было зимой и улица была покрыта снегом по щиколотку, сани скользили по снежному покрову, и клубы пара выходили из лошадиных ноздрей, а в морозном воздухе раздавался звон их колокольчиков. А если ты сам сидел в санях и чувствовал, как морозный поток проносится мимо тебя и кусает за щеки, твое детское сердце знало, что мчащиеся лошади несут тебя прямо в счастье, которое не знает ни начала ни конца.

Я помню также летние месяцы в деревне, где отец моей матери, богатый банкир, имел поместье для своей большой семьи; маленький спокойный ручей с ивами по берегам; хлев, полный безмятежных коров, и таинственное сочетание запаха животных и сена со смехом славянских девушек-крестьянок, занятых по вечерам доением. Я, бывало, пил пенящееся теплое молоко прямо из ведер: не потому, что испытывал жажду, но потому, что мне было ужасно интересно пить то, что было все еще так близко к своему животному источнику... Я помню те жаркие августовские дни, проведенные в поле с рабочими, занятыми покосом пшеницы, и женщинами, собирающими ее в снопы, —

молодые женщины, на которых было приятно глядеть: плотное тело, полная грудь, твердые и теплые руки, силу которых можно было ощущать, когда они играючи опрокидывали и перекачивали тебя между стогами сена в полдень. Конечно, я был слишком мал, чтобы делать дальнейшие умозаключения на основе подобных объятий и смеха...

Я помню также путешествия с родителями в Вену и Берлин, в Альпы и Богемские леса, на Северное и Балтийское моря — места настолько отдаленные, что они казались почти новыми мирами. Каждый раз, как мы собирались в одно из таких путешествий, первый свисток паровоза и первый толчок колес заставляли твое сердце останавливаться в ожидании чудес, которые с этого момента были готовы сами разворачиваться перед тобой... Помню товарищей по игре, мальчишек и девчонок, брата и сестру, множество двоюродных братьев и сестер; прекрасные воскресенья с ощущением свободы после тусклых, хотя и не очень трудных, дней в школе: пешие прогулки в сельской местности, первые тайные встречи с привлекательными сверстницами и румянец от незнакомого волнения, проходящий только после долгой череды часов...

Это было счастливое детство, даже теперь, когда думаешь о нем в ретроспективе. Мои родители жили в комфортных условиях, они жили для своих детей. Безмятежность и полное спокойствие моей матери, должно быть, оказали влияние позднее на легкость, с которой я был в состоянии адаптироваться к незнакомым и порой самым неблагоприятным обстоятельствам; внутренняя неутомимость моего отца, возможно, отразилась и на мне.

Если описывать моего отца, то можно сказать, что этот прекрасный, долговязый, среднего роста человек с темным цветом лица и черными пылкими глазами был не совсем под стать своему окружению. В своей ранней юности он мечтал посвятить свою жизнь науке, в особенности физике, но так и не смог воплотить свою мечту в жизнь и вынужден был довольствоваться должностью юриста. И хотя он был успешен в

своей профессии, в которой его острый ум находил привлекательные своей сложностью проблемы, он не смог полностью смириться с ней; и атмосфера одиночества окружала его, навеянная всегда присутствующим осознанием того, что его истинное призвание обошло его стороной.

Его отец был ортодоксальным раввином в Черновцах, столице тогдашней австрийской провинции Буковина. Я все еще помню этого элегантного пожилого человека с изящными руками и нежным лицом, обрамленным длинной белой бородой. Одновременно с его глубоким интересом в математике и астрономии, которые он изучал в свободное время на протяжении всей своей жизни, он был одним из лучших игроков в шахматы в округе. Возможно, это служило основанием для его длительной дружбы с архиепископом Греческой Православной церкви, также видного игрока в шахматы. Двое проводили много вечеров вместе за игровой доской и непременно завершали свои заседания дискуссиями о метафизических положениях религий, которые они представляли. Можно предположить, что с такими наклонностями мой дед одобрил бы тягу своего сына — моего отца — к наукам. Однако в действительности он решил с самого начала, что его старший сын продолжит раввинскую традицию, которая продолжалась в семье несколько поколений, и не хотел даже рассматривать никакую другую карьерную возможность для моего отца. В этом своем решении он, должно быть, утвердился за счет семейной тайны, накладывающей печать позора на родословную семьи, — своего дяди, то есть моего двоюродного прадеда, который «предал» традицию семьи самым необыкновенным способом и даже отвернулся от религии своих праотцов.

Тот почти мифический прадед, чье имя никогда не произносили вслух, казалось, был воспитан в тех же самых строгих традициях семьи. В очень раннем возрасте он стал полноправным раввином и женился на женщине, которую он, очевидно, не любил. Так как профессия раввина не приносила достаточного дохода в те дни, он приторговывал мехом, что требовало раз в год посещения центрального пушного рынка Европы в

Лейпциге. В один день, когда ему было около двадцати пяти лет, он отправился на конной повозке (это было в первой половине девятнадцатого века) в одно из таких длинных путешествий. В Лейпциге он распродал свой товар, как обычно; но вместо того, чтобы возвратиться домой, как обычно, он продал также повозку и лошадь, сбрил свою бороду и пейсы и, забыв свою нелюбимую жену, поехал в Англию. Некоторое время он подрабатывал где придется, изучая астрономию и математику по вечерам. Какой-то покровитель, видимо, распознал его умственные таланты и помог с поступлением в Оксфорд, откуда он вышел несколько лет спустя выдающимся ученым, обращенным в христианство. Сразу после того, как он послал письмо, уведомляющее его еврейскую жену о разводе, он женился на девушке из числа «иноверных». Немногое стало известно нам о его дальнейшей жизни, не считая того, что он достиг внушительного признания как астроном и университетский преподаватель и закончил свои дни с благородством.

Этот ужасающий пример, кажется, убедил моего деда принять весьма строгую позицию относительно наклонностей моего отца к изучению «иноверных» наук: он должен был стать раввином, и точка. Мой отец, однако, не был готов уступить так легко. Тогда как он изучал Талмуд в дневное время, он проводил часть своих ночей, изучая в тайне от всех и без учителя программу гуманитарной гимназии. В свое время он доверил свой секрет матери. Хотя тайное обучение сына тяготило ее совесть, щедрая натура заставила ее понять, что было бы жестоко лишать его шанса последовать за желанием сердца. В возрасте двадцати двух лет, после завершения восьмилетнего курса гимназии за четыре года, мой отец предстал перед аттестацией на степень бакалавра и прошел ее с отличием. С дипломом в руках он и его мать осмелились раскрыть ужасную новость моему деду. Я могу представить драму, последовавшую за этим, но результатом всего было то, что мой дед в конечном счете уступил и смирился с тем, что мой отец оставит карьеру раввина и вместо этого поступит в университет. Финансовое положение семьи, однако, не позволяло ему обучаться любимому предмету, физике, и он вынужден был пойти по более выгодной стезе — правоведение

— и со временем стал юристом. Несколько лет спустя он осел во Львове, в восточной Галиции, и женился на моей матери, одной из четырех дочерей богатого местного банкира. Там, летом 1900 года, родился я, второй из трех детей.

Неудовлетворенная страсть моего отца выразилась в постоянном чтении научной литературы и, возможно, также в своеобразной, хотя и скрытой, любви к своему второму сыну, то есть ко мне, который тоже, казалось, был более заинтересован в предметах, не связанных непосредственно с зарабатыванием денег и успешной «карьерой». Как бы то ни было, его надеждам сделать из меня ученого не суждено было оправдаться. Я не был глуп, но я был равнодушным учеником. Математика и естествознание были особенно скучны для меня; я читал с куда большим удовольствием волнующие исторические романы Сенкевича, фантастику Жюль Верна, истории краснокожих индейцев Джеймса Фенимора Купера и Карла Майа и, позднее, стихи Рильке и торжественные ритмы «Так говорил Заратуштра». Таинства тяготения и электричества, не менее чем латинская и греческая грамматика, не трогали моего сердца, и, как результат, я едва сдавал экзамены, проходя с минимальными оценками. Это, должно быть, служило сильным разочарованием для моего отца, но, вероятно, он находил некоторое утешение в том, что мои учителя всегда были удовлетворены моими способностями в литературе, польской и немецкой, и истории.

В соответствии с традициями нашей семьи я получил посредством интенсивных домашних занятий с репетиторами базовые знания иудейской религии. Это не было следствием какой-то особенной религиозности моих родителей. Они принадлежали к поколению, которое лишь на словах поддерживало ту или иную религию, сформировавшую жизнь их предков, но не делало ни единой попытки к построению своей жизни или формулированию своих этических норм в соответствии с учением религии своих праотцов. В таком обществе само понятие религии выродилось в одно из двух типов понимания: безжизненные ритуалы тех, которые по привычке — и только по привычке — держались своего

религиозного наследия, или циничное безразличие более «либеральных», которые рассматривали религию как старомодное суеверие, которому внешне можно иногда следовать, но которого следует втайне стыдиться, как стыдятся того, что интеллектуально несостоятельно. По внешним признакам мои родители принадлежали к первой категории; но порой у меня появлялось небольшое подозрение, что по крайней мере мой отец склонялся ко второй. Тем не менее из почтительности к своему отцу и тестю он настаивал на том, чтобы я корпел над священными письменами. Итак, когда мне исполнилось тринадцать, я не только умел бегло читать на иврите, но также свободно разговаривал на нем и вдобавок имел приличное знание арамейского (что, возможно, позднее повлияло на легкость, с которой я выучил арабский язык). Я изучал Старый Завет в оригинале; ознакомился с *Мишной* и *Гемарой*, то есть текстом и комментариями к Талмуду; я мог рассуждать с большой уверенностью в себе о различиях между Вавилонским и Иерусалимским Талмудами; и я углублялся в сложности библейского экзегеза, *Таргума*, как если бы мне было предназначено стать раввином.

Несмотря на всю эту начинавшую пускать ростки религиозную мудрость или, возможно, в результате нее, во мне вскоре развилось довольно надменное чувство ко многим постулатам иудейской веры. Сказать точнее, я не спорил с учениями о моральных принципах и праведности, которым придается так много значения в иудейских священных книгах, также мне было понятно возвышенное осознание Бога у иудейских пророков, но мне казалось, что Бог Старого Завета и Талмуда был чрезмерно озабочен ритуалом, посредством которого верующие в Него должны были поклоняться Ему. Мне также казалось, что этот Бог был странным образом поглощен мыслями о судьбах исключительно одного народа — евреев. Сама структура Старого Завета как истории потомков Авраама стремилась выставить Бога не творцом и вседержителем всего человечества, но скорее клановым божеством, согласовывающим все творение с нуждами одной «избранной нации»: награждая их победами, если они праведны, и заставляя их страдать от рук безбожников, как только они сходят с предписанного пути. Рассмотренные в

свете этого фундаментального изъяна даже интенсивные этические попытки поздних пророков, таких как Исаия и Иеремия, казались лишенными универсальной идеи.

Но хотя это раннее мое обучение имело результат противоположный тому, что предполагалось, то есть отдалило меня от религии моих предков, а не приблизило к ней, я часто думаю, что позднее оно помогло мне понять фундаментальную цель религии, какой бы ни была ее форма. В тот момент, однако, мое разочарование иудаизмом не подтолкнуло меня на поиски духовных истин в других направлениях. Под влиянием скептически настроенного окружения меня, как и многих других мальчишек моего возраста, медленно сносило в сторону буквального отрицания всех религиозных институтов; и так как моя религия никогда не была для меня более чем набором запрещающих предписаний, я чувствовал себя ничуть не хуже, будучи отдаленным от нее. Богословские и философские идеи тогда не трогали меня совсем. То, чего я ожидал от будущего, было не очень-то отлично от чаяний большинства других мальчишек: действие, приключения, возбуждение.

К концу 1914 года, когда Первая мировая война была уже в разгаре, первая серьезная возможность исполнить свои мальчишеские мечты, казалось, представилась мне. В четырнадцать лет я сбежал из школы и присоединился к австрийской армии под вымышленным именем. Я был довольно высок для своего возраста и с легкостью прошел за восемнадцатилетнего — минимальный возраст для набора. Но, по видимости, я не был тем солдатом, которому было суждено стать генералом. Около недели спустя мой бедный отец сумел выследить меня с помощью полиции, и я был с позором конвоирован обратно в Вену, где мои родители обосновались несколько ранее. Почти четыре года спустя на законных основаниях я был на самом деле призван в австрийскую армию, но к тому времени я уже не мечтал о военной славе и искал других путей для самореализации. В любом случае, через несколько недель после моего призыва в армию развернулась революция, Австро-Венгрия распалась, и война была окончена.

Через два года после окончания Первой мировой войны я начал изучать, довольно несвязно, историю искусств и философию в университете Вены. Я не чувствовал тяги к этим предметам. Тихая академическая карьера не привлекала меня. Я ощущал стремление к более тесному соприкосновению с жизнью, я хотел войти в контакт с ней без тех тщательно продуманных, искусственных барьеров, которые люди, озабоченные своим спокойствием, любят выстраивать вокруг себя; я также желал самостоятельно найти подход к пониманию духовного порядка вещей, который, и я это знал, должен был существовать, но который я не мог пока различить.

Довольно сложно объяснить, даже имея в своем обиходе зрелый лексикон, что я имел в виду тогда под «духовным порядком»; мне не приходило на ум представить проблему в известных религиозных терминах или, по правде говоря, в каких-либо других точных терминах. Моя неопределенность, если быть честным с самим собой, не происходила от меня. Это была неопределенность всего поколения.

Первые десятилетия двадцатого столетия шли под знаменем духовного вакуума. Все ценностные нормы, к которым привыкла Европа за многие столетия до этого, стали бесформенными под ужасным влиянием того, что произошло между 1914 и 1918 годами, а новых ценностей ниоткуда не предвиделось. Чувство хрупкости и ненадежности витало в воздухе — предчувствие социальных и интеллектуальных переворотов, которое вселяло сомнение в возможность обретения, когда-либо снова, стабильности в человеческих устремлениях и изысканиях мысли. Все, казалось, плыло в бесформенном потоке, духовное беспокойство молодежи не находило нигде опоры. В отсутствие какого-либо заслуживающего доверия стандарта морали никто не мог дать нам, молодым людям, удовлетворительных ответов на волнующие нас вопросы. Наука говорила: «Познание — все» — и забывала, что познание без этической цели может привести только к хаосу. Социальные реформаторы, революционеры, коммунисты, каждый из которых хотел, без сомнения, построить новый счастливый мир, думали лишь в терминах

внешних, социальных и экономических, условий, и для того, чтобы восполнить этот недостаток, они возвели свою «материалистическую концепцию истории» в ранг своего рода новой, антиметафизической метафизики. Традиционно религиозные люди, с другой стороны, не знали ничего, кроме приписывания Богу качеств, выведенных с помощью собственных мыслительных шаблонов, которые уже давно стали чем-то неподатливым и бессмысленным. И когда мы, молодые люди, видели, что эти якобы божественные качества часто были в явном противоречии с тем, что происходило в мире вокруг нас, мы говорили себе: «Движущая сила судьбы, очевидно, отлична от качеств, приписываемых Богу; следовательно, Бога нет». И только весьма малому числу из нас приходило на ум то, что причина этой путаницы, возможно, лежала в произволе лицемерных защитников веры, которые оставляли за собой право «определять» Бога и, облакая Его в свои собственные одежды, отделяли Его от человека и его судьбы.

В отдельно взятом человеке эта этическая нестабильность могла привести либо к полному хаосу моральных ценностей и цинизму, либо к поиску собственного творческого пути к тому, что можно назвать хорошей жизнью.

Это неосознанное понимание могло быть косвенно причастно к выбору мною истории искусств в качестве своего профилирующего предмета в университете. Я полагал, что истинная функция искусства — вызывать образы стройной и универсальной структуры, лежащей в основе фрагментарной картины явлений, которую наше сознание рисует нам и формулировка которой, как мне казалось, умозрительными учениями должна с неизбежностью быть неполноценной. Однако посещаемые мною курсы не удовлетворяли меня. Мои учителя — а некоторые из них, такие как Стржиговский и Дворак, являлись выдающимися деятелями своих областей — были, казалось, больше заинтересованы распознаванием эстетических законов, управляющих созданием художественных произведений, чем раскрытием их внутренних духовных побуждений. Другими словами, их подход к искусству, как

казалось мне, был весьма узок и ограничен лишь вопросом *формы*, в которой оно выражалось.

Выводы психоанализа, с которым я познакомился в те дни юношеской растерянности, также, но по другим причинам, не удовлетворили меня. Без сомнения, психоанализ был в то время интеллектуальной революцией первой величины, и каждый чувствовал в собственном теле, что эта широко распахнутая, но доселе закрытая дверь познания обязательно окажет глубокое воздействие на осознание человеком самого себя и общества и, возможно, поменяет полностью его прежние представления об этом. Обнаружение роли, которую играют бессознательные побуждения в формировании человеческой личности, открыло новые пути к более глубокому пониманию самих себя по сравнению с тем, что предлагали нам теории психологов предыдущих поколений. Все это я готов был допустить. На самом деле фрейдовские идеи одурманивали мой молодой рассудок, как крепкое вино, и многие вечера я проводил в венских кафе, слушая увлекательные дискуссии некоторых пионеров психоанализа, таких как Альфред Адлер, Херман Стекл и Отто Гросс. Но, хоть я и не спорил с обоснованностью аналитических принципов психоанализа, меня возмущала интеллектуальная самонадеянность новой науки, которая пыталась свести все загадки человеческого «Я» к ряду нейрогенетических реакций. Философские «выводы», сформулированные отцом психоанализа и его приверженцами, почему-то казались мне слишком банальными, слишком самоуверенными и излишне упрощенными, чтобы претендовать на какую-либо близость к истине в последней инстанции, и они, совершенно точно, не указывали никакого нового направления к лучшей жизни.

Хотя эти проблемы часто занимали меня, они не тревожили меня. Я никогда не был очень склонен к метафизическим спекуляциям или осозанным поискам отвлеченных «истин». Мои интересы больше лежали в области вещей видимых и ощущаемых: люди, жизнедеятельность и отношения. И именно тогда я начал открывать для себя отношения с женщинами.

В общем процессе разложения установленных общественных норм, который последовал за Первой мировой войной, многие ограничения во взаимоотношениях между полами были ослаблены. Все это не было, как мне кажется, столько бунтом против пуританского образа жизни девятнадцатого века, сколько, скорее, пассивным отступлением от положения дел, когда определенные стандарты морали рассматривались как вечные и неоспоримые, к общественному устою, в котором все было сомнительным: раскачивание маятника из состояния вчерашней утешительной веры в непрерывность человеческого прогресса к состоянию горькой разочарованности Шпенглера, к нравственной относительности Ницше и к духовному нигилизму, возвращенному психоанализом. Оглядываясь назад в прошлое на те послевоенные годы, я думаю, что молодые люди, юноши и девушки, которые писали и говорили с таким энтузиазмом о «телесной свободе», были в действительности весьма далеки от бьющей ключом энергии духа бога Пан, к которому они так часто прибегали: их исступление было слишком напыщенным, чтобы быть неудержимым, и легко проходящим, чтобы быть революционным. Их половые отношения были чем-то легкомысленным с определенной сухой обыденностью, которая зачастую приводила к беспорядочности.

Даже если бы я сам чувствовал себя связанным остатками общепринятой морали, мне было бы чрезвычайно тяжело избежать засасывания в общую тенденцию, которая распространилась так широко; я, скорее, упивался, как и многие другие моего поколения, тем, что рассматривалось как «восстание против пустых и бессмысленных норм». Флирт легко переходил в роман, а некоторые романы — в страсть. Несмотря на это, я не думаю, что я был распутным, так как через все те юные любовные увлечения мои, как бы они ни были непрочны и недолговечны, всегда проходил лейтмотив надежды, неясной, но настойчивой, — возможно, эта страшная изоляция, которая так явно отделила человека от человека, разрушится союзом одного мужчины и одной женщины.

Моя беспокойность росла, вследствие нее было все сложнее продолжать обучение в университете. В конце концов я решил оставить свое обучение с надеждой на лучшее и попытать себя в журнализме. Мой отец решительно был против такого поворота событий, и надо сказать, у него было на это больше оснований, нежели у меня на мое решение бросить учебу. Он настаивал, что, до того как я решу стать литератором, мне следует для начала доказать себе свою способность писать; «и в любом случае, — подытожил он после одной из наших буйных дискуссий, — степень доктора философии никогда еще не была помехой к успешной карьере писателя». Его аргументы были неоспоримы, но я был очень молод, переполнен надежд и весьма неутомлен. Когда я осознал, что он не изменит своего мнения, мне показалось, что ничего больше не остается, как начать самостоятельную жизнь. Не рассказывая никому о своих намерениях, я распрощался с Веной одним летним днем 1920 года и сел на поезд до Праги.

Все, что у меня было, помимо личных вещей, — кольцо с бриллиантом, которое моя мать, скончавшаяся за год до этого, оставила мне. Его я продал с помощью официанта в главном пражском литературном кафе. Вероятнее всего, я был основательно обманут в этой сделке, но сумма денег, которую я получил, казалась целым состоянием. С этим состоянием в кармане я направился в Берлин, где кое-кто из моих венских друзей познакомил меня с магическим кружком литераторов и художников в старом *Café des Westens*.

Я знал, что впредь мне придется пробиваться самому, не ожидать и не принимать финансовой помощи от своей семьи. Несколько недель спустя, когда гнев моего отца спал, он написал мне: «Я уже вижу, как ты закончишь в один день бродягой у придорожной канавы»; на что я ответил: «Никакой придорожной канавы для меня не будет — я выйду победителем». Как я стану победителем, было меньше всего понятно мне, но я знал, что я хочу писать и был, конечно, убежден, что мир литературы ожидает меня с распростертыми объятиями.

Через несколько месяцев мои деньги закончились, и я начал разыскивать работу. Очевидный выбор для молодого человека с журналистскими пристрастиями — какое-нибудь из больших ежедневных изданий, но я обнаружил, что я не их «выбор». Я обнаружил это не сразу. Я потратил недели в утомительных прогулках по тротуарам Берлина — так как даже тариф на поездку в метро или трамвае стал проблемой к тому времени — и в бесконечном количестве унижительных собеседований с главными редакторами, редакторами информационных выпусков и их помощниками, чтобы понять, что, если только не чудо, становление писателя без единой напечатанной строчки на его счету имеет минимальные шансы осуществиться в святых владениях периодического издания. Чудес не произошло. Вместо этого я познакомился с голодом и держался несколько недель почти полностью на чае и двух булочках, которые моя домовладелица подавала мне на завтрак. Мои литературные друзья из *Café des Westens* не могли ничем помочь сырому неопытному новичку. Более того, многие из них жили в условиях, не очень отличающихся от моих, пребывая изо дня в день на грани ничтожного существования и стараясь в упорной борьбе держаться на плаву. Иногда в порыве изобилия, созданном удачно поданной статьей или проданной картиной, кто-нибудь из них устраивал вечеринку с пивом и сосисками и просил меня воспользоваться внезапной щедростью; или богатый сноб приглашал кого-нибудь из нас, странных бродяг-интеллектуалов, отужинать в своей квартире и пристально оглядывал нас в благоговейном страхе, пока мы набивали свои пустые желудки канапе с черной икрой и шампанским, отплачивая хозяину за его необыкновенную щедрость умными разговорами и «глубоким пониманием богемной жизни». Но такие удовольствия были лишь исключениями. Совершеннейший голод был нормой моих дней, а ночью являлись сны, наполненные бифштексами, сосисками и толстыми кусками хлеба с маслом. Несколько раз я соблазнился написать своему отцу и попросить его о помощи, которую он безусловно бы оказал, но каждый раз моя гордость вставала на пути, и я писал ему о своей прекрасной работе и хорошей зарплате...

В конечном счете счастливый прорыв удался. Меня познакомили с Ф. В. Мурнау, восходящей звездой кинорежиссуры (это было несколько лет до того, как Голливуд принес ему еще большую славу и преждевременную трагическую смерть). Мурнау со своей причудливой импульсивностью, которая с легкостью располагала к нему всех его друзей, в момент полюбил молодого человека, такого пылкого, целеустремленного и полного надежд перед лицом напастей, которые могло принести будущее. Он спросил меня, не желаю ли я работать у него над новым фильмом, съемка которого вот-вот начнется. И хотя работа была только временная, я увидел, как небесные ворота раскрываются передо мной в то самое время, как я заикаясь промолвил: «Да, желаю...»

Два славных месяца я работал помощником у Мурнау, без всяких переживаний финансового характера и абсолютно поглощенный множеством ярких впечатлений, каких я не знал когда-либо до этого. Моя самоуверенность росла не по дням, а по часам, и она, безусловно, не пострадала от того, что ведущая леди фильма, знаменитая и красивая актриса, не пренебрегла флиртом с молодым помощником режиссера. Когда съемки фильма подошли к концу и Мурнау отправился за границу в новую командировку, я попрощался с ним с уверенностью, что мои худшие дни были позади.

Вскоре после этого мой хороший друг Антон Кух, венский журналист, получивший недавно известность в Берлине в качестве театрального критика, пригласил меня поработать вместе с ним над сценарием к фильму, который ему было поручено написать. Я принял приглашение с энтузиазмом и вложил, как мне верится, много труда в рукопись; во всяком случае, продюсер, поручивший работу, с удовольствием заплатил установленную сумму, которую я и Антон разделили поровну. Чтобы отметить наше «вступление в мир кино», мы организовали вечер в одном из самых фешенебельных ресторанов Берлина и, когда нам принесли счет, обнаружили, что практически весь наш заработок ушел на омаров, икру и французское вино. Но удача осталась с нами. Мы немедленно

засели за написание еще одного сюжета — фантастика, выдуманная около фигуры Бальзака и его причудливых, абсолютно воображаемых переживаний, — и нашли покупателя в тот самый день, когда сценарий был завершен. В этот раз, однако, я отказался «праздновать» наш успех и поехал вместо этого в отпуск на несколько недель к баварским озерам.

После еще одного года, полного необычных взлетов и падений в различных городах центральной Европы, а также всякого рода временных должностей, мне наконец удалось пробиться в мир журнализма.

Данный прорыв случился осенью 1921 года после очередного периода безденежья. В один день, когда я сидел в *Café des Westens*, уставший и мрачный, один мой друг подсел ко мне за столик. Когда я подробно изложил ему свои проблемы, он предложил:

— У меня есть кое-что для тебя. Даммерт создает собственное информационное агентство в сотрудничестве с американским Юнайтед Пресс. Оно будет называться Юнайтед Телеграф. Я уверен, что ему понадобится огромное количество редакторов отделений. Я познакомлю тебя с ним, если хочешь.

Доктор Даммерт был широко известной фигурой в политических кругах Берлина двадцатых годов. Заметный член в рядах партии католического Центра и по праву богатый человек, он пользовался прекрасной репутацией. Идея работать на него привлекла меня.

На следующий день мой друг — его фамилия была Фингал — повел меня в контору доктора Даммерта. Элегантный среднего возраста мужчина обходительно и дружелюбно пригласил нас присесть.

— Господин Фингал говорил со мной о вас. Вы когда-нибудь работали журналистом?

— Нет, — ответил я, — но я имел множество другого опыта. Я являюсь своего рода экспертом в восточно-европейских странах и знаю несколько языков. — (В действительности же единственным восточно-европейским языком, на котором я мог изъясняться, был польский, и у меня были самые расплывчатые представления о том, что происходит в той части света; но я был полон решимости не упустить свой шанс из-за неуместной скромности).

— О, это интересно, — заметил доктор Даммерт с полуулыбкой. — Я люблю экспертов. Но, к сожалению, мне не нужен эксперт в восточно-европейских делах прямо сейчас.

Он, должно быть, увидел разочарование на моем лице, потому что сразу добавил:

— Тем не менее я могу предложить вам место, хотя оно может оказаться не под стать вам, я полагаю...

— Что за место? — спросил я нетерпеливо, думая про свою просроченную арендную плату.

— Мм... мне нужны телефонисты... О, нет-нет, не переживайте, не на коммутаторе. Я имею в виду телефонистов, чтобы передавать новости провинциальным газетам.

Это было, безусловно, унижением для моих больших ожиданий. Я посмотрел на доктора Даммерта, а он посмотрел на меня. И когда я увидел сжимающиеся от улыбки складки вокруг его глаз, я понял, что моя хвастливая игра проиграна.

— Я принимаю ваше предложение, — ответил я со вздохом и смеясь.

Через неделю я начал на новом месте. Это была скучная работа: совсем не о такой журналистской «карьере» я мечтал. Я просто-напросто передавал информацию — новости с отпечатанных листов — по телефону несколько раз в день в различные провинциальные газеты, которые были подписаны на эту

услугу. Но я был хорошим телефонистом, и оплата была тоже хорошая.

Это продолжалось около месяца, в конце которого непредвиденная возможность представилась мне.

В тот 1921-й год советскую Россию потряс голод беспрецедентного масштаба. Миллионы людей были истощены, и сотни тысяч умирали. Вся европейская пресса гудела от ужасающих описаний ситуации, были спланированы несколько иностранных операций помощи, одна из которых была организована Гербертом Гувером, который сделал так много для центральной Европы после Первой мировой войны. Одно крупномасштабное мероприятие внутри России было возглавляемо Максимом Горьким, его волнующие призывы к помощи будоражили весь мир, и поговаривали, что его жена вскоре должна посетить столицы центральной и западной Европы в попытке мобилизовать общественное мнение для более эффективной помощи.

Будучи телефонистом, я не участвовал напрямую в репортажах об этом заметном событии, пока случайное замечание одного из моих случайных приятелей (у меня было их много в самых удивительных местах) внезапно не втянуло меня в самый его эпицентр. Приятель этот работал ночным швейцаром в отеле Эспланаде, одном из самых шикарных в Берлине, а его замечание было: «Эта госпожа Горькая — весьма приятная дама, ни за что и не подумаешь, что она — большевик...»

— Госпожа Горькая? Черт побери, да где же ты видел *ее*?

Мой информатор понизил голос до шепота:

— Она остановилась в нашем отеле. Приехала вчера, но зарегистрирована под вымышленным именем. Только управляющий знает, кто она есть на самом деле. Она не желает, чтобы ее донимали репортеры.

— А откуда *ты* знаешь это?

— Мы, швейцары, знаем все, что происходит в отеле, — ответил он с ухмылкой. — Ты думаешь, мы бы долго продержались на нашей работе, если бы не умели этого?

Какую бы сенсацию сделало эксклюзивное интервью с госпожой Горькой, тем более что ни единого слова о ее присутствии в Берлине еще не просочилось в прессу... Я вдруг пришел в возбуждение.

— Не мог бы ты, — я попросил своего приятеля, — как-нибудь сделать так, чтобы я смог ее увидеть?

— Ну, я не знаю. Она, очевидно, не подпускает никого к себе и очень решительна в этом вопросе... Но я мог бы сделать вот что: если ты присядешь в вестибюле вечером, я могу показать ее тебе.

На этом мы и договорились. Я понесся обратно в свой офис в Юнайтед Телеграф, почти все уже ушли домой к тому времени, но, по счастью, редактор новостей все еще был на месте. Я прицепился к нему с разговором.

— Дашь ли ты мне удостоверение репортера, если я пообещаю принести обратно сенсационную историю?

— Что за историю? — спросил он подозрительно.

— Ты даешь мне удостоверение, а я приношу историю. Если не принесу — ты в любом случае получишь удостоверение обратно.

В конце концов старый охотник за сенсациями согласился, и я вышел из офиса, будучи счастливым владельцем удостоверения репортера, которое выдавало меня за представителя Юнайтед Телеграф.

Следующие несколько часов были проведены мною в вестибюле отеля Эспланаде. В девять часов мой приятель заступил на смену. Из дверей он подмигнул мне, исчез за стойкой администратора и снова появился несколько минут спустя с информацией о том, что госпожа Горькая в городе.

— Если ты просидишь здесь достаточно долго, ты можешь быть уверен, что увидишь ее, когда она вернется.

Около одиннадцати часов я поймал сигнал приятеля. Он указывал тайком на даму, только что вошедшую через вращающуюся дверь: небольшая хрупкая женщина лет сорока, одетая в очень хорошо скроенное вечернее платье, с длинной черной шелковой накидкой, стелющейся за ней по земле. Она была так неподдельно аристократична в своих манерах, что, безусловно, было чрезвычайно сложно представить ее женой «поэта рабочих» и еще сложнее — гражданкой Советского Союза. Встав у нее на пути, я поклонился и приступил к разговору в самых заискивающих тонах:

— Госпожа Горькая?..

На мгновение она показалась испуганной, но затем мягкая улыбка озарила ее красивые черные глаза, и она ответила на немецком с едва заметным славянским акцентом:

— Я не госпожа Горькая... Вы ошиблись. Мое имя... (она назвалась каким-то звучащим по-русски именем, которое я забыл).

— Нет, госпожа Горькая, — настаивал я, — я знаю, что не ошибся. Я также знаю, что вы не желали бы, чтобы мы, репортеры, докучали вам, но разговор с вами, всего лишь несколько минут, значил бы для меня очень много, чрезвычайно много. Если вы позволите... Это моя первая возможность встать на ноги. И я уверен, что вы не хотели бы разрушить эту возможность... — Я показал ей свое удостоверение репортера. — Я получил его только сегодня, и мне придется вернуть его, если я не напишу заметку о моем интервью с госпожой Горькой.

Аристократическая дама продолжала улыбаться.

— И если я дам вам слово чести, что я не госпожа Горькая, поверите ли вы мне тогда?

— Ваше слово чести — и я поверю во все, что вы скажете.

Она разразилась смехом.

— Вы создаете впечатление приятного молодого человека. — (Ее изящная голова едва ровнялась с моими плечами). — Я не скажу вам более ни единого слова лжи. Вы выиграли. Но мы не можем провести остаток вечера здесь в вестибюле. Не доставите ли вы мне удовольствие отужинать со мной в номере?

Итак, я имел удовольствие отужинать с госпожой Горькой в ее номере. Почти целый час она живо рисовала мне ужасные картины голода, и, когда я вышел от нее после полуночи, у меня была толстая стопка записей.

Редакторы ночной смены в Юнайтед Телеграф вытаращили глаза от удивления, увидев меня в столь необычный час. Но я даже не сделал попытки объясниться, так как мне предстояла еще уйма спешной работы. Записывая свое интервью как можно скорее, я сделал, не дожидаясь разрешения редакции, запрос на срочный выпуск всем газетам, которые мы обслуживали.

Следующим утром бомба взорвалась. Тогда как ни одно большое берлинское ежедневное издание не опубликовало и слова о пребывании госпожи Горькой в городе, все провинциальные газеты, обслуживаемые нашим агентством, имели в заголовках «Эксклюзивное интервью специального представителя Юнайтед Телеграф с госпожой Горькой». Телефонист сделал первоклассную сенсацию.

После полудня состоялось совещание редакторов в кабинете доктора Даммерта, на которое вызвали меня. После предварительной лекции, в которой мне объяснили, что ни одна важная новость не должна выходить в свет без предварительной проверки новостным редактором, меня повысили в звании до репортера.

Наконец я стал журналистом.

Мягкие шаги по песку: это Зейд возвращается от колодца с наполненными водой бурдюками. Он кладет их возле костра, и они касаются земли с тихим всплеском. Зейд продолжает готовить наш ужин — рис и мясо маленького ягненка, которое он купил в деревне ранее, вечером. После последнего перемешивания ложкой облако пара прорывается из котелка, и Зейд поворачивается ко мне:

— Будешь ли ты есть сейчас, о мой дядя? — и, не дожидаясь моего ответа, который, и он знает это, не может быть ничем другим, нежели «да», он накладывает содержимое котелка на большое блюдо, кладет его передо мной и поднимает один из наших медных бидонов, наполненных водой, для того чтобы я вымыл руки:

— *Бисмиллях*, да продлит Господь нашу жизнь.

И мы принимаемся за еду, сидя «по-турецки» друг против друга и кушая пальцами правой руки.

Мы едим в тишине. Ни я, ни Зейд не являемся большими любителями поговорить. Кроме этого, меня каким-то образом втянуло в состояние глубокого воспоминания, и я думаю о временах, бывших еще до моего приезда в Аравию, даже до моей встречи с Зейдом; поэтому я не могу говорить вслух и говорю лишь тихо внутри и с самим собой, смакуя свои ощущения в настоящем через множество настроений моего прошлого.

После трапезы, пока я сижу облокотившись на седло, играя песком в руке и уставившись на молчаливые аравийские звезды, я думаю о том, как хорошо было бы иметь рядом кого-нибудь, с кем я мог бы поговорить обо всем том, что случилось со мной в те далекие годы. Но со мной никого нет, кроме Зейда. Он — хороший и надежный человек, бывший со мной и с одиночеством вместе столько дней. Он проникателен, утончен в

восприятию и очень опытен в вопросах человеческих отношений и чувств. Но теперь, когда я смотрю сбоку на его лицо — лицо с четкими очертаниями, обрамленное длинными локонами, наклонившееся теперь над кофейником с серьезностью и сосредоточенностью, теперь поворачивающееся в сторону верблюдов, которые отдыхают на земле неподалеку и безмятежно жуют жвачку, — когда смотрю на его лицо, я понимаю, что мне нужен другой слушатель: тот, кто не только бы не был частью того раннего прошлого, но и был бы далек от образа, запаха и звука теперешних дней и ночей, тот, перед кем я бы мог развернуть самые незначительные детали моих воспоминаний, одна за другой, так что его глаза видели бы их и мои глаза снова увидели бы их, и кто таким образом помог бы мне уловить свою собственную жизнь в паутине собственных слов.

Но здесь никого нет, кроме Зейда. И Зейд — настоящее.

III. Ветра

- 1 -

Мы едем, едем, два всадника на двух верблюдах, и утро скользит мимо нас.

— Это странно, очень странно, — голос Зейда нарушает тишину.

— Что странно, Зейд?

— Разве не странно то, о мой дядя, что только несколько дней назад мы направлялись в Тейму, а теперь наши верблюды шагают в сторону Мекки? Я уверен, что ты сам не подозревал об этом до той ночи. Ты — своенравный, как *бадауи*... как я сам. Джинн ли, о мой дядя, направил меня внезапно к тебе в Мекку четыре года назад, а теперь тебя — и тоже в Мекку? Не позволяем ли мы себе тем самым быть игрушкой в руках ветров, потому что мы не знаем, чего хотим?

— Нет, Зейд. Ты и я позволяем ветрам играть нами, потому что мы *знаем*, чего хотим: наши сердца знают это, даже если мысли иногда не поспевают за ними, но в самом конце они нагоняют сердца, и тогда мы полагаем, что приняли решение...

Думаю, мое сердце знало об этом даже в тот день, десять лет назад, когда я стоял на палубе корабля, который нес меня в мое

первое путешествие на Ближний Восток, на юг через Черное море, через стеной нависшую белую, туманную ночь без конца и края, через туманное утро к Босфору. Море было безмятежно; иногда пеной обрызгивало палубу; стук двигателя напоминал биение сердца.

Я стоял у борта, всматриваясь в непроглядную бледность вокруг. Если бы вам пришлось спросить меня, что я думал тогда или чего я ожидал от этой своей первой поездки на восток, я бы вряд ли дал четкий ответ. Возможно, это было любопытство, но легкое, несерьезное, так как оно было нацелено на вещи, не имеющие особой важности. Мое неясное беспокойство, которое чем-то напоминало туман над морем, не было обращено к чужеземным странам и людям из грядущих дней. Образы ближайшего будущего — необычные города и пейзажи, иностранная одежда и манеры, которые вот-вот должны были открыться моим глазам, — мало волновали меня. Я рассматривал это путешествие как нечто случайное и приятное, но тем не менее оно было для меня лишь незначительным перерывом. Тогда я был больше озабочен своим прошлым, и все мои мысли были заняты этим.

Прошлое? Было ли оно? Мне ведь было лишь двадцать два года от роду... Но мое поколение, поколение тех, кто родился на пороге нового столетия, возможно, проживало свой век быстрее, чем кто-либо до него, поэтому мне казалось, что я смотрю назад на внушительный промежуток времени. Все сложности и приключения тех лет вставали перед моими глазами, все желания, попытки и разочарования, женщины и мое первое посягательство на жизнь... те бесконечные ночи под звездами, когда не знаешь, чего тебе нужно, и бродишь с другом по пустым улицам, разговаривая об основах всего и забывая, как пусты твои карманы и как шаток грядущий день, — счастливое неудовлетворение, которое чувствует только молодость; и желание поменять мир и построить его заново... Как построить общество таким образом, чтобы люди могли жить полно и правильно? Как устроить их взаимоотношения, чтобы они могли пробиться через одиночество, которое окружает каждого, и жить истинно в единении друг с другом? Что есть хорошо, а

что — плохо? Что такое судьба? Или, если сказать по-другому, что нужно сделать, чтобы действительно, без ложного притворства, отождествить себя со своей собственной жизнью, чтобы можно было сказать «я и моя судьба — одно и то же»? Обсуждения эти не знают конца... Литературные кафе Вены и Берлина со своими бесконечными аргументами о «форме», «стиле» и «выражении», о значении политической свободы, о встрече мужчины и женщины... Потребность в понимании, а иногда и в еде... И ночи, проведенные в страсти без ограничения, растрепанная кровать на рассвете, когда возбуждение ночи утасает и медленно становится серым, грубым и безжизненным, а когда наступает утро, забываешь рассветный пепел отгоревшего чувства и снова шагаешь раскачивающейся походкой, чувствуя радостную вибрацию земли под ногами... Волнение, создаваемое новой книгой или новым лицом, поиски и нахождение полуответов, и те редкие моменты, когда мир, кажется, вдруг замирает на секунды, освещенный вспышкой осмысления, которое обещает открыть что-то, что не было затронуто ранее — неведомый ответ на все вопросы...

Это были странные годы, те ранние двадцатые в центральной Европе. Общая атмосфера социальной и моральной нестабильности дала начало бесшабашному оптимизму, который выражался в смелых экспериментах в музыке, живописи и театре, а также в несмелых пробах, часто революционных исследованиях самой формы культуры; но рука об руку с этим навязанным оптимизмом шагала духовная пустота, неясная, циничная относительность, порожденная все нарастающей безысходностью в отношении будущего человека.

Несмотря на мою юность, от меня не был скрыт тот факт, что после катастрофы Первой мировой войны порядок вещей был нарушен в разломленном, недовольном, эмоционально напряженном и взволнованном европейском мире. Его действительное божество, как мне казалось, не было более духовной природы: это был Комфорт. Нет сомнения в том, что все еще находились многие, кто чувствовал и думал в

религиозных терминах, а также предпринимал отчаянные попытки примирить свои моральные принципы с духом своей цивилизации, но это были лишь исключения. Средний европеец — будь он демократ или коммунист, рабочий или интеллигент — знал, казалось, только одну определенную веру — поклонение материальному прогрессу, веру в то, что не может быть никакой иной цели в жизни, нежели делать эту самую жизнь непрерывно легче или, как гласило выражение того времени, «более независимой от природы». Храмами этой веры являлись гигантские фабрики, кинотеатры, химические лаборатории, танцевальные площадки, гидроэлектрические заводы, а ее жрецами — банкиры, инженеры, политики, кинозвезды, статистики, промышленные магнаты, летчики, ставящие все новые рекорды, и комиссары. Всестороннее отсутствие договоренности о том, что хорошо и что плохо, а также подчинение всех общественных и экономических вопросов принципу «целесообразности», который украшал дамочку с улицы, желающую отдать себя первому встречному в любое время, когда ее позовут, делали нравственное разочарование очевидным... Ненасытная тяга к власти и удовольствию с необходимостью привела к разделению западного общества на враждующие группы, вооруженные до зубов и решительно настроенные уничтожать друг друга когда и где угодно в случае столкновения их интересов. В культурной сфере результатом было появление разновидностей людей, чьи моральные запросы, казалось, были ограничены лишь вопросом практического применения и чьим критерием добра и зла являлось материальное процветание.

Я видел, какой спутанной и несчастной стала наша жизнь; как мало было единения людей друг с другом, несмотря на все крикливые, почти истерические, попытки утверждения «сообщества» и «нации»; как далеко мы ушли от наших инстинктов и какими тесными и заплесневелыми стали наши души. Я видел все это, но, так или иначе, мне никогда всерьез не приходило на ум, как, впрочем, и кому-либо из людей вокруг меня, что ответ, или частичный ответ, на все эти сложности, возможно, лежал в культурном опыте, отличном от европейского. Европа была началом и концом всякого нашего

размышления, и даже открытие мною Лао-Цзы, в возрасте семнадцати лет или около того, не поменяло мое мироощущение в этом отношении.

Это было настоящее открытие: я никогда ранее не слышал о Лао-Цзы и не имел даже отдаленного представления о его философии, но вот однажды я наткнулся на немецкий перевод *Дао дэ цзин*, лежащий на стойке одного венского книжного магазина. Странное имя и название немного заинтересовали меня. Я пробежал взглядом случайно выбранный короткий параграф с афоризмами и почувствовал внезапное глубокое волнение, прилив счастья, который заставил меня забыть все, что происходило вокруг. Я стоял как вкопанный и не мог пошевелиться, замороженный книгой, находящейся у меня в руках: я видел в ней человеческую жизнь, полную безмятежности, свободную от всякого раскола и конфликтов, вздымающуюся в спокойном счастье, которое всегда доступно человеческому сердцу, если только оно заботится о предоставлении себе своей собственной свободы... Это была истина, я знал это, — истина, которая всегда была истиной, хоть мы и забыли ее, и теперь я узнал ее с радостью, которая находит на того, кто возвратился в родной, давно утерянный дом...

Начиная с того момента и на протяжении нескольких лет, Лао-Цзы стал для меня тем окном, через которое я мог смотреть на кристально чистые области жизни, далекой от всей ограниченности и всех самопорождающихся страхов, свободной от ребяческих наваждений, которые побуждают нас настойчиво обеспечивать свое собственное существование снова и снова посредством «материалистического усовершенствования» любой ценой. Не то чтобы материалистическое усовершенствование было бы неверно или даже ненужно мне, напротив — я продолжал считать его благом и необходимостью. Но в то же самое время я был убежден, что оно не может достичь своей цели — увеличить суммарное количество человеческого счастья — до тех пор, пока оно не будет сопровождаться переосмыслением нашей духовной позиции и новой верой в абсолютные ценности. Однако, как осуществить это

переосмысление и какими должны быть новые ценности, я не мог бы тогда сказать. Было бы наивно ожидать, что люди поменяют свои цели и тем самым направление своих усилий, как только кто-нибудь начнет проповедовать им, как делал Лао-Цзы, необходимость открытия себя жизни вместо попыток овладения ею и, как следствие, причинения насилия над ней. Одни поучения, только умозрительные попытки, очевидно, не могли принести желаемого изменения в духовном отношении европейского общества; новая вера из сердца, нестерпимая капитуляция перед ценностями, которые бы не терпели никаких «если» и «но», — вот, что было нужно; но откуда взять такую веру?..

Каким-то образом мне не приходило на ум то, что самое большое испытание для Лао-Цзы было не просто в преходящем и, следовательно, изменяемом рациональном отношении, но в самых фундаментальных концепциях, из которых это отношение происходит. Знай я это, мне бы с неизбежностью пришлось заключить, что в любом случае Европа не сможет достичь той легкой безмятежности души, о которой говорил Лао-Цзы, если только она не призовет храбрость, чтобы подвергнуть сомнению свои собственные духовные и этические основания. Конечно же, я был слишком молод, чтобы прийти сознательно к такому выводу, — слишком молод, чтобы ухватить все последствия и всю грандиозность притязаний китайского мудреца. Совершенно точно, его послание потрясло меня до глубины души; оно открыло для меня видение жизни, в которой человек может соединиться со своей судьбой и тем самым с самим собой, но, так как я не видел ясно, как такая философия может превзойти простое созерцание и трансформироваться в реальность в контексте европейского образа жизни, я постепенно начал сомневаться в возможности ее принципиального применения. Я все еще был далек от состояния, в котором я бы мог по крайней мере усомниться в основаниях европейского образа жизни как единственной возможной альтернативе. Другими словами, подобно всем другим людям вокруг меня я был полностью погружен в европейское эгоцентричное культурное мироощущение.

Итак, хотя его голос не был полностью заглушен, Лао-Цзы стал отступать шаг за шагом в область умозрительных фантазий и со временем стал не более чем автором красивой поэзии. Я продолжал читать его иногда и каждый раз чувствовал прилив счастливого видения, но каждый раз закрывал книгу с тоскливым сожалением: это — лишь мечтательный зов на башню из слоновой кости. И хотя я находился в сильном разладе с негармоничным, ожесточенным и жадным миром, частью которого был я сам, я не желал жить в одиночестве, наедине со своими размышлениями.

Все же я не ощущал никакой теплоты по отношению к каким-либо целям и устремлениям, которые в то время носились в интеллектуальной атмосфере Европы, наполняя литературу, искусство и политику гулом оживленной полемики, так как, какими бы противоречивыми одна для другой все эти попытки ни являлись, они все с очевидностью имели одно — наивное допущение того, что жизнь может быть выведена из текущего состояния растерянности и «улучшена», только если ее внешние, экономические и политические, условия улучшатся. Я был глубоко уверен даже тогда, что материальный прогресс сам по себе не может предоставить решения; и хотя я совсем не знал, где это решение может быть найдено, я никогда не мог внутри себя выказывать того энтузиазма, с которым мои современники воспринимали «прогресс».

Не то чтобы я был несчастлив. Я никогда не был застенчивым человеком, сосредоточенным на самом себе, и вот тогда я наслаждался более чем обычно завышенным мерилom успеха в своих собственных делах. Тогда как я вряд ли был склонен придавать большое значение «карьере» как таковой, работа в Юнайтед Телеграф — где, благодаря своему знанию языков, я теперь был редактором отдела, ответственным за информационные услуги для скандинавских изданий, — могла открыть множество путей в большой мир. *Café des Westens* и его духовный наследник *Romanisches Café* — место встречи самых выдающихся писателей, художников, журналистов, актеров и продюсеров современности — были своеобразным домом для меня. Я был дружен, и иногда весьма близко, с людьми, которые

носили известные имена и рассматривали меня — по крайней мере по воззрениями, если не по популярности — как одного из них. Глубокая дружба и мимолетные романы случались со мной. Жизнь была увлекательна, разноцветна множеством впечатлений и сулила многое. Нет, я решительно не был несчастлив, лишь глубоко раздосадован, неудовлетворен, я не знал, к чему я стремлюсь, но в то же самое время был уверен, с глупой юношеской заносчивостью, что в один день я узнаю это. Итак, я раскачивался как маятник между сердечной удовлетворенностью и неудовлетворенностью точно так же, как многие другие молодые люди в те необычные годы: в то время как никто из нас не был несчастлив, только очень немногие казались сознательно счастливыми.

Я не был несчастлив, но невозможность разделить разнообразные социальные, экономические и политические ожидания людей вокруг меня, различных их групп, выросла со временем в неясное чувство отчужденности, сопровождаемое желанием, столь же неясным, принадлежать — кому?.. быть частью — чего?..

И тогда, одним весенним днем 1922 года, я получил письмо от моего дяди Дориана.

Дориан был самым младшим братом моей матери. Наши отношения всегда скорее напоминали таковые между друзьями, нежели между дядей и племянником. Он был психиатром, одним из ранних учеников Фрейда, и в то время руководил психиатрической лечебницей в Иерусалиме. Так как он не был сионистом и никак не симпатизировал целям сионизма — однако же его не тянуло и к арабам — он чувствовал себя одиноким и брошенным в мир, который ничего не может ему предложить, кроме работы и заработка. Будучи неженатым, он рассматривал своего племянника самым подходящим компаньоном в его одиночестве. В письме он сослался на те удивительные дни в Вене, когда он познакомил меня с новым миром психоанализа, и подытожил: «Почему бы тебе не приехать и не провести несколько месяцев со мной здесь? Я

заплачу за твою поездку сюда и обратно. Ты будешь волен вернуться в Берлин, как только того пожелаешь. И пока ты будешь здесь, ты будешь жить в очаровательном старом арабском каменном доме, в котором прохладно летом (и чертовски холодно зимой). Мы хорошо проведем время вместе. У меня много книг здесь, и, когда ты устанешь от необычных пейзажей вокруг, ты сможешь читать, сколько тебе будет угодно...»

Я решился ехать тотчас — стремительность, которая всегда характеризовала мои главные решения в жизни. На следующее утро я сообщил доктору Даммерту в Юнайтед Телеграф, что «дела, не терпящие отлагательств» заставляют меня ехать на Ближний Восток и что, следовательно, мне придется отойти от дел начиная со следующей недели...

Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что мое первое знакомство с миром Ислама пойдет гораздо дальше впечатлений от короткого отпуска и несомненно станет поворотной точкой в моей жизни, я бы отшутился, восприняв идею как крайне абсурдную. Не то чтобы я был невосприимчив к прелестям стран, ассоциирующихся в моей голове, как и в головах большей части европейцев, с романтической атмосферой *Тысячи и одной ночи*: я предвкушал красочные, экзотические обычаи, живописные явления, — но мне никогда не приходило на ум ожидать приключений также по части духа, вдобавок ко всему прочему новое путешествие не сулило никаких перспектив личного характера. Всякие идеи и впечатления, с которыми мне довелось встретиться ранее, я инстинктивно соотносил с западным мировоззрением, надеясь добиться более широкого кругозора в чувствах и осмыслении внутри единственной известной мне культурной среды. Если подумать, как мог я чувствовать по-другому? Я был лишь очень-очень молодым европейцем, воспитанным в вере в то, что Ислам и все, на что он претендовал, — не более чем романтическая уединенная тропа в истории человечества, не очень даже «уважаемая» с точки зрения духовности и этики и, следовательно, не достойная поминания в одном ряду — не говоря уже о сравнении! — с двумя единственно возможными

системами верований, которые Запад считает подходящими для рассмотрения всерьез, — христианством и иудаизмом.

Итак, с этой туманной европейской предвзятостью ко всему исламскому (хотя, конечно, не к идеализированной внешней стороне жизни мусульман) я отправился летом 1922 года в свое путешествие. Справедливости ради надо сказать, что я не мог бы описать себя как эгоцентричного человека в индивидуальном смысле. Но я тем не менее, не ведая того сам, был глубоко опутан той эгоцентричной, себялюбивой культурной ментальностью, такой характерной для Запада во все времена.

И вот я стоял на палубе корабля, несшего меня на восток. Мой отпуск начался с дороги до Констанцы и оттуда — в это туманное утро.

Красный парусник появился из-за завесы тумана и проскользил мимо нашего корабля; и так как его было видно, можно было предположить, что солнце вскоре пробьется через пелену тумана. Несколько тусклых лучей, тонких, словно нити, упали на дымку поверх воды. Бледность лучей напоминала чем-то твердость металла. Под их тяжестью молочная масса тумана медленно и тяжело распространилась по поверхности воды, затем развалилась на части и наконец начала подниматься справа и слева от солнечных лучей в виде размашистых дрейфующих излучин наподобие крыльев.

— Доброе утро, — сказал низкий глубокий голос. Я повернулся и распознал черную рясу моего товарища по прошлому вечеру и дружелюбную улыбку на лице, которое я успел полюбить в течение нескольких часов нашего знакомства. Иезуитский *падре* был наполовину польского и наполовину французского происхождения и преподавал историю в одном благотворительном учебном заведении в Александрии; теперь он возвращался туда из отпуска. Мы провели вечер после посадки в живом разговоре. Хоть вскоре и выяснилось, что мы сильно разногласим по многим вопросам, мы тем не менее нашли много точек соприкосновения в наших интересах; и я

был уже достаточно умудрен опытом, чтобы заключить, что передо мной — блестящий, серьезный и в то же время шутливый ум в действии.

— Доброе утро, отец Феликс; посмотрите на море...

Дневной свет и краски выступили вместе с солнцем. Мы стояли на носу корабля в потоке утреннего ветра. Я пытался определить для себя переливы цвета в разбивающихся о нос корабля волнах, соблазненный невозможностью сделать это. Голубой? Зеленый? Серый? Возможно, это был голубой, но вдруг пурпурно-красное мерцание, отражающееся на солнце, прокатилось по впадине волны, тогда как ее гребень разлился снежной пеной стального, серого цвета, и рябь измятыми клочками пронеслась поверх нее. То, что мгновение назад было гребнем волны, превратилось теперь в дрожащее движение: тысячи мельчайших оторванных друг от друга водоворотов, в чьих затемненных углублениях пурпурно-красный сменился глубоким, насыщенным зеленым; затем зеленый поднялся вверх, сменяясь вибрациями фиолетового, который сначала перешел в темно-красный, но сразу после взорвался бирюзово-голубым и стал гребнем волны, чтобы снова распасться; и снова белая пена распустила деспотически свои сети над извивающимися гребнями волн... И так без конца продолжалась эта бесконечная игра...

Я был почти физически встревожен, что не могу вполне ухватить эту игру цветов и ее бесконечно сменяющийся ритм. Когда я смотрел на нее совершенно поверхностно, уголком глаза, я действительно чувствовал, на секунды, что возможно запечатлеть все это в единую картину; но осознанная концентрация, склонность связывать одно отдельное явление с другим, приводила только к последовательности разрозненных, изолированных образов. Но из этой сложности, из этой странно досаждающей неразберихи появилась кристально чистая мысль, как мне показалось в тот момент, и я сказал почти произвольно:

— Тот, кто сможет понять все это своим разумом и чувствами, станет господином судьбы.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, — ответил отец Феликс, — но зачем кому-то желать овладеть судьбой? Чтобы избежать страдания? Не будет ли лучше стать свободным от судьбы?

— Вы рассуждаете как буддист, отец Феликс. Вы тоже считаете нирвану целью всего существования?

— О нет, конечно нет... Мы, христиане, не стремимся к уничтожению жизни и ощущений, мы только желаем возвысить жизнь над плоскостью материального и чувственного в область духовного.

— Но не является ли это отречением?

— Это совсем не отречение, мой юный друг. Это — единственный путь к истинной жизни, к миру...

Босфор открылся перед нами — широкий пролив, обрамленный с двух сторон скалистыми холмами. Повсюду виднелись изящные дворцы с колоннами, с террасированными садами, с кипарисами, мрачными и растущими во весь рост, и со старыми замками янычаров — тяжелые массы камня, нависающие над водой, подобно гнездам хищных птиц. Как будто издалека я слышал голос отца Феликса, продолжавшего:

— Посмотри, глубинный символ сильного стремления, стремления всех людей, — символ Рая; ты найдешь его во всех религиях, всегда в разном изображении, но значение всегда одно, а именно желание быть свободным от судьбы. Люди Рая не имели судьбы, они получили ее только после того, как стали жертвой плотского соблазна и таким образом впали в то, что мы называем первородным грехом — проступок духа, вызванный препятствующими позовами тела, которые несомненно являются лишь животными остатками внутри человеческой натуры. Основная, человеческая, человечески божественная часть человека — только лишь его душа. Душа стремится к свету,

то есть духу, но из-за первородного греха ее путь прегражден препятствиями, появляющимися из материальной, не божественной, составляющей тела и его желаний. Таким образом, цель христианского учения — это освобождение человека от второстепенного, эфемерного, плотского аспекта его жизни и возвращение к его духовному наследию.

Появилась древняя крепость Румили Хиссар с двумя башнями-близнецами; одна из ее стен с амбразурами склонилась почти к самому краю воды; на берегу внутри полукруга, образованного крепостными стенами, располагалось маленькое сонное турецкое кладбище с разрушенными надгробными камнями.

— Может быть, оно и так, отец Феликс. Но я полагаю, и так полагают многие из моего поколения, что что-то неправильно в проведении различия между «основным» и «второстепенным» в структуре человека и в различении духа и плоти... Короче говоря, я не могу согласиться с вами в отрицании всего хорошего в физических влечениях, в плоти, в земной судьбе. Я мечтаю о форме жизни — хотя я должен признаться, что не вижу ее ясно пока, — в которой человек полностью, дух и тело, стремился бы глубже и глубже реализовать свое существо, в которой дух и чувства не были бы врагами друг другу, в которой человек смог бы достичь единения внутри себя и со смыслом своей судьбы, чтобы в кульминации своих дней он смог бы сказать: «Я — моя судьба».

— То была эллинская мечта, — ответил отец Феликс, — и куда она привела? Сначала к тайнствам орфизма и дионисизма, затем Платону и Плотину и так снова к неизбежному осознанию того, что дух и тело противоположны друг другу... Избежать господства плоти над духом — вот смысл христианского спасения, смысл Господнего самопожертвования на кресте... — Тут он прервался и посмотрел на меня с блеском в глазах. — О, я не всегда миссионер... прости меня, если говорю тебе о своей вере, которая не является твоей.

— Но у меня нет веры, — уверил я его.

— Да, — сказал отец Феликс, — я знаю; отсутствие веры или, скорее, неспособность поверить — главная болезнь нашего времени. Ты, как и многие другие, живешь в иллюзии, которой уже тысячи лет: ты полагаешь, что только интеллект может отыскать направление для людских стараний. Но интеллект не может достичь духовного знания самостоятельно, так как он чересчур поглощен достижением материальных целей; вера, и только она, может освободить нас от этого поглощения.

— Вера?.. — спросил я. — Вы снова привлекаете это слово. Есть одна вещь, которой я не могу понять: вы говорите, что невозможно достичь лишь интеллектом знания и праведной жизни, нужна вера, говорите вы. Я согласен с вами полностью. Но как достичь веры, если ее нет? Есть ли путь к ней, путь — открытый для нашей воли?

— Мой дорогой друг, одной воли не достаточно. Путь открывается только по милости Господа. Но он всегда открыт для того, кто молит из самой глубины своего сердца об озарении.

— Молить! Но когда кто-то может делать это, отец Феликс, он уже *имеет* веру. Вы ведете меня по кругу, так как, если человек молится, он уверен в существовании Того, Кому он молится. Как он пришел к такой убежденности? Через интеллект? Не приравнивается ли это к тому, что вера достигается интеллектом? Помимо этого, может ли «милость» что-либо значить для того, кто никогда не имел подобного опыта ощущений?

Священник пожал плечами, с сожалением, как мне показалось.

— Если кто-то не смог узнать Бога на собственном опыте, он должен положиться на опыт других, которые узнали Его...

Несколько дней спустя мы прибыли в Александрию, и вечером того же дня я продолжил свой путь в Палестину.

Поезд неся стрелой сквозь предвечернее время и мягкий влажный пейзаж дельты Нила. Каналы Нила, усыпанные баржами под парусом, пересекали наш путь. Маленькие селения — пыльно-серые собрания домов и бледные минареты — появлялись и исчезали. Деревни с кубическими глиняными лачугами проносились мимо; хлопковые поля, устроенные для жатвы; поля пустившего побеги сахарного тростника; чрезмерно поросшие пальмы на деревенской мечети; азиатские буйволы, черные, с тяжелыми ногами, направлявшиеся домой без присмотра с топких водоемов, в которых они валялись в течение дня. На расстоянии — люди в длинных одеждах, они, казалось, плыли: так легкий и чист был воздух под высоким стеклянным голубым небом. По берегам каналов — камыш, колеблющийся на ветру; женщины в черных накидках из тюля черпали воду в глиняные кувшины: прекрасные женщины, стройные, с изящными руками, в своей походке они напоминали мне высокие деревья, что мягко колеблются на ветру, но полны силы; молодые девушки и матери семейств — у всех та же плывущая походка.

Сумерки нарастали: поток темноты разлился словно дыхание какого-то огромного, покоящегося живого существа. По мере того как стройные люди уходили домой с полей, их движения становились протяженнее и в то же самое время казались вырванными из медленно исчезающего дня. Каждый шаг существовал сам по себе, совершенный в самом себе: между вечностью и вечностью — всегда тот один шаг. Это видимое ощущение легкости и плавности, возможно, явилось следствием бодрящего вечернего света дельты Нила, возможно также — следствием моего беспокойства при виде стольких новых явлений, но, какова бы ни была причина, я вдруг ощутил внутри себя весь тот груз Европы — груз рассчитанной выгоды во всех наших действиях. И я подумал: «Как тяжело нам достичь реальности... Мы все время пытаемся ухватить ее, но она не любит, чтобы ее хватали. Только там, где она преодолевает человека, она подчиняется ему».

Шаг египетских крестьян, уже утерянный в пространстве и темноте, продолжал раскачиваться в моей голове, как хвалебная

песнь всякой высокой материи.

Мы достигли Суэцкого канала, развернулись под прямым углом и плавно катили еще некоторое время на север вдоль черно-серого берега. Длинная лента канала в ночи была словно протяжная мелодия. Свет луны превратил русло канала в подобие широкой сказочной тропы — черная полоса сверкающего металла. Пропитанная земля долины Нила с изумляющей стремительностью уступила место цепочкам песочных дюн, окруживших канал с обеих сторон с бледностью и отчетливостью, которые редко можно видеть в каком-либо другом ночном пейзаже. В полной тишине то там, то здесь появлялся каркас драги. Вдалеке, на другом берегу, всадник на верблюде вдруг проносился мимо, еле заметный и вот уже поглощенный ночью... Какой значительный и простой водный проход: из Красного моря через Горькие озера в Средиземное море, напрямик через пустыню, так что волны Индийского океана ударяют о набережные Европы...

В Аль-Кантаре наше путешествие было прервано ненадолго, и ленивый паром перенес пассажиров поезда через тихие воды. Оставалось еще около часа до отправления палестинского поезда. Я присел у здания станции. Воздух был теплым и сухим. Пустыня — слева и справа: мерцающая серость, покрытая пятнами, нарушаемая одиноким лаем, возможно, шакалов, а может и собак. Бедуин, тяжело нагруженный выюками из яркой ткани для ковров, сошел с парома и присоединился к группе на расстоянии, которую я только теперь распознал как неподвижных людей и припавших к земле верблюдов, оседланных и готовых к маршу. Казалось, они ожидали пополнения. Он закинул выюки на одно из животных, обменялся несколькими словами с другими, и все люди оседлали верблюдов, которые в то же самое время начали подниматься сначала на задних ногах, затем на передних (всадники кочнулись вперед и затем назад), потом все уехали прочь, сопровождаемые мягким шуршащим звуком; некоторое время я мог следить за светлыми раскачивающимися туловищами животных и широкими, в коричнево-белую полоску, накидками бедуинов.

Железнодорожный рабочий подошел ко мне. На нем была синего цвета одежда, и он, кажется, хромал. Он прикурил сигарету от моей и спросил меня на ломаном французском:

— Вы едете в Иерусалим? — И когда я ответил «да», он продолжил:

— В первый раз?

Я кивнул. Он хотел было продолжать, затем указал в противоположную сторону и сказал:

— Видели ли вы вон там большой караван из Синайской пустыни? Нет? Пойдемте, посмотрим на них. У вас есть еще время.

Подошвы нашей обуви хрустели на песке, когда мы шли сквозь безмолвную пустоту по узкой хорошо протоптанной тропинке, ведущей в дюны. Собака залаяла в темноте. Мы продолжали идти, спотыкаясь о колючий кустарник, до нас донеслись голоса — беспорядочные, приглушенные, как от множества людей, — и острый, но тем не менее мягкий запах большого количества спящих животных, смешанный с сухим воздухом пустыни. Внезапно (как можно наблюдать в городах во время туманной ночи, когда нарастает мерцание все еще не видимого из-за угла улицы фонаря, освещающего только туман) узкая полоска света появилась снизу, как если бы из-под земли, и круто поднялась вверх в темный воздух. Это было сияние костра, исходящее из глубокой, расположенной между двумя песчаными дюнами теснины, так плотно покрытой колючкой, что нельзя было разглядеть ее дна. Теперь я мог четко различить людские голоса, но говорящих все еще не было видно. Я слышал дыхание верблюдов и как они терлись друг о друга в тесном пространстве. Большая черная человеческая тень упала на свет, взбежала на противоположный склон и обратно вниз. Через еще несколько шагов я смог увидеть все — большой круг распластавшихся животных с грудami вьючных седел и сумок здесь и там и посреди них фигуры людей. Запах животных был сладким и тяжелым, как вино. Иногда какой-нибудь верблюд

двигал свое тело, очертания которого размывались в темноте, поднимал шею и фыркая втягивал ночной воздух, как будто со вздохом, — так я в первый раз услышал вздыхание верблюдов. Тихо блеяла овца, рычала собака, а повсюду вокруг теснины была ночь, черная и беззвездная.

Было уже поздно, мне нужно было возвращаться на станцию. Но я шел очень медленно той же самой тропой, которой мы пришли, потрясенный и странно взволнованный, как будто таинственным переживанием, которое завладело кусочком моего сердца и не позволяло мне идти.

Поезд перенес меня через Синайскую пустыню. Я устал от бессонной холодной ночи в пустыне и от тряски по рельсам, уложенным на сыпучий песок. Напротив меня сидел бедуин в широкой коричневой *абасе*. Он тоже замерзал и завернул свое лицо в головной платок. Он сидел, скрестив ноги, на скамье, а на его коленях лежал изогнутый меч в ножнах, украшенных серебром. Светало, и за окном уже различались очертания дюн и кусты кактуса.

Я все еще помню, как наступал рассвет — серо-черный, обрисовывающий формы, медленно набрасывающий очертания — и как он постепенно вытащил песчаные дюны из темноты и соорудил из них гармоничную массу. В нарастающем полусвете появилась группа палаток и пронеслась мимо, а возле них, серебряно-серые, как занавес тумана на ветру, — рыболовные сети, натянутые на столбы для сушки: рыболовные сети в пустыне, развевающиеся на утреннем ветру, — сказочная вуаль, прозрачная, нереальная, между ночью и днем.

Направо была пустыня; налево — море. Одиноким всадник на берегу. Кажется, он ехал всю ночь и теперь казался сонным: ссутулившийся и с поникшей головой, он трясся теперь в такт верблюду. И снова черные бедуинские палатки, а снаружи уже готовые идти к колодцу женщины с глиняной посудой на своих головах. Из полусвета, переходящего в свет, просвечивался мир,

бьющийся невидимым пульсом, — чудо всего, что просто и никогда не может закончиться.

Солнце восходило над дюнами, распуская все шире и шире свои лучи, и серость рассвета взорвалась оранжево-золотым фейерверком. Мы неслись через оазис Аль-Ариш, через украшенный колоннадой пальмовый собор с тысячами стрельчатых арок из пальмовых листьев и коричнево-зеленой решеткой из света и тени. Я видел женщину с полным кувшином на голове, медленно возвращающуюся от колодца по тропинке среди пальм. На ней было красно-голубое платье с длинным шлейфом, она была словно благородная дама из легенды.

Пальмовые сады Аль-Ариша исчезли внезапно, точно так, как появились. Теперь мы ехали сквозь бледно-бежевый, цвета морских раковин свет. Снаружи, позади трясущихся оконных стекол, — спокойствие, которое я всегда полагал невозможным. Все формы и движения были лишены вчера и завтра — они просто были там в своей головокружительной неповторимости: изысканный песок, вылепленный ветром в гладкие холмы, светло-оранжевые на солнце, как очень старый пергамент, но только мягче, с менее ломкими разрывами и изгибами; песчаные холмы, колеблющиеся на вершинах в отчетливых, решительных взмахх скрипичного смычка, неизмеримо мягкие и гладкие по бокам с полупрозрачными акварельными тенями — пурпурными, сиреневыми и рыжевато-розовыми — в неглубоких впадинах и лощинах; молочные облака, кусты кактуса то тут, то там, а иногда жесткая длинностебельная трава. Раз или два я видел худощавых босоногих бедуинов и караван из верблюдов, нагруженный пальмовыми листьями, которые они перевозили из одного места в другое. Я чувствовал себя погруженным в великий ландшафт.

Несколько раз мы останавливались на маленьких станциях — обычно пара бараков из дерева и жести. Коричневые мальчуганы в лохмотьях носились вокруг с корзинами, предлагая на продажу инжир, вареные яйца и свежий плоский хлеб. Бедуин, что напротив меня, медленно поднялся, развязал

свой головной платок и открыл окно. Его лицо было узким, коричневым, с резкими чертами: такие соколиные лица всегда пристально смотрят вперед. Он купил кусок пирога, повернулся и хотел было сесть, когда его глаза упали на меня; без единого слова он разломал пирог на две части и предложил мне половину. Когда он увидел мое колебание и удивление, он улыбнулся — и я увидел, что мягкая улыбка была ему к лицу так же, как напряженность мгновение назад — и сказал слово, которое я не мог понять тогда, но знаю теперь, *тафаддаль* — «окажите мне милость». Я взял пирог и поблагодарил его кивком. Другой пассажир, на котором была, за исключением красной фески, европейская одежда и который, возможно, был мелким предпринимателем, вмешался в качестве переводчика. Искривленным английским он промолвил:

— Он говорить, ты путешественник, он путешественник; твой путь и его путь — вместе.

Когда теперь я думаю об этом маленьком инциденте, мне кажется, что вся моя последующая любовь к арабскому характеру выросла из него, так как в жестах этого бедуина, кто поверх всех барьеров непривычности распознал друга в случайном попутчике и разделил хлеб с ним, я уже прочувствовал дыхание и шаги человечности, свободной от бремени.

Через некоторое время появилась Газа, подобно замку из глины, проживающему свою забытую жизнь на песчаном холме между стен из кактуса. Мой знакомый бедуин собрал свои сумки, попрощался со мной мрачной улыбкой и кивком головы и покинул вагон, сметая пыль за собой длинным шлейфом своей накидки. Два других бедуина стояли снаружи на платформе и поприветствовали его рукопожатием и поцелуем в обе щеки.

Англоговорящий торговец положил свою руку на мою:

— Пойдем, есть еще четверть часа.

Поодаль от здания станции лагерем расположился караван; это были, проинформировал меня мой компаньон, бедуины из северного Хиджаза. У них были коричневые пыльные лица, излучающие естественную теплоту. Наш друг был среди них. Он, похоже, был человеком определенного статуса, так как они стояли вокруг него в неплотном полукруге и отвечали на его вопросы. Торговец заговорил с ними, и они повернулись к нам дружелюбно и, мне показалось, немного надменно, учитывая наш городской образ жизни. Атмосфера свободы окружала их, и я почувствовал сильное желание узнать их жизнь. Обстановка была сухой, вибрирующей и, казалось, проникала в тело. Она ослабила всякую жесткость, распустила все мысли и сделала их ленивыми и неподвижными. В ней было некое свойство безвременности, которое заставило все видимое, слышимое и осязаемое принять индивидуальную ценность, важную саму по себе. Ко мне начало приходить просветление: люди, живущие в пустыне, должны ощущать жизнь совершенно по-другому, нежели люди из других областей; они должны быть свободны от всех одержимостей, возможно, также от многих грез, свойственных обитателям более холодных, богатых земель, и однозначно от многих ограничений, присущих им. И так как они вынуждены полагаться глубже на свои собственные восприятия, эти жители пустыни должны иметь совершенно отличную меру ценностей вещам этого мира.

Возможно, это было предчувствие надвигающегося переворота в моей собственной жизни, которое захватило меня в тот первый день в арабской земле при виде бедуинов; предчувствие мира, который не имеет все определяющих пределов, но тем не менее отчетлив в форме, мир — заключенный в самом себе, но все-таки открытый со всех сторон, мир, который вскоре должен был стать моим. Не то чтобы я тогда осознавал все, что будущее уготовит мне; конечно же нет. Это было скорее подобно визиту в незнакомый дом в самый первый раз, когда неясный запах в прихожей смутно наводит на мысль о том, что произойдет в этом доме и что случится с тобой. И если это радостное что-то, ты чувствуешь приступ восторга в своем сердце и будешь вспоминать его намного позднее, когда все события, сопровождавшие этот восторг, будут уже давно минувшими, и

тогда ты сможешь сказать себе: «Все это я предчувствовал давно, так и никак иначе, в тот самый первый момент в прихожей».

- 2 -

Сильный ветер несется через пустыню, и Зейду на время кажется, что это предвестник еще одной песчаной бури. Но хотя буря не настает, ветер не утихает. Он преследует нас равномерными порывами, и порывы переходят в единый непрерывный шум по мере того, как мы спускаемся в песчаную долину. В середине ее — деревня с пальмами, состоящая из нескольких отдельных поселений, каждое из которых отгорожено от остальных глиняной стеной. Деревня спрятана от нас туманом из песка, вихрем поднятого ветром.

Это место — подобие вентиляционного прохода: каждый день от зари и до захода солнца ветер сильно бьет здесь своими крыльями, стихая ночью лишь для того, чтобы снова подняться следующим утром с новыми силами. Пальмы, постоянно находящиеся под давлением ударов ветра, не могут вырасти в полный рост и останавливаются, прижатые низко к земле, с широко распушенными листьями, постоянно в опасности из-за надвигающихся и грозящих вытеснить их дюн. Деревня давно бы уже была погребена под песками, не выращивай ее жители ряды тамариска вокруг каждой пальмовой плантации. Эти высокие деревья, более стойкие, чем пальмы, формируют своими сильными корнями и вечнозелеными шелестящими ветвями живую стену вокруг пальм, предлагая им сомнительную защиту.

Мы высаживаемся перед глиняным домом *амира* деревни, намереваясь передохнуть у него во время полуденного зноя. *Кахва* (гостиная), прибереженная для встречи гостей, бедна и убога — маленький соломенный ковер перед каменным очагом для приготовления кофе. Но по обыкновению арабское

гостеприимство превосходит всякую бедность: едва мы садимся на ковер, как огонь из веточек начинает дружелюбно потрескивать над очагом; звук звенящей медной ступки, в которой толкут свежепожаренные кофейные зерна, придает обжитой характер комнате; и огромное блюдо со сваленными в кучу светло-коричневыми финиками утоляет голод путников.

Наш хозяин, маленький худой старик со слезящимися, косящими глазами, одетый лишь в тунику из хлопка и головной платок, приглашает нас разделить трапезу:

— Да продлит Господь вашу жизнь; этот дом — ваш дом; кушайте с именем Бога. Это — все, что у нас есть, — он делает извиняющийся жест своей рукой — одно движение, в котором отражена вся тяжесть его судьбы силой того бесхитростного воплощения, так свойственного людям, живущим в тесном соприкосновении со своими инстинктами, — но финики не плохи. Кушайте, о путники, из того, что мы можем вам предложить...

На самом деле финики — одни из самых лучших, что я когда-либо пробовал; и хозяин, очевидно, доволен нашим голодом, который он может утолить. И он продолжает:

— Ветер, ветер... он делает нашу жизнь трудной; но это Божественная воля. Ветер разрушает наши плантации. Мы обязаны постоянно бороться, чтобы сохранить их от засыпания песком. Не всегда было так. Ранее здесь не было так много ветра, и деревня была большой и богатой. Теперь же она стала маленькой; многие из молодых уезжают, так как не каждый может вынести такую жизнь. Пески надвигаются на нас день за днем. Вскоре не останется места для пальм. Этот ветер... Но мы не жалуемся... Как вы знаете, Пророк (да благословит его Господь) оповестил, что Бог сказал: *«Не браните судьбу, ведь Я и есть судьба...»*

Я, должно быть, начал говорить, так как старик прекращает говорить и смотрит на меня внимательно; и, как будто размышляя над тем, почему я пытался говорить, он улыбается

почти женской улыбкой, непривычно смотрящейся на столь усталом измотанном лице, и повторяет мягко, как если бы самому себе:

—... ведь Я и есть судьба, — и в кивке, который сопровождает его слова, лежит гордое, тихое принятие своего собственного места в жизни; и никогда я не видел, даже в счастливых людях, обращенное реальности «да», выраженное таким глубоким спокойствием и уверенностью. Широким, неопределенным, почти чувственным поворотом своей руки он описывает круг в воздухе — круг, который заключает в себе все, что принадлежит его жизни: бедная тусклая комната, ветер и его вечный рев, неумолимое приближение песков, желание счастья и смирение перед тем, чего не изменить, блюдо, полное фиников, пробивающиеся сады позади щита из тамариска, огонь в очаге, смех молодой женщины где-то далеко во дворе. Во всех этих вещах и в жесте, который обнаружил их и примирил, я слышу, кажется, песню сильного духа, который не знает преград из обстоятельств и находится в мире с самим собой.

Меня уносит назад в далекое прошлое, в тот осенний день в Иерусалиме десять лет назад, когда другой бедный старик говорил со мной о смирении перед Богом, которое одно может привести к миру с Ним и со своей судьбой.

Той осенью я жил в доме моего дяди Дориана прямо в древней части Иерусалима. Дождь шел почти каждый день, и, будучи не в состоянии выходить часто из дома, я сидел у окна, из которого открывался вид на большой двор позади дома. Этот двор принадлежал старому арабу, которого называли *хаджи*, потому что он совершил паломничество в Мекку; он сдавал в аренду ослов для езды и перевозок и поэтому сделал двор своего рода караван-сараям.

Каждое утро прямо перед рассветом из соседних деревень прибывали верблюды с поклажей из овощей и фруктов, которая отсылалась дальше на ослах в узкие базарные улицы города. В дневное время я видел тяжелые тела верблюдов, отдыхающих

на земле; люди всегда с шумом ухаживали за ними и за ослами, если только им не приходилось спасаться от проливного дождя в хлеву. Они были очень бедны и оборваны, эти погонщики верблюдов и ослов, но вели себя, как большие господа. Когда они садились вместе за едой на земле и кушали плоский пшеничный хлеб с небольшим количеством сыра и оливок, я лишь мог восторгаться благородством и легкостью их манер, а также их внутренним спокойствием: можно было видеть, что у них есть уважение к самим себе и к повседневным предметам их жизни. *Хаджи*, ковылявший с тростью (у него был артрит и распухшие колени), был своего рода главой у них; они подчинялись ему беспрекословно. Несколько раз в день он собирал их для молитвы, и, если не было очень сильного дождя, они молились на открытом воздухе: все в одном длинном ряду, а он впереди них как *имам*. Они были подобны солдатам в точности их движений: они склонялись вместе в направлении Мекки, поднимались снова и затем становились на колени, касаясь лбом земли; они, казалось, следовали неслышным словам своего лидера, который между поклонами и простиранием стоял босиком на молитвенном коврике, беззвучно шевеля губами, с закрытыми глазами, руками, сложенными на груди, и, очевидно, забывшийся в глубокой сосредоточенности: можно было видеть, как он молится всей своей душой.

Меня почему-то беспокоило видеть такую неподдельную молитву в сочетании с почти механическими движениями тела, и в один день я спросил *хаджи*, который понимал немного по-английски:

— Вы действительно верите, что Бог ожидает, что вы выкажете Ему свое уважение повторяющимися поклонами, преклонениями и паданием ниц? Не было бы лучше лишь смотреть внутрь себя и молиться Ему в тишине собственного сердца? Зачем все эти движения тела?

Как только я высказал эти слова, я почувствовал сожаление, так как я не хотел обидеть религиозные чувства старика. Но *хаджи*

не казался и в малейшей степени оскорбленным. Он улыбнулся своим беззубым ртом и ответил:

— Как же еще нам следует молиться Богу? Разве он не сотворил и душу и тело, вместе? И раз так, не обязан ли человек молиться и своим телом наряду со своей душой? Послушай, я скажу тебе, почему мы, мусульмане, молимся так, а не иначе. Мы поворачиваемся к Каабе, священному храму Бога в Мекке, зная, что лица всех мусульман, где бы они ни находились, повернуты к ней в молитве и что мы подобны одному телу, а Он — средоточие наших мыслей. Сначала мы встаем вертикально и читаем строки из Священного Корана, помня, что это — Его Слово, данное человеку для того, чтобы он мог быть правдивым и стойким в жизни. Затем мы говорим: «Бог — превыше всего», — напоминая себе, что никто не заслуживает поклонения, кроме Него, кланяемся низко, потому что мы чтим Его выше всего остального, и восхваляем Его могущество и славу. Потом мы встаем на колени и опускаем лбы на землю, потому что мы чувствуем, что мы — лишь пыль и ничто перед Ним и что Он — наш Создатель и Вседержитель на небесах. Затем мы поднимаем наши лица с земли и продолжаем сидеть, моля, чтобы Он простил нам наши грехи, и ниспослал Свою милость на нас, и повел нас правильным путем, и даровал здоровье и пропитание. Потом мы снова падаем ниц на землю и касаемся пыли своими лбами перед мощью и славой Одного и Единственного. После этого мы сидя просим Его благословить Пророка Мухаммада, который донес до нас Его послание, так же, как Он благословил предыдущих Пророков, и благословить также нас и всех тех, кто следует правильному пути; и мы просим Его даровать нам благо в этом мире и благо в следующей жизни. В конце мы поворачиваем наши головы направо и налево, говоря при этом: «Мир вам и благословение Всевышнего», — так мы приветствуем каждого праведного человека, где бы он ни находился.

— Так молился наш Пророк и научил этому своих последователей на все времена, чтобы они могли добровольно отдаваться Богу, и проявлять смирение перед Ним — именно это

и означает *Ислам*, — и тем самым быть в согласии с Его волей и со своей собственной судьбой.

Старик, конечно, не использовал эти слова в точности, как они приведены здесь, но это был их смысл, и именно так я их запомнил. Годы спустя я осознал, что этим простым объяснением *хаджи* открыл для меня первую дверь на пути к Исламу; но даже тогда, задолго до того, как какая-либо мысль о том, что Ислам может стать моей верой, вошла в мое сознание, я начал чувствовать непривычное смирение, если мне приходилось видеть — а это было довольно часто — человека, стоящего босым на молельном коврике, или на соломенной циновке, или на голой земле со сложенными руками на груди и склоненной головой, полностью погруженного внутрь себя, отрешенного от того, что происходит вокруг, будь это в мечети или на тротуаре оживленной улицы, — человека в согласии с самим собой.

«Арабский каменный дом», о котором писал Дориан, был просто очаровательным. Он стоял на окраине старой части города возле Яффских ворот. Его широкие комнаты с высокими потолками были, казалось, насыщены воспоминаниями аристократической жизни, которая прошла через них в былые времена, стены сотрясались от живого настоящего, нахлынувшего на них из близлежащего базара, — образы, и звуки, и запахи, бывшие не похожими на что-либо из того, что мне доводилось испытывать.

С террасы на крыше дома мне был виден четкий контур старой части города с сетью ее неровных улочек и проулков, высеченных из камня. На другом конце, кажущийся близким из-за внушительного размера, стоял Храм Соломона; мечеть Аль-Акса — третья священная после мечетей Мекки и Медины — стояла на самой дальней оконечности; а Купол Скалы (мечеть Омара) — в центре. Еще дальше, в сторону долины Кидрон, стены старого города пришли в упадок; а за долиной возвышались плавно округлые бесплодные холмы с редкими точками оливковых деревьев на склонах. На восточной стороне

было немного больше плодovitости, и можно было видеть сад, спускающийся по склону к дороге, — темно-зеленый, отгороженный стенами Гефсиманский сад. Из середины сада сиял между оливковыми деревьями и кипарисами золотой, лукообразный свод православной церкви.

С Масличной горы можно было наблюдать чистые, но тем не менее полные тысячи неописуемых цветов, подобные бурлящему вареву в колбе алхимика, не подвластные описанию и даже за гранью мысленного осознания долину реки Иордан и Мертвое море. Волнистые холмы да волнистые холмы, набросанные регулярно и плавно, подобно дыханию, напротив опалового воздуха с темно-голубой полосой Иордана и окружностью Мертвого моря вдалеке, а еще дальше — отдельный мир — унылые холмы Моава. Невероятная красота и многообразие данного ландшафта заставляют сердце трепетать в волнении.

Иерусалим оказался полностью новым миром для меня. Исторические воспоминания просачивались из-за каждого угла этого древнего города: улицы, слышавшие проповеди Исаии, булыжники, по которым ходил Христос, стены, которые уже были стары, когда тяжелые шаги римских легионеров отражались эхом в них, проходы с арками, на которых были нанесены надписи со времен Саладина. Небо было темно-голубым, что, возможно, было знакомо тому, кто бывал в других средиземноморских странах, но для меня, выросшего в намного менее приветливом климате, эта голубизна была словно призыв и надежда. Дома и улицы казались покрытыми нежным дрожащим глянцем; люди были полны спонтанных движений и величественных жестов. Люди, то есть арабы... так как именно они отпечатались в моей памяти как люди этой земли, люди, которые выросли из ее почвы и ее истории и были едины с окружающей атмосферой. Их одежды были красочны, в стиле библейского убранства, и каждый из них, *феллах* или бедуин (так как часто можно было видеть бедуинов, которые приезжали в город для покупок или продажи своих товаров), носил свое одеяние в совершенно уникальной манере, всегда немного

отличной от остальных, как если бы он изобрел свой персональный стиль в момент, без подготовки.

Перед домом Дориана, на расстоянии приблизительно сорока ярдов, возвышались крутые, временем потрепанные стены замка царя Давида, который являлся частью бастиона старого города, — типичная средневековая арабская цитадель, вероятно воздвигнутая на фундаменте, сооруженном Иродом, с вытянутой наблюдательной башней в виде минарета. (Хотя цитадель не имеет никакой прямой связи с царем Давидом, иудеи всегда называли ее в честь него, потому что здесь, на горе Сион, стоял по преданию царский дворец). На стороне старого города находилась низкая широкая башня, внутри которой располагались ворота, и каменный мост, переброшенный через ров и ведущий к воротам. Тот мост был, по-видимому, привычным местом встречи для бедуинов, когда им приходилось заезжать в город. В один день я заметил высокого бедуина, стоящего там без движения, его силуэт отчетливо был виден на фоне серебристо-серого неба, подобно фигуре из древнего предания. Его лицо с выраженными скулами, покрытыми короткой красно-коричневой бородой, несло выражение глубокой серьезности: оно было хмуро, как будто бы он ожидал чего-то и все же не надеялся дожждаться. Его широкая накидка с коричневыми полосками, перемежающимися с белыми, была поношена и изорвана, и ко мне пришла причудливая идея, не знаю почему: а что если она была изношена за многие месяцы опасностей и отступлений? Был ли он, возможно, одним из нескольких воинов, которые сопровождали молодого Давида в его бегстве от черной зависти Саула, его короля? Возможно также, что Давид спал прямо сейчас, прячась где-нибудь в пещере в Иудейских горах, а этот человек здесь, этот надежный и отважный друг, втихомолку пришел с товарищем в королевские владения узнать, что Саул думает об их лидере и безопасно ли ему возвратиться. И теперь этот давидов друг ожидал своего товарища, полный дурных предчувствий: плохие новости придется им принести Давиду...

Вдруг бедуин двинулся и начал сходить с моста, и моя мечтательная фантазия прервалась. И тогда в моей голове

пронеслась мысль: этот человека был арабом, тогда как те другие, те персонажи из Библии, — евреи! Но мое удивление длилось лишь мгновение, так как неожиданно я осознал с той ясностью, которая иногда взрывается внутри нас как молния и освещает мир на мгновение ока, что Давид и давидово время, как Авраам и авраамово время, были ближе к своим арабским корням и, следовательно, к бедуину сегодняшнего дня, чем к современному еврею, который претендует на то, чтобы быть их потомком...

Я часто сидел на каменной балюстраде под Яффскими воротами и наблюдал толпы людей, входящих и выходящих из старого города. Здесь они терлись друг о друга, теснились, араб и еврей, всякие возможные комбинации этих двух. Тут были крупного телосложения *феллахины* с белыми или коричневыми платками на головах или оранжевыми тюрбанами; бедуины с выраженными, четкими и, почти без исключений, худыми лицами, носившие накидки на странный самоуверенный манер, часто с руками на боках и широко расставленными локтями, как будто они знали, что всякий будет уступать им дорогу; крестьянские женщины в черных и голубых платьях из ситца, прошитых белым через грудь, часто несшие корзины на своих головах и двигавшиеся с гибкой легкой грациозностью. Сзади многие шестидесятилетние женщины могли сойти за молодых девушек. Их глаза также остались чистыми и не тронутыми годами, если только не трахома, этот дурной «египетский» глаз, который является проклятием всех стран к востоку от Средиземного моря.

И были здесь евреи: местные евреи, носившие *тарбуш* и широкую объемную накидку, в чертах лица сильно напоминавшие арабов; евреи из Польши и России, которые, казалось, приносили с собой столько мелкости и ограниченности из своей прошлой жизни в Европе, что было удивительным думать, что они претендовали на те же корни, что и гордый еврей из Марокко или Туниса в своем белом *бурнусе*. Но хотя европейские евреи были настолько выбивающимися из всеобщей гармонии, окружавшей их, именно они задавали тон еврейской жизни и политики и, таким образом, были

ответственны за почти видимые трения между евреями и арабами.

Что средний европеец знал об арабах в те дни? Практически ничего. Когда он приезжал на Ближний Восток, он привозил с собой какие-то романтические и ошибочные понятия; и, если он был исполнен благих намерений и интеллектуально честен, он должен был признать, что у него не было ни малейшего понятия об арабах вообще. Я тоже, до того как приехал в Палестину, никогда не думал о ней как об арабской земле. Конечно, я смутно понимал, что «некоторые» арабы жили здесь, но я представлял себе их только как кочевников в пустыне и идилических обитателей оазисов. Потому что большинство из того, что я прочел о Палестине ранее, было написано сионистами, кто естественным образом рассматривал лишь свои проблемы. Я не предполагал, что города также были полны арабами, и что по факту в 1922 году в Палестине на одного еврея приходилось приблизительно пять арабов, и что, как следствие, это была арабская страна на гораздо больших основаниях, нежели страна евреев.

Когда я заметил это господину Уссышкину, председателю сионистского комитета действия, которого я встретил в то время, у меня сложилось впечатление, что сионисты не были расположены серьезно рассматривать фактическое арабское большинство, и к тому же казалось, что они не придавали какой-либо особой значимости арабскому сопротивлению сионизму. Ответ господина Уссышкина выявил лишь презрение к арабам:

— Нет здесь никакого реального движения арабов против нас, то есть никакого движения, основанного в народе. Все, что вы рассматриваете как оппозицию, — в действительности лишь выкрики нескольких недовольных подстрекателей. Они сойдут на нет в течение нескольких месяцев или самое большее нескольких лет.

Этот аргумент был совсем неудовлетворительным для меня. С самого начала у меня было ощущение, что вся идея еврейских

поселений в Палестине была искусственной и, что было хуже, она угрожала перенести все сложности и неразрешимые проблемы европейской жизни в страну, которая была бы более счастливой без них. Переезд евреев не был возвращением на родину: они скорее были склонны *превратить* страну в родину, выстроенную по европейскому образцу и с европейскими целями в виду. Одним словом, они были чужестранцами в этих воротах. Итак, я не находил ничего неправильного в решительном сопротивлении арабов идее еврейской родины посреди них. Напротив, я сразу осознал, что именно арабы были подвержены обману и что они справедливо защищали себя от него.

В декларации Бальфура от 1917 года, которая обещала евреям «национальный дом» в Палестине, я видел жестокий политический маневр, разработанный для поддержания старого принципа, общего для всех колониальных держав, — «разделяй и властвуй». В случае Палестины этот принцип был более возмутительным, так как в 1916 году британцы пообещали тогдашнему правителю Мекки, Шарифу Хусейну, в качестве цены за помощь в борьбе против турков независимое арабское государство, которое должно было включать все страны между Средиземным морем и Персидским заливом. Они не только нарушили свое обещание годом позднее, заключив с Францией секретный договор Сайкса-Пико (который устанавливал господство Франции над Сирией и Ливаном), но также косвенно исключили Палестину из обязательств, которые они взяли по отношению к арабам.

Несмотря на свое еврейское происхождение, я почувствовал с самого начала сильный протест против сионизма. Помимо моей личной симпатии к арабам, мне казалось безнравственным то, что иммигранты с поддержки иноземной великой державы могут приезжать из-за границы с общепризнанным желанием достижения большинства в стране и, таким образом, выселить людей, чьей родиной она являлась с незапамятных времен. Следовательно, я был склонен принимать сторону арабов всякий раз, когда всплывал арабо-еврейский вопрос, что, конечно, случалось очень часто. Это мое отношение было за

гранью понимания практически всех евреев, с кем мне пришлось встретиться в те месяцы. Они не могли понять, что я видел в арабах, которые по их мнению были не больше чем массой отсталых людей и на которых они смотрели с чувством, не очень отличавшимся от чувств европейских поселенцев в центральной Африке. Они не были и в малейшей степени заинтересованы в том, что арабы думали; почти никто из них не старался изучать арабский; и каждый из них принимал без всякого сомнения максимум: «Палестина — законное наследие евреев».

Я все еще помню краткую беседу по этому поводу с доктором Хаимом Вейцманом, неоспоримым лидером сионистского движения. Он приехал с одним из своих периодических визитов в Палестину (постоянно он проживал, я полагаю, в Лондоне), и я встретился с ним в доме одного еврейского приятеля. Можно было лишь поражаться безграничной энергии этого человека — энергии, которая выражалась даже в его телодвижениях, в широкой пружинистой походке, с которой он вышагивал взад и вперед по комнате, — и силе его интеллекта, о котором можно было судить по широкому лбу и проникающему взгляду его глаз.

Он говорил о финансовых сложностях, которые преграждали дорогу к осуществлению мечты под названием «еврейский национальный дом», и о недостаточном отклике на призыв среди людей за границей; и к большому моему сожалению, у меня сложилось впечатление, что он, как и большинство других сионистов, был склонен перекладывать моральную ответственность за все, что происходит в Палестине, на «внешний мир». Это вынудило меня нарушить тишину почтения, с которым все остальные присутствующие слушали его, и спросить:

— А как насчет арабов?

Я, должно быть, совершил бестактность, сделав раздражающее замечание посреди беседы, так как доктор Вейцман повернул

медленно свое лицо ко мне, поставил чашку, которую он держал в своей руке, и повторил мой вопрос:

— Как насчет арабов?..

— Ну, как вы вообще надеетесь сделать Палестину своей родиной перед лицом сильной оппозиции со стороны арабов, кто, в конце концов, является большинством в этой стране?

Руководитель сионистов пожал плечами и ответил сухо:

— Мы полагаем, они перестанут находиться в большинстве через несколько лет.

— Возможно и так. Вы имеете дело с этой проблемой уже много лет и должны знать ситуацию лучше, чем я. Но, совершенно независимо от политических трудностей, которые арабская оппозиция может или не может создать на вашем пути, волновал ли вас когда-нибудь моральный аспект данного вопроса? Не думаете ли вы, что это неправильно с вашей стороны вытеснять народ, который всегда жил на этой земле?

— Но это — *наша* страна, — ответил доктор Вейцман, поднимая брови. — Мы лишь возвращаем то, что у нас незаслуженно отняли.

— Но ведь вы не были в Палестине вот уже почти две тысячи лет! До этого вы правили страной, и едва ли всей ее территорией, на протяжении менее чем пятиста лет. Не полагаете ли вы, что арабы могли бы на равных основаниях запросить Испанию для себя, так как, в конце концов, они господствовали в Испании на протяжении почти семиста лет и потеряли ее полностью только пятьсот лет назад?

Доктор Вейцман стал заметно нетерпелив:

— Чепуха. Арабы только *завоевали* Испанию, она никогда не была их первоначальной родиной, поэтому в конечном счете они были заслуженно выбиты испанцами оттуда.

— Простите меня, — возразил я, — но мне кажется, что здесь происходит некое историческое упущение. В конце концов, евреи также пришли как завоеватели в Палестину. Задолго до этого многие семитские и несемитские племена жили здесь: амореи, идумеи, филистимляне, моавитяне, хетты. Те племена продолжали жить здесь даже в дни Израильского и Иудейского царств. Они продолжали жить здесь после того, как римляне изгнали наших предков. Они проживают здесь сейчас. Арабы, заселившие Сирию и Палестину после их завоеваний в седьмом веке, были всегда только малой частью населения; остальные же, которых мы теперь называем «арабами» Сирии и Палестины, являются в действительности лишь «арабизированными» исконными жителями этой страны. Некоторые из них стали мусульманами в течение веков, другие же остались христианами; мусульмане естественным образом заключали браки со своими братьями по вере из Аравии. Но можете ли вы отрицать, что основная масса тех людей, проживающих в Палестине и разговаривающих на арабском языке, будь они мусульмане или христиане, — прямые потомки первых обитателей, первых в смысле проживания на данной земле на протяжении веков до того, как пришли евреи?

Доктор Вейцман вежливо улыбнулся на мою вспышку и перевел разговор на другие темы.

Я не чувствовал удовлетворения результатом своего вмешательства. Конечно же, я не ожидал, что кто-нибудь из присутствующих — а уж тем более доктор Вейцман! — присоединится к моему осуждению сионистской идеи как весьма уязвимой с моральной точки зрения, но я надеялся, что моя защита мотивов арабов по меньшей мере причинит хоть какое-нибудь неудобство руководителям сионистов — неудобство, способное вызвать больше самоанализа и, таким образом, большую готовность признать возможность существования морального права на стороне арабской оппозиции... Ничего из этого не случилось. Вместо этого я встретил пустую стену из пристально глядевших глаз: осуждающее неодобрение моего безрассудства, которое посмело

усомниться в бесспорном праве евреев на землю своих праотцов...

Как было возможно, удивлялся я, что люди, одаренные таким творческим интеллектом, как евреи, рассматривают арабо-еврейский конфликт лишь с еврейских позиций? Разве они не осознавали, что проблемы евреев в Палестине могут быть в долгосрочной перспективе решены только путем дружественного сотрудничества с арабами? Были ли они так безнадежно слепы, не предвидя болезненного будущего, которое их политика неизбежно должна была принести: борьба, горечь и ненависть, которым будет подвержен всегда еврейский остров — даже если и будет преуспевающим временно — посреди враждебно настроенного арабского моря?

И как странно, думал я, что нация, пострадавшая от стольких многих несправедливостей на протяжении долгой и печальной истории своей диаспоры, была теперь готова в узколобом преследовании своей собственной цели причинить тяжкий вред другой нации — нации, которая была неповинна во всех тех прошлых страданиях евреев. Такое явление, я знал, не было чем-то новым в истории, но тем не менее мне было очень грустно видеть его разворачивающимся перед моими глазами.

К тому времени моя поглощенность политической жизнью Палестины уже не была просто следствием моей симпатии к арабам и моей обеспокоенности сионистским экспериментом, но также следствием пробуждения моих журналистских интересов, так как я стал специальным корреспондентом *Frankfurter Zeitung*, одной из самых выдающихся газет Европы того времени. Это продвижение пришло почти случайно.

Одним вечером, когда я разбирал свои старые бумаги, которые захламляли мои чемоданы, я нашел удостоверение корреспондента, выпущенное на мое имя год назад в Берлине и выдававшее меня за представителя Юнайтед Телеграф. Я уже было хотел разорвать его, когда Дориан схватил мою руку и шутливо воскликнул:

— Нет! Если ты покажешь это удостоверение в офисе верховного комиссара, ты получишь спустя несколько дней приглашение на обед в доме правительства... Журналисты — весьма желанные создания в этой стране.

Хотя я и разорвал бесполезное удостоверение, шутка Дориана возымела реакцию в моей голове. Я, конечно, не был заинтересован в приглашении на официальный ланч в дом правительства, но почему бы мне не использовать редкую возможность пребывания на Ближнем Востоке в то время, когда так мало журналистов из центральной Европы могли позволить себе это? Почему бы мне не восстановить свою журналистскую деятельность и не с Юнайтед Телеграф, но с одним из крупных издательств? И неожиданно, как это стало уже обыкновением со всеми моими важными решениями, я тотчас решил пробиться в *настоящий* журнализм.

Несмотря на год работы в Юнайтед Телеграф, у меня не было прямой связи ни с одной важной газетой, и, так как я никогда не публиковал ничего под своим именем, я был абсолютно неизвестен ежедневным газетам. Однако это не лишило меня уверенности в себе. Я написал статью о некоторых своих впечатлениях в Палестине и разослал копии по меньшей мере в десять немецких газет с предложением написать серию статей о Ближнем Востоке.

Случилось это в последние месяцы 1922 года — время самой катастрофической инфляции в Германии. Немецкие издания испытывали трудности, пытаясь выжить, и лишь некоторые из них могли позволить платить иностранным корреспондентам в твердой валюте. Как следствие, не было и в меньшей степени удивительным то, что одна за другой газеты, в которые я послал экземпляр своей статьи, отвечали отказом в более или менее вежливых тонах. Только одно из этих десяти изданий приняло мое предложение и, очевидно впечатленное тем, что я написал, назначило меня своим специальным разъездным корреспондентом на Ближнем Востоке, прилагая в дополнение контракт на книгу, которую мне нужно было написать по возвращении. Этим изданием был *Frankfurter Zeitung*. Я был

почти сражен, когда увидел, что мне не просто удалось наладить связь с газетой — и какой газетой! — но и получить одним росчерком пера статус, которому бы позавидовали многие бывалые журналисты.

Была, конечно, и ложка дегтя в этой бочке меда. Вследствие инфляции руководство *Frankfurter Zeitung* не могло платить мне в твердой валюте. Вознаграждение, которое они оправдываясь предложили мне, было в виде немецких марок; но я знал, так же как и они, что его едва ли хватило бы на оплату почтовых штампов на конверты, содержащие мои статьи. Но быть специальным корреспондентом *Frankfurter Zeitung* означало иметь признание, что с лихвой перевешивало временное отсутствие жалованья. Я начал писать статьи о Палестине с надеждой, что рано или поздно счастливое стечение обстоятельств позволит мне объехать весь Ближний Восток.

Теперь у меня было много друзей в Палестине, евреев и арабов. Сионисты, по правде, смотрели на меня с каким-то подозрением, полные озадаченности из-за моей симпатии к арабам, которая была очевидна из моих материалов, отсылаемых в *Frankfurter Zeitung*. Ясно было, что они не могли понять, был ли я «куплен» арабами (так как в сионистской Палестине люди привыкли объяснять почти всякое явление в терминах денег) или же я был просто причудливым интеллигентом, влюбленным в экзотику. Но не все евреи, проживавшие в то время в Палестине, были сионистами. Некоторые из них приехали туда не для достижения политических целей, но из религиозных побуждений и стремления к Святой Земле и библейским ассоциациям, связанным с ней.

К этой группе принадлежал мой голландский друг Жакоб де Хаан, маленький полный человек с белокурой бородой в возрасте чуть более тридцати лет. До этого он преподавал юриспруденцию в одном из ведущих университетов Голландии, а теперь был специальным корреспондентом амстердамской

Handelsblad и лондонской *Daily Express*. Человек глубокой веры — такой же «ортодоксальный», как и любой еврей в восточной Европе, — он не одобрял идею сионизма, так как он верил, что возвращение его людей на Землю Обетованную должно свершиться с приходом Мессии.

— Мы, евреи, — говорил он мне не единожды, — были изгнаны из Святой Земли и разбросаны по всему миру, потому что мы не выполнили обязательства, которое Бог возложил на нас. Он избрал нас проповедовать Его Слово, но в своей упрямой гордыне мы начали думать, что Он сделал нас «избранной нацией» для нас же самих. И так мы предали Его. Теперь нам ничего не остается, кроме раскаяния и очищения наших сердец; и, когда мы снова станем достойны услышать Его Призыв, Он ниспошлет Мессию, который поведет Его рабов обратно к Земле Обетованной...

— Но, — спрашивал я, — разве не находится эта мессианская идея также в основе сионистского движения? Вы знаете, я не одобряю ее, но разве не естественно желание каждого народа иметь свой национальный дом?

Доктор де Хаан посмотрел на меня насмешливо:

— Неужели вы думаете, что история является лишь рядом случайностей? Я — нет. Не бесцельно Бог лишил нас нашей земли и разбросал нас; но сионисты не хотят принять это. Они страдают от той же самой духовной слепоты, что привела к нашему падению. Две тысячи лет еврейского изгнания и несчастья не научили их ничему. Вместо предпринятия попыток к пониманию внутренних причин наших несчастий, они теперь пытаются обойти их, как это и было, строя «национальный дом» на основаниях, обеспеченных политикой западных держав; и в процессе сооружения национального дома они совершают преступление, лишая другой народ его дома.

Естественным образом политические взгляды Жакоба де Хаана сделали его весьма непопулярным среди сионистов (более того, вскоре после того, как я покинул Палестину, я был шокирован,

узнав, что он был застрелен однажды ночью террористами). Во все время нашего знакомства его общественные связи были ограничены очень немногими евреями его собственного склада мысли, несколькими европейцами и арабами. Он питал, казалось, нежные чувства к арабам, а они, со своей стороны, высоко ценили его и часто приглашали его в свои дома. На самом деле, в то время они еще не имели повсеместной предвзятости против евреев как таковых. Лишь как следствие декларации Бальфура — то есть после вековых добрососедских отношений и осознания национального родства — арабы начали смотреть на евреев как на политических врагов; но даже тогда, в изменившихся условиях начала двадцатых годов, они четко отличали сионистов от евреев, которые были дружески расположены к ним, как доктор де Хаан.

Те судьбоносные месяцы моего первого пребывания среди арабов оставили целый ряд впечатлений и размышлений; мне необходимо было перевести на сознательный уровень некоторые бессвязные надежды личного характера.

Я встретился лицом к лицу с мироощущением, совершенно новым для меня. Теплое человеческое дыхание, казалось, струилось с током крови этих людей в их мысли и жесты без всяких болезненных расколов души, тех призраков страха, алчности и подавленности, которые сделали европейскую жизнь такой никчемной и безнадежной. В арабах я начал находить что-то, что я всегда невольно искал: эмоциональную легкость в решении всех вопросов жизни — наивысшая разумность чувств, если так можно выразиться.

Со временем для меня стало самым важным ухватить самый дух этих мусульманских людей, не из-за их религии (так как в то время я знал о ней совсем немного), но потому, что я распознал в них то органическое созвучие разума и чувств, которое мы, европейцы, потеряли. Может, было возможно различить скрытые связи между нашим западным страданием — разъедающим недостатком внутренней целостности — и причинами его с помощью лучшего понимания жизни арабов,

чтобы, вероятно, понять, что именно заставило нас, западных людей, бежать от торжества свободы жизни, свободы, которую, кажется, арабы имеют даже в период своего социального и политического упадка и которую мы также, должно быть, имели? Ведь как иначе мы создавали великие произведения искусства прошлого: готические соборы Средних веков, буйное ликование эпохи Возрождения, игру света и тени Рембрандта, фуги Баха и безмятежные мечтания Моцарта, гордость расписного искусства наших крестьян и бетховенское ревущее, жаждущее крещендо, устремленное к туманным, еле уловимым вершинам, на которых человек мог сказать: «Я и моя судьба — одно...»

Не зная их истинной природы, мы не можем более правильно использовать наши духовные силы; и никогда снова Бетховены и Рембрандты не вырастут среди нас. Вместо этого мы теперь знаем только то отчаянное прощупывание «новых форм выражения» в искусстве, общественном знании, политике и ту горькую борьбу между противоборствующими лозунгами и тщательно разработанными принципами; и все наши машины и небоскребы ничем не помогут нам в восстановлении разломанной целостности наших душ... А все же, неужели та потерянная духовная слава европейского прошлого была на самом деле утеряна навеки? Разве нельзя восстановить хоть что-нибудь из нее, просто поняв, в чем наши проблемы?

И то, что поначалу было едва ли больше, чем симпатией к политическим целям арабов, внешним признакам их жизни и эмоциональному спокойствию, которое я узрел в этих людях, незаметно перешло в нечто, напоминающее личный поиск. Я стал все больше замечать всепоглощающее желание узнать, что именно лежало в основе этой эмоциональной стабильности и сделало арабский образ жизни настолько отличным от европейского. И это желание, казалось, было таинственным образом связано с моими самыми глубокими внутренними проблемами. Я начал искать возможностей, которые бы позволили мне лучше понять характер арабов и идеи, которые сформировали их и сделали их духовно столь отличными от европейцев. Я начал интенсивно читать об их истории, культуре

и религии. И в этом стремлении я хотел открыть то, что двигало их сердцами, и наполняло их разум, и давало им направление, и так я, кажется, ощущал стремление к обнаружению скрытых сил, двигавших мною, и наполнявших меня, и обещавших указать направление...

IV. Голоса

- 1 -

Мы едем, и Зейд поет. Дюны теперь ниже и разделены широкими промежутками. То здесь, то там песок уступает место протяженным участкам гравия и осколкам базальта, а впереди нас, далеко на юг, поднимаются тенистые очертания цепи холмов — горы Джабаль Шаммар.

Строки из песни Зейда непонятным способом проникают в мою сонливость, но в точности так, что слова ускользают от меня, они, кажется, создают значимость шире и глубже, совершенно вне связи с их формальным смыслом.

Это одна из тех бедуинских песен, которую так часто напевают наездники на верблюдах в Аравии, — напевы, которые человек распевает, чтобы держать верблюда в регулярном и быстром темпе и чтобы не уснуть самому; напевы людей пустыни, привыкших к пространствам, не знающим ни границ, ни эха: всегда в одной мажорной тональности и на одном уровне тона, свободный и немного сиплый голос, выходящий из верхней части горла, мягко утасаживающий в сухом воздухе, — дыхание пустыни, запечатленное в человеческом голосе. Тот, кто путешествовал по пустыням, никогда не забудет этот голос. Он всегда тот же самый везде, где земля бесплодна, воздух горяч, пространство обширно, а жизнь трудна.

Мы едем, и Зейд поет, как его отец, должно быть, пел до него и все другие из его племени, а также из множества других племен, пели на протяжении тысяч лет, ведь именно тысячи лет были нужны, чтобы отлить эти интенсивные монотонные звуки в их окончательную форму. В отличие от полифонической западной музыки, которая почти всегда стремится выразить индивидуальное чувство, эти арабские мелодии с их бесконечными, повторяющимися последовательностями тонов кажутся лишь звуковыми символами эмоционального знания, общего для множества людей, эти звуки не предназначены для создания настроения, но для напоминания самому человеку о его собственном духовном опыте. Они появились очень давно из атмосферы пустыни, из ритмов ветра и кочевой жизни, из ощущения обширных просторов и созерцания бесконечного настоящего. И как обычные вещи человеческой жизни, они всегда остаются постоянными, эти мелодии — неизменны и вечны.

Такие мелодии едва мыслимы на Западе, где полифония является атрибутом не только музыки, но и человеческого чувства и желания. Прохладный климат, быстротечные реки, четыре сменяющихся сезона — эти элементы придают жизни настолько большое разнообразие смыслов и так много направлений, что самое необходимое и первичное в жизни западного человека имеет множество проявлений, и тем самым у него появляется сильное побуждение делать вещи просто ради того, чтобы делать. Он должен всегда творить, строить и преодолевать для того, чтобы снова и снова утверждаться в сложности своих жизненных форм; и эта непрерывно меняющаяся сложность также отражена в его музыке. Звучным западным пением, звуком голоса, исходящим из груди и всегда играющим на нескольких уровнях, говорит та «фаустова» натура, которая заставляет западного человека много мечтать, много желать, к многому стремиться с желанием завоеваний, но также, возможно, и многое терять, и терять болезненно. Так как мир для западного человека — мир истории: бесконечное становление, явление и прохождение. Этому миру недостает умиротворенного спокойствия; время — враг, на которого всегда

смотрят с подозрением; и никогда Сейчас не несет в себе звука вечности...

Арабу же пустынь и степей, с другой стороны, его ландшафт не предоставляет никакого соблазна для мечтательности: тяжелый, словно повседневность, не знает романтики чувств. Внешнее и внутреннее, Я и мир для араба не противопоставляемые и не взаимоисключающие сущности, но лишь разные стороны неизменного настоящего; его жизнь не управляется скрытыми страхами; и если он делает что-то, то делает это лишь потому, что так диктует внешняя необходимость, но не желание внутреннего комфорта. В результате он не продвинулся в материальном прогрессе так же быстро, как западный человек, но он сохранил целостность своей души.

«Как долго, — спрашиваю я себя с почти ощутимым толчком, — Зейд и его люди смогут удерживать свои души целостными перед лицом надвигающейся на них так коварно и безжалостно опасности? Мы живем во времена, когда Восток не может более оставаться пассивным перед лицом надвигающегося Запада. Тысяча сил — политических, общественных и экономических — колотят в двери мусульманского мира. Уступит ли этот мир давлению западного двадцатого века и потеряет в этом процессе не только свои традиционные формы, но и духовные корни?»

- 2 -

Во все годы, что я провел на Ближнем Востоке — сначала как симпатизирующий сторонний наблюдатель с 1922 по 1926 годы и затем как мусульманин, разделяющий цели и надежды мусульманской общины, — я наблюдал неуклонное европейское вторжение в мусульманскую культурную жизнь и политическую независимость. И когда бы ни пытались мусульманские народы защитить себя против этого вторжения, европейское общественное мнение неизменно навешивало с легким

оттенком задевающего простодушия ярлык «ксенофобии» на такое сопротивление.

Европа давно привыкла упрощать таким грубым способом все, что происходит на Ближнем Востоке, и рассматривать его настоящую историю с позиций сугубо западной «сферы интересов». Тогда как везде на Западе (за пределами Британии) общественное мнение выражает сильную поддержку ирландской борьбе за независимость или (за пределами России и Германии) польской мечте национального возрождения, такая симпатия никак не распространяется на схожие стремления среди мусульман. Главным аргументом Запада всегда является политическая разруха и экономическая отсталость Ближнего Востока, и каждая активная Западная интервенция ханжески излагается ее зачинателями как нацеленная не просто на защиту «законных» интересов Запада, но также на обеспечение прогресса местного населения.

Забывая, что каждая прямая и даже благожелательная интервенция извне может только нарушить национальное развитие, изучающие дела Ближнего Востока на Западе всегда были готовы проглотить подобные утверждения. Они видят только новые железные дороги, построенные колониальными державами, но не разрушение социального устройства страны; они считают лишь киловатты нового электричества, но не удары по национальному достоинству. Те же самые люди, которые не принимали «облагораживающую миссию» Австро-Венгрии в качестве достойного оправдания ее интервенции на Балканы, снисходительно принимают похожие оправдания в случае британцев в Египте, русских в Средней Азии, французов в Марокко или итальянцев в Ливии. И им никогда не приходит на ум то, что многие из общественных и экономических болезней, от которых страдает Ближний Восток, являются прямым следствием того самого западного «интереса»; и то, что вдобавок западные интервенции неизменно стараются увековечить и расширить уже существующие внутренние разрушения и таким образом сделать невозможным самостоятельное становление рассматриваемых народов.

Впервые я начал осознавать это в Палестине, в 1922 году, когда я наблюдал двусмысленное поведение британской администрации в отношении конфликта между арабами и сионистами; и абсолютно очевидным для меня это стало в 1923 году, когда после месяцев разъездов по всей Палестине я приехал в Египет, который в то время находился в почти постоянном перевороте против британского «протектората». Бомбы часто взрывались в публичных местах, особо посещаемых британскими солдатами, что приводило к ответу в виде различных подавляющих мер — военное положение, политические аресты, депортация лидеров, запрет газет. Но ни одна из этих мер, как бы жестока она ни была, не могла ослабить людское желание свободы. Через всю египетскую нацию проходило что-то вроде волны жгучего рыдания: не рыдание отчаяния, скорее это было рыдание энтузиазма, потому что они открыли для себя источники своей собственной потенциальной силы.

Только богатые паши, владельцы огромных имений с землей, смирялись в те дни с британским господством. Несчетное количество остальных, включая несчастных *феллахин*, которым даже один акр земли представлялся богатым владением, достаточным для содержания всей семьи, поддерживали движение за свободу. В один день продавцы газет кричали на улицах: «Все лидеры Уафд были арестованы по приказу военного губернатора». Но на следующий день новые лидеры занимали их места, пробелы в рядах заполнялись снова и снова: голод по свободе и ненависть росли. И у Европы имелось только одно слово для этого — «ксенофобия».

Мой приезд в Египет в те дни был следствием моего желания расширить поле своей деятельности для *Frankfurter Zeitung* на другие страны помимо Палестины. Материальное положение Дориана не позволило ему профинансировать такую поездку, но, когда он увидел, как страстно я желал поехать, он выделил мне небольшую сумму, покрывавшую проезд по железной дороге из Иерусалима в Каир и двухнедельное пребывание там.

В Каире я нашел съемные комнаты на узкой аллее в квартале, заселенном в основном арабскими ремесленниками и греками, владельцами маленьких магазинов. Хозяйкой была старая триестинка, высокая, коренастая, неуклюжая и хмурая; она пила с утра до вечера крепкое греческое вино и еле передвигала ноги, ковыляя от одного расположения духа к другому. У нее был неистовый пылкий темперамент, который, казалось, никогда не утихал; но она была дружелюбна ко мне и делала так, что мне было приятно в ее присутствии.

Через неделю, или около того, мои финансы начали подходить к концу. Так как я не желал так рано возвращаться в Палестину и в спокойствие дядюшкиного дома, я начал присматривать себе другие средства к существованию.

Мой иерусалимский друг, доктор де Хаан, снабдил меня рекомендательным письмом к одному предпринимателю из Каира; к нему я и пошел в поисках совета. Он оказался большим радушным голландцем с интеллектуальными интересами, далеко превосходящими его сферу деятельности. Из письма Жакоба де Хаана он понял, что я был корреспондентом *Frankfurter Zeitung*. И когда по его просьбе я показал ему некоторые из своих статей, он поднял свои брови в удивлении:

— Скажите мне, сколько вам лет?

— Двадцать два года.

— Тогда скажите мне кое-что еще, пожалуйста. Кто помог вам с этими статьями, де Хаан?

— Конечно нет, — засмеялся я. — Я написал их сам. Я всегда выполняю свою работу самостоятельно. Но почему вы сомневаетесь?

Он покачал головой, как будто был очень озадачен:

— Но это удивительно... Откуда у вас такая зрелость, чтобы писать такие вещи? Как у вас выходит передать в

полупредложении почти мистический характер самых обычных вещей?

Я был польщен не обыкновенно высказанным комплиментом, и моя самооценка выросла соответственно. В ходе нашего разговора выяснилось, что у моего нового знакомого не было свободных мест в его собственном предприятии, но он пообещал попытаться устроить меня в одну египетскую фирму, с которой он имел торговые дела.

Офис, в который он меня направил, располагался в одном из старых кварталов Каира неподалеку от моей квартиры: темная узкая полоса с домами, выдавшими когда-то цвет аристократии, но теперь переделанными под офисные помещения и дешевые квартиры. Мой будущий работодатель, пожилой лысый египтянин с лицом хищника, смягчившимся под влиянием времени, нуждался в секретаре на неполный рабочий день для работы с французской корреспонденцией; я смог удовлетворить его потребность в исполнении этой функции, несмотря на абсолютный недостаток опыта работы в торговле. Мы быстро пришли к договоренности. Мне нужно было работать лишь три часа в день; жалованье было соответствующе низким; но этого было достаточно, чтобы оплачивать аренду квартиры и держаться неопределенно долго на хлебе, молоке и оливках.

Между моей квартирой и конторой, в которой я работал, располагался квартал красных фонарей — путанный лабиринт улочек, на которых куртизанки всевозможных мастей проводили дни и ночи. После полудня, когда я направлялся на работу, улицы были пустыми и тихими: в тени эркера лениво потягивалось женское тело; за столиками перед некоторыми из домов спокойно попивали кофе девушки в компании важных бородатых мужчин и беседовали со всей серьезностью о вещах, которые, казалось, лежали далеко за пределами всякого возбуждения и страсти.

Но вечером, когда я возвращался домой, квартал просыпался и жужжал больше всех остальных мягкими аккордами арабской лютни, и барабанами, и смехом женщин. Когда тебе доводилось

проходить под светом большого количества электрических ламп и разноцветных фонарей, на каждом шагу мягкая рука обвивала твою шею; рука, коричневая или белая, всегда звенела золотыми или серебряными цепочками и браслетами и всегда источала запах мускуса, ладана и теплой животной кожи. Тебе приходилось быть невероятно решительным, чтобы удержаться от соблазна всех этих объятий со смехом и призывов *йа хабиби* («дорогой мой») и *саадатак* («твое счастье»). Тебе приходилось прокладывать свой путь через блестящие руки, которые были обычно ароматными, ласкали взгляд и одурманивали тебя своими намекающими изгибами. Весь Египет открывался перед тобой, Марокко, Алжир, также Судан и Нубия, также Аравия, Армения, Сирия, Иран... Мужчины в длинных роскошных одеяниях сидели рядами на скамьях вдоль стен домов, приятно возбужденные, смеющиеся, зовущие девушек или молча курящие *наргиле*. Не все из них были «клиентами»: многие приходили просто провести час-другой в приятной, веселящей, неформальной атмосфере района... Иногда тебе приходилось отступать перед оборванным дервишем из Судана, который пел вымаливающие подаяние песни с замороженным лицом и твердо протянутой рукой. Облака благовоний из раскачивающихся курильниц разъезжающего торговца духами скользили по твоему лицу. Иногда можно было слышать пение в хоре, и ты начинал понимать смысл некоторых шумящих и мягких звуков арабского языка... И снова и снова ты слышал нежные, текучие голоса удовольствия, животного удовольствия этих девиц (так как они, без сомнения, наслаждались собой) в светло-голубых, желтых, красных, зеленых, белых, ярко-золотых одеждах из тонкого шелка, тюля, муслина или дамаста; а их смех, казалось, проносился легкой рысцой кошки по мощенному тротуару, поднимаясь, отступая и снова срываясь с их губ...

Как они смеялись, эти египтяне! Как радостно они ходили изо дня в день по улицам Каира, шагая в раскачивающейся походке в длинных полосатых рубахоподобных *галлябийях*, разукрашенных беспечно и беззаботно во все цвета радуги так, что можно было подумать, что вся давящая бедность, и неудовлетворение, и политический беспорядок воспринимались

серьезно лишь в относительном смысле. Яростное взрывное возбуждение этих людей всегда, казалось, было готово уступить место безо всякого видимого перехода искренней безмятежности и даже праздности, как если бы ничего никогда не происходило и ничего не было дурно. Именно поэтому большинство европейцев считало (да пожалуй и сейчас считает) арабов поверхностными; но даже тогда, в те первые дни, я осознавал, что это презрение к арабам произрастало из стремления Запада переоценивать эмоции, которые кажутся «глубокими», и обвинять в поверхностности все, что легко, изящно и необремененно. Арабы, я чувствовал, оставались свободными от тех внутренних напряженностей и давления, которые так характерны для Запада. Как же мы могли применять свои собственные стандарты к ним? Если они казались поверхностными, это было, возможно, потому, что их эмоции выливались без всякого сопротивления в их поведение. Вероятно, под влиянием «вестернизации» они тоже со временем потеряют эту благословенную открытость в соприкосновении с реальностью, так как, хотя западное влияние действовало на современную арабскую мысль разными способами в качестве стимула и удобряющего агента, оно в конечном счете вызывало в арабах те же самые тяжелые проблемы, которые господствовали над духовной и общественной жизнью Запада.

Напротив моего дома так близко, что можно было почти коснуться ее, стояла маленькая мечеть с низким минаретом, с которого пять раз в день звучал призыв на молитву. Человек в белом тюрбане появлялся в галерее, поднимал свои руки и начинал распев: «Аллаху акбар — Господь превыше всего! И я свидетельствую, что Мухаммад — посланник Бога...» По мере того как он поворачивался ко всем четырем сторонам света, звон его голоса поднимался вверх, возвышаясь в чистом воздухе, и колебался глубокими гортанными звуками арабского языка, разрастаясь, доходя до пика и умолкая. Нежный и крепкий баритон, этот голос охватывал большой диапазон, но чувствовалось, что усердие, не искусство, делало его таким красивым.

Такой распев *муаззина* был основной музыкальной темой моих дней и ночей в Каире, так же как он был основным мотивом Старого города Иерусалима и оставался таковым на протяжении всех последующих моих блужданий по мусульманским землям. Он звучал одинаково везде, несмотря на различия в диалектах и интонациях, которые могут быть очевидны в повседневной речи людей, — единство звука, которое заставило меня понять тогда в Каире, насколько глубоким было внутреннее единство всех мусульман и насколько искусственными и незначительными были разделяющие их границы. Они были едины в способе мышления и различении между добром и злом и едины в понимании того, что составляет правильную жизнь.

Мне казалось, что впервые я повстречал общину, в которой родство между людьми не было следствием случайности общих расовых или экономических интересов, но следствием чего-то намного более глубокого и намного более стабильного: близость по общему мировоззрению, которая поднимала всякие барьеры одиночества между человеком и человеком.

Летом 1923 года обогащенный более глубоким пониманием жизни и политики Ближнего Востока я вернулся в Иерусалим.

Через своего хорошего друга Жакоба де Хаана я познакомился с Амиром Абдуллой, правителем соседней Трансиордании, который пригласил меня посетить его страну. Там я увидел впервые настоящую бедуинскую страну. Столица, Амман, построенная на развалинах Филадельфии, греческой колонии Птолемея Филадельфа, была в то время маленьким городом с населением, едва превосходившим шесть тысяч человек. Улицы города были наполнены бедуинами, настоящими бедуинами открытых степей, которых редко можно было видеть в Палестине, — свободные воины и верблюдоводы. Прекрасные скакуны проносились по улицам; каждый был вооружен, носил кинжал за поясом и винтовку на спине. Черкесские повозки (так как город изначально был заселен черкесами, которые мигрировали сюда после русского завоевания их родной земли в девятнадцатом веке), запряженные волами, тяжело тащились по

базару, который, несмотря на свой мелкий размер, был полон суматохи и волнения, присущих гораздо большим по размеру городам.

Так как в городе не было соответствующих зданий, Амир Абдулла жил в те дни в палаточном лагере на холме, возвышавшемся над Амманом. Его собственная палатка была немного больше остальных и состояла из нескольких крайне простых комнат, образованных холстяными перегородками. В одной из них была кровать из черной медвежьей шкуры, лежащей на земле в углу; в приемной пара красивых верблюжьих седел, луки которых были с серебряными инкрустациями, служила в качестве подлокотников, когда кто-нибудь садился на ковер.

Кроме темнокожего слуги, богато одетого в парчу и с кинжалом на ремне, в палатке не было никого, когда я вошел в нее, сопровождаемый доктором Ризой Тауфик-Беем, главным советником *амира*. Он был турком, бывшим университетским профессором и на протяжении трех лет до прихода Кемаля Ататюрка министром образования при турецком правительстве. Амир Абдулла, сказал он мне, должен был прийти через несколько минут, так как в тот момент он обсуждал с несколькими лидерами бедуинских кланов последний рейд из Наджда в южную Трансиорданию. Те «ваххаби» из Наджда, объяснил мне доктор Риза, играли в Исламе роль, не очень отличную от таковой пуританских реформаторов в христианском мире, поскольку они резко противились всякому поклонению святым и многим мистическим суевериям, которые проникли в Ислам с веками; они также были непримиримыми врагами рода Шарифа, главой которого являлся отец *амира*, король Хиджаза Хусейн. Согласно Ризе Тауфик-Бею, религиозные воззрения *ваххаби* нельзя отвергать наотрез; их взгляды, на самом деле, оказываются ближе к духу Корана, чем другие взгляды, преобладающие среди масс в большинстве других мусульманских стран, и, следовательно, *ваххаби* могли бы со временем оказать благотворное влияние на культурное развитие Ислама. Чрезвычайный фанатизм этих людей, однако, создал довольно серьезное препятствие для привлечения

должного внимания со стороны других мусульман к движению *ваххаби*; и этот недостаток, подытожил он, был лишь на руку «определенным кругам», которым возможное объединение арабских народов представляется ужасной перспективой.

Через некоторое время вошел *амир* — человек средних размеров, возрастом около сорока, с короткой белокурой бородой, — шагая мягко в маленьких черных лакированных тапочках. Он был одет в широкую арабскую одежду из шелестящего белого шелка с почти прозрачной белой шерстяной *абайей* поверх. Он сказал:

— *Ахлан-уа-сахлан* («Семьей и легкостью»), — и это был самый первый раз, когда я услышал это любезное арабское приветствие.

Было что-то привлекательное и почти очаровывающее в личности Амира Абдуллы, сильное чувство юмора, теплота выражения и находчивость. Было сразу ясно, почему он был так популярен среди своих людей в то время. Хотя многие арабы не были довольны ролью, которую он играл в подстрекаемом британцами шарифском восстании против турков, и считали это предательством одних мусульман по отношению к другим мусульманам, он заработал определенный авторитет своим первенством в арабском сопротивлении сионизму; и еще должен был настать тот день, когда изгибы и виражи его политики сделают его имя ненавистным во всем арабском мире.

Попивая кофе из маленьких чашечек, которые раздал по кругу черный слуга, мы говорили — иногда при помощи доктора Ризы, который бегло разговаривал по-французски, — об административных трудностях в этой новой стране Трансиордании, где каждый был приучен носить оружие и подчиняться только законам своего клана...

—... но, — сказал *амир*, — арабы полны здравого смысла; даже бедуины теперь начинают понимать, что им следует оставить свой старый непокорный образ жизни, если они хотят быть свободными от иностранного доминирования. Межклановая

вражда, о которой ты, должно быть, слышал очень часто, теперь постепенно сходит на нет.

И он продолжал, рассказывая о непокорных, ненадежных племенах, которые имели обыкновение враждовать друг с другом по малейшему поводу. Их кровная вражда часто длилась целыми поколениями и иногда, передаваемая от отца к сыну, даже столетиями, приводя к еще большему кровопролитию и все новой горечи после того, как исходная причина была почти забыта. Существовал только один способ разрешить конфликт мирно: если молодой человек из племени и рода последней жертвы похищал девственницу из племени и рода преступника и делал ее своей женой, кровь брачной ночи — кровь племени убийцы — символически, и окончательно, отомщала кровь, пролитую в убийстве. Иногда случалось так, что два клана, утомленные поколениями длившейся вендеттой, истощали свои силы; в таком случае «похищение» частенько организовывалось через посредников из третьего клана.

— Я придумал даже лучше, чем это, — сказал мне Амир Абдулла.
— Я установил надлежащую «комиссию по кровной вражде», состоящую из надежных людей, которые разъезжают по стране и организовывают символические похищения и браки между враждующими кланами. Но, — и тут его глаза засверкали, — я всегда внушаю членам этих комиссий быть очень внимательными при выборе девственниц, так как я бы не хотел видеть *внутреннюю* семейную вражду, возникающую на почве возможного недовольства жениха...

Мальчик лет, вероятно, двенадцати появился из-за перегородки, промчался через темную палаточную комнату быстрыми бесшумными шагами и запрыгнул без использования стремени на скакуна снаружи палатки, которого слуга держал готовым для него, — старший сын *амира*, Талял. В его стройном теле, в его быстром прыжке на лошадь, в его светящихся глазах я увидел это снова: тот реальный контакт со своей собственной жизнью, который отделяет арабов так глубоко от всего, что я знал в Европе.

Наблюдая за моим очевидным восхищением своим сыном, *амир* сказал:

— Он, как и любой другой арабский ребенок, растет лишь с одной мыслью в голове: свобода. Мы, арабы, не думаем, что мы безупречны и лишены всяких ошибок; но мы хотим совершать наши ошибки сами и таким образом учиться избегать их, точно как дерево учится расти в процессе роста или как бегущий ручей находит нужное направление, когда течет. Мы не желаем быть ведомы к мудрости людьми, у которых нет мудрости, — теми, кто имеет только мощь, и оружие, и деньги и только знает, как терять друзей, которых он запросто мог бы сохранить в качестве друзей...*

*В то время (1923) никто не мог предвидеть горький антагонизм, который позднее навредит отношениям между Амиром Абдуллой и его сыном Талялем: сын, ненавидящий услужливость своего отца по отношению к британской политике в арабском мире, и отец, возмущенный пылкой искренностью своего сына. Таким же образом я не мог заметить, в тот раз или позднее, каких-либо признаков «умственной отсталости» в Талеле, которая привела к его принудительному отречению от престола Иордании в 1952 году.

Я не намеревался оставаться в Палестине на неопределенный срок; и Жакоб де Хаан снова помог мне. Будучи состоявшимся журналистом, он имел много связей по всей Европе. Его рекомендации обеспечили мне соглашения с двумя мелкими еженедельными изданиями — одним в Голландии, другим в Швейцарии — на серию статей, которые должны были быть оплачены голландскими гульденами и швейцарскими франками. Так как это были провинциальные газеты весьма мелкого калибра, им было не по карману выплачивать большие вознаграждения; но мне, привыкшему к простому образу жизни, было, казалось, достаточно суммы, полученной от них,

чтобы осуществить мое давно спланированное путешествие по Ближнему Востоку.

Мне хотелось сначала посетить Сирию, но французские власти, совсем недавно утвержденные там посреди враждебно настроенного населения, не желали давать разрешение на въезд подданному государства, которое являлось противником в недавней войне. Я ничего не мог поделать с этим разочаровывающим обстоятельством и решил ехать в Хайфу, чтобы оттуда сесть на корабль до Стамбула, который в любом случае был включен в мою программу.

В поезде по пути из Иерусалима в Хайфу со мной случилась катастрофа: я потерял свой пиджак с бумажником и паспортом. Осталось лишь несколько серебряных монет в карманах моих брюк. О путешествии в Стамбул на тот момент не могло быть и речи: ни паспорта, ни денег. Ничего не оставалось, как вернуться на автобусе в Иерусалим; проезд был бы оплачен по приезду из денег, одолженных, как всегда, у Дориана. В Иерусалиме мне бы пришлось ждать несколько недель другого паспорта, заказанного в австрийском консульстве в Каире (так как в Палестине такие услуги не предоставлялись), и очередных грошей из Голландии и Швейцарии.

И так и произошло: я появился следующим утром перед билетной кассой автовокзала на окраине Хайфы. Переговоры по поводу платы за проезд были завершены. Оставался еще один час до отправления автобуса, и, чтобы скоротать время, я расхаживал взад и вперед по улице, глубоко разочарованный собой и уделом, который принудил меня к такому позорному отступлению. Ожидание — всегда дурное дело; и мысль о возвращении в Иерусалим потерпевшим поражение, с поджатым хвостом, была наиболее досаждающей, тем более что Дориан всегда был скептически настроен относительно моих возможностей реализовать свои планы со столь скудными средствами в кармане. Более того, мне не суждено было увидеть Сирию в тот момент, и только одному Богу было ведомо, придется ли мне когда-нибудь еще вернуться в эту часть света. Была, конечно, всегда возможность получить финансовую

поддержку позднее от *Frankfurter Zeitung* на поездку на Ближний Восток или ожидать, что французы снимут запрет на въезд граждан бывших стран-противников. Но это были лишь возможности, и мне не увидеть Дамаск... Почему, сердито спрашивал я себя, Дамаск был недоступен мне?

А действительно ли это так? Конечно — ни паспорта, ни денег. Но совершенно ли необходимо иметь паспорт и деньги?..

И, зайдя так далеко в своих мыслях, я неожиданно встал как вкопанный. Если сильно стиснуть зубы и проявить мужество, можно было пойти пешком, пользуясь гостеприимством арабских крестьян, и, возможно, переправиться через границу, не утруждая себя получением паспортов и виз...

И до того как я успел осознать это, я решился: я еду в Дамаск.

Пары минут было достаточно, чтобы объяснить работникам станции, что я передумал и больше не собираюсь ехать в Иерусалим. Еще несколько минут — и я переоделся в голубые одежды и арабскую *куфию* (наилучшее из существующих способов защиты от арабского солнца), запихал несколько предметов первой необходимости в рюкзак и договорился, чтобы мой чемодан был отправлен к Дориану с уплатой при доставке. И после этого я начал свой длинный путь в Дамаск.

Непреодолимое чувство свободы, не отличимое от счастья, переполняло меня. У меня было лишь несколько монет в кармане; я принялся за нелегальное дельце, которое могло привести меня в тюрьму; проблема пересечения границы лежала далеко впереди в смутной неопределенности; я ставил абсолютно все на свою сообразительность, и осознание того, что на карту поставлено все, делало меня счастливым.

Я шел по дороге в Галилею. После полудня моему виду открылась Изреельская долина, лежавшая справа от меня и покрытая лоскутами света и тени. Я прошел Назарет и перед наступлением ночи вошел в арабскую деревню, находящуюся в

тени перцовых деревьев и кипарисов. У двери первого дома сидели трое или четверо мужчин и женщины. Я остановился, спросил, это ли Ар-Райна, и после утвердительного ответа хотел было двинуться дальше, когда одна из женщин позвала меня:

— *Йа сиди*, почему бы тебе не отдохнуть? — и, как будто предсказывая мою жажду, протянула мне кувшин холодной воды. Когда я напился, один из мужчин — очевидно, ее муж — спросил меня:

— Не отведаешь ли ты хлеб с нами и не останешься ли переночевать в нашем доме?

Они не спросили меня, кто я такой, куда я направляюсь или какое у меня дело. И я остался у них переночевать как гость.

Быть гостем у араба... даже школьники в Европе наслышаны об этом... быть гостем у араба означает войти на несколько часов, на время, поистине и полностью в жизни людей, которые хотят быть твоими братьями и сестрами. Это не просто благородная традиция, которая дает возможность арабам быть столь неограниченно, неумеренно гостеприимными; это их внутренняя свобода. Они настолько свободны от сомнения в самих себе, что они легко могут открыть свою жизнь другому человеку. Они не нуждаются в благовидной безопасности внутри стен, которые на Западе каждый строит между собой и своим соседом.

Мы ужинали вместе, мужчины и женщины, скрестив ноги и сидя на коврике вокруг огромного блюда, заполненного кашей из пшеницы грубого помола и молока. Хозяйева отрывали от больших, тонких, как бумага, листов хлеба кусочки поменьше, которыми они искусно черпали кашу, даже не касаясь ее своими пальцами. Мне они дали ложку, но я отказался от нее и пытался, небезуспешно и к явной радости своих друзей, повторять их простую, но тем не менее изящную манеру кушать.

Когда мы, около дюжины людей в одной и той же комнате, улеглись спать, я вглядывался в свисающие с бревенчатых балок

надо мной ленты сушеного перца и баклажана, в множество ниш в стенах, заполненных медной и каменной посудой, в тела спящих мужчин и женщин и спрашивал себя, разве мог ли я когда-либо дома чувствовать себя настолько же «как дома».

В следующие дни ржаво-коричневые Иудейские горы с голубовато-серыми и фиолетовыми тенями постепенно уступили место более пестрым и плодородным холмам Галилеи. Неожиданно стали появляться источники и мелкие ручьи. Растительность стала более богатой. Группами стояли одетые в толстую листву оливковые деревья и высокие темные кипарисы; цветы прошедшего лета все еще были видны на склонах холмов.

Периодами мне доводилось идти с погонщиками верблюдов и довольствоваться их простодушной теплотой; мы пили из моей фляги, выкуривали сигарету вместе; после я продолжал свой путь в одиночку. Я проводил ночи в арабских домах и ел вместе с их обитателями хлеб насущный. На протяжении дней я брел через горячую низменность вдоль Тивериадского озера и через мягкую прохладу возле озера Хула, которое было подобно стеклянному зеркалу с серебристой дымкой, немного покрасневшее в последних лучах вечернего солнца, нависшего над водой. Возле берега жили арабские рыболовы в хижинах, построенных из соломенных матов, неплотно наброшенных вокруг остова из веток. Они были очень бедны, но они, казалось, не нуждались ни в чем ином, кроме этих непрочных хижин, выгоревшей одежды на их спинах, горсти пшеницы, чтобы испечь хлеб, и рыбы, которую они ловили сами, — и этого всегда было достаточно, чтобы просить странника войти и откусать вместе с ними.

Самой северной точкой в Палестине была еврейская колония Метула, которая — об этом я разузнал ранее — была своего рода брешью между контролируемой британцами Палестиной и французской Сирией. На основании соглашения между правительствами этих двух стран эта и две соседние колонии в скором времени должны были присоединиться к Палестине. В течение тех нескольких недель административной

переорганизации Метула не находилась под строгим наблюдением какой-либо из стран и тем самым представлялась идеальным местом проникновения в Сирию. Я понял, но только позднее, что на главных магистралях требовали предъявления дорожных документов. Сирийский контроль, мне сказали, был очень строгим; практически было невозможно уехать далеко без проверки документов жандармом. Так как Метула все еще была официально частью Сирии, каждый взрослый ее обитатель имел при себе, как и повсюду в стране, удостоверение личности, выпущенное французскими властями. Обеспечить себя подобной бумагой стало для меня делом, не терпящим отлагательств.

Я навел справки, используя все меры предосторожности, и наконец был направлен к дому человека, который был готов расстаться со своим удостоверением за вознаграждение. Это был большой мужчина около сорока, и именно так он был охарактеризован в смятом засаленном документе, который он вынул из нагрудного кармана; но, так как бумага была без фотографии, проблему можно было решить.

— Сколько вы хотите за удостоверение? — спросил я.

— Три фунта.

Я вытащил из кармана все монеты, что имел, и пересчитал их — пятьдесят пять пиастров, то есть немногим больше половины фунта.

— Это все, что у меня есть, — сказал я. — Так как мне нужно сохранить хоть что-нибудь на остаток моего путешествия, я могу дать вам не больше двадцати пиастров (что составляло в точности одну пятнадцатую от того, что он просил).

После нескольких минут переговоров мы сторговались на тридцать пять пиастров, и документ был мой. Он состоял из отпечатанного листа с двумя колонками — на французском и на арабском — и необходимой информацией, написанной от руки поверх пунктирных линий. «Индивидуальные описания» не

сильно волновали меня, так как — обычное дело с такими описаниями — они были превосходно двусмысленными. Но возраст был тридцать девять лет, тогда как мне было двадцать три и выглядел я на двадцать. Даже самый невнимательный полицейский незамедлительно заметил бы расхождение. Следовательно, необходимо было поменять содержание графы «возраст». Более того, если бы возраст был упомянут только в одном месте, замена не была бы так трудна, но, к сожалению, он был приведен и во французской, и в арабской колонках. Несмотря на старательные усилия в письме, мне удалось достичь лишь того, что можно было назвать лишь неубедительной подделкой; любому с глазами на голове стало бы очевидным то, что цифры были изменены в обеих колонках. Но я ничего не мог с этим поделать. Мне приходилось полагаться на удачу и на нерадивость жандармов.

Рано утром мой партнер по бизнесу вывел меня к лощине за деревней, указал на скалы в полумиле от нас и сказал: «Там — Сирия».

Я перешел через лощину. Хотя и было рано, стояла жара. Жарко, должно быть, было и старой арабской женщине, которая сидела под деревом возле тех скал, за которыми начиналась Сирия, так как она обратилась ко мне хриплым ломким голосом:

— Не дашь ли ты испить воды старой женщине, сынок?

Я отвязал недавно наполненную флягу и протянул ей. Она жадно пила и затем вернула флягу со словами:

— Да благословит тебя Господь, да сохранит тебя и приведет к месту назначения твоего сердца.

— Спасибо, мать, более этого мне и не надо.

И когда я повернулся и посмотрел на нее, я увидел, что губы старой женщины шевелятся, как бы в молитве, и почувствовал странный восторг.

Я достиг скал и прошел мимо них; теперь я был в Сирии. Широкая пустынная равнина лежала передо мной; далеко на горизонте я увидел очертания деревьев и что-то похожее на дома; должно быть, это город Банияс. Мне не нравилась эта равнина: ни деревца, ни куста, за которыми можно было бы укрыться, что могло стать необходимостью в такой близости от границы. Но ничего другого не оставалось. Я чувствовал себя, как чувствуешь себя иногда во сне, где должен пройти голышом по переполненной улице...

Был почти полдень, когда я подошел к маленькому ручейку, разделявшему равнину. В то время как я присел, чтобы снять обувь и носки, я увидел на расстоянии четырех всадников,двигающихся в моем направлении. С винтовками поперек седел они выглядели как жандармы, предвещая тем самым недоброе. Они и *были* жандармами. Было бы абсолютно нерационально пытаться бежать от них; итак, будь что будет — так успокаивал я себя. Если меня поймают сейчас, я, вероятно, получу несколько ударов прикладом ружья и буду конвоирован обратно в Метулу.

Я перебрался вброд через ручей, сел на противоположном берегу и стал не спеша сушить ноги, ожидая, когда жандармы подъедут поближе. Они подъехали и стали разглядывать меня с подозрением, так как, хотя я и носил арабский головной убор, я, очевидно, был европейцем.

— Откуда? — один из них резко спросил меня на арабском.

— Из Метулы.

— И куда?

— В Дамаск.

— Для чего?

— О ну, просто развлекательная поездка.

— Какие-нибудь документы?

— Конечно...

И тут появилось «мое» удостоверение личности, и сердце подкатило к горлу. Жандарм развернул бумагу и посмотрел на нее; мое сердце вернулось на прежнее место и начало биться снова, так как я увидел, что он держит документ вверх ногами, очевидно не умея читать... Две или три большие государственные печати, по-видимому, удовлетворили его, так как он неуклюже свернул документ и вернул его мне:

— Все в порядке. Езжайте.

На секунду у меня появился стимул пожать ему руку, но потом прошла мысль о том, что лучше оставить наши отношения строго официальными. Четыре всадника развернули своих лошадей и рысцой ускакали прочь, тогда как я продолжил свой путь.

Возле Банияса я заблудился. То, что было описано в моей дорожной карте как «дорога, пригодная для колесного движения», оказалось едва заметной дорожкой, которая извивалась по степной земле, болотистой почве и через мелкие ручейки и в конечном счете исчезла около каких-то усыпанных галькой холмиков. Я побродил по этим холмам несколько часов вверх и вниз, пока не встретил после полудня двух арабов с ослами, везущими виноград и сыр в Банияс. Мы прошли последний отрезок пути вместе; они угостили меня виноградом, и мы разошлись, подходя к садам перед городом. Чистый, узкий, быстротечный ручей журчал на обочине дороги. Я лег на живот, засунул свою голову по уши в ледяную воду и пил, пил...

Хотя я и был очень измотан, я не намеревался оставаться в Баниясе, который, будучи первым городом на сирийской стороне, обязан был иметь полицейский участок. Моя встреча с жандармами успокоила меня: обычные сирийские солдаты в большинстве своем были неграмотны и, следовательно, не могли обнаружить мою фальшивку; но полицейский участок с офицером внутри был бы совсем другим делом. Поэтому я отправился быстрым шагом по узким переулкам и уединенным

улочкам, избегая главных базарных улиц, где такой участок, вероятнее всего, мог бы располагаться. В одном переулке я услышал лютню и мужской голос, поющий под аккомпанемент аплодисментов. Притягиваемый пением, я завернул за угол и остановился как вкопанный, так как сразу передо мной на расстоянии, вероятно, десяти шагов находилась дверь с надписью *Poste de Police* с несколькими сирийскими полицейскими и офицером, сидящими на стульях в предвечернем солнце и наслаждающимися музыкой одного из их товарищей. Было слишком поздно отступать, так как они уже заметили меня и офицер, судя по всему тоже сириец, позвал меня:

— Эй, поди сюда!

Ничего не оставалось, как подчиниться. Я подошел медленно, и затем блестящая идея осенила меня. Вытащив свой фотоаппарат, я вежливо поприветствовал офицера по-французски и продолжил, не ожидая его расспросов:

— Я приехал из Метулы немного погостить в городе, но мне не хотелось бы возвращаться без фотографии с вами и вашим другом, чья песня так очаровала меня.

Арабы любят, когда им льстят, и, более того, они приходят в восторг, когда их фотографируют. Итак, офицер согласился с улыбкой и попросил прислать ему фотографию после обработки и печати (что я позднее и сделал, приложив свой привет). Ему уже не пришло в голову попросить моих документов. Вместо этого он угостил меня чашкой сладкого чая и пожелал мне *bon voyage*, когда я наконец-то встал, чтобы «вернуться в Метулу». Я удалился тем же самым путем, что и пришел, сделал круг вокруг города и продолжил свой путь в Дамаск.

Ровно две недели спустя после моего отправления из Хайфы я прибыл в большую деревню, почти город, Маджд Аш-Шамс, которую населяли в основном друзы, а также некоторое количество христиан. Я выбрал дом, выглядевший довольно

зажиточно, и сказал молодому человеку, открывшему мне дверь, что я был бы признателен за ночной приют. С обычным *ахлан-уа-сахлан* он широко открыл дверь, и в течение нескольких минут я обнаружил себя принятым в маленькую семью.

Так как теперь я был глубоко внутри Сирии с несколькими возможными путями, ведущими в Дамаск, я решил поведать хозяину-другу свой секрет и спросить его совета. Зная, что ни один араб никогда не предаст своего гостя, я выложил все факты честно перед ним, включая факт того, что я путешествовал по подложному удостоверению личности. Мне сказали, что было бы чрезвычайно рискованно для меня идти по главной дороге, потому что с этого места она патрулировалась французскими жандармами, которые не позволили бы мне пройти их так же легко, как сирийцы.

— Я думаю, я пошлю своего сына с тобой — сказал хозяин, указывая на молодого человека, который открыл мне дверь, — и он проведет тебя через горы и поможет тебе избежать дорог.

После ужина мы сели на открытой террасе перед домом и обсудили маршрут, которого нам следовало придерживаться следующим утром. Мелкомасштабная немецкая карта Палестины и Сирии, которую я привез с собой из Иерусалима, была развернута на моих коленях, и я пытался отследить маршрут, указанный моим другом-другом. В то время как мы были заняты этим, человек в униформе полицейского офицера (по всем признакам сириец) прогуливаясь шел по деревенской улице. Он так неожиданно появился из-за угла, что я едва успел свернуть карту, не говоря уже о том, чтобы спрятать ее. Офицер, казалось, распознал незнакомца во мне, так как после того, как он прошел террасу и кивнул хозяину, он развернулся на следующем углу и медленно зашагал по направлению к нам.

— Кто вы такой? — спросил он на французском довольно доброжелательным голосом.

Я повторил свою обычную фальшивую канитель о том, что я поселенец из Метулы в развлекательном путешествии. И когда он попросил предъявить удостоверение личности, мне пришлось дать ему удостоверение. Он посмотрел внимательно на бумагу, и его губы скривились в ухмылке.

— А что это в вашей руке? — продолжил он, указывая на свернутую немецкую карту. Я сказал, что ничего особенного, но он настоял на том, чтобы увидеть ее, после развернул ее ловкими пальцами человека, привыкшего к работе с картами, посмотрел на нее несколько секунд, свернул заботливо и вернул мне обратно с улыбкой. Затем он сказал на ломаном немецком:

— Во время войны я служил в турецкой армии бок о бок с германцами, — и он отдал честь на военный манер, ухмыльнулся еще раз и ушел.

— Он понял, что ты *алемани*. Он любит их и ненавидит французов. Он не побеспокоит тебя более.

На следующее утро в сопровождении молодого друга я отправился в свой самый сложный поход в жизни. Мы прошли более одиннадцати часов только с одним перерывом в полдень около двадцати минут: по скалистым холмам, по глубоким теснинам, по пересохшим руслам рек, снова в гору, по булыжникам, по острой гальке, вверх и вниз, вверх и вниз, пока я не почувствовал, что больше не могу идти. Когда после полудня мы достигли города Аль-Катана на равнинах Дамаска, я был полностью истощен, моя обувь разорвалась, а мои ноги опухли. Я захотел остановиться на ночлег в городе, но мой юный друг был категорически против этого: там было повсюду слишком много французской полиции, и, так как это был город, а не деревня, я бы вряд ли нашел так легко приют, не привлекая к себе внимания. Единственной альтернативой было обеспечить себе поездку на одном из автомобилей, курсировавших внаем между этим местом и Дамаском. У меня все еще оставалось двадцать пиастров (в течение всей своей поездки из Хайфы у меня не было и единойжды нужды потратить хотя бы один

пенни), и плата за проезд на автомобиле до Дамаска оказалась равной как раз двадцати пиастрам.

В полуразвалившемся офисе транспортного подрядчика на главной площади города мне сообщили, что придется ждать около получаса до отправления следующей машины. Я распрощался со своим дружелюбным гидом, который обнял меня, словно брата, и отправился сразу же на первый этап своего пути обратно домой. Сидя возле двери билетной кассы с рюкзаком возле меня, я начал дремать под лучами заходящего солнца, пока кто-то не начал грубо будить меня, трясая за плечи, — сирийский жандарм. Обычные вопросы и последовавшие за ними не менее известные ответы. Но он совсем не был, судя по всему, удовлетворен и сказал мне:

— Пойдем со мной в полицейский участок, там поговорим с главным офицером.

Я был настолько утомлен, что мне было уже безразлично, разоблачат ли меня или нет.

«Офицер» в участке оказался большим плотным французским сержантом с расстегнутой туникой. Он сидел позади стола, на котором стояла почти пустая бутылка арака и грязный стакан. Он был сердит и совершенно пьян, он бросил свирепый взгляд своими налитыми кровью глазами на полицейского, который привел меня.

— Что тут еще?

Полицейский объяснил на арабском, что увидел меня, незнакомца, сидевшим на главной площади, а я объяснил на французском, что я не незнакомец, но обычный законопослушный гражданин.

— Законопослушный гражданин! — вскричал сержант. — Да такие, как ты, — преступники да бродяги, которые шастают по стране, только чтобы позлить нас. Где твои документы?

Тогда как я шарил в кармане окостеневшими пальцами в поисках своего удостоверения, он ударил своим кулаком по столу и заревел:

— Забудь, убирайся отсюда! — и когда я закрывал за собой дверь, я увидел, как он потянулся за бутылкой и стаканом.

После такого длинного-длинного похода какое наслаждение, какая легкость ехать — нет, почти скользить — в автомобиле из Аль-Катаны по широкому шоссе к садами покрытой равнине Дамаска! На горизонте лежала цель моего путешествия — бесконечное море из верхушек деревьев, сияющих куполов и минаретов, едва заметных на фоне неба. Еще дальше, немного правее, стоял одинокий и голый холм, гребень которого все еще освещался солнцем, тогда как мягкие тени уже подступали к его подножию. Над холмом — одинокое облачко, узкое, длинное, сверкающее в сумерках; невероятно высокое бледно-голубое небо; сизый сумрак, золотистый на фоне гор, справа и слева от нас; легкий воздух.

Затем — высокие фруктовые сады, окруженные глиняными стенами, всадники, повозки, телеги, солдаты (французские солдаты). Сумерки стали зелеными, как вода. Офицер прогрохотал рядом на мотоцикле с защитными очками, напоминающими глубоководных рыб. И вот первый дом. Затем — Дамаск как прилив шума после тишины открытой равнины. Первые лампы загорались в окнах и на улицах. Я чувствовал радость, какую не мог припомнить из прошедшего.

Но моя радость внезапно прервалась, как мы остановились перед *poste de police* на окраине города.

— В чем дело? — спросил я водителя, сидевшего возле меня.

— О, ничего. Все въезжающие в город машины должны уведомить полицию по приезду...

Сирийский полицейский вышел из участка и спросил:

— Откуда приехали?

— Только из Аль-Катаны, — ответил водитель.

— Ну, тогда езжайте, — (так как это были всего лишь местные перевозки). Водитель со скрежетом включил сцепление. Мы продолжили наш путь, а я опять вздохнул спокойно. Но в тот самый момент кто-то с улицы крикнул: «Крыша разваливается!» И в нескольких шагах от *poste de police* водитель остановил старую машину, чтобы позаботиться о крыше, которая немного провалилась с одной стороны. Пока он был занят этим, полицейский лениво подошел к нам еще раз, судя по всему, заинтересованный механической поломкой, не более. Затем, однако, его взгляд натолкнулся на меня, и я увидел — и все мое тело оцепенело — как его глаза наполнились бдительностью. Он рассмотрел меня с ног до головы, подошел ближе и покосил глаза на мой рюкзак, лежавший на полу автомобиля.

— Кто вы такой? — спросил он подозрительно.

И я начал: «Из Метулы...» Но полицейский качал головой не веря. Затем он зашептал что-то водителю; я лишь понял «английский солдат, дезертир». И тут, в самый первый раз, меня осенило, что моя голубая одежда, коричневая *куфия* с переплетенным золоченной нитью *игалом* и военного стиля рюкзак (которые я купил в магазине всякого старья в Иерусалиме) очень напоминали униформу ирландских полицейских, нанимаемых в те дни правительством Палестины; и я также вспомнил, что существовало соглашение между французскими и британскими властями о выдаче дезертиров друг другу...

На ломаном арабском я попытался объяснить полицейскому, что я никакой не дезертир, но он не хотел слушать моих объяснений:

— Объяснишь все это инспектору.

Итак, я был вынужден пойти в полицейский участок, тогда как водитель, пробормотав извинения за то, что не может ждать

меня, завел машину и исчез из виду... Инспектора не оказалось на месте, но мне сказали, что он должен был вернуться с минуты на минуту. Мне пришлось ждать в комнате, где была лишь скамья и, помимо главного входа, две другие двери. Над одной из них было написано *Gardien de Prison*, а над другой — просто *Prison*. Посреди этой неблагоприятной атмосферы я ждал более получаса, с каждой минутой все больше и больше думая о том, что это был конец моего приключения, так как «инспектор» звучало намного более зловеще, нежели просто «офицер». Если меня разоблачат теперь, я проведу некоторое время, возможно недели, в тюрьме в качестве ожидающего приговора; затем я получу обычный приговор на три месяца; после отбывания срока я должен буду пройти пешком в сопровождении конного жандарма обратно до границы Палестины; и вдобавок ко всему меня могут изгнать из Палестины за нарушение паспортного режима. Уныние комнаты ожидания было ничем по сравнению с унынием во мне.

Вдруг я услышал шум автомобиля. Он остановился перед воротами участка. Мгновение спустя человек в гражданском платье с красным *тарбушем* на голове вошел в комнату быстрым шагом. Его сопровождал полицейский, который оживленно пытался доложить ему о чем-то. Инспектор, очевидно, очень торопился.

Я не знаю точно, как это случилось, но я предполагаю, что то, что сделал я в тот решающий момент, было результатом одного из тех редких проблесков одаренности, которые в различных обстоятельствах и, возможно, в различных людях создают явления, меняющие ход истории. Одним прыжком я подскочил к инспектору и, не дожидаясь его вопросов, начал забрасывать его на французском потоком жалоб на оскорбительную бестактность полицейского, забравшего меня, порядочного гражданина, в качестве дезертира и лишившего меня поездки в город на автомобиле. Инспектор пытался несколько раз остановить меня, но я не давал ему шанса сделать это, заваливая его лавиной слов, из которых он, я полагаю, мог едва ли ухватить и десятую часть, может быть только слова «Метула» и «Дамаск», которые я повторял бесконечное число раз. Он был

явным образом недоволен тем, что его отвлекали от того, что ему срочно нужно было сделать; но я не позволял ему говорить и продолжал без малейшей паузы выстраивать свою плотину из слов. В конечном счете он в отчаянии поднял свои руки вверх и прокричал:

— Остановитесь ради Бога! У вас есть документы?

Моя рука автоматически полезла в нагрудный карман, и, все еще выливая предложение за предложением в непрекращающемся потоке, я всунул подложное удостоверение личности ему в руки. Бедный человек, должно быть, чувствовал себя утопающим, так как он только быстро развернул сложенный лист бумаги, увидел государственную печать и отдал мне документ:

— Хорошо, хорошо, идите, идите уже! — и я не стал дожидаться, пока он повторит свою просьбу.

Несколько месяцев ранее, в Иерусалиме, я повстречал дамасского учителя, который пригласил меня погостить у него, когда я пожелаю, и теперь я разыскивал именно его дом. Юнец с улицы согласился помочь мне и вел меня за руку.

Поздний вечер. Старый город. Узкие улицы, которые под нависшими балкончиками и окнами казались еще темнее, чем просто в ночи. То здесь, то там в желтом свете керосиновых фонарей перед моим взором вставала фруктовая лавка с насыпью арбузов и корзинами винограда снаружи. Люди были подобны теням. Иногда за решетчатым окном был слышен пронзительный женский голос. Затем мальчишка сказал: «Здесь». Я постучал в дверь. Кто-то ответил изнутри, и я поднял задвижку на двери и вошел в мощный двор. В темноте я мог различить виноградную лозу, провисшую под тяжестью зеленых гроздей, и каменный прудик с фонтаном. Кто-то крикнул сверху:

— *Тафаддаль, йа сиди*, — и я поднялся по узкой лестнице вдоль одной из внешних стен дома и прошел сквозь открытую лоджию прямо в объятия моего друга.

Я устал до смерти. Полностью измученный, я бросился без всякого сопротивления на кровать, которая была предложена мне. Ветер шумел в деревьях во дворе перед домом и в деревьях сада внутри него. Издалека доносилось множество приглушенных звуков — голос величественного арабского города, отходящего ко сну.

То возбуждение, сопровождающее новые открытия, когда глаза открываются на вещи, о которых не подозревал ранее, было моим спутником в те летние дни в моих блужданиях по аллеям и старому базару Дамаска. Тогда я начал распознавать духовную умиротворенность жизни этих людей. Их внутреннее благополучие проявлялось в том, как они вели себя по отношению друг к другу: теплое достоинство, с которым они встречались и расходились; манера, в которой два человека шагали рядом, держась за руки, словно дети, просто потому, что они чувствовали расположение друг к другу; поведение в отношениях между лавочниками. Те торговцы из маленьких магазинов, те неумолимые зазыватели прохожих, казалось, не имели никакого сжимающего страха или зависти внутри себя, настолько что владелец магазина оставлял его под опекой соседа и конкурента, когда только ему было необходимо отлучиться. Я часто видел, как прохожий останавливался возле оставленной без присмотра палатки, находясь, очевидно, в сомнениях, ждать возвращения продавца или перейти к соседней палатке, и неизменно соседний продавец, конкурент, вмешивался, спрашивал о желаниях покупателя, продавал ему необходимые товары — не его товары, но товары отсутствующего соседа — и оставлял деньги за покупку на скамье своего соседа. Где в Европе можно было встретить подобные сделки?

Некоторые базарные улицы были полны крепких фигур бедуинов в своих широких обтекаемых одеждах: люди, которые

всегда, казалось, несли свою жизнь вместе с собой и всегда шагали своим собственным путем. Высокие люди с серьезными и горящими глазами стояли и сидели группами перед торговыми лавками. Они не были многословны друг с другом: одно слово, одно короткое предложение, внимательно высказанное и также внимательно выслушанное, поддерживало долгий диалог. Эти бедуины, мне казалось, не знали болтовни, тех разговоров ни о чем, когда нечего сказать, — признака обветшалых душ; и это напоминало мне пассажи из Корана, где описывается жизнь в Раю: «... и ты не услышишь пустых разговоров там...» Тишина была бедуинской добродетелью. Они закутывались в широкие, коричнево-белые или черные накидки и пребывали в тишине; они проходили мимо тебя, бросая тихий детский взгляд, гордые, скромные и разумные. Когда ты обращался к ним на их языке, их черные глаза внезапно загорались улыбкой, так как они не были сосредоточены на себе и им нравилось быть обнаруженными незнакомцем. Они — вельможи, очень сдержанные и тем не менее открытые ко всему в жизни...

По пятницам — священный день отдохновения у мусульман — можно было заметить смену ритма в Дамаске: небольшой вихрь счастливого возбуждения и в то же время торжественность. Я думал о наших воскресеньях в Европе, спокойных улицах города и закрытых лавках; я вспоминал все те пустые дни и угнетение, приносимое этой пустотой. Почему должно быть именно так? Теперь я начинал понимать это: для большинства людей на Западе их повседневная жизнь — тяжелая ноша, и только воскресенья освобождают от нее. Воскресенье больше не день отдыха, но день, ставший бегством в воображаемую, обманчивую забывчивость, за которой вдвойне тяжелые и угрожающие будничные уловки рабочей недели.

Для арабов, с другой стороны, пятница не являлась возможностью забыть рабочие дни. Не сказать, что плоды их жизни легко и без усилий доставались им, но просто потому, что их труд, даже самый тяжелый, не находился, казалось, в конфликте с их личными предпочтениями. Повседневность ради повседневности отсутствовала; вместо этого существовало

внутреннее соприкосновение рабочего с его работой. Таким образом, передышка была необходима только лишь, когда он уставал. Такое созвучие между человеком и работой, должно быть, рассматривалось Исламом как естественное состояние дел, и, следовательно, по пятницам не предписывался обязательный отдых. Рабочие мастерских и лавочники дамасских базаров работали несколько часов, покидали свои рабочие места на некоторое время, в течение которого они посещали мечеть для полуденной молитвы и после этого встречались с друзьями в кафе; затем они снова приходили на работу в свои лавки и работали еще несколько часов в радостном расслаблении, каждый — как ему хотелось. Лишь несколько магазинов были закрыты, и, не считая времени молитвы, когда все люди собирались в мечетях, все улицы были полны суматохи точно так, как в любой другой день недели.

В один из пятничных дней я пошел с моим другом, у которого я гостил, в Мечеть Омейядов. Множество мраморных колонн, которые поддерживали куполообразный потолок, сверкали в лучах солнца, которые падали через окна над притолоками. Чувствовался мускусный запах в воздухе; красные и голубые ковры покрывали пол. В длинных ровных рядах стояли многие сотни мужчин позади *имама*, который вел молитву; они кланялись, становились на колени, касались лбами земли и снова поднимались: все в дисциплинированном унисоне, как солдаты. Было очень тихо: пока прихожане стояли, можно было слышать из самых отдаленных уголков огромного зала голос старого *имама*, читающего вслух стихи из Корана. И когда он кланялся или падал ниц, все прихожане следовали за ним, как один, кланяясь и падая ниц перед Богом, как если бы Он находился перед их глазами...

Именно в этот момент я прочувствовал, насколько близки были их Бог и их вера к ним. Их молитва не была оторвана от их рабочего дня, она была частью его, не предназначенной для того, чтобы забыть жизнь, но для того, чтобы лучше помнить о ней, вспоминая о Боге.

— Как странно и прекрасно, — сказал я своему другу, когда мы покидали мечеть, — что ваши люди чувствуют Бога так близко к себе. Я бы сам желал чувствовать так же.

— Как же иначе может это быть, о брат мой? Разве Бог, как утверждает наша Священная Книга, не *ближе к тебе, чем вена в твоей шее?*

Подстегиваемый своим новым представлением, я стал проводить много времени в Дамаске, читая всякого рода книги об Исламе, которые только мог раздобыть. Уровень моего арабского, хотя и достаточный для ведения бесед, был все еще очень низким, чтобы читать Коран в оригинале, поэтому мне пришлось обращаться к двум переводам, французскому и немецкому, которые я позаимствовал в библиотеке. Во всем остальном мне пришлось полагаться на работы европейских востоковедов и на объяснения моих друзей.

Как бы они ни были фрагментарными, эти расспросы и изучение были подобны приподнятию занавеса. Я начал различать мир идей, о котором до сих пор я был совершенно несведущ.

Ислам не казался столько религией, в обыденном понимании этого слова, сколько образом жизни; не столько теологической системой, сколько программой личного и общественного поведения, основанного на осознании Бога. Нигде в Коране я не мог найти ссылки на необходимость в «спасении». Никакого первородного, врожденного греха не стояло между личностью и его судьбой, так как *ничего не приписывается человеку, кроме того, к чему он сам стремился*. Никакого аскетизма не требуется, чтобы открыть скрытые врата чистоты, так как чистота — врожденное право человека, а грех означает не более чем отклонение от природных положительных качеств, которыми Бог наделил каждого человека. Нет и следа дуализма в рассмотрении человеческой природы: тело и душа воспринимаются как одно неотъемлемое целое.

Сначала я был немного поражен озабоченностью Корана не только духовными аспектами, но также многими, кажущимися тривиальными, мирскими сторонами жизни; но со временем я начал понимать, что если человек является на самом деле нераздельным целым из тела и души, точно так, как настаивал на этом Ислам, то ни один аспект его жизни не может быть слишком «банальным», чтобы войти в компетенцию религии. Со всем этим Коран ни на миг не позволял своим последователям забыть, что жизнь в этом мире — лишь один из этапов путешествия человека к наивысшему существованию, а его конечная цель — цель духовного характера. Материальное благополучие, говорилось, желательно, но не является самоцелью, и, следовательно, человеческие склонности, хотя и оправданы сами по себе, должны быть ограничены и контролируемы моральным сознанием. Это сознание должно иметь отношение не просто к связи человека с Богом, но также к его взаимоотношениям с людьми; не только к духовному совершенствованию личности, но также к созданию таких общественных условий, которые были бы благоприятными для духовного развития всех, так чтобы все могли жить в полноте...

Все это было интеллектуально и этически намного более «приемлемым», чем все, что я прежде слышал или читал об Исламе. Его подход к проблемам духа казался глубже, чем подход Ветхого Завета, и к тому же был лишен предпочтения одной избранной нации; а его подход к проблемам плоти был, в отличие от Нового Завета, решительно утвердительным. Дух и плоть стояли, каждый в своем праве, как сочетающиеся стороны Богом созданной жизни человека.

Может быть, именно это учение, спрашивал я себя, было ответственно за эмоциональное спокойствие, которое я уже так долго ощущал в арабах?

В один вечер хозяин дома, в котором я гостил, пригласил меня сопровождать его на вечер в доме одного богатого друга, который праздновал рождение сына.

Мы шли по извилистым улочкам внутренней части города, которые были настолько узки, что выступающие наружу домов эркерные окна и покрытые решеткой балконы с противоположных сторон улицы почти касались друг друга. Глубокие тени и умиротворяющая тишина дремали между старыми домами из камня; иногда несколько женщин в черных вуалях проходили мимо быстрыми маленькими шагами, или бородатый мужчина, одетый в длинный *кафтан*, появлялся из-за угла и медленно исчезал за другим. Всегда одни и те же закоулки и неровные углы, всегда те же самые улочки, которые пересекают друг друга во всех направлениях и всегда обещают привести к изумляющему открытию, но всегда переходят в другую, похожую улочку.

Но открытие все-таки пришло в самом конце. Мой друг и гид остановился перед ничем не примечательной деревянной дверью, встроенной в пустую, глиной отштукатуренную стену, и сказал:

— Вот мы и пришли, — и он постучал кулаком в дверь.

Дверь открылась со скрипом, очень пожилой человек поприветствовал нас, беззубо пробормотав *ахлан-уа-сахлан*, и через короткий коридор с двумя поворотами под прямым углом мы вошли во внутренний двор дома, который не имел ничего общего с тем, что снаружи выглядело, как глиняный хлев.

Двор был широкий и просторный, вымощенный, словно огромная шахматная доска, белыми и черными плитами из мрамора. В центре в низком восьмиугольном бассейне играл и плескался фонтан. Лимонные деревья и олеандровые кустарники, посаженные на маленьких участках, свободных от мраморных плит, распускали нагруженные цветами и плодами ветви по всему двору и вдоль внутренних стен дома, которые были покрыты от пола до крыши алебастровой вырезкой самого изысканного мастерства, демонстрирующего сложные геометрические формы и листовенные арабески, прерывающиеся только окнами, обрамленными широкими ажурными кружевами, плетеными из мрамора. На одной стороне двора,

около трех футов над уровнем земли, углубления в стенах образовывали глубокие ниши размером с большую комнату, к которым вели широкие мраморные ступени. Вдоль трех стен такой ниши, называемой *ливан*, располагалась низкая парчовая софа, тогда как на полу был расстелен дорогой ковер. Стены ниши несли на себе огромные зеркала высотой, возможно, до пятнадцати футов, и весь двор с деревьями, черно-белым полом, алебастровыми рельефами, мраморными амбразами окон, резными дверьми, ведущими внутрь дома, и разноцветной толпой гостей, которые сидели на диванах или прогуливались вокруг бассейна, — все это в точности повторялось в зеркалах *ливана*. И когда доводилось смотреть в них, ты обнаруживал, что и стена двора напротив была покрыта такими же зеркалами во всю свою длину, так что вся сцена отражалась дважды, четырежды, сто раз и таким образом превращалась в бесконечную магическую тесьму из мрамора, алебастра, фонтанов, мириад людей, лесов из лимонных деревьев и олеандровых рощ — бесконечное царство грез, сверкающее под вечерним небом, все еще розовым от лучей заходящего солнца...

Такой дом — голый и непривлекательный со стороны улицы, богатый и восхитительный внутри — был чем-то абсолютно новым для меня; но со временем я узнал, что это было типично для традиционных домов зажиточных граждан не только в Сирии и Ираке, но также в Иране. Ни арабы, ни персы в прошлом не заботились о фасаде: дом предназначался для житья, и его функции ограничивались внутренней частью. Это было весьма отлично от навязанной «функциональности», так сильно преследуемой в современной западной архитектуре. Западные жители, запутавшиеся в своего рода антиромантизме, неуверенные в собственных чувствах, теперь выстраивают проблемы; арабы и персы строят, или строили до совсем недавнего времени, дома.

Хозяин посадил меня справа от себя на диване, и босоногий слуга подал кофе на маленьком медном подносе. Дым из бурлящих *наргиле* перемешался с ароматом розовой воды в *ливане* и заструился по воздуху к свечам в стеклянных абажурах,

которые зажигались одна за другой вдоль стен и между темнеющей зеленью деревьев.

Компания — все мужчины — была весьма разнообразна: мужчины в *кафтанах* из полосатого шуршащего дамасского шелка или китайского шелка-сырца цвета слоновой кости, в объемных тонкорунных *джубба* пастельных тонов, в белых тюрбанах с золотой вышивкой поверх красных *тарбушей*; мужчины в европейских одеждах, но заметно сидящие в совершенно непринужденной манере в положении «потиурецки» на диванах. Некоторые бедуинские вожди из степей вместе со своим окружением были среди присутствующих: черные и удивительно живые глаза и короткие черные бороды вокруг худых коричневых лиц. Их новые одежды шуршали с каждым движением, и все они имели при себе мечи в серебряных ножнах. Они были расслаблены и чувствовали себя непринужденно — истинные аристократы, только их расслабленность, в отличие от таковой европейских аристократов, не была мягким сиянием, выведенным поколениями любви, заботы и хорошей жизни, но была подобна теплomu огню, исходящему из уверенности в своих восприятиях. Хорошая атмосфера окружала их, сухая и чистая, — та самая атмосфера, которую я однажды прочувствовал в реальности на краю пустыни; атмосфера, которая охватывает своим целомудрием, но не обременяет. Здесь они были подобны далеким друзьям, проезжим посетителям: их свободная бесцельная жизнь ждала их где-то.

Девушка-танцовщица вышла из одной из дверей и взбежала вверх по ступеням в *ливан*. Она была очень молода, очевидно не больше двадцати, и очень красива. Одета во вздымающиеся штаны из какого-то блестящего шелкового материала с отливом, пару золотых тапочек и жемчугом украшенный корсаж, который не столько закрывал, сколько подчеркивал ее высокую крепкую грудь, она двигалась со сладострастным изяществом, несомненно привыкшая к тому, что ей восхищались и ее желали; можно было почти слышать волну восторга, которая пробежала по этому собранию мужчин при виде ее нежных рук и ног и ее упругой гладкой кожи.

Под аккомпанемент ручного барабана, на котором играл мужчина средних лет, вошедший в *ливан* сразу за ней, она танцевала один из тех традиционных, распутных танцев, так любимых на востоке: они предназначены для того, чтобы вызывать спящие желания и обещать исполнения затаившихся возможностей.

— О прекрасная... О необыкновенная... — бормотал хозяин. Затем он шлепнул меня слегка по колену и сказал:

— Разве она не подобна успокаивающему бальзаму на ране?..

Так же быстро, как она пришла, танцовщица исчезла; и следа от нее не осталось, кроме туманного блеска в глазах большинства присутствующих. Она уступила место на ковре *ливана* четырем музыкантам, из самых лучших во всей Сирии, как сказал мне один из гостей. Один из них держал удлинённую лютню, другой — плоский одиночный барабан, похожий на бубен без колокольчиков, третий — инструмент, напоминавший цитру, а четвертый — египетский *тамбур* — нечто похожее на очень широкую медную бутылку с дном из барабанной кожи.

Они начали утонченно перебирать на струнах и играть на барабане: сначала игриво без какой-либо видимой гармонии, как будто каждый на свой лад, как если бы настраивая свои инструменты в подготовке к общему скоординированному рывку. Музыкант с цитрой провел пальцами несколько раз поперек струн вверх и вниз, производя приглушенный звук, подобный звуку арфы; музыкант с *тамбуром* мягко выстукивал, останавливался и снова играл; человек с лютней начал, как будто рассеянно, с нескольких низких, резких аккордов, быстро сменивших друг друга, — аккордов, которые, казалось, лишь случайно совпадали с сухим, монотонно повторяющимся ритмом бубна и втягивали *тамбур* в нерешительный отклик на перелив струн то лютни, то цитры — и вот, еще до того, как стало возможным узреть его, общий ритм связал все четыре инструмента вместе, и начала формироваться мелодия. Мелодия? Я не был уверен. Скорее, мне казалось, что я не столько внимал исполнению музыки,

сколько был свидетелем волнующего зрелища. Из щебечущих тонов струнных инструментов вырастал новый ритм, поднимаясь в напряженной витке и затем внезапно обрываясь, словно ритмический взлет и падение металлического предмета: то быстрее, то медленнее, то мягче, то тверже; с невозмутимой настойчивостью в нескончаемых вариациях одно непрерывное действие, этот акустический феномен, который вибрировал, немного опьяняя, вырастал, крепко расходился, ударял прямо в голову. И когда он внезапно прервался прямо в середине крещендо (как рано, слишком рано!), я знал — я околдован. Напряжение этой музыки незаметно укутало меня; я был втянут в тона, которые в своей кажущейся монотонности оживляли в памяти все существующее и вечно повторяющееся, просились в дом твоих собственных чувств, все звали шаг за шагом ко всему, что двигалось в тебе и чего ты даже не замечал, и обнажали что-то, что всегда было внутри, но лишь теперь стало очевидным для тебя с живостью, которая заставляла твое сердце биться...

Я привык к западной музыке, где весь эмоциональный фон композитора присутствует в каждом отдельном сочинении, отражая в каждом из его настроений все другие возможные настроения; но эта арабская музыка, по-видимому, проистекала из единого уровня сознания, из единого переживания, которое было ничем иным, как переживанием, и, следовательно, принимало форму личных ощущений в каждом слушателе...

После нескольких секунд тишины *тамбур* загремел снова, и другие инструменты последовали за ним. Более мягкое раскачивание, более женственный ритм, чем прежде; индивидуальные голоса сильнее прислушивались друг к другу, дружественно окутывали друг друга и, как будто связанные вместе в едином рывке, становились все более взволнованными; они ласкали друг друга, обтекали друг друга мягкими волнистыми мелодическими линиями, которые сначала столкнулись несколько раз с дробью *тамбура*, как если бы с твердым препятствием, но постепенно разрослись в агрессивности, подавили *тамбур* и поработили его, втягивая его в общий спиральный подъем, и *тамбур*, не желая того

поначалу, вскоре пал жертвой общего восторга и одурманенный присоединился к остальным. Волнистая мелодия потеряла свою женственную нежность и погналась в нарастающей стремительности быстрее, выше, ярче в холодное неистовство осознанного взрыва чувств, который оставил всякие ограничения и теперь превратился в хвалебное восхождение к невидимым пикам могущества и независимости. Из прежнего потока тонов, кружащегося вокруг каждого из голосов, возникло огромное вращение в унисоне — колеса, мчащиеся из вечности в вечность, без размера, предела или цели; бездыханный, безрассудный бег канатоходца по краю опасной пропасти через единое вечное настоящее к осознанности, свободной, могущественной, за пределами всего мыслимого. И вдруг посреди вздымающегося вихря — остановка и абсолютная тишина. Грубо. Откровенно. Чисто.

И словно шелест листьев на деревьях, к слушателям вернулось дыхание, и протяжное бормотание «Йа Аллах, йа Аллах» прошло по ним. Они были подобны умным детям, играющим в свои давно им понятные, но всегда соблазняющие игры. Они улыбались, счастливые...

- 3 -

Мы едем, и Зейд поет: всегда один и тот же ритм, всегда та же самая монотонная мелодия. Ведь душа араба монотонна, но не в смысле скудности воображения, у него его предостаточно, однако его инстинкт не ищет, в отличие от западного человека, широты трехмерного пространства и одновременности множества эмоциональных оттенков. В арабской музыке говорит желание перенести в каждый момент времени один эмоциональный опыт к наиболее отдаленным рубежам, возможным в пределах его досягаемости. Своей силой и недостатками арабский характер обязан этой чистой монотонности, этому почти плотскому желанию увидеть переживание усиленным в непрерывной восходящей теме:

своими недостатками — так как мир желает быть узанным эмоционально также в пространстве; и своей силой — так как вера в возможность бесконечного линейного восхождения эмоционального познания в состоянии привести в сфере разума лишь и только к Богу. Только на основе этого врожденного стимула, так свойственного людям пустыни, мог вырасти монотеизм ранних евреев и его триумфальное завершение — вера Мухаммада. В обоих случаях за спиной стояла мать-пустыня.

V. Дух и плоть

- 1 -

Дни идут, ночи коротки, мы едем на юг быстрым шагом. Наши верблюды в великолепной форме: их напоили недавно, и последние два дня у них был обильный корм. До Мекки еще четырнадцать дней пути и даже больше, если, что весьма вероятно, мы проведем некоторое время в Хаиле и Медине: оба эти города располагаются на нашем пути.

Необычное нетерпение овладело мною — срочность, которой я не могу найти объяснения. До сих пор я имел обыкновение наслаждаться путешествием не спеша, без особого побуждения достигнуть цели быстро; каждый день или неделя, проведенные в путешествии, сами по себе приносили чувство удовлетворенности, а цель всегда казалась второстепенной. Но теперь я начал чувствовать то, что никогда не чувствовал за все свои годы в Аравии: я жду с нетерпением конца пути. Какого конца? Увидеть Мекку? Я бывал в священном городе так часто и знаю его жизнь так хорошо, что я не питаю надежд на новые открытия. Или, возможно, это новый вид открытия, который я предчувствую? Это должно быть так, ведь меня тянет в Мекку странное предвкушение личного характера, как если бы этот духовный центр мусульманского мира с его многонациональным собранием людей со всех уголков мира являлся своего рода надеждой, воротами в мир, шире, чем тот, в

котором я проживаю сейчас. Не то чтобы я устал от Аравии; нет, я люблю ее пустыни, ее города, манеры ее народа, как я всегда любил их: тот первый намек на арабскую жизнь в Синайской пустыне, вот уже десять лет назад, ни разу не остался обманутым, и последовавшие за этим годы лишь укрепили мои первые надежды; но с той ночи у колодца два дня тому назад во мне выросла уверенность, что Аравия дала мне все, что она должна была дать.

Я силен, молод, здоров. Я могу ехать много часов в один присест без чувства особой усталости. Я могу путешествовать — и путешествую уже годами — как бедуин: без палатки, без малейших удобств, которые горожане Наджда часто рассматривают как необходимость в длинных переходах через пустыню. Я чувствую себя как дома в любом мелком ремесле бедуинской жизни и усвоил почти незаметно манеры и привычки арабов Наджда. Но все ли это? Прожил ли я так долго в Аравии, чтобы просто стать арабом? Или это было подготовкой к чему-то, что еще должно настать?

Нетерпение, которое я теперь испытываю, чем-то напоминает беспокойное нетерпение, которое я испытывал, когда возвратился в Европу после своего первого путешествия на Ближний Восток, — ощущение принудительного прекращения великого откровения, которое все еще могло бы открываться мне, если бы только было больше времени...

Начальный эффект перехода из арабского мира обратно в Европу был немного смягчен месяцами, проведенными в Турции, после того как я покинул Сирию в 1923 году. Турция Мустафы Кемаля в те дни еще не вошла в свою «реформистскую», подражательную фазу; она все еще была неподдельно турецкой в своей жизни и традициях и, следовательно, из-за общей связи с исламской верой все еще имела отношение к общему укладу арабской жизни, но внутренний ритм Турции казался почему-то более тяжелым, менее прозрачным, менее воздушным и более западным. Когда я проехал по суше из Стамбула в Софию и Белград, я не заметил

резкого перехода от Востока к Западу; образы сменялись постепенно, один элемент уходил, другой незаметно занимал его место: минареты вырастали реже и с большими промежутками, длинные *кафтаны* мужчин уступали место подпоясанным крестьянским блузам, разбросанные деревья и рощицы Анатолии погружались в сербские хвойные леса, пока внезапно у итальянской границы я не обнаружил себя снова в Европе.

В то время как я сидел в поезде, несшем меня из Триеста в Вену, мои недавние впечатления от Турции начали терять свою живость, и единственной оставшейся реальностью стали восемнадцать месяцев, которые я провел в арабских странах. Я был почти шокирован, осознав, что я смотрел на однажды бывшую так знакомой европейскую действительность глазами чужестранца. Люди казались настолько безобразными, их движения — угловатыми и неуклюжими, без особой связи с тем, что они действительно чувствовали и хотели; и неожиданно я понял, что, несмотря на видимость наличия цели во всем, что они делали, они жили, не сознавая того, в мире притворства... Очевидно, мое соприкосновение с арабами совершенно и безвозвратно поменяло мой подход к тому, что я считал важным в жизни; и было чем-то вроде изумления вспомнить, что и другие европейцы знали арабскую жизнь до меня. Как было возможным тогда то, что они не испытали такой же шок открытия? Или все-таки испытали? Возможно, тот или иной из них был так же потрясен до глубины души, как был теперь я?..

(Годы спустя в Аравии я получил ответ на этот вопрос. Он пришел от доктора Ван дер Мейлена, тогда голландского министра в Джедде. Человек широкой и многогранной культуры, он держался христианской веры с усердием, теперь редким среди западных людей, и не был по ясной причине дружен Исламу как религии. Тем не менее он признался мне, что любил Аравию больше, чем какую-либо другую страну, которую он знал, не исключая его родины. Когда его служба в Хиджазе подходила к концу, он однажды сказал мне: «Я полагаю ни один чуткий человек не сможет когда-либо остаться равнодушным к очарованию арабской жизни или вырвать ее из

своего сердца после того, как пожил среди арабов некоторое время. Когда кто-нибудь уезжает, он навсегда понесет внутри себя атмосферу этой пустынной земли и всегда будет смотреть назад с сильным стремлением, даже если его дом находится в более богатых, более красивых землях...»)

Я остановился на несколько недель в Вене и отпраздновал свое примирение с отцом. К этому времени он покончил со своим гневом, вызванным оставлением мною обучения в университете и бесцеремонной манерой, с которой я покинул его дом. В конце концов, теперь я был корреспондентом *Frankfurter Zeitung* — имя, которое люди из центральной Европы произносили почти с трепетом в те дни, — и таким образом оправдал свое хвастливое заявление, что я «выйду победителем».

Из Вены я направился прямиком во Франкфурт лично представиться в издании, для которого я писал вот уже более года. Я делал это с большой долей самоуверенности, так как письма из Франкфурта с очевидностью говорили о том, что моя работа высоко ценится; и с чувством того, что я определенно уже сделал себе карьеру, я вошел в мрачное здание старого стиля, принадлежавшее *Frankfurter Zeitung*, и отправил свою визитную карточку главному редактору, всемирно известному доктору Хайнриху Симону.

Когда я вошел к нему, он посмотрел на меня в безмолвном удивлении, на мгновение даже забыв встать со стула, но вскоре он собрался, поднялся и протянул мне руку:

— Садитесь, садитесь. Я ожидал вас, — он продолжал пристально смотреть на меня в молчании, пока я не начал чувствовать дискомфорт.

— Что-нибудь не так, доктор Симон?

— Нет-нет, все в порядке... или скорее все не так... — затем он расхохотался и продолжил: — Я почему-то ожидал увидеть человека средних лет в очках в золотой оправе, а теперь вижу юношу... о, я прошу прощения. А впрочем, сколько вам лет?

Я вдруг вспомнил жизнерадостного голландского купца из Каира, который задал мне тот же самый вопрос год назад, и я разразился смехом:

— Мне чуть больше двадцати трех, почти двадцать четыре, — и затем я добавил: — Вы думаете, что это слишком юный возраст для *Frankfurter Zeitung*?

— Нет... — ответил Симон медленно, — не для *Frankfurter Zeitung*, но для ваших статей. Я почему-то полагал, что только значительно более зрелый человек мог бы превзойти естественное желание самоутверждения и оставить свою собственную персону — так же, как вы делали все это время, — полностью на заднем плане своих рукописей. Это, как вы знаете, является секретом зрелого журнализма: писать объективно о том, что видишь, слышишь и думаешь, не связывая этот опыт напрямую со своим собственным, *личным* опытом... С другой стороны, теперь, когда я думаю об этом, только очень молодой человек мог бы писать с таким большим энтузиазмом, с таким — как бы это сказать — с таким возбуждением... — затем он вздохнул: — Я действительно надеюсь, что это не пройдет и вы не станете самодовольным и пресытившимся, как все остальные...

Открытие моей крайней юности, казалось, укрепило убеждение доктора Симона в том, что во мне он нашел весьма многообещающего корреспондента; и он полностью согласился, что мне нужно вернуться на Ближний Восток как можно скорее и чем раньше, тем лучше. С финансовой стороны больше не было препятствий такому плану, так как германская инфляция наконец была преодолена и стабилизация валюты принесла с собой почти тотчас волну процветания и пробуждения. *Frankfurter Zeitung* снова оказался в положении, когда переезды и путешествия специальных корреспондентов оплачивались. Однако перед тем, как я смог бы поехать снова, от меня ожидали написания книги, о чем газета заключила со мной договор еще изначально; и было решено, что на это время я буду прикреплен к редакторскому отделу для приобретения глубоких знаний о работе великого издания.

Несмотря на мое нетерпение вернуться обратно, те месяцы во Франкфурте были чрезвычайно увлекательными. *Frankfurter Zeitung* был не просто огромным газетным изданием, это был почти исследовательский институт. Здесь нанимали на работу около сорока пяти полноценных редакторов, не считая множества помощников редакторов и ассистентов в отделе новостей. Редакторская работа была сильно специализирована: каждый регион мира и каждый главный политический и экономический предмет возлагались на исключительного эксперта в своей области; и все это выполнялось в старой традиции *Frankfurter Zeitung*: статьи и рассылка должны быть не просто эфемерным отражением проходящих событий, но своего рода документальным свидетельством, на которое могли бы полагаться политики и историки. Было известно, что в Министерстве иностранных дел в Берлине редакционные статьи и политический анализ *Frankfurter Zeitung* документировались с таким почтением, которое выказывалось *вербальным нотам* иностранных правительств. (Фактически цитируется, что Бисмарк однажды сказал о тогдашнем директоре берлинского бюро издания: «Доктор Стайн является послом *Frankfurter Zeitung* ко двору Берлина».) Быть членом такой организации было весьма отраднo для человека моих лет; более того, мои нерешительные взгляды о Ближнем Востоке были встречены с серьезностью со стороны редакторов и часто становились предметом повседневных совещаний. И конечный триумф наступил в тот день, когда меня попросили написать редакционную статью по одной из текущих проблем Ближнего Востока.

Моя работа в *Frankfurter Zeitung* дала сильный импульс моему сознательному мыслительному процессу. С еще большей ясностью, чем когда-либо, я стал соотносить свой восточный опыт с западным миром, частью которого я был снова. Так же как несколько месяцев до этого я открыл связь между эмоциональной стабильностью арабов и верой, которую они исповедовали, меня теперь начало осенять: возможно, отсутствие внутренней целостности Европы и хаотическое состояние в ее нравственности могли бы быть следствием

потери связи с религиозной верой, которая формировала западную цивилизацию.

Здесь, я видел, было общество, находящееся в поиске нового духовного направления после того, как оно отказалось от Бога. Но казалось, что лишь немногие западные люди осознавали это. Большинство, судя по всему, думало, сознательно или подсознательно, в следующем ключе: «Так как наш разум, наши научные эксперименты и наши вычисления не обнаруживают ничего определенного относительно происхождения человеческой жизни и ее судьбы после телесной смерти, нам необходимо сконцентрировать всю нашу энергию на развитии нашего материального и интеллектуального потенциала и не препятствовать самим себе трансцендентной моралью и нравственными постулатами, основанными на предположениях, которые не поддаются научному доказательству». Таким образом, хотя западное общество открыто не отрицало Бога, оно просто не имело более места для Него в своей интеллектуальной системе.

В прежние годы, после того как я разочаровался в религии своих предков, я подумывал немного о христианстве. В моих глазах христианская концепция Бога была бесконечно выше таковой Ветхого Завета, так как она не ограничивала Божественную заботу какой-либо одной группой людей, но постулировала Его Отцовство над всем человечеством. Однако существовал элемент христианского религиозного воззрения, который умалял универсальность его подхода, — различие, создаваемое между душой и телом, миром веры и миром практических дел.

Благодаря своему раннему разрыву со всеми тенденциями, направленными на утверждение жизни и мирских устремлений, христианство, как мне казалось, давно прекратило создавать моральный импульс западной цивилизации. Его последователи свыклись с идеей о том, что не дело религии «вмешиваться» в практическую жизнь; они довольствовались рассмотрением религиозной веры в качестве умиротворяющего соглашения, предназначенного для культивирования не более чем размытого чувства личной морали — особенно этики полов — в

каждом отдельном человеке, мужчине или женщине. В этом им посодействовал древний подход церкви, которая в преследовании принципа «кесарю кесарево, а Богу Богово» оставила области социальной и экономической деятельности почти неприкосновенными, в результате чего христианская политика и предпринимательство развились в направлении, совершенно отличном от всего, что предусматривал Христос. Не обеспечивая своих последователей конкретным руководством в мирских делах, религия, исповедуемая Западом, провалилась в том, что, как казалось мне, было истинной миссией Христа и, конечно же, главнейшей задачей каждой религии — показать человеку не просто, как *чувствовать* правильно, но также как *жить* правильно. Инстинктивное ощущение некоторого разочарования своей религией привело западного человека в течение веков к потере всякой реальной веры в христианство. С потерей этой веры он утратил убежденность в том, что вселенная является выражением одного Всеустройства Разума и, таким образом, формирует целостную органическую сущность. И так как он потерял данную убежденность, он теперь жил в духовном и нравственном вакууме.

В постепенном отречении Запада от христианства я видел восстание против презрения апостола Павла к жизни, которое так рано и так всецело затмило учение Христа. Как в таком случае могло западное общество все еще заявлять, что оно христианское? И как надеялось оно без реальной веры преодолеть свой текущий нравственный беспорядок?

Мир в потрясении и конвульсиях — таким был наш западный мир. Кровопролитие, разрушение, насилие в беспрецедентном масштабе, распад стольких многих общественных устоев, столкновение идеологий, озлобленная повсеместная борьба за новые жизненные пути — это были признаки нашего времени. Из дыма и пепла мировой войны, из бесчисленного количества более мелких войн и множества революций и контрреволюций, из экономических катастроф, которые превзошли всё зарегистрированное доселе, — из всех этих колоссальных событий появилась истина того, что сегодняшняя сосредоточенность Запада на материальном и техническом

прогрессе никогда не сможет разрешить существующий хаос и превратить его в нечто, напоминающее порядок. Моя инстинктивная юная убежденность в том, что «человек живет не хлебом единым», выкристаллизовалась в интеллектуальную убежденность в том, что нынешнее восхищение «прогрессом» было не более чем неясной смутной заменой более ранней веры в абсолютные ценности — псевдовера, вымышленная людьми, которые потеряли всякие внутренние силы поверить в абсолютные ценности и теперь обманывали самих себя верой в то, что как-нибудь, простым эволюционным толчком человек перерастет свои настоящие трудности... Я не видел, как могла хоть какая-нибудь из существующих экономических систем, которые базировались на этой иллюзорной вере, установить что-нибудь большее, чем простой паллиатив бедствию западного общества: они могли в самом лучшем случае вылечить его симптомы, но причину — никогда.

Пока я работал в штате редакторов *Frankfurter Zeitung*, я делал частые визиты в Берлин, где проживало большинство моих друзей. И в один из таких визитов я встретил женщину, которая позже стала моей женой.

С того самого момента, как меня познакомили с Эльзой посреди суеты *Romanisches Café*, меня сильно притягивало к ней, не только в силу утонченной красоты ее внешности — ее неширокое, нежное лицо с серьезными темно-голубыми глазами и чувствительным ртом, который выражался юмором и добротой, — но скорее даже в силу ее внутренней особенности, интуиции чувств, с которой она подходила к людям и вещам. Она была художником. Ее работы, с которыми я познакомился позднее, возможно, не были выдающимися, но они несли печать той же самой глубинной безмятежности, которая проявлялась во всех ее словах и жестах. Хотя она и была старше меня на пятнадцать лет — то есть ей было под сорок, — ее гладкое лицо и стройное гибкое тело придавали ей гораздо более молодой вид. Она, вероятно, была самым изящным представителем чистого североевропейского склада, с которым мне доводилось встречаться, сочетая в себе всю его ясность и четкость очертаний

без столь присущих ему угловатости и флегматичности. Она являлась выходцем из одной из тех старых семей Холстайн, которые могут рассматриваться как северогерманский эквивалент английским «йоменам». Однако нестандартная свобода ее манер вытеснила приземленность йоменов, уступив место довольно не северной теплоте и вкусу. Она являлась вдовой с шестилетним сыном, к которому она была сильно привязана.

Влечение, должно быть, было обоюдным с самого начала, так как после той первой встречи мы виделись очень часто. Переполненный своими недавними впечатлениями от арабского мира, я естественным образом делился ими с Эльзой; и она, в отличие от большинства моих друзей, выказала необычайное понимание и симпатию сильным, но пока еще зачаточным чувствам и идеям, которые эти впечатления породили во мне. Более того, когда я писал своего рода вступление к книге, в которой описывал свои ближневосточные путешествия, я чувствовал, как если бы я обращался к ней:

Когда европеец путешествует по какой-либо стране Европы, которую он никогда раньше не видел, он продолжает двигаться внутри своей собственной, возможно, немного расширенной среды и может легко уловить различия между вещами, которые привычка сделала для него знакомыми, и новшеством, которое появляется у него на пути. Так как, будь мы германцы или англичане и путешествуем мы через Францию, Италию или Венгрию, дух Европы объединяет нас всех. Живя внутри хорошо очерченной территории ассоциаций, мы в состоянии понять другого и быть понятыми через эти самые ассоциации, как посредством общего языка. Мы называем этот феномен «культурное сообщество». Его существование является, без сомнений, преимуществом, но, как и всякое преимущество, основывающееся на привычке, оно порой бывает также недостатком. Иногда мы находим себя окутанными тем универсальным духом, как ватой, заманенными им в ленивость сердца; находим, что он заставил нас забыть искусный канатный ход нашего более творческого прошлого — те достижения неосязаемой реальности. И в то

давнее время они, возможно, назывались «неосязаемыми возможностями», а люди, которые выходили на поиски их, — первооткрыватели, искатели приключений или создающие живописцы — искали лишь самые внутренние источники их собственной жизни. Мы, пришедшие позже, также ищем свои собственные жизни, но мы одержимы желанием защитить свою жизнь до того, как она развернется самостоятельно. И мы смутно ощущаем порочное основание таких попыток. Многие европейцы начинают чувствовать это сегодня, чувствовать ужасную опасность избегания опасностей.

В этой книге я описываю путешествие в регион, «отличие» которого от Европы слишком велико, чтобы с легкостью его преодолеть. А отличие, в каком-то смысле, — все равно что опасность. Мы покидаем безопасность нашей слишком однородной среды, в которой мало незнакомого и совсем нет удивительного, и входим в страшную неизвестность «другого» мира.

Не будем же обманываться: в том другом мире мы можем даже уяснить то или иное из многих красочных впечатлений, встречающихся на нашем пути, но мы никогда не сможем в такой же мере, как в случае какой-нибудь европейской страны, осознанно уловить всю картину целиком. Не только пространство отделяет нас от людей того «другого» мира. Как общаться с ними? Не достаточно лишь говорить их языком; чтобы понять их чувство жизни, необходимо войти в их среду полностью и начать жить внутри их ассоциаций. Возможно ли это?

И будет ли это целесообразным? Возможно, в конечном счете такой обмен наших старых, знакомых мыслительных предпочтений на странные незнакомые явится плохой сделкой.

Но в действительности ли мы лишены того мира? Я так не думаю. Наше чувство изолированности происходит главным образом из одного ошибочного суждения, так характерного для Запада: мы имеем обыкновение недооценивать

созидательную ценность незнакомого и всегда имеем искушение производить насилие над ним, присваивать его, перенимать его, выражаясь нашим же языком, и делать частью нашей собственной интеллектуальной среды. Мне кажется, однако, что наш век беспокойства больше не позволяет нам использовать такие надменные методы; многие из нас начинают сознавать, что культурная дистанция может и должна быть преодолена с помощью мер отличных от интеллектуального насилия — возможно, с помощью подчинения своих чувств незнакомому.

Поскольку этот незнакомый мир так сильно отличен от всего, что ты знал дома; поскольку он предлагает столько всего, что поразительно странно по образу и звуку, он иногда захлестывает тебя — если только ты позволишь себе быть бдительным — мимолетным воспоминанием вещей, давно известных и давно забытых, — воспоминанием той неосязаемой реальности твоей собственной жизни. И когда дыхание этого воспоминания достигает тебя, переносясь через ту пропасть, разделяющую твой мир и тот другой, незнакомый мир, ты начинаешь задаваться вопросом: «А может быть, здесь — и именно здесь — лежит смысл всех исканий — осознать необычность мира вокруг и тем самым заново разбудить свою собственную, личную, забытую реальность?..»

И так как Эльза интуитивно понимала то, что я пытался так неадекватно, запинаясь, подобно ощупыванию в темноте, передать этими словами, я чувствовал, что она, и только она, могла бы понять, к чему я стремился, и помочь мне в моем поиске...

- 2 -

Еще один день блужданий подошел к концу. Тишина — внутри меня, и тихая ночь — вокруг меня. Ветер скользит мягко по

дюнам и оставляет рябь из песка на склонах. В узком круге света от костра я вижу фигуру Зейда, хлопчущего над своими горшками и кастрюлями, наши сумки, лежащие неподалеку, там, где мы бросили их при разбивке лагеря на ночь, и наши седла с высокими деревянными рукоятками. Немного вдалеке, уже растворяясь в темноте, припали к земле два верблюжьих тела, уставших после длинного марша, с распростертыми на песке шеями. Еще немного дальше — едва видимая в свете звезд, но близкая, как стук сердца, необитаемая пустыня.

Существует множество более красивых ландшафтов на земле, но ни один из них, полагаю, не в состоянии слепить настолько величественную и независимую форму из человеческого духа. Своей жесткостью и скудностью пустыня очищает наше желание постигать жизнь от всех уловок, от всего многообразия обольщений, которыми более богатая природа может заманить человеческий рассудок, заставляя его проецировать свои собственные образы на мир вокруг. Пустыня — пуста и чиста, не знает компромиссов. Она выметает прочь из сердца человеческого все красивые фантазии, которые, как маскарад, могут затмевать действительность для мечтателя. И таким образом пустыня освобождает человека для подчинения самого себя Абсолюту, который не имеет образа — непостижимее всего непостижимого, но все же ближе всего близлежащего.

С того самого момента, как человек начал думать, пустыня была колыбелью всех его верований в Одного Бога. Конечно, даже в более мягких условиях и более благоприятных странах человек имел во все времена отдаленное представление о Его существовании и единственности, так, например, в Древней Греции существовала концепция *Мойры*, неопределяемой Силы вне и выше богов Олимпа. Однако такие концепции являлись всегда не более чем продуктом неясного чувства, прорицания, нежели определенного знания, пока само знание не пробилося ослепительной ясностью из пустыни и к человеку пустыни: из горящего тернового куста в пустыне Мадиана воззвал голос Господа к Моисею, в девственной Иудейской пустыне Иисус получил послание о Царстве Божиим, и в пещере Хира, в

пустынных холмах около Мекки, первый зов явился к Мухаммаду Аравии.

Он явился к нему в той узкой сухой теснине между скалистыми холмами, той голой долине, выжженной солнцем пустыни, — всеобъемлющее Да для жизни, для духа и для плоти; зов, которому суждено было дать форму и смысл бесформенной нации племен и через нее распространиться в течение нескольких десятилетий, подобно пламени и обетованию, на запад до самого Атлантического океана и на восток до Великой Китайской стены. Этому зову суждено было остаться великой духовной силой по сей день: более чем тринадцать веков спустя этот зов продолжается, переживая всякий политический упадок и даже великую цивилизацию, причиной возникновения которой он сам явился, — зов, явившийся Пророку Аравии...

Я сплю и просыпаюсь. Я думаю о днях прошедших, которые все еще живы. И снова засыпаю и вижу сны. Снова просыпаюсь и сажусь. Сны и воспоминания мягко плывут рука об руку сквозь полусвет моего пробуждения.

Ночь близится к рассвету. Костер погас полностью. Закутанный в свое одеяло спит Зейд; наши верблюды лежат неподвижно, подобно двум курганам на земле. Все еще можно видеть звезды, тебе кажется, что есть еще время для сна, но низко на восточной стороне неба появляется бледноватая на фоне темноты, тусклая полоска света поверх еще одной, более темной, располагающейся над горизонтом, — два предвестника рассвета, времени утренней молитвы.

Наискосок надо мной я вижу утреннюю звезду, которую арабы называют *Аз-Зухра*, «Сияющая». Если спросить их о ней, они ответят тебе, что Сияющая была однажды женщиной...

Было однажды два ангела, Харут и Марут, которые позабыли о скромности — а ведь ангелам надлежит быть скромными — и хвастали своей неодолимой чистотой: «Мы сделаны из света, мы находимся выше любого греха и желания в отличие от сынов

человечьих, сынов темной материнской утробы». Но они забыли, что их чистота происходила не от их собственной силы, ведь они были чисты, потому что не знали желания и никогда не призывались устоять перед ним. Их надменность вызвала недовольство Господа, и Он сказал им: «Снизойдите на землю и держите свое испытание там». Гордые ангелы спустились на землю и странствовали, одетые в человеческие тела, среди людей. И в самую первую ночь они повстречались с женщиной, настолько красивой, что люди прозвали ее «Сияющая». Когда два ангела посмотрели на нее человеческими глазами и с ощущениями, которые теперь были у них, они растерялись, и, как если бы они были сынами человека, желание овладеть ею появилось в них. Каждый из них сказал ей: «Пойдем со мной». Но Сияющая ответила: «Есть человек, которому я принадлежу, если ты хочешь завладеть мною, освободи меня от него». И они убили этого человека. И с несправедливо пролитой кровью все еще на своих руках, они утолили свое пылающее вожделение с этой женщиной. Но как только желание покинуло их, два бывших ангела осознали, что в их первую ночь на земле они согрешили дважды — убийство и прелюбодеяние — и что не было смысла в их гордыне... Господь сказал: «Выбирайте между наказанием в этой жизни и наказанием в будущей жизни». В горьком раскаянии павшие ангелы выбрали наказание в этой жизни. Тогда Господь приказал, чтобы их привязали на цепи между небом и землей и чтобы оставались они в таком положении до Дня Суда в качестве предостережения ангелам и людям: всякая добродетель разрушает себя, если теряет смирение. Но так как человеческий глаз не может видеть ангелов, Бог превратил Сияющую в звезду на небесах, чтобы люди могли всегда видеть ее и, вспоминая ее историю, вспоминать участь Харута и Марута.

Сюжет этой легенды намного более древний, чем Ислам. Скорее всего, он произошел в одном из множества мифов, которые древние семиты сочиняли о богине Иштар, греческой Афродите последующих дней, обе из которых ассоциировались с планетой, теперь называемой нами Венерой. Но в форме, в которой я слышал эту легенду, история Харута и Марута — типичное создание мусульманского ума: иллюстрация идеи о том, что

отвлеченная чистота, или свобода от греха, не может иметь никакого морального смысла, пока она основывается на простом отсутствии побуждений и желаний, ведь разве не повторяющаяся необходимость выбора между добром и злом является предпосылкой всякой морали?

Бедные Харут и Марут не знали об этом. Так как, будучи ангелами, они никогда не были подвержены соблазну, они рассматривали самих себя чистыми и морально возвышенными над человеком, не осознавая того, что отрицание «правомерности» телесных позывов косвенно подразумевает отрицание всех моральных ценностей в человеческих устремлениях, ведь именно наличие позывов, соблазнов и конфликтов — возможность *выбора* — делает человека, и только его, моральным существом, то есть существом, наделенным душой.

На основе этой концепции Ислам, единственный из всех небесных религий, рассматривает душу человека как одну сторону его «личности», но не как независимый феномен сам по себе. Следовательно, для мусульманина духовный рост человека неразделимо связан со всеми другими сторонами его природы. Физические влечения являются нераздельной частью его натуры, не результатом «первородного греха» — концепции, чуждой этике Ислама, — но положительным, данным Богом качеством, принимаемым и осмысленно используемым по назначению. Отсюда следует, что проблема человека не в том, как подавить потребности своего тела, но как скоординировать их с потребностями духа таким образом, чтобы жизнь стала полной и праведной.

Корень этого почти монистического жизнеутверждения находится в позиции Ислама на первородную природу человека: она по сути представляется благой. В противоположность христианской идеи того, что человека рожден в грехе, или учению индуизма о том, что он низок и нечист по своему первоначальному происхождению и обязан в мучениях преодолеть последовательность инкарнаций для достижения конечной цели, совершенства, Коран говорит: «Воистину, мы

создали человека в совершенной форме», — состоянии чистоты, которая может быть разрушена только последующим дурным поведением: «И вслед за этим Мы превратим его в низшего из низших, за исключением тех, которые уверовали в Бога и совершали благие дела».

- 3 -

Пальмовые сады Хаиля лежат перед нами.

Мы останавливаемся перед старой, разрушенной сторожевой башней, чтобы подготовиться к въезду в город, так как старый арабский обычай, всегда обеспокоенный личной эстетикой, требует от путешественника, чтобы он въезжал в город в своей лучшей одежде, свежим и чистым, как если бы он только что оседлал своего верблюда. Итак, мы используем остатки воды для мытья рук и лиц, подстригаем наши заброшенные бороды и достаем самые белые туники из сумок. Мы счищаем недели пустынной пыли со своих *абай* и с весело раскрашенной бахромы на наших сумках; мы надеваем на наших верблюдов лучшее убранство. И вот мы готовы представиться Хаилю.

Этот город намного более арабский, чем, скажем, Багдад или Медина. Он не содержит никаких элементов неарабских стран и народов; он чист, словно чистейшая чаша свежего молока. Никаких иностранных одежд на базаре, только широкие арабские *абай*, *куфии* и *игалы*. Улицы — намного чище, чем в любом другом городе Ближнего Востока, чище даже, чем в любом другом городе Наджда, который отмечен за свою невосточную чистоту (потому, вероятно, что люди этой земли, будучи всегда свободными, сохранили степень самоуважения выше, чем где бы то ни было на Востоке). Дома, сложенные из горизонтальных слоев глины, находятся в хорошем состоянии, за исключением разрушенных городских стен, несущих следы последнего противостояния между Ибн Саудом и домом Ибн

Рашида, а также следы завоевания города Ибн Саудом в 1921 году.

Молотки медников выбивают в форму всякого рода сосуды, пилы плотников врезаются с визгом в древесину, сапожники постукивают по подошвам сандалий. Верблюды, нагруженные горючим и кожаными мешками, полными масла, пробиваются сквозь толпу; другие верблюды, привезенные бедуинами для продажи, наполняют воздух своим мычанием. Опытные руки прощупывают пестрые сумки из Аль-Хасы. Аукционисты — неизменный атрибут любого арабского города — передвигаются взад и вперед по базару, предлагая громким криком свой товар для продажи. То здесь, то там можно видеть охотничьих соколов, подпрыгивающих на деревянных жердочках и привязанных тонкими кожаными ремнями. Медового цвета гончие *сальки* потягивают лениво своими изящными лапами на солнце. Худощавые бедуины в поношенных *абаях*, хорошо одетые слуги и телохранители *амира* (почти все они из южных провинций) смешиваются с торговцами из Багдада, Басры и Кувейта, а также с местными жителями Хаила. Эти местные, то есть мужчины, так как у женщин видно только черную *абая*, скрывающую голову и тело, принадлежат к одной из самых красивых рас на земле. Все изящество внешнего вида и движений, которого достигла арабская нация за свое существование, кажется, воплотилось в этом племени Шаммар, которое воспевал доисламский поэт: «В горах живут стальные и гордые люди, целомудренные женщины».

Когда мы прибываем ко дворцу *амира*, где мы намереваемся провести следующие два дня, мы находим хозяина ведущим судебное заседание на открытом воздухе, снаружи дворца. Амир Ибн Мусаад принадлежит к ветви Джилуви дома Ибн Сауда и является зятем короля. Один из самых влиятельных королевский правителей, он имеет прозвище «Амир севера», так как держит власть не только над провинцией Джабаль Шаммар, но и над всем северным Надждом, прямо до самой границы с Сирией и Ираком, — территория размером почти с Францию.

Амир (мой старый друг) и несколько бедуинских *шейхов* из степей сидят на длинной и узкой кирпичной скамье, выстроенной вдоль дворцовой стены. В длинном ряду у их ног присели *раджаджил* Ибн Мусаада — вооруженные люди с винтовками и саблями в серебряных ножнах; они никогда не покидают его в течение дня: не столько ради защиты, сколько ради авторитета. Далее за ними — соколиные охотники с птицами, сидящими на защищенных рукавицами запястьях, отдаленные слуги, бедуины, толпа прислуживающих, больших и малых, и так до мальчуганов из конюшен — все чувствуют себя ровней друг другу вопреки различиям в положении. И как может быть иначе на этой земле, где никогда никто не обращается друг к другу «мой господин», кроме как к Богу в молитве? Перед этим большим полукругом сидящих предстает множество бедуинов и городских жителей, которые приходят со своими жалобами и спорами к *амиру* поселения.

Мы усаживаем наших верблюдов снаружи этого круга, передаем их в руки нескольких слуг, поспешивших к нам, и направляемся к *амиру*. Он поднимается, и все, кто сидел возле него на скамье и на земле перед ним, встают вместе с ним. Он протягивает свою руку нам:

— *Ахлан-ва-сахлан*, да продлит Господь вам жизнь!

Я целую *амира* в кончик его носа и лоб, и он целует меня в обе щеки и тянет меня, усаживая на скамью возле себя. Зейд находит место среди *раджаджил*.

Ибн Мусаад знакомит меня со своими гостями. Некоторые лица не знакомы мне, другие я знаю по прошлым годам. Среди последних Гадбан Ибн Рималь, высочайший *шейх* Синджара Шаммар, — очаровательный старый воин, которого я всегда называю «дядей». Никто и не догадается по его почти оборванному виду, что он является одним из самых могучих вождей севера, который одарил свою молодую жену золотом и бриллиантами так, что, согласно всеобщему поверью, двум девицам-служанкам приходится поддерживать ее, когда она выходит из своей огромной палатки, которая держится на

шестнадцати столбах. Его глаза сверкают в то время, как он обнимает меня и шепчет на ухо:

— Все еще нет новой жены? — на что я могу лишь пожать плечами и улыбнуться.

Амир Ибн Мусаад, должно быть, услышал эту колкость, так как он смеется и говорит:

— В кофе, а не в женах нуждается уставший путник, — и кричит:
— *Кахва!*

«*Кахва!*» — повторяет слуга, ближайший к *амиру*, и другой на самом дальнем конце ряда подхватывает клич: «*Кахва!*» — и так далее, пока торжественное распоряжение не достигает дворцовых ворот и не раздастся эхом внутри. В мгновение появляется слуга, несущий традиционный медный кофейник в своей левой руке и несколько маленьких чашек в правой, наливает первую чашку *амиру*, вторую мне, а затем обслуживает других гостей в порядке, соответствующем их положению. Чашка наполняется еще раз или два, а когда гость указывает на то, что ему достаточно, она наполняется еще раз и передается следующему человеку.

Амир, очевидно, хочет узнать результаты моего путешествия к границе с Ираком, но он обнаруживает свой интерес лишь короткими вопросами о том, что приключилось со мной, оставляя полноценный расспрос на потом, когда мы останемся наедине. Затем он возобновляет судебное слушание, которое было прервано моим прибытием.

Такой непринужденный суд был бы немислим на Западе. *Амир*, как руководитель и судья, гарантированно обеспечен полным уважением, однако нет и следа раболепия в уважении, которое бедуины выказывают ему. Каждый истец и ответчик гордо опирается на сознание своей свободной человеческой природы: их жесты — решительны, их голоса — часто громки и утвердительно; каждый говорит с *амиром*, как со старшим братом, называя его — таков бедуинский обычай и с королем —

по имени, не по его званию. Нет и следа надменности в выражениях Ибн Мусаада. Его красивое лицо с короткой черной бородой, его небольшая, немного коренастая фигура говорят о том неизученном самообладании и легком достоинстве, которые в Аравии так часто идут рука об руку с огромной властью. Он серьезен и немногословен. Используя авторитетные слова, он тут же разрешает простые дела и отправляет более сложные, требующие знания юриспруденции, к *кади* района.

Нелегко быть наивысшим органом власти на огромных бедуинских просторах. Глубокое понимание различных племен, их семейных взаимоотношений, характеров их лидеров, племенных мест под пастбища, прошлой истории и настоящих особенностей — все это необходимо, чтобы попасть точно в цель, вынося решение по бедуинскому иску, полному возбуждения и запутанности. Тактичность сердца здесь так же важна, как и острота ума: и сердце, и ум должны работать сообща с точностью острия иглы, чтобы избежать ошибки, ведь так же, как бедуины никогда не забывают услуги, оказанной им, они никогда не забывают судебного решения, которое по их мнению несправедливо. С другой стороны, справедливое решение почти всегда принимается благосклонно даже теми, против кого оно вынесено. Ибн Мусаад, вероятно, лучше всех остальных из *амиров* Ибн Сауда подходит этим требованиям. Он настолько всесторонне развит, настолько спокоен и настолько внутренне непротиворечив, что его инстинкт почти всегда указывает ему правильный путь, когда его рациональность заходит в тупик. Он плавает в жизни; он позволяет водам нести его и управляет ими, приспособлявая себя к ним.

И вот два оборванных бедуина преподносят свой спор перед ним в возбужденных словах и жестах. С бедуинами, как правило, тяжело иметь дело: всегда есть что-то непредсказуемое в них — чувствительность и возбуждение, не знающие компромиссов, всегда рай или ад, вблизи друг от друга. Но я начинаю видеть, как Ибн Мусаад разбирает их бурлящие страсти и смягчает их своими тихими словами. Кто-то может подумать, что он прикажет одному из них замолчать, тогда как другой будет ходатайствовать о том, что он считает своим правом. Но нет —

он позволяет им говорить обоим одновременно, перекрикивать друг друга и только изредка вмешивается: небольшое замечание здесь и вопрос там, которые сразу же утопают в их горячих аргументах; он уступает, кажется, отходит назад, только чтобы вклиниться снова немного позже с соответствующей репликой. Упоительное зрелище — эта адаптация разума самого судьи к реальности, столь противоречиво интерпретируемой двумя недовольными людьми: не столько поиск истины в юридическом смысле, сколько медленное разоблачение скрытой объективной реальности. *Амир* подходит к этой цели урывками, постепенно вытягивая истину, как будто тонкой веревочкой, медленно и терпеливо, почти незаметно и для истца, и для ответчика, — как вдруг они внезапно останавливаются, смотрят друг на друга в удивлении и осознают — судебное решение вынесено, так очевидно справедливое, оно не требует никаких дальнейших объяснений... После чего один из них встает нерешительно, поправляет свою *абаю* и тянет своего бывшего оппонента за рукав в почти дружеской форме: «Пошли», — и оба удаляются, все еще немного растерянные, но в то же самое время с облегчением, бормоча пожелания мира *амиру*.

Неописуемая сцена, настоящее произведение искусства, прототип, как видится мне, того плодотворного взаимодействия между юриспруденцией и справедливостью, которое в западных судах и парламентах находится все еще в своем младенчестве, но здесь стоит во всем своем совершенстве посреди пыльной рыночной площади, перед дворцом арабского *амира*...

Ибн Мусаад, лениво откидываясь назад к глиняной стене, берет следующее дело. Его лицо, сильное, морщинистое, с глубоко посаженными добрыми и проникающими глазами, — лицо настоящего народного лидера, совершенный образец величайшего качества его породы, благоразумия сердца.

Некоторые из присутствующих, очевидно, испытывают похожий восторг. Человек, сидящий передо мной на земле, — бедуин из племени Харб и один из вооруженных охранников *амира* — вытягивает шею по направлению ко мне с улыбкой на лице:

— Ну разве он не похож на того султана, о котором Мутанабби сказал:

*Я встретил его, сверкающий меч его в
ножнах спал,
Я видел его и с струящимся кровью
кинжалом,
И лучшим из всех его всегда я считал,
И все ж прекрасней всего в нем был его
доблестный ум?..*

Меня не удивляет, как удивляет нечто несообразное, когда я слышу неграмотного бедуина цитирующим стихи великого арабского поэта, жившего в десятом веке. Несообразнее было бы слышать баварского крестьянина цитирующим Гете или английского портового грузчика декламирующим Уильяма Блейка или Шелли. Ведь несмотря на более широкое распространение образования на Западе, шедевры западной культуры не разделяются в реальности средним европейцем или американцем, тогда как, с другой стороны, весьма широкая прослойка необразованных и иногда даже невежественных мусульман несомненно разделяет, осознанно в каждом своем дне, культурные достижения своего прошлого. Так же как здесь этот бедуин смог привести из памяти соответствующий отрывок из Мутанабби для иллюстрации ситуации, которой он стал свидетелем, многие оборванные персы без школьного образования — разносчик воды, носильщик на базаре, солдат на дальнем пограничном рубеже — носят в своей памяти несметное количество строф Хафиза, или Джами, или Фирдауси и внедряют их с видимым удовольствием в свой повседневный диалог. Хотя они и потеряли в значительной степени ту созидательную способность, которая сделала их культурное наследие настолько великим, эти мусульманские народы даже теперь имеют непосредственный живой контакт с его вершинами.

Я хорошо помню тот день, когда я сделал это открытие на базаре в Дамаске. Я держал в руках сосуд, большую чашу из

обожженной глины. Он имел странно торжественную форму: большой и круглый, что-то вроде приплюснутой сферы почти музыкальных пропорций; из округлых стенок его, которые имели что-то от нежности женских скул, выходили изгибающиеся рукоятки совершенного изгиба, которые оказали бы честь греческой амфоре. Они были вылеплены руками: я все еще мог различить отпечатки пальцев скромного гончара на глине. Вокруг внутренней окантовки сосуда он выгравировал стремительным уверенным взмахом своего пера деликатную арабеску с намеком на розовый сад в цвету. Он работал быстро, почти небрежно, когда создавал эту изумительную простоту, которая напомнила обо всем величии сельджукского и персидского гончарного искусства, так восхваляемого в музеях Европы. И ведь он не намеревался создавать произведение искусства. Все, что он делал, это кухонный горшок — лишь и только кухонный горшок — такой, который каждый *феллах* или бедуин может купить в любой день на любом базаре за несколько медных монет...

Я знал, что греки создавали похожее или даже большее совершенство, вероятно также в кухонных горшках, так как они тоже — разносчик воды или рыночный грузчик, солдат или гончар — действительно разделяли культуру, которая опиралась не просто на творческий взлет нескольких отдельных индивидуумов, на несколько вспышек, которые доступны лишь людям большого таланта, но которая была общей для всех. Их гордость за красоту вещей, принадлежавших той культуре, также была частью их повседневных дел: непрерывное приобщение к общему живущему достоянию.

В то время как я держал тот сосуд в своих руках, я знал — благословенны люди, готовящие свою каждодневную пищу в таких горшках; благословенны те, чья претензия на культурное наследие больше, чем пустое бахвальство...

— Не доставишь ли ты мне теперь удовольствие отобедать со мной, о Мухаммад? — голос амира Ибн Мусаада врывается в мое забытие. Я смотрю вверх, и Дамаск отступает в прошлое, где ему и место, — я снова сижу на скамье возле «Амира севера». Судебные слушания, очевидно, закончены, тяжущиеся стороны расходятся. Ибн Мусаад встает, его гости и охранники встают вслед за ним. Толпа *раджаджил* расходится, уступая дорогу нам. После того как мы проходим сквозь созданный проход, они смыкают свои ряды и следуют за нами во дворец.

Немного позднее *амир*, Гадбан Ибн Рималь и я сидим вместе за угощениями — огромное блюдо риса с целиком зажаренным ягненком сверху. Помимо нас в комнате лишь два служащих *амира* и пара золотистых гончих *сальюки*.

Старый Гадбан кладет свою руку мне на плечо и говорит:

— Ты так и не ответил на мой вопрос: так и не обзавелся новой женой до сих пор?

Я смеюсь над его настойчивостью:

— У меня есть жена в Медине, как ты знаешь. Зачем мне брать в жены другую?

— Зачем? Да защитит меня Господь! *Одна* жена, а ты все еще так молод! Зачем... когда я был в твоих годах...

— Мне говорили, — вмешивается амир Ибн Мусаад, — что ты еще не так уж плох даже теперь, о шейх Гадбан.

— Я старая развалина, о амир, да продлит Господь твою жизнь; но иногда мне нужно молодое тело согреть свои старые кости... Но скажи мне, — и он снова поворачивается ко мне, — а как же та девушка из Мутайри, на которой ты женился два года назад? Что ты сделал с ней?

— Ничего, конечно, и в этом суть дела, — отвечаю я.

— Ничего?.. — вторит мне старик с широко раскрытыми глазами. — Она была дурна собой?

— Нет, напротив — она была весьма красива...

— О чем весь этот разговор? — спрашивает Ибн Мусаад. — О какой девушке Мутайри вы двое ведете речь? Просвети меня, о Мухаммад.

И я начинаю просвещать его о женитьбе, которая ни к чему не привела.

Я жил тогда в Медине, одинокий и без супруги. Бедуин из племени Мутайр, его звали Фахад, просиживал у меня часами в *кахва*, развлекая меня фантастическими рассказами о своих приключениях с Лоуренсом Аравийским во времена Первой мировой войны. Однажды он сказал мне: «Нехорошо мужчине жить одному, как живешь ты, так как твоя кровь сгустится в твоих венах, — тебе нужно жениться». И когда я шутливо попросил его предложить мне будущую невесту, он ответил: «Это легко. Дочь моего зятя, Мутрика, теперь на выданье, и я, как брат ее матери, могу сказать тебе, что она чрезвычайно красива». Все еще шутя, я попросил его разузнать, будет ли благосклонен отец. И вот на следующий день сам Мутрик пришел ко мне, явно смущенный. После нескольких чашек кофе и некоторого замешательства он сказал мне запинаясь, что Фахад разговаривал с ним о моем предполагаемом желании жениться на его дочери: «Я бы счел за честь, если бы ты стал моим зятем, но Рукайя все еще ребенок — ей всего лишь одиннадцать лет...»

Фахад пришел в бешенство, услышав о приходе Мутрика: «Подлец! Лживый подлец! Девушке пятнадцать лет. Ему не нравится мысль о том, чтобы выдать ее за неараба, но, с другой стороны, он знает, насколько ты близок к Ибн Сауду, и не хочет оскорблять тебя немедленным отказом, поэтому он притворяется, что она еще ребенок. Но я могу сказать тебе, что груди у нее вот такие, — и он описал руками грудь

соблазнительных пропорций, — точно как гранат, готовый к сбору».

Глаза старого Гадбана заблестели при этом описании:

— Пятнадцать лет, красавица и девственница... а он говорит «ничего»! Чего тебе еще нужно было?

— Что ж, погоди, пока я закончу рассказ полностью... Я должен признать, что становился все более и более заинтересованным и, возможно, сопротивление Мутрика немного подстегивало меня. Я подарил Фахаду десять золотых монет, и он сделал все возможное, чтобы убедить отца девушки выдать ее замуж за меня; соответствующий подарок пошел ее матери, сестре Фахада. Что на самом деле произошло в их доме, я не знаю; мне известно лишь то, что Фахад с сестрой в конечном счете убедили Мутрика согласиться на замужество...

— Этот Фахад, — сказал Ибн Мусаад, — должно быть, был лукавым малым. Он и его сестра, очевидно, ожидали от тебя еще больших щедрот. Так что случилось после?

Я продолжаю рассказывать, как бракосочетание было должным образом отпраздновано несколько дней спустя в отсутствие невесты, которая согласно обычаю была представлена ее отцом как законным опекуном и предьявителем ее согласия; последнее было засвидетельствовано двумя свидетелями. Пышное празднество последовало за этим с привычными подарками невесте (которую я до сих пор еще ни разу не видел), ее родителям и нескольким другим близким родственниками, среди которых естественным образом заметно выделялся Фахад. В тот же вечер мать невесты привела ее к моему дому в сопровождении нескольких женщин, скрытых под вуалью, в то время как с крыш соседних домов женщины распевали свадебные песни под аккомпанемент ручных барабанов.

В назначенное время я вошел в комнату, где моя невеста и ее мать дожидались меня. Я не мог отличить одну от другой, так как обе были полностью покрыты черным. Но когда я произнес

слова, требуемые обычаем (а именно «ты можешь теперь удалиться»), одна из двух покрытых женщин встала и молча вышла из комнаты. И так я узнал, что оставшаяся в комнате и есть моя жена.

— И затем, сын мой, что случилось затем? — торопит Ибн Рималь, так как я останавливаюсь на этом месте своего рассказа; *амир* смотрит на меня вопросительно.

— Тогда... бедная девочка... она села, ужасно напуганная тем, что ее привели к незнакомому мужчине. Когда я попросил ее, мягко, насколько мог, открыть лицо, она лишь затянула свою *абаю* сильнее вокруг себя.

— Они всегда так делают! — воскликнул Ибн Рималь. — Они всегда напуганы в начале первой брачной ночи; и более того, молодой девушке подобает быть скромной. Но после они обычно довольны, так и случилось?

— Что ж, не совсем. Я был вынужден снять с ее лица вуаль собственноручно. И когда я это сделал, я увидел девушку потрясающей красоты с овальным, пшеничного цвета лицом, большими глазами и длинными прядями, которые свисали до самых подушек, на которых она сидела. Но несомненно, это было лицо ребенка: она вряд ли была старше одиннадцати лет, точно так, как сказал ее отец... Алчность Фахада и его сестры заставила их сказать мне, что она достигла брачного возраста, тогда как бедный Мутрик не лгал.

— Ну и что? — спрашивает Ибн Рималь, очевидно не понимая, куда я клоню. — Что не так с одиннадцатью годами? Девушка растет, разве нет? И она растет гораздо быстрее в мужниной кровати...

Но амир Ибн Мусаад говорит:

— Нет, шейх Гадбан; он не из Наджда, как ты. У него больше мозгов в голове, — и ухмыляясь в мою сторону, он продолжает: — Не слушай Гадбана, о Мухаммад. Он — бедуин Наджда, а

большинство из нас имеет мозги где-то не здесь, — указывает на свою голову, — а здесь, — и он указывает на совсем другую часть своего тела.

Мы все смеемся, а Гадбан бормочет в свою бороду: «Тогда у меня несомненно больше мозгов, чем у тебя, о Амир».

По их просьбам я продолжаю историю и рассказываю им, что, независимо от взглядов старика Гадбана по данному вопросу, крайняя юность моей невесты-ребенка не означала дополнительных бонусов для меня. Я чувствовал лишь сожаление по отношению к девочке, которая пала жертвой уловок ее подлого дяди. Я отнесся к ней, как относятся к детям, и уверил ее в том, что не нужно меня бояться. Но она не говорила ни слова, а ее дрожь выдавала панику. Порывшись на полке, я нашел кусочек шоколада, который я предложил ей, но, так как она никогда в жизни не видела шоколада, она отказалась, яростно трясая головой. Я попытался успокоить ее забавным рассказом из сборника «Тысяча и одна ночь», но она, кажется, даже и не понимала, не говоря уже о том, как смешно все это было. Наконец, она произнесла первые слова: «Моя голова болит...» Я нашел таблетки аспирина и сунул их в ее руку со стаканом воды. Но это вызвало еще больший взрыв ужаса (только позднее я узнал, что кто-то из ее подруг рассказал ей, что эти странные люди из иноземных стран иногда угощают своих жен наркотиками в первую брачную ночь, чтобы легче совершить насилие). По прошествии пары часов или около того мне удалось убедить ее, что у меня нет никаких агрессивных помыслов. В конце концов, она уснула, как ребенок, а я постелил себе постель на ковре в углу комнаты.

С утра я позвал за ее матерью и потребовал, чтобы она забрала девочку домой. Женщина была ошеломлена. Она никогда не слышала, чтобы мужчина отказался от такого кусочка — девственная одиннадцатилетняя девочка — и, должно быть, подумала, что что-то кардинальным образом было не так со мной.

— И что потом? — спрашивает Гадбан.

— Ничего. Я развелся с девушкой, оставив ей все, с чем она была до прихода ко мне. Это было неплохой сделкой для семьи, которая сохранила и девушку, и приданое, которое я выплатил вместе с множеством подарков. Что касается меня, слух разошелся по округе о том, что во мне нет мужского достоинства, и несколько доброжелателей пытались убедить меня в том, что некто, возможно бывшая жена, наложил закливание на меня, от которого я могу избавиться лишь ответным заклятием.

— Когда я вспоминаю о твоей последующей женитьбе в Медине, о Мухаммад, и о твоём сыне, — говорит *амир* со смехом, — я уверен, что ты выработал сильную защиту против заклятия...

- 5 -

Позднее ночью, когда я собираюсь пойти спать в комнату, отданную мне в распоряжение, я нахожу, что Зейд еще более молчалив, чем прежде. Он стоит возле дверного прохода, видимо погруженный в какие-то отдаленные мысли, его подбородок покоится на груди, а глаза зафиксированы на синезеленом медальоне хорасанского ковра, покрывающего пол.

— Каково это, Зейд, вернуться в город своей юности после долгих лет? — ведь в прошлом он отказывался заезжать в Хаиль всегда, когда у меня была возможность посетить его.

— Я не уверен, о мой дядя, — отвечает он медленно. — Одиннадцать лет... Прошло уже одиннадцать лет с того момента, как я был здесь в последний раз. Ты знаешь, что мое сердце не позволило бы мне вернуться сюда раньше и наблюдать, как люди Юга правят во дворце Ибн Рашида. Но относительно последнего я всегда говорил себе словами Книги: «О Господи, Владыка всего! Ты наделяешь властью того, кого пожелаешь, и забираешь власть у того, кого пожелаешь. Ты возносишь того, кого пожелаешь, и унижаешь того, кого пожелаешь. В Твоей длани все хорошее, и Ты имеешь силу и

власть над всем». Несомненно, Бог даровал власть дому Ибн Рашида, но они не знали, как распорядиться ею правильно. Они были щедры к своим людям, но черствы к подобным себе и безрассудны в своей гордости; они проливали кровь, и брат убивал брата; и Господь забрал у них их власть и возвратил ее обратно Ибн Сауду. Я думаю, мне не стоит больше горевать, ведь разве не написано в Книге: «Иногда вы любите что-то, а оно может быть наихудшим для вас, и иногда вы ненавидите что-то, а оно может быть наилучшим для вас»?

В голосе Зейда чувствуется приятное смирение, которое означает лишь принятие того, что уже случилось и, следовательно, не может быть изменено. Именно эта уступчивость мусульманского духа к неизменяемости прошлого — осознание того, что что бы ни произошло, оно произошло так и не могло произойти никак иначе — так часто ошибочно воспринимается Западом как «фатализм» исламского мировоззрения. Но мусульманское согласие с судьбой относится к прошлому, а не к будущему: это не отказ от действия, надежды и исправления, но отказ рассматривать прошедшую реальность как нечто иное, нежели Божественный акт.

— И более того, — продолжает Зейд, — Ибн Сауд не повел себя дурно по отношению к Шаммар. Они знают это, ведь не они ли поддержали его своими мечами три года назад, когда эта собака Ад-Дауиш поднялся против него?

О да, они сделали это с великодушием побежденных, так характерным для истинных арабов в своих лучших проявлениях. В тот судьбоносный 1929 год, когда государство Ибн Сауда сотряслось до самого своего основания под ударами великого бедуинского восстания, возглавляемого Файзалом Ад-Дауишем, все племена Шаммар, жившие в Наджде, несмотря на свою былую враждебность к королю, сплотились вокруг него и внесли свой непомерный вклад в последующую победу над бунтовщиками. Это примирение было воистину удивительным, так как лишь несколько лет до этого Ибн Сауд завоевал Хаиль силой оружия и таким образом заново установил гегемонию Юга над Севером. Еще более удивительным оно кажется в свете

вековой обоюдной неприязни, которая идет глубже, чем любая другая династическая борьба за власть, между племенем Шаммар и людьми южного Наджда, к которым принадлежит Ибн Сауд. По большому счету, эта антипатия (которую даже последнее примирение не стерло окончательно) — выражение традиционного соперничества между Севером и Югом, которое проходит через всю историю арабов и имеет соответствующие примеры также в других нациях: так как часто происходит так, что мелкие различия во внутреннем ритме жизни создают враждебность между тесно связанными племенами больше, чем может создать расовая необычность между совсем различными соседствующими нациями.

Помимо политической вражды другой фактор играет значительную роль в эмоциональных расхождениях между арабийским Севером и Югом. Именно на юге Наджда в близости от Рияда около двухсот лет назад пуританский реформатор, Мухаммад Ибн Абд аль-Ваххаб, поднялся и побудил племена — тогда мусульман лишь по наименованию — к новому религиозному энтузиазму. Именно в тогдашнем маловажном доме Ибн Сауда, состоящем из предводителей кланов маленького городка Дарийя, реформатор заполучил железную руку, дававшую силу действия его вдохновляющему слову, и в течение нескольких десятилетий собрал большую часть полуострова под знаменами того сверкающего бескомпромиссного движения веры, известного как «ваххабизм». Во всех войнах и завоеваниях движения Ваххаби за последние сто пятьдесят лет именно люди Юга несли высоко знамя пуританизма, тогда как люди Севера только нерешительно шли за ними: ведь, хотя Шаммар и разделяют положения Ваххаби в теории, их сердца остались холодны к пламенному, неуступчивому религиозному рвению Юга. Живя близко к границам с Сирией и Ираком и всегда находясь в торговых отношениях с ними, Шаммар выработали с течением веков обходительную вялость воззрений и готовность к компромиссу, совершенно неведомому более изолированному Югу. Люди Юга знают лишь крайности, и последние полтора века они ничего другого не знали, как мечты о *джихаде*: гордые, надменные люди, рассматривающие себя как истинных

представителей Ислама, а все другие мусульманские народы как еретиков.

При всем этом Ваххаби определенно не является отдельной сектой. «Секта» предполагала бы наличие определенных специальных доктрин, которые бы выделяли ее последователей из остальной массы последователей той же самой религии. В ваххабизме, однако, нет специальных доктрин. Наоборот, это движение сделало попытку уйти от всех наслоений и наложенных доктрин, которыми первоначальное учение Ислама обросло с течением многих веков, и вернуться к первоизданной миссии Пророка. В своей бескомпромиссной ясности это была великая инициатива, которая со временем могла бы привести к полному высвобождению Ислама от всех предрассудков, затемняющих его учение. Несомненно, все движения возрождения в современном Исламе — движение *Ахль-и-Хадис* в Индии, движение Сануси в Северной Африке, работы Джамаль Ад-Дин аль-Афгани и Мухаммада Абдуха из Египта — имеют напрямую прослеживаемую связь с духовным стимулом, заданным в восемнадцатом веке Мухаммадом Ибн Абд аль-Ваххабом. Но развитие его учений в Наджде страдает от двух недостатков, которые препятствуют становлению его в качестве силы духовного возрождения. Один из этих недостатков — узколобость, с которой это учение пытается свести почти все религиозные стремления к буквальному соблюдению предписаний, не замечая нужду в постижении их духовной составляющей. Другой недостаток кроется в самом арабском характере: в рьяной самоуверенной направленности чувств, которая не признает ни за кем права отличаться, — подход так же характерный для истинных семитов, как и его диаметрально противоположность — полная вялость в вопросах веры. Это — прискорбное качество арабов: они всегда обязаны раскачиваться между двумя полюсами и никогда не могут найти срединный путь. Однажды — едва ли два века тому назад — арабы Наджда были внутренне более далеки от Ислама, нежели любая другая группа людей из мусульманского мира, тогда как после прихода Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба и по сей день они рассматривают самих себя не просто как чемпионов Веры, но почти как ее единственных обладателей.

Духовный смысл движения Ваххаби — стремление к внутреннему обновлению мусульманского общества — был искажен почти в тот же момент, когда его внешняя цель — достижение общественной и политической власти — реализовалась в виде установления Королевства Сауди в конце восемнадцатого века и его распространения на большую часть Аравии в начале девятнадцатого века. Как только последователи Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба заполучили власть, его идея стала мумией: ведь дух не может быть слугой у власти, а власть не хочет быть слугой у духа.

История ваххабистского Наджда — история религиозной идеи, которая сначала выросла на крыльях энтузиазма и страстного желания, а затем потонула в низинах фарисейского ханжества. Ведь всякая добродетель уничтожает саму себя, как только она перестает быть томлением и смирением: Харут!.. Марут!..

VI. СНЫ

- 1 -

Быть другом и гостем великого арабского *амира* означает быть другом и гостем всех его служащих, его *раджаджил*, лавочников в его столице и даже бедуинов степи, находящейся под его управлением. Такой гость вряд ли может упомянуть о желании, чтобы его не исполнили сразу же при первой возможности; постоянно он окружен теплотой и беспрекословной любезностью, которые преследуют его повсюду: на рынке города не меньше, чем в широких залах и коридорах дворца.

Это случалось со мной столько много раз до этого, это происходит и теперь, во время моей двухдневной остановки в Хаиле. Когда я хочу выпить кофе, мелодичный звон медной ступки сразу же звучит в моей личной приёмной комнате. Когда по утрам я невзначай упоминаю с Зейдом (в присутствии одного из слуг *амира*) седло для верблюда, которое я только что заметил на базаре, его приносят ко мне после полудня и кладут у моих ног. Несколько раз в день появляется подарок: длинное платье с манговым узором из кашмирской шерсти, или вышитая *куфия*, или белая багдадская овчина для седла, или изогнутый кинжал из Наджда с серебряной рукоятью... И я, путешествуя налегке, не могу предложить Ибн Мусааду ничего взамен, кроме большой английской карты Аравии, на которой, к

его великой радости, я кропотливо пометил арабские наименования населенных пунктов.

Щедрость Ибн Мусаада несет в себе сильные отголоски манер короля Ибн Сауда, что в конечном счете не удивительно, если рассматривать их близкие взаимоотношения. Они не только родственники, но также разделили — еще с ранней юности Ибн Сауда, когда Ибн Мусаад был мальчиком, — львиную долю сложностей, превратностей и мечтаний, сопутствующих раннему правлению короля. И более того, их личная связь укрепилась годами ранее женитьбой Ибн Сауда на Джаухаре, сестре Ибн Мусаада, женщине, которая значила для короля больше, чем кто-либо, на ком он женился до или после нее.

Хотя многие из людей были в дружбе с ним, не многие имели честь наблюдать самую сердечную и, возможно, самую важную сторону натуры Ибн Сауда — его великую способность любить, которая, будь у нее возможность раскрыться и сохраниться, могла бы привести его к высотам, гораздо более значительным, чем те, что он достиг. Настолько много внимания уделялось огромному количеству женщин, которые выходили замуж за него и разводились с ним, что многие посторонние люди стали рассматривать его как некоего распутника, погруженного в нескончаемое удовлетворение плотских желаний; однако лишь немногие, если вообще таковые имеются, знают, что почти каждый брак Ибн Сауда, не считая союзов, диктуемых политическими соображениями, был результатом едва заметного неутолимого желания вернуть призрак утерянной любви.

Джаухара, мать его сыновей Мухаммада и Халида, была величайшей любовью Ибн Сауда. И даже теперь, когда с момента ее смерти прошло вот уже около тринадцати лет, король всегда вспоминает о ней с замиранием сердца.

Она, очевидно, была удивительной женщиной, не просто красавицей, так как Ибн Сауд знал и располагал множеством красивых женщин в своей чрезвычайно пышной супружеской

карьере, но также одаренной той инстинктивной женской мудростью, которая соединяет блаженство духа с блаженством тела. Ибн Сауд обычно не позволяет эмоциям перерасти в глубокую привязанность в отношениях с женщинами, и это, скорее всего, объясняет ту легкость, с которой он женится и разводится со своими женами. Но с Джаухарой он, кажется, воплотил то, что никогда после нее не повторялось. Хотя он и имел других жен, когда она была жива, его истинная любовь предназначалась лишь ей, как если бы она была единственной его женой. Он писал любовные поэмы для нее, и однажды, в одном из своих душевных излияний, он сказал мне: «Всякий раз, когда мир чернел вокруг меня и я не мог увидеть разрешения сложностей и опасностей своего пути, я садился и сочинял оду для Джаухары; и по завершении ее мир снова вдруг освещался, и я знал, что мне нужно было предпринять».

Но Джаухара умерла во время великой эпидемии гриппа в 1919 году, которая также унесла жизнь первого и самого любимого сына Ибн Сауда, Турки. Его двойная потеря оставила незатягивающуюся рану на его судьбе.

Не только жене и сыну он полностью смог отдать свое сердце: он любил своего отца так, как немногие любят своих. Отец, Абд ар-Рахман, которого я знал с первых лет моего пребывания в Рияде, хотя и был добрым и благочестивым человеком, однозначно не являлся выдающейся личностью, как его сын, и не играл особенно важной роли в течение своей долгой жизни. Тем не менее даже после того, как Ибн Сауд заполучил королевство своими собственными усилиями и стал неоспоримым правителем земли, он вел себя в отношении к своему отцу с таким смирением, что он никогда бы не согласился войти в комнату замка, если Абд ар-Рахман находился в комнате ниже, «ведь, — сказал бы он, — как я могу позволить себе ходить по голове моего отца?» Он также никогда бы не стал садиться в присутствии старика без очевидного приглашения. Я до сих пор помню замешательство, которое это королевское смирение вызвало во мне однажды в Рияде (мне кажется, это было в декабре 1927 года). Я посещал отца короля на регулярной основе в его комнатах в королевском дворце, и в один из таких визитов

мы сидели на полу облокотившись о подушки, пожилой господин разглагольствовал на одну из своих любимых религиозных тем. Внезапно вошел слуга и промолвил: «*Шуйух...*» В следующий момент Ибн Сауд появился в двери. Естественным образом я захотел встать, но старый Абд ар-Рахман схватил меня за руку и потянул вниз, как будто говоря: «Ты — мой гость». Невозможно выразить словами то, как я был поражен тем, что остался сидеть в то время, как король, поприветствовав своего отца издалека, остался стоять в двери, очевидно ожидая разрешения войти в комнату. Но король, должно быть, привык к такого рода капризам со стороны своего отца, так как он подмигнул мне, немного улыбаясь и успокаивая меня. Тем временем старик Абд ар-Рахман продолжил свое рассуждение, как если бы никакого вмешательства не произошло. По прошествии нескольких минут он посмотрел вверх, кивнул сыну и сказал: «Подойди ближе, сынок, и присядь». Королю на тот момент было сорок семь или сорок восемь лет.

Несколько месяцев позже (мы были в Мекке в то время) новость о том, что его отец скончался в Рияде, дошла до короля. Я никогда не забуду долгий непонимающий взгляд, с которым он уставился на посланника, и отчаяние, которое медленно и видимо охватило черты, обычно столь безмятежные и сдержанные; и как он вскочил с ужасающим ревом: «Отец — мертв!» — и широкими шагами выбежал из комнаты, его *абая* волочилась по земле за ним; и как он взбежал по лестнице мимо охранников с полными ужаса лицами, не зная сам, куда он бежит и почему, и продолжая постоянно вопить: «Мой отец — мертв! Мой отец — мертв!» На протяжении двух дней после этого он отказывался видеться с кем-либо, не ел и не пил, проводил день и ночь в молитве.

Сколько сыновей зрелого возраста, как много королей, отвоевавших себе государство своей собственной силой, которые бы так оплакивали смерть отца, умершего безмятежной смертью в преклонном возрасте?

Ведь благодаря лишь собственным усилиями Абд аль-Азиз Ибн Сауд отвоевал свое огромное королевство. Ко времени, когда он был ребенком, его династия уже потеряла последние остатки своей силы в центральной Аравии и была вытеснена однажды бывшими вассалами, династией Ибн Рашида из Хаиля. То были горькие дни для Абд аль-Азиза. Гордый и замкнутый мальчик вынужден был наблюдать, как чужеродный *амир* управляет городом его отца, Риядом, от имени Ибн Рашида, ведь теперь семья Ибн Сауда — однажды правители почти всей Аравии — была лишь на содержании у Ибн Рашида: их терпели, но не боялись. В конце концов даже миролюбивый Абд ар-Рахман не смог мириться с этим и покинул Рияд со всей семьей в надежде провести оставшиеся дни в доме своего старого друга, правителя Кувейта. Но он не мог знать, что будущее уготовило для него, так как он не знал, что таится в сердце его сына.

Из всех членов семьи только один имел хоть какое-то представление о том, что происходило в этом пылком сердце, — младшая сестра его отца. Я не знаю о ней много; я лишь знаю, что, когда бы он ни останавливался на днях своей молодости, король всегда вспоминает ее с огромным почтением.

«Она любила меня, я полагаю, даже больше своих собственных детей. Когда мы были наедине, она сажала меня на колени и рассказывала мне о великих вещах, которые мне предстояло сделать, когда я вырасту. „Ты должен возродить славу дома Ибн Сауда“, — говорила она мне снова и снова, и ее слова были подобны ласканию. „Но я хочу, чтобы ты знал, о Азайиз*, — говорила она, — что даже слава дома Ибн Сауда не должна быть концом твоих устремлений. Ты должен стремиться к славе Ислама. Твои люди остро нуждаются в лидере, который повел бы их по пути Благословенного Пророка, и ты будешь этим лидером“. Эти слова всегда оставались живыми в моем сердце».

* Уменьшительно-ласкательное от Абд аль-Азиз

Действительно ли эти слова жили там?

На протяжении своей жизни Ибн Сауд любил говорить об Исламе как о миссии, которая была возложена на него; и даже позднее, когда уже давно стало ясно, что королевская власть значила больше для него, чем его прежняя борьба за идеал, его огромное красноречие зачастую с успехом убеждало многих людей, возможно и его самого, что этот идеал все еще является его целью.

Такие детские воспоминания часто всплывали во время вечеров в кругу близких людей в Рияде, такие вечера часто имели место после молитвы *иша* (около двух часов после заката солнца). Как только молитва во дворцовой мечети заканчивалась, мы собирались возле короля в одной из маленьких комнат и слушали часовое чтение, посвященное жизни Пророка или комментариям к Корану. После этого король приглашал двух или трех человек сопровождать его во внутренние комнаты в его личной части замка. Одним вечером, помнится, отправляясь с очередного собрания в комнаты короля, я был снова поражен величественным ростом, благодаря которому он так сильно возвышался над окружающими его людьми. Он, должно быть, поймал мой восторгающийся взгляд, так как он быстро улыбнулся с тем неопишуемым шармом, присущим ему, взял меня под руку и спросил:

— Почему ты смотришь на меня так, о Мухаммад?

— Я думал, о мудрый годами, что никто не ошибется, распознавая в тебе короля, когда твоя голова находится так высоко над головами толпы.

Ибн Сауд посмеялся и, все еще ведя меня за руку в медленной процессии по коридору, сказал:

— Да, приятно быть таким высоким. Но было время, когда мой рост приводил лишь к душевной боли. Это было много лет назад, когда я был мальчиком и жил во дворце Шейха Мубарака в Кувейте. Я был тощим и чрезвычайно высоким, намного выше того, что подобает моему возрасту. Другие мальчишки во дворце, дети из семьи *шейха* и из моей собственной, сделали меня предметом своих шуток, как будто я был уродом. Это вызывало во мне огромное страдание, и иногда я даже думал, что я и на самом деле урод. Я так стыдился своего роста, что втягивал внутрь свою голову и плечи, чтобы казаться меньше, когда проходил через комнаты дворца или по улицам Кувейта.

Потом мы достигли королевских комнат. Его старший сын, наследный принц Сауд, уже ожидал там своего отца. Он был моего возраста и довольно внушителен по виду, хотя и не так высок, как его отец. Его черты были гораздо более резкие, чем черты короля, и не имели той подвижности и живости, как у последнего. Однако он был добрым человеком и имел хорошую репутацию среди людей.

Король сел на подушки, расстеленные вдоль стен, и пригласил нас последовать его примеру. Затем он скомандовал: «*Кахва!*» Вооруженный слуга у двери тут же прокричал в коридор: «*Кахва!*». И сразу же этот традиционный оклик был подхвачен и повторился в быстрой чередке другими слугами по всей длине коридора, один за другим последовало: «*Кахва! Кахва!*» — в радостной церемонии повторений, пока этот клич не достиг королевской кухни-кофейни, на расстоянии нескольких комнат от нас. И в миг слуга с золотыми кинжалами появился с медным кофейником в одной руке и маленькими чашками в другой. Король получил первую чашку, а другие чашки пошли по кругу к гостям в очередности, в которой они были усажены. В таких неформальных ситуациях Ибн Сауд говорил свободно обо всем, что приходило ему в голову: о том, что происходило в отдаленных частях света, о новых странных изобретениях, о которых ему рассказывали, о людях, обычаях и установлениях, но больше всего он любил говорить о своем собственном опыте и поощрял других участвовать в обсуждении. В тот самый вечер

Амир Сауд задал начало беседе, когда он смеясь повернулся ко мне:

— Кое-кто выразил мне сомнение на твой счет сегодня, о Мухаммад. Он сказал, что он сильно сомневается, не являешься ли ты английским шпионом под видом мусульманина... Но не беспокойся, я уверил его, что ты несомненно мусульманин.

Я не смог сдержать улыбку и ответил:

— Ты был весьма любезен, о Амир, да продлит Господь твою жизнь. Однако как ты можешь быть столь уверен на этот счет? Разве не Бог один знает, что в человеческом сердце?

— Это правда, — ответил Амир, — но в этом случае мне было даровано особое озарение. Сон на прошлой неделе подсказал мне это... Я увидел самого себя стоящим перед мечетью и глядящим вверх на минарет. Вдруг появился человек на балконе минарета, поднес ладони ко рту и начал призыв к молитве: «Бог превыше всего, лишь Господь велик, — и продолжил так до самого конца. — Нет бога и божества, кроме Одного и Единого Бога»... И когда я присмотрелся к человеку, я увидел, что это был ты. Когда я проснулся, я точно знал, хотя я никогда не сомневался в этом, что ты в действительности мусульманин, ведь сон, в котором Имя Господа возвеличивается, не может быть обманчивым.

Я был сильно тронут этим добровольным утверждением моей искренности сыном короля, а также убедительным кивком, с которым король подтвердил удивительный рассказ Амира Сауда. Перехватывая инициативу, Ибн Сауд заметил:

— Часто случается так, что Бог освещает наши сердца через сны, которые иногда предсказывают будущее, а иногда разъясняют настоящее. Разве тебе не снились подобные сны, о Мухаммад?

— Конечно же снились, о Имам, очень давно, задолго до того, как я начал думать о том, чтобы стать мусульманином, даже до того, как я ступил на мусульманскую землю. Мне было около

девятнадцати лет в то время, и я жил в доме своего отца в Вене. Я был глубоко заинтересован наукой о внутренней жизни человека (что было наиболее близким определением психоанализа, которое я смог придумать для короля) и имел практику оставлять возле кровати бумагу и карандаш для того, чтобы записывать свои сны сразу в момент пробуждения. С помощью этой практики, как оказалось, я смог сохранять воспоминания о снах неограниченно долго, даже если я не мог держать их в голове. В том конкретном сне я обнаружил себя в Берлине едущим в поезде по подземной железной дороге: иногда поезд едет по туннелю под землей, а иногда по мостам высоко над улицами. Вагоны были набиты огромной толпой людей, что яблоку негде упасть, все стояли плотно, не в состоянии двинуться. Тусклый свет единственной электрической лампочки освещал вагон... Через некоторое время поезд выехал из туннеля, однако не поднялся на один из тех высоких мостов, а оказался посреди широкой пустынной глиняной равнины. Колеса застряли в глине, и поезд остановился не в состоянии двигаться вперед или назад.

— Все пассажиры, и я среди них, покинули вагоны и стали осматриваться, — продолжил я. — Равнина вокруг нас была бесконечной, пустой и безжизненной: ни куста, ни дома, ни даже камня; и огромная растерянность овладела людскими сердцами: теперь, когда мы осели здесь, как мы найдем дорогу назад туда, где живут другие люди? Серые сумерки нависли над безграничной пустыней, как во время начала рассвета.

— Каким-то образом я не совсем разделял растерянности других людей. Я отделился от толпы и заметил, на расстоянии около десяти шагов, верблюда-дромадера, пригнувшегося к земле. Он был полностью оседлан — тем же самым способом, которым, как я узнал позже, седлают верблюдов в твой стране, о Имам, — и в седле сидел человек, одетый в бело-коричневую *абаю* с коротким рукавом. Его *куфия* была натянута на лицо, так что я не мог различить его черт. В сердце я сразу понял, что верблюд ожидал меня и что неподвижный всадник должен стать моим гидом. Итак, без лишних слов я вскочил на спину верблюда позади седла способом, которым едет *радиф*, второй всадник

сзади, в аравийских землях. В следующий момент верблюд поднялся и пошел вперед затяжной легкой походкой, и я ощутил невыразимое счастье растущее во мне. В той быстрой плавной походке мы проехали часы, как показалось вначале, затем дни, затем месяцы, пока я не потерял счет времени; и с каждым шагом верблюда мое счастье росло все больше, пока я не почувствовал, что плыву сквозь воздух. Под конец горизонт по правую сторону начал краснеть под лучами начинавшего восходить солнца. Но на горизонте далеко впереди я увидел другой свет, он восходил из-за огромных открытых ворот, покоившихся на двух колоннах, — слепящий белый свет, не красный, как свет по нашу правую руку, но прохладный свет, постепенно становившийся ярче по мере того, как мы приближались, и усиливавший мое счастье до пределов, неподвластных какому-либо описанию. Все ближе и ближе мы приближались к воротам и свету, пока я не услышал голос, извещающий откуда-то: «Это — самый западный город!» И я проснулся.

— Хвала Господу! — воскликнул Ибн Сауд, когда я закончил. — И разве не подсказал тебе этот сон, что тебе было суждено стать мусульманином?

Я покачал головой:

— Нет, о мудрый годами, как мог я знать об этом? Я никогда не думал об Исламе и даже никогда не знал ни одного мусульманина... Лишь семь лет спустя, после того как я давно забыл свой сон, я принял Ислам. Я вспомнил сон лишь недавно, когда я нашел его среди своих бумаг записанным ровно так же, как я описал его в ту ночь по пробуждении.

— Однако это было твоей истинной судьбой, которую Бог показал тебе в том сне, сынок! Разве ты не распознаешь ее? Выход из толпы людей, в которой находился ты, на пустынную равнину без дороги и направления и их растерянность — разве это не состояние тех, о ком повествует вступительная *сура* Корана: «те, кто заблудились»? И дромадер, который вместе с всадником ожидал тебя, — разве это не «верное наставление», о

котором Коран говорит так часто? И всадник, который не разговаривал с тобой и чье лицо ты не мог увидеть, — кто другой может это быть, как не Благословенный Пророк, да пребудет мир и благословение Бога над ним? Он любил носить накидку с короткими рукавами... И разве не говорит нам множество наших книг о том, что когда бы он ни появлялся в снах немусульман или тех, кто еще пока не стал мусульманином, его лицо всегда закрыто? И тот прохладный белый свет на горизонте впереди — что еще это может быть, как не обещание света веры, который светит, но не обжигает? Ты не достиг его в своем сне, потому что, как ты сам сказал, лишь годы спустя ты распознал в Исламе истину...

— Ты, может быть, прав, о мудрый годами... А как насчет того «самого западного города», к которому ведет путь через ворота на горизонте? Ведь мое принятие Ислама не повело меня к Западу, наоборот, оно все дальше вело меня от Запада.

Ибн Сауд молчал и думал некоторое время, затем он поднял свою голову и с той сладкой улыбкой, которую я полюбил, сказал:

— Не могло ли это значить, о Мухаммад, что принятие Ислама тобой было «самой западной» точкой в твоей жизни и что после этого жизнь Запада перестала быть твоей?..

По прошествии некоторого времени король заговорил снова:

— Никто, кроме Бога, не знает будущего. Но иногда Он решает даровать нам через сон мимолетный взгляд на то, что нас ожидает в будущем. Я сам имел опыт таких снов два или три раза, и они всегда сбывались. Один из них, конечно, сделал меня тем, кем я являюсь... Мне было на тот момент семнадцать лет. Мы жили в изгнании в Кувейте, но я не мог вынести мысли о том, что Ибн Рашиды правят на моей родине. Я часто молил своего отца, да смилуется Господь над ним: «Сражайся, о отец, и прогони Ибн Рашидов прочь! Никто не имеет больших оснований на трон Рияда, чем ты!» Но мой отец отметал в сторону мои буйные запросы как фантазии и напоминал мне,

что Мухаммад Ибн Рашид был самым сильным правителем на земле арабов, и что он держал власть над королевством, простиравшимся от Сирийской пустыни на севере до песков «Пустой четверти» на юге, и что все бедуинские племена дрожали перед его железной рукой. Одной ночью, однако, у меня был странный сон. Я увидел себя на лошади в одинокой пустыне ночью, а передо мной, тоже на лошади, был старый Мухаммад Ибн Рашид, захватчик королевства моей семьи. Мы оба были безоружными, но Ибн Рашид держал в своей руке на высоте огромный сверкающий фонарь. Когда он увидел меня приближающимся, он распознал во мне врага, повернул и прищпорил лошадь, спасаясь бегством; я начал преследовать его, догнал и схватил угол его накидки, затем его руку, затем фонарь... Я потушил фонарь. Когда я проснулся, я был уверен, что мне начертано отвоевать власть у дома Ибн Рашида...

В год того сна, 1897-й, Мухаммад Ибн Рашид умер. Это показалось Абд аль-Азизу Ибн Сауду благоприятным моментом для удара; однако Абд ар-Рахман, его отец, был склонен не рисковать мирной жизнью в Кувейте ради такого сомнительного предприятия. Но страсть сына была упрямее инертности отца — и в конце концов отец сдался. При поддержке своего друга Шейха Мубарака из Кувейта он поднял несколько бедуинских племен, которые оставались преданными его семье, вышел в бой против Ибн Рашидов на старый арабский манер — с верблюдами и лошадьми, с племенными знаменами — и был разгромлен превосходящими силами противника. С чувством скорее облегчения, нежели разочарования, он возвратился в Кувейт, полный решимости никогда более не нарушать заката своей жизни военными приключениями.

Но сын не сдался так просто. Он постоянно вспоминал свой сон о победе над Мухаммадом Ибн Рашидом; и когда его отец отказался от всяких притязаний на царствование в Наджде, именно этот сон побудил молодого Абд аль-Азиза сделать его безумную ставку на власть. Он собрал нескольких друзей — среди них его родственники Абдулла Ибн Джилуви и Ибн Мусаад — и созвал авантюрных бедуинов, вся компания

составила сорок человек. Они выехали из Кувейта как воры: украдкой, без знамен, барабанов и песен; и, избегая протоптанных караванных путей и прячась в дневное время, они достигли окрестностей Рияда и разбили лагерь в уединенной лощине. В тот же самый день Абд аль-Азиз выбрал пять спутников из сорока и так обратился к оставшимся:

— Мы шестеро теперь вкладываем свою судьбу в Божью десницу. Мы направляемся в Рияд — победить или потерпеть поражение навсегда. Если вы услышите звуки боя, исходящие из города, прибегайте к нам на помощь; но если вы не услышите ничего до заката завтрашнего дня, тогда вы должны знать, что мы мертвы, да примет Господь наши души. Если случится такое, вы, остальные, возвращайтесь втайне и как можно скорее в Кувейт.

И шестеро отправились в путь. С наступлением ночи они добрались до города и проникли в него через один из проломов, которые много лет назад Мухаммад Ибн Рашид проделал в стенах побежденного города, чтобы унижить его жителей. Они пошли со спрятанным под накидками оружием прямо к дому рашидского *амира*. Дом был заперт, так как *амир* по обычаю, страшаясь враждебно настроенных масс, проводил ночи в крепости напротив. Абд аль-Азиз и его товарищи постучали в дверь, не успел слуга открыть дверь, как тут же был обезоружен, связан и обезмолвлен кляпом. То же самое постигло всех обитателей дома: в этот час лишь нескольких слуг и женщин. Шестеро искателей приключений подкрепились финиками из кладовой *амира* и провели ночь, перечитывая по очереди отрывки из Корана.

По утру ворота крепости открылись, и *амир* появился снаружи, окруженный вооруженными охранниками и слугами. С криками «О Господи, в Твоих руках Ибн Сауд!» Абд аль-Азиз и его пять товарищей кинулись с обнаженными клинками на удивленного врага. Абдулла Ибн Джилуви метнул свое копьё в *амира*, но тот вовремя нагнулся, и копьё воткнулось в глиняную стену крепости с трясущейся рукояткой и осталось там по сей день всем на обозрение. *Амир* отступил к воротам в панике, тогда как

Абдулла единолично последовал за ним во внутреннюю часть крепости; Абд аль-Азиз и его четыре оставшихся товарища атаковали охранников, которые, несмотря на свое численное превосходство, были сильно сбиты с толку и не смогли достойно защищаться. Мгновение спустя на плоской крыше появился *амир*, просящий под жестким давлением Абдуллы Ибн Джилюви помилования, которого он не получил. И когда он упал на парапет крыши и получил смертельный удар мечом, Абд аль-Азиз вскричал снизу: «Выходите, о люди Рияда! Вот он я, Абд аль-Азиз, сын Абд ар-Рахмана из дома Ибн Сауда, ваш законный правитель!» И люди Рияда, ненавидевшие своих северных угнетателей, прибежали с оружием на помощь своему принцу, и на верблюдах прискакали его тридцать пять товарищей, ворвавшись через городские ворота и сметая противника как ураганный ветер. В течение часа Абд аль-Азиз Ибн Сауд стал неоспоримым правителем города.

Это случилось в 1901 году. Ему был двадцать один год. Его юношество закончилось, и он вошел во вторую фазу своей жизни — фазу зрелого мужчины и правителя.

Шаг за шагом, область за областью Ибн Сауд отвоевал Наджд у дома Ибн Рашидов, вытесняя их обратно на их землю, Джабаль Шаммар, и в ее столицу Хаиль. Это наступление было настолько продумано, как если бы над ним работал целый генеральский штаб с картами, снабжением и геополитической стратегией, хотя Ибн Сауд и не имел генералов и штабов и вряд ли когда-либо глядел на карты. Его завоевания продвигались спирально с центром в Рияде, и ни шагу вперед не было сделано, пока ранее завоеванная территория не была полностью подчинена и закреплена. Вначале он подчинил районы к востоку и северу от Рияда, затем он расширил свое влияние на западные пустыни. Продвижение на запад было медленным, так как Ибн Рашиды все еще обладали значительной силой и к тому же имели поддержку со стороны турков, с которыми они были в тесном союзе на протяжении нескольких десятков лет. Ибн Сауд также страдал от бедности: южные регионы Наджда не могли обеспечивать в достаточной мере большие группы военных даже на короткое время.

«Было время, — сказал он мне однажды, — когда я был настолько беден, что вынужден был заложить у еврейского кредитора из Кувейта украшенный драгоценными камнями меч, подаренный мне Шейхом Мубараком. Я даже не мог позволить себе ковер для седла — мешки, постеленные под овчину, сходили за него».

Была еще одна проблема, сделавшая раннюю карьеру Ибн Сауда тяжелой, — отношение бедуинских кланов.

Несмотря на все свои города и деревни Центральная Аравия является преимущественно землей бедуинов. Именно от их поддержки или сопротивления зависел исход противостояний между Ибн Саудом и Ибн Рашидом почти на каждом этапе. Они были ненадежны и переменчивы и обычно присоединялись к той стороне, которая была на подъеме и сулила большую выгоду. Самым великим мастером такого лицемерия был Файзал Ад-Дауиш, первый вождь могущественного племени Мутайр, поддержка которого всегда могла перевесить чашу весов на сторону либо одной, либо другой из двух соперничающих династий. Он приезжал в Хаиль, чтобы быть щедро одаренным подарками Ибн Рашида; уезжал от Ибн Рашида и приезжал в Рияд присягнуть на верность Ибн Сауду, чтобы предать его месяцем спустя. Он не был предан никому, храбрый и практичный, он был страшно одержим жаждой власти. Он стоил многих бессонных ночей Ибн Сауду.

Столкнувшись с этими трудностями, Ибн Сауд задумал план, поначалу бывший не более чем политическим маневром, но которому суждено было развиться в величайшую идею, которой было под силу изменить лик всего полуострова, — план поселения кочующих племен. Было очевидно, что осев на одном месте, бедуины оставят свою двуличную игру между воюющими сторонами. Будучи кочевниками, они легко могли собирать свои палатки при первой необходимости и переходить со своими стадами то туда, то сюда, от одной стороны к другой. Однако оседлый образ жизни сделал бы подобное невозможным, так как смена лояльности была бы чревата потерей своих домов и

плантаций, а бедуину ничего не мило так, как его собственное имущество.

Ибн Сауд сделал заселение бедуинов самым важным пунктом своей программы. В этом ему значительно помогло учение Ислама, которое всегда делало акцент на превосходстве оседлого образа жизни над кочевым. Король разослал религиозных деятелей, которые просвещали людей в религии и проповедовали новую идею с неожиданным успехом. Началось формирование *Ихван* ('братья' или 'братство'), как оседлые бедуины стали называть себя. Самым первым поселением *Ихван* было переселение Альуа-Мутайр, клана Ад-Дауиша. Их поселок, Артауия, разросся в течение нескольких лет в город приблизительно с тридцатью тысячами жителей. Многие другие племена последовали их примеру.

Религиозный энтузиазм *Ихван* и их воинственный настрой стали мощным инструментом в руках Ибн Сауда. С этого момента его войны подразумевали новый аспект: рожденные религиозным пылом *Ихван*, они переросли свой былой характер династической борьбы за власть и стали войнам за веру. Для *Ихван*, по крайней мере, это возрождение веры имело более чем личный подтекст. В их неуступчивом следовании учению великого реформатора восемнадцатого века, Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба, который стремился к возвращению Ислама к простоте и чистоте его истоков и отрицал все более поздние «нововведения», *Ихван* были, без сомнения, часто переполнены чрезмерным чувством личной праведности; однако то, чего они желали больше всего на свете, было не просто личной праведностью, но установлением нового общества, которое справедливо могло бы быть названо исламским. Справедливо и то, что многие их понятия были примитивны, а их рвение часто граничило с фанатизмом; но при соответствующем наставлении и образовании их глубокая религиозная приверженность могла бы помочь им расширить мировоззрение и в свое время стать ядром подлинного социального и духовного возрождения всей Аравии. Однако, к сожалению, Ибн Сауд не смог узреть огромную важность такого развития и удовлетворился передачей *Ихван* лишь элементарнейших задатков

религиозного и светского образования — на самом деле, лишь настолько, насколько требовалось для поддержания их рьяного фанатизма. Другими словами, Ибн Сауд видел в движении *Ихван* только инструмент к достижению власти. Годы позднее этому недочету с его стороны было суждено отразиться на его собственной политике и на каком-то этапе угрожать самому существованию созданного им королевства; и это было, пожалуй, самым ранним указанием на то, что королю недоставало того внутреннего величия, которого люди стали ожидать от него. Но разочарование *Ихван* королем и его разочарование ими сформировалось не сразу...

В 1913 году, имея огромную ударную силу *Ихван* в своем распоряжении, Ибн Сауд наконец почувствовал, что достаточно окреп для попытки завоевания провинции Аль-Хаса у Персидского залива, которая некогда принадлежала Наджду, но была оккупирована турками пятидесятью годами ранее.

Война против турков была известна Ибн Сауду: время от времени он встречался с турецкими подразделениями, особенно с полевой артиллерией, в составе армии Ибн Рашида. Однако атака Аль-Хасы, находящейся под прямой администрацией турков, была совсем другим делом — столкновение лоб в лоб с великой державой. Но у Ибн Сауда не было выбора. Не возьми он Аль-Хасу и ее порты под свой контроль, он остался бы отрезанным от внешнего мира навсегда, не будучи в состоянии достать крайне необходимые оружие, боеприпасы и предметы первой необходимости. Нужда оправдывает риск; но риск был настолько велик, что Ибн Сауд долго колебался до того, как предпринять атаку на провинцию и ее столицу, Аль-Хуфуф. По сей день ему нравится вспоминать обстоятельства, при которых было принято окончательное решение:

«Мы были уже в пределах видимости Аль-Хуфуфа. С песчаной дюны, на которой сидел я, было хорошо видно стены могущественной крепости, возвышающейся над городом. Мое сердце было полно нерешимости, тогда как я взвешивал преимущества и опасности этого предприятия. Я устал; я мечтал о спокойствии и доме; и при мысли о доме лицо моей жены

Джаухары предстало перед моими глазами. Я начал думать о строках, которые я бы прочитал ей, будь она рядом. Не успев до конца осознать того, что делаю, я начал сочинять поэму для нее, полностью забывая, где я нахожусь и какое серьезное решение мне предстоит принять. Как только поэма была завершена у меня в голове, я записал ее, запечатал, позвал одного из моих курьеров и приказал: „Возьми двух самых быстрых верблюдов, поезжай в Рияд не останавливаясь и вручи это матери Мухаммада“. Как только курьер исчез за облаком песчаной пыли, я вдруг обнаружил, что в голове решение относительно войны было вынесено: я атакую Аль-Хуфуф, и Господь приведет меня к победе».

Его самоуверенность оправдалась. В отважном бою его бойцы штурмовали крепость; турецкие войска сдались, и им было позволено отступить с оружием и снаряжением к берегу, откуда они отплыли к Басре. Османское правительство, однако, не готово было отдать свои владения так охотно. Стамбул решил провести карательную экспедицию. Но до ее совершения началась Первая мировая война, заставившая турков направить все свои военные силы на другие нужды; с окончанием войны Османская империя распалась.

Лишенный турецкой поддержки и окруженный с севера территориями, контролируемыми теперь британцами и французами, Ибн Рашид не мог больше оказывать эффективного сопротивления. Ведомые Файзалом Ад-Дауишем — теперь одним из самых отважных паладинов Ибн Сауда, — королевские войска взяли Хаиль в 1921 году, и дом Ибн Рашида потерял свою последнюю твердыню.

Кульминация экспансии Ибн Сауда пришлась на 1924–1925 годы, когда он завоевал Хиджаз, включая Мекку, Медину и Джедду, и изгнал династию Шарифа, которая пришла к власти после совершенного в 1916 году при поддержке британцев восстания Шарифа Хусейна против турков. Именно с завоеванием Святой Земли Ислама Ибн Сауд, к тому времени сорока пяти лет от роду, в полной мере вошел в поле зрения внешнего мира.

Его беспрецедентное продвижение к власти в то время, когда большая часть Ближнего Востока стала жертвой западного вторжения, вселило надежду в сердца арабского мира — наконец нашелся лидер, который освободит всю арабскую нацию от ига; и многие другие мусульманские группы, помимо арабов, начали надеяться, что он приведет к возрождению исламского мировоззрения в самой полной мере установлением государства, в котором дух Корана был бы верховным правителем.

Хороший и справедливый в личных делах, преданный друг и товарищ, щедрый к своим врагам и беспощадный к лицемерам, удостоенный интеллектуальными талантами намного больше, чем его последователи, Ибн Сауд добился на огромных территориях своего королевства состояния общественной безопасности, не имеющего себе равных нигде на арабских землях со времен первого халифата, тысячу лет назад. Его личное влияние огромно, однако оно не столько основывается на реальном могуществе, сколько на побуждающей силе его характера. Он крайне непритязателен в словах и манерах. Его истинно демократическая натура позволяет ему вести беседу с бедуинами, которые приходят к нему в грязных разорванных одеждах, как если бы он был одним из них, — натура, которая позволяет им называть его по имени, Абд аль-Азиз. С другой стороны, он может держаться надменно и пренебрежительно с официальными лицами высокого ранга, если он чувствует услужливость и чинопочитание с их стороны. Он презирует всякий снобизм. Я помню один инцидент в Мекке, когда во время ужина в королевском дворце глава одной из благороднейших мекканских семей поморщил носом на «бедуинскую грубость» некоторых присутствующих из Наджда, которые активно кушали рис большими горстями. Напоказ, для демонстрации своей утонченности, мекканский аристократ изящно манипулировал едой при помощи кончиков пальцев. Вдруг прогремел голос короля: «Вы, изящные люди, играетесь со своей едой так осторожно. Не от того ли это, что вы привыкли ковыряться пальчиками в нечистотах? Мы, люди Наджда, не боимся своих рук; они чистые, и поэтому мы едим от души и полной рукой!»

Иногда, когда он полностью расслаблен, легкая улыбка играет на устах Ибн Сауда и придает почти духовные черты красоте его лица. Я уверен, не будь музыка порицаема строгим кодом Ибн Абд аль-Ваххаба, которому Ибн Сауд следует, он бы легко нашел свое выражение в ней; но на деле он демонстрирует свои музыкальные склонности только в своих маленьких поэмах, красочных чувственных описаниях и военных и любовных песнях, которые распространены по всему Наджду и распеваются мужчинами, в седле на верблюде пересекающими пустыню, и женщинами в уединении своих домов. И музыкой является его повседневная жизнь, следующая размеренному пружинящему ритму под стать запросам его королевской службы. Как Юлий Цезарь, он обладает в высшей степени способностью вести несколько линий мысли в одно и то же время, не умаляя и в малом глубины изучения каждого отдельного вопроса. Именно этот выдающийся дар позволяет ему вести лично все дела его огромного королевства, не расстраиваясь и не срываясь из-за переутомления.

Эта острота его чувств часто поразительна. Он имеет почти безотказную инстинктивную способность проникать в мотивы людей, с которыми ему предстоит иметь дело. Довольно часто — чему мне самому доводилось быть свидетелем — он может прочесть человеческие мысли до того, как они будут высказаны, и кажется, что он ощущает отношение человека к нему в тот самый момент, когда он входит в комнату. Именно эта способность позволила Ибн Сауду расстроить несколько весьма хорошо подготовленных покушений на его жизнь и принять множество удачных, не требующих отлагательств решений в политических делах.

И именно эти качества к тому же сделали Абд аль-Азиза Ибн Сауда настоящим воплощением бедуинского чувства жизни и характера, а также бедуинских мироощущений и эмоций — мироощущений и эмоций, которые, в конце концов, определили духовный феномен монотеизма, вначале реализованный в ранних евреях (которые в конечном счете были лишь малым бедуинским племенем, которое мигрировало из Аравии на

север, на земли Плодородного полумесяца) и завершённый откровением Корана аравийскому Пророку, Мухаммаду.

Ведь более чем что-либо бедуинская Аравия стала кровью и плотью образа жизни, которому было суждено выразиться с течением времени в великом духовном движении, а после — в цивилизации, которая распространила свое влияние, напрямую или косвенно, почти на весь земной шар, — религия Ислам и цивилизация, порожденная ею. Человеческой и социальной предпосылкой такого развития явилось то, что можно назвать «бедуинской культурой» — уклад жизни, который скоро канет в небытие и которому история не видит аналогов.

В итоге уклад жизни бедуина не был просто прелюдией для высшей цивилизации: это — оконченная, полноценная культура сама по себе, культура, без сомнений сформированная и диктуемая климатом и территорией и в определенном смысле пропитанная тем, что может быть названо «варварскими понятиями». Но в конечном счете она является результатом реалистичного человеческого ответа на долю людскую, сведенную к простейшим основам и лишенную всех тех эпизодических легкостей, которые формируют общество в более мягких климатических условиях.

Естественная среда обитания бедуина — суровая и безжалостная: степи и пустыни, по которым иногда пролегают высохшие русла рек, несущие воду лишь после редких дождей; палящий зной летних дней и жгучий мороз зимних ночей; то здесь, то там маловодные колодцы пустыни, дающие скудные количества главным образом противной на вкус воды; большую часть года редкая растительность, настолько что позволяет разводить лишь верблюдов и мелкий скот; огромная широта неба, бледного и обжигающего как расплавленный металл в дневное время и бесконечно высокого и величавого, черного и звездного ночью, — все это сказалось на появлении особого типа человека и нравственных и общественных особенностей, которых не найти в другом месте.

С самого раннего детства и до самой смерти, из поколения в поколение, из века в век бедуин был приучен созерцать беспредельность и вечность в небе над ним и в неизменности и одиночестве пустыни вокруг него. В то же самое время он научился наблюдать человеческую жизнь во всей ее основополагающей наготе, лишенной покрова уверенности и зачатков оседлого комфорта. Его бессознательное понимание хрупкости и незначительности человеческой жизни, а также признание мотивов людских поступков обострились, отточенные осознанием всегда присутствующей опасности и, стало быть, необходимостью выверения реакций ближнего своего. Таким образом, вселенское сознание и инстинктивная откровенность чувств стали характерными чертами бедуинской ментальности.

И это не все. Жесткость его среды обитания заставила бедуина осознать внутреннее одиночество человеческого существования и, следовательно, уяснить необходимость в тесном сотрудничестве меж людьми; и инстинктивное желание сотрудничества постепенно достигло зрелости в сознательной концепции племенной сплочённости. В свою очередь, осознание принадлежности к определенной группе, племени, вызвало тягу усилить и продлить эту принадлежность даже ценою личных утрат — так гордость и храбрость, страсть и воодушевление для безличных целей (все это воплотилось в арабской концепции *хамаса*) стали естественным выражением племенной обособленности бедуинов, так же как идея гостеприимства (*дыйафа*) стала отличительной чертой отдельно взятого бедуина, мужчины или женщины. И над всеми этими чертами, охватывая их всех, образно выражаясь, единым взором сознания, находится идеал *мурувва* — та непере译имая концепция, общая для мужчины, женщины или ребенка, содержащая в себе ценности, такие как щедрость, чувство достоинства, откровенность, отвага, мужество и учтивость. Связанным со всем этим является отличное чувство *языка* — способность выражать самые сложные восприятия реальности в одной фразе, то есть *mot juste* (меткое выражение), или поэзии вплоть до того, что после Корана речь бедуина навсегда осталась

стандартом, по которому арабские филологи измеряют чистоту стиля и дикции во всех формах арабской литературы.

Одним словом, бедуинская жизнь, как она предстает перед нами в общеизвестной истории, не может быть никак охарактеризована как «примитивная». Не подлежит сомнению тот факт, что это — необузданная жизнь, полная противоречий, таинственных понятий и межплеменной борьбы, жестокости наряду с выдающимися примерами доброты и щедрости, предательства наряду с делами наивысшего самопожертвования, — форма жизни, которая осталась неизменной в череде бесчисленного количества веков, лишенная того, что называется «прогрессом», но и полностью развитая; зрелая культура, обладающая уникальным мировосприятием и абсолютно отличная от всех других культурных образований.

Все это с неизбежностью должно быть учтено при анализе причин и механизмов духовной и общественной истории Аравии.

Вера в Единого Бога — вера первых евреев — пришла из Аравии. Она была естественной верой для бедуина, который в определенный момент истории осознал незначительность человека перед лицом необозримого величия созидательной силы, ощутимо действующей во вселенной, — и лишь малый шаг отделял бедуина от представления о Боге, Создателе. Каким бы туманным и искаженным это представление ни стало с течением времени, оно всегда оставалось на подсознательном уровне. И на фоне всего политеизма древней Аравии, на фоне поклонения звездам и деревьям, лунным богиням и камням всегда присутствовало тусклое понимание, имеющееся во всей доисламской поэзии и фольклоре, — понимание того, что существует непознаваемое Наивысшее Бытие, ответственное за всю наблюдаемую реальность и находящееся выше нее.

Таким образом была подготовлена почва для ниспослания Корана и его последующего триумфа в Аравии.

Учение Корана с самого начала своего возвещения нашло живой отголосок в чувствах и этических нормах араба. Оно достигло самой сердцевины бедуинской концепции *мурувва*: оно требовало от человека прямоты, храбрости, щедрости, сострадания, достоинства перед лицом грубой силы, скромности перед добротой и, выше всего остального, осознания человеческой мимолетности и незначительности перед Бесконечным и Вечным.

Ни в каком другом обществе положения Ислама не могли так сразу прийти в согласие с тем, что люди, которым было суждено первыми услышать строки Корана, всегда инстинктивно чувствовали и считали истиной. Другими словами, арабы времен Пророка, то есть арабы, бывшие воплощением бедуинской культуры, узнали в этике Корана то, что они знали всегда, не понимая сами, что знали. Выражая еще другим способом, можно сказать, что последняя проповедь Бога человеку была открыта через среду и язык одного народа, который мог уловить ее самый сокровенный смысл совершенно и перевести ее мировоззренческую подвижность в реальность посредством своей собственной уникальной психологической конституции. И это объясняет то, почему Ислам, продвигаемый арабами, распространился таким невероятным образом в течение нескольких десятилетий к берегам Атлантического океана и к границам Китая.

- 3 -

В утро моего отъезда из Хаиля меня разбудили звуки музыки, доносящиеся через окна моей комнаты во дворе, — распев, стрекотание и бречание, похожие на настраивание сотен скрипок и духовых инструментов перед началом выступления в большой опере; раздробленная полифония коротких и диссонирующих звуков, которые по причине своей многочисленности и приглушенности, казалось, вихрем поднимали мистическое, почти призрачное сплочение тона...

Это наверняка должен быть огромный оркестр: так сильны волны звука, посылаемые им...

Я подхожу к окну и смотрю на серость утреннего рассвета, поверх пустого рынка и дальше, за серо-глиняные дома города, в направлении предгорья, где раскинулись тамариски и пальмовые сады, и понимаю, что музыка исходит от сотен колодцев в садах, которые только начинают свой трудовой день. В больших кожаных мешках вода поднимается верблюдами, канаты натянуты на грубо оформленных деревянных барабанах, каждый барабан трется о деревянную ось и поет, свистит, скрипит, шелестит в многообразии высоких и низких тонов, пока он не остановится и канат полностью не размотается, после чего он издает неистовый звук, похожий на крик, и крик постепенно сходит на нет в виде вздыхающих созвучий, теперь сопровождаемых мощным всплеском воды, потоком устремляющейся в деревянные корыта. Затем верблюд поворачивается и идет медленно назад к колодцу — и снова барабан создает музыку, пока канаты перекатываются по нему и бурдюки погружаются в колодец.

Так как колодцев очень много, этот хор не останавливается ни на мгновение. Звуки встречаются то в гармонии, то в разладе; некоторые из них начинают с новым ликованием, другие же затухают на фоне друг друга, с ревом, скрипом, свистом, пением — какой пышный оркестр! Не будучи скоординированным человеческим замыслом, он почти достигает величия самой природы, чья воля не поддается пониманию.

VII. Середина пути

- 1 -

Мы покинули Хаиль и теперь направляемся в сторону Медины. Теперь нас трое, так как один из людей Ибн Мусаада, Мансур Аль-Ассаф, будет сопровождать нас часть пути по поручению амира.

Мансур весьма привлекателен внешне, настолько что, если он появился бы на улицах какого-нибудь западного города, все женщины бы оборачивались и провожали его взглядом. Он очень высок, с сильным и мужественным лицом и поразительно ровными чертами. Его кожа бело-коричневого цвета — безошибочный признак родovitости среди арабов; пара черных глаз остро взирает на мир из-под правильной формы бровей. Нет в нем ничего от утонченности или тихой отчужденности Зейда; очертания его лица говорят о неистовой, хотя и подконтрольной, страсти и придают его внешности элемент мрачности, совершенно отличной от безмятежной серьезности моего шаммарского друга. Однако Мансур, как и Зейд, повидал мир и является приятным собеседником.

На серо-желтой покрытой галькой земле, которая сменила пески Нуфуд, мы обнаруживаем мелкую живность, заселяющую ее: маленькие серые ящерицы извиваются между ногами наших верблюдов с небывалой быстротой, прячутся в колючих кустах и наблюдают нас на расстоянии со сверкающими глазами;

маленькие серые полёвки с пушистыми хвостами, как у белок, и их родственники, сурки, чье мясо высоко ценится среди бедуинов Наджда и, конечно, является одним из нежнейших деликатесов, которые я когда-либо пробовал. Тут же встречается большая ящерица, пригодная в пищу и называемая *даб*. Она живет среди корней растений и на вкус напоминает что-то среднее между курицей и рыбой. Здесь также можно видеть черных четвероногих жуков размером с маленькое куриное яйцо, которые катят ком верблюжьего навоза с трогательной терпеливостью: толкают назад сильным задними ногами, тогда как тело опирается на передние, катят драгоценную находку болезненно в свои дома, падают на спину, если галька попадает на их пути и препятствует проходу, снова с трудом переворачиваются на ноги и катят свое имущество, несколько дюймов вперед — опять падение, встают снова и работают, без усталости... Иногда серый заяц выпрыгивает длинными прыжками из-под серых кустов. Вот мы видим газелей, но слишком далеко для выстрела; они исчезают в серо-голубых тенях между двумя холмами.

— Скажи мне, о Мухаммад, — спрашивает Мансур, — как случилось так, что ты стал жить среди арабов? И как тебе довелось принять Ислам?

— Я скажу тебе, как это случилось, — вмешивается Зейд. — Сначала он влюбился в арабов, затем в их веру. Не правда ли, о мой дядя?

— То, что говорит Зейд, верно, о Мансур. Много лет назад, когда я приехал впервые на арабские земли, меня привлекло то, как ваши люди живут. И когда я начал спрашивать себя о том, что вы думаете и во что вы верите, я узнал об Исламе.

— И не обнаружил ли ты, о Мухаммад, сразу, что Ислам является Истинным Словом от Бога?

— Что ж, нет: это произошло не так быстро. Прежде всего, я не верил тогда, что Бог когда-либо говорил напрямую с человеком

или что книги, которые люди называют Его словом, не были просто-напросто работой мудрых людей...

Мансур таращится на меня с совершенной недоверчивостью:

— Как это возможно, о Мухаммад? Ты даже не верил в Писания, принесенные Моисеем, или Евангелие Иисуса? Однако я всегда думал, что народы Запада верят хотя бы в них?

— Некоторые верят, о Мансур, но другие нет. Я был одним из тех других...

И я объясняю ему, что многие люди на Западе уже давно перестали рассматривать Писания (их собственные, а также таковые других людей) как настоящие Откровения от Бога, но видят в них скорее историю религиозных устремлений человека, как они развивались с течением веков.

— Но эта моя точка зрения поколебалась сразу, как только я начал узнавать кое-что об Исламе, — добавляю я. — Я узнал о нем, когда обнаружил, что мусульмане живут совсем отлично от того, что европейцы полагают стандартом человеческой жизни; и каждый раз, когда я изучал что-то новое об Исламе, я открывал, казалось, что-то, что я всегда знал, не осознавая это...

И я продолжаю, рассказывая Мансуру о своем первом путешествии на Ближний Восток: о моем первом впечатлении от арабов в пустыне Синай; о том, что я видел и переживал в Палестине, Египте, Трансиордании и Сирии; о первом дамасском предвестии того, что новый, доселе непредвиденный путь к истине медленно разворачивался передо мной; и о том, как после визита в Турцию я вернулся в Европу и не смог снова начать жить на Западе, так как, с одной стороны, я стремился глубже понять это странное беспокойство, которое мое первое знакомство с арабами и их культурой породило во мне, в надежде, что это помогло бы мне лучше понять то, что я сам ожидал от жизни, и, с другой стороны, я достиг точки, где мне стало ясно, что никогда снова я не смогу ассоциировать себя с устремлениями западного общества.

Весной 1924 года *Frankfurter Zeitung* отправил меня во второе мое путешествие на Ближний Восток. Книга, описывающая мои прежние приключения, наконец была закончена. (Она была опубликована несколько месяцев спустя после моего отправления под названием *Unromantisches Morgenland*, которым я стремился передать, что это была книга не о романтических и экзотических картинах мусульманского востока, а о попытке проникнуть в его повседневную реальность. Хотя антиссионистский оттенок книги и необычная склонность к арабам вызвали небольшое возбуждение в германской прессе, боюсь, она расходилась не очень хорошо.)

Снова я пересек Средиземное море и увидел египетский берег перед собой. Железнодорожное путешествие от порта Саида в Каир было подобно переворачиванию страниц знакомой книги. Египетский полдень разворачивался между Суэцким каналом и озером Манзала. Дикие утки плавали в воде, и тамариски потряхивали изящно изрезанными ветвями. Деревни начали появляться на равнине, которая поначалу казалась песчаной и покрытой редкой растительностью. Темные азиатские буйволы, часто вместе с верблюдами, вспахивали землю, ленивыми движениями проделывая свой путь сквозь весеннюю почву. Когда мы повернули на запад от Суэцкого канала, египетская растительность окутала нас. Вновь увидев стройных высоких женщин, раскачивающихся в неопишемом ритме, шагающих по полям и несущих кувшины свободно на головах с распростертыми руками, я подумал: «Ничто в целом мире, будь то самый совершенный автомобиль, или самый великолепный мост, или самая глубокомысленная книга, не могут заменить это изящество, которое было утеряно на Западе и уже находилось под угрозой на Востоке, — изящество, которое является ничем иным, как выражением волшебного созвучия между человеческим Я и миром, который его окружает...»

В этот раз я ехал первым классом. В купе помимо меня были еще два пассажира: греческий предприниматель из Александрии, который с легкостью, столь характерной для всех левантинцев, вскоре завлек меня в оживленный разговор и

предлагал остроумные замечания для всего, что мы видели, и египетский *умда*, деревенский староста, который, судя по его дорогому шелковому *кафтану* и толстой золотой цепочке от часов, которая выступала из-за пояса, был зажиточным, но, казалось, был рад оставаться полностью безграмотным. На самом деле, как только он присоединился к нашему разговору, он тут же признался, что не умеет ни читать, ни писать; однако, он также демонстрировал отточенное здравомыслие и часто вступал в спор с греком.

Мы говорили, я помню, о некоторых социальных принципах в Исламе, которые в то время сильно занимали меня. Мой греческий попутчик не полностью разделял моего восхищения социальным равенством в исламском законе.

— Он совсем не такой справедливый, как вам кажется, мой дорогой друг, — и, переходя снова с французского, на который мы перешли невзначай, на арабский ради нашего египетского товарища, он тотчас повернулся к нему: — Вы, мусульмане, говорите, что ваша религия настолько справедлива. Не могли бы вы тогда рассказать нам, почему Ислам разрешает мужчинам-мусульманам жениться на христианских или иудейских девушках, но не разрешает вашим дочерям и сестрам выходить замуж за христианина или иудея? Вы называете это справедливостью, а?

— О да, справедливостью, конечно, — ответил тучный *умда*, не задумываясь и на мгновение, — и я расскажу вам, почему наш религиозный закон был установлен таким образом. Мы, мусульмане, не верим, что Иисус — да пребудет над ним мир и благословение Господа! — был Божьим сыном, однако мы считаем его, так же как мы считаем Моисея, Авраама и всех других пророков Библии, истинным Божьим Пророком. Все они были посланы человечеству так же, как был послан Заключительный Пророк, Мухаммад — да благословит его Господь и дарует ему мир! Таким образом, если иудейская или христианская девушка выходит замуж за мусульманина, она может быть уверена, что никто из личностей, святых для нее, не будет упомянут непочтительно внутри ее новой семьи; когда же,

с другой стороны, мусульманка выходит замуж за немусульманина, не оставляет сомнений то, что тот, кого она считает Посланником от Бога, будет оскорблен... и, вероятно, даже ее собственными детьми, так как разве не следуют дети обыкновенно вере своих отцов? Вы думаете, было бы справедливым подвергать ее такой боли и унижению?

Грек не нашел, что ответить на это, и лишь пожал плечами в замешательстве. Однако мне показалось, что простой безграмотный *умда* коснулся с помощью той разумности, так свойственной его народу, сути весьма важной проблемы. И снова, как с тем старым *хаджи* из Иерусалима, я почувствовал, как новая дверь в Ислам открывается для меня.

В соответствии с моими изменившимися финансовыми условиями я мог теперь позволить себе жить в Каире в стиле, о котором я бы и подумать не мог еще несколько месяцев назад. Мне не надо было более считать гроши. Дни моего первого визита в этот город, когда я вынужден был кормиться хлебом, оливками и молоком, остались в прошлом. Но в одном отношении я сохранял приверженность «традициям» своего прошлого: вместо того, чтобы поселиться в одном из фешенебельных районов Каира, я снял комнаты в доме моего старого друга, толстой женщины из Триеста, которая встретила меня с распростертыми объятиями и материнским поцелуем в обе щеки.

На третий день после моего приезда на закате я слышал глухой звук орудий из крепости. В тот же самый момент круг огней возник на самых высоких балконах двух минаретов, примыкавших к крепостной мечети; и все минареты всех мечетей города приняли такое же освещение и повторили его: на каждом минарете — такой же круг из огней. По старому Каиру пронеслось странное движение: быстрее и в то же время веселее стал шаг толпы, громче — многоголосие шума на улицах; можно было чувствовать и почти слышать новый напряженный трепет во всех уголках.

И все это происходило потому, что новый серп луны провозгласил начало нового месяца (ведь исламский календарь высчитывается лунными месяцами и годами) и тот месяц был Рамадан, самый священный месяц в исламском году. Он знаменует момент, случившийся более тысячи трехсот лет назад, когда, согласно преданию, Мухаммад получил первое откровение Корана. Строгий пост предписывается каждому мусульманину в этот месяц. Мужчинам и женщинам, кроме тех кто болен, не разрешается есть или пить (и даже курить) с момента, когда первая полоса света на восточном горизонте возвещает о приближающемся рассвете, и до заката. И так тридцать дней. Во время этих тридцати дней народ Каира ходил по улицам со светящимися глазами, как будто возвышаясь в святые сферы. Тридцать ночей я слышал огонь орудий, распев и плач от радости, а все мечети сияли светом до самой зари.

Я узнал два назначения месяца поста. Необходимо воздерживаться от еды и питья для того, чтобы прочувствовать в своем собственном теле то, что обездоленные и голодные чувствуют. Таким образом ответственность за общество внедряется в сознание человека в виде религиозного постулата. Другое назначение поста во время Рамадана — самодисциплина: аспект личной нравственности сильно подчеркнут во всех исламских постулатах (так, например, Ислам рассматривает опьяняющие вещества как слишком легкий способ избегания сознательности и ответственности, отсюда их полный запрет). В этих двух элементах — братство людей и личная самодисциплина — я начал усматривать принципы этической перспективы Ислама.

В моей попытке получить более полную картину того, что Ислам означает и представляет в реальности, я извлек большую пользу из объяснений, которыми меня снабдили мои каирские друзья-мусульмане. Выдающимся среди них был Шейх Мустафа Аль-Мараги, один из самых значительных исламских ученых того времени и несомненно самый гениальный среди *уляма* университета Аль-Азхар (ему было суждено стать его ректором несколько лет спустя). Ему было сорок с лишним лет, но его коренастое и мускулистое тело обладало концентрацией и

живостью двадцатилетнего. Несмотря на свою эрудицию и серьезность, его чувство юмора никогда не покидало его. Ученик великого египетского реформатора Мухаммада Абдуха, бывший связанным во времена своей молодости с вдохновителем и активистом Джамаль ад-Дином Аль-Афгани, Шейх Аль-Мараги являлся глубоким и разборчивым мыслителем. Он никогда не переставал убеждать меня в том, что мусульмане настоящего времени безусловно не оправдывают идеалов своей веры и что ничто не может быть более ошибочным, чем измерять возможности послания Мухаммада мерилom жизни и мысли современного мусульманина.

— ... так же как, — говорил он, — было бы ошибочным видеть в отсутствии любви в отношениях между христианами опровержение Христова послания о любви...

С этим предостережением Шейх Аль-Мараги познакомил меня с Аль-Азхаром.

Из многолюдной суматохи улицы Моски, древнейшего торгового центра Каира, мы вышли на маленькую лежащую в стороне площадь, одна сторона которой была занята широкой и прямой лицевой стеной мечети Азхар. Через двустворчатые ворота и затемненный передний двор мы вошли во внутреннюю часть мечети — большой четырехугольный двор, окруженный древними арками и сводами. Студенты, одетые в длинные черные *джуббы* и белые тюрбаны, сидели на соломенных циновках и читали тихим голосом книги и манускрипты. Лекции читались в огромной крытой зале мечети впереди. Несколько учителей сидели, также на соломенных циновках, под колоннами, которые пересекали залу длинными рядами; в полукруге перед каждым из учителей сидели студенты. Преподаватель никогда не повышал голоса, поэтому требовалась уйма внимания и концентрации, чтобы не упустить ни единого его слова. Можно было бы подумать, что такая погруженность способствовала настоящей учености, но Шейх Аль-Мараги вскоре рассеял мои иллюзии.

— Видишь тех «ученых» вон там? — спросил он. — Они подобны тем священным коровам в Индии, которые, как мне сказали, едят всю печатную макулатуру, что могут найти на улицах... Да, они пожирают все печатные страницы книг, написанных веками назад, но они не переваривают их. Они больше не думают самостоятельно. Они читают и повторяют, читают и повторяют; и студенты, которые слушают их, учатся только читать и повторять, поколение за поколением.

— Но, Шейх Мустафа, — вмешался я, — Аль-Азхар, в конце концов, является всемирным центром исламских наук и самым старым университетом в мире! Его имя встречается почти на каждой странице мусульманской культурной истории. А как же все те великие мыслители, теологи, историки, философы, математики, которые вышли отсюда за последние десять веков?

— Они перестали выходить отсюда несколько веков назад, — ответил он с сожалением. — Все же, наверное, не совсем так; то там, то здесь каким-то образом независимые мыслители появляются из Аль-Азхара даже в наше время. Но в целом Аль-Азхар впал в бесплодие, от которого страдает весь мусульманский мир, и его старый запал полностью погас. Те древние исламские мыслители, которых ты упомянул, никогда не могли и подумать, что по прошествии стольких веков их мысли, вместо того чтобы быть подхваченными и развиваемыми, будут лишь повторяться снова и снова, как будто они являются конечными и непогрешимыми истинами. Если какие-нибудь изменения к лучшему и должны случиться, мышление должно поощряться вместо нынешнего мыслеподрожания...

Резкое описание Аль-Азхара, данное Шейхом Аль-Мараги, помогло мне понять одну из глубочайших причин культурного спада, который бросается в глаза везде в мусульманском мире. Не была ли ученая окаменелость этого древнего университета отражена, в разной степени, в социальном бесплодии мусульманского настоящего? Нельзя ли найти эквивалент такого интеллектуального застоя в пассивном, почти ленивом принятии многими мусульманами их неоправданной бедности,

в их безмолвной терпимости к многочисленному общественному злу, которому они подвержены?

И разве было удивительно, думал я, что неверные представления о самом Исламе, подкрепленные столь ощутимыми свидетельствами мусульманского застоя, так сильно распространились на Западе? Эти известные западные представления могут быть подытожены следующим образом: спад мусульман вызван главным образом Исламом, который, будучи религией, совершенно не достойной сравнения с Христианством или Иудаизмом, является, скорее, нечестивой смесью фанатизма пустыни, грубого сладострастия, суеверия и тупого фатализма; именно Ислам мешает своим последователям участвовать в движении человечества к высшим формам социального устройства; вместо освобождения человеческого духа от оков мракобесия, Ислам сжимает их еще сильнее; и следовательно, чем быстрее мусульманские народы освободятся от своего раболепия перед исламскими принципами и общественными устоями и вдохновятся на принятие западного образа жизни, тем лучше для них и для всего остального мира...

Мои собственные наблюдения, сделанные до сих пор, убедили меня, что в голове среднего западного человека покоилось крайне искаженное представление об Исламе. То, что я видел на страницах Корана, было не «жестоким материалистическим» мировоззрением, а напротив, глубоким осознанием Бога, которое выражалось в рациональном рассмотрении всей сотворенной Богом природы, — гармония находящихся бок о бок интеллекта и чувственных побуждений, духовных и общественных запросов. Мне стало очевидно, что упадок мусульман не был следствием каких-либо недостатков в Исламе, но скорее следствием их собственной неспособности жить согласно Исламу.

Ведь не оставляет никакого сомнения тот факт, что именно Ислам привел первых мусульман к невероятным культурным высотам за счет направления всех их устремлений к рациональной мысли как единственному способу познания

природы Божественного творения и, как следствие, сущности Его воли. Никто не предъявлял им требований верить в сложные или даже невозможные для интеллектуального осознания догматы — на самом деле, никакой догмы вообще нельзя найти в пророческом послании. Таким образом, жажда знаний, отличавшая первых мусульман, не отстаивала свои права, как везде в остальном мире, в неизбежной, болезненной борьбе с традиционной верой; но напротив, она выросла исключительно из такой веры. Аравийский Пророк утвердил: «Неимоверное стремление к знаниям — самая святая обязанность каждого мусульманина, мужчины или женщины», — и его последователи пришли к пониманию того, что лишь получением знаний могли они полноценно поклоняться Господу. Когда они размышляли над высказыванием Пророка: «Создает Бог болезнь лишь и только с созданием исцеления от нее», — они понимали, что поисками неизвестных целительных средств они вносят вклад в исполнение Божественной воли на земле, и так медицинские исследования были наделены святостью религиозного обязательства. Они читали стих из Священного Корана: «Мы создали каждую живую тварь из воды», — и в своих попытках проникнуть в смысл этих слов они начали изучать живые организмы и законы их развития и так учредили науку о живых существах. Коран указывал на гармонию звезд и их движение, свидетельствующих о славе Творца, и тогда мусульмане взялись за астрономию и математику с пылом, который в других религиях предназначался лишь для молитвы. Коперниковская система, утверждавшая вращение Земли вокруг своей собственной оси и вращение планет вокруг Солнца, развилась в Европе в начале шестнадцатого века (лишь для того, чтобы быть встреченной яростью священнослужителей, которые видели в ней противопоставление буквальному учению Библии), однако основы этой системы были в действительности заложены шесть столетий до этого в мусульманских странах, так как уже в девятом и десятом веках мусульманские астрономы пришли к выводу, что Земля — круглая и что она вращается вокруг собственной оси, а также сделали точные вычисления широт и меридианов; более того, многие из них придерживались мнения — не будучи когда-либо обвиненными в ереси — что Земля

вращается вокруг Солнца. И точно так же они принялись за химию, физику, психологию и все другие науки, в которых мусульманской гениальности было суждено оставить свой долговечный монумент. В сооружении этого монумента они лишь следовали увещаниям своего Пророка: «Кто идет по пути поиска знаний, Бог облегчит тому дорогу в Рай», «Ученый муж идет по пути Бога», «Преимущество ученого человека над просто набожным подобно превосходству полной луны над всеми другими звездами» и «Чернила ученого намного ценнее крови мученика».

На протяжении всего творческого периода мусульманской истории — то есть в течение первых пяти веков после жизни Пророка — наука и познание не знали более великого чемпиона, чем мусульманская цивилизация, и приюта, безопаснее земель, на которых господствовал Ислам.

Общественная жизнь была также подвержена влиянию учения Корана. Во времена, когда в христианской Европе к эпидемии относились как к Божьей каре, с которой человек вынужден безропотно смириться, и даже до этого, мусульмане следовали наставлению своего Пророка, которое приказывало им бороться с эпидемией с помощью изолирования зараженных городов и очагов инфекции. И когда даже короли и знать христианского мира рассматривали купание как почти непристойную роскошь, даже самые бедные мусульманские дома имели по крайней мере одну ванную комнату, тогда как специальные публичные бани были обычным явлением в каждом мусульманском городе (в девятом веке, например, в Кордове их было триста). И все это в ответ на учение Пророка: «Чистота — часть веры». Мусульманин не вступает в конфликт с притязаниями духовной жизни, если наслаждается красотой материальной жизни, так как согласно Пророку: «Бог любит видеть в убранстве раба Своего свидетельства Своей щедрости».

Короче говоря, Ислам явился огромным стимулом к культурным достижениям, которые составляют одну из самых достойных страниц в истории человечества. Он создал этот стимул, говоря «Да» интеллекту и «Нет» мракобесию, «Да»

действию и «Нет» пассивности, «Да» жизни и «Нет» аскетизму. Неудивительно тогда, что как только Ислам вышел за границы Аравии, он начал приобретать новых приверженцев семимильными шагами. Рожденные и воспитанные в презрении к миру от христианства Павла и Августина, народы Сирии и Северной Африки, а позднее и вестготской Испании, увидели себя вдруг перед учением, отрицавшим догмат о Первородном Грехе и подчеркивавшим неотъемлемое достоинство земной жизни, и так они сплотились во все возрастающих количествах в новом вероучении, которое принесло понимание того, что человек является наместником Бога на земле. Именно это, а не сказочное «обращение с помощью меча», было объяснением удивительного триумфа Ислама на заре его знаменательной истории.

И не мусульмане сделали Ислам великим, но Ислам сделал мусульман великими. Но как только их вера стала привычкой и перестала быть программой жизни, которой следуют осознанно, импульс креативности, лежавший в основе их цивилизации, иссяк и постепенно уступил место праздности, серости и культурному спаду.

Это новое прозрение, произошедшее во мне, и прогресс, с которым я изучал арабский язык (я договорился с одним студентом Аль-Азхара на ежедневные уроки), заставили меня почувствовать, что теперь наконец я владел чем-то вроде ключа к мусульманскому мышлению. Я более не был так уверен, что европеец «никогда не сможет охватить сознанием полную картину», как я написал в своей книге лишь несколько месяцев до этого, так как теперь этот мусульманский мир более не казался таким чуждым для европейских ассоциаций. Мне пришло в голову, что если бы кто-нибудь смог достичь определенной степени отдаленности от собственных мыслительных привычек прошлого и допустить возможность того, что они могли быть не единственно верными, то однажды странный мусульманский мир мог бы, несомненно, стать достигаемым...

Но, хоть я и нашел многое в Исламе, что привлекало мой интеллект и мои инстинкты, я не считал, что образованному человеку подобает адаптировать все свое мышление и всю картину жизни к системе, не изобретенной им самим.

— Скажите мне, Шейх Мустафа, — спросил я своего эрудированного друга Аль-Мараги как-то, — почему может иметься необходимость ограничивать себя одним определенным учением и одним определенным набором запретов? Не было бы лучше оставить все этические устремления своему внутреннему голосу?

— На самом деле ты спрашиваешь, мой юный брат, почему должна существовать узаконенная религия. Ответ прост. Только некоторые люди — только пророки — могут действительно понимать внутренний голос, который разговаривает с ними. Большинство из нас опутаны нашими личными интересами и желаниями, и если бы каждый следовал лишь тому, что диктует ему его сердце, то мы бы имели полный моральный хаос и не смогли бы прийти к согласию даже в незначительных аспектах поведения. Ты мог бы спросить, конечно, не существует ли исключений из общего правила — просветленных людей, которые думают, что не нуждаются ни в каком «наставлении» в том, что они считают правильным или дурным. Однако в таком случае я бы спросил тебя, разве не много, слишком много, людей заявят о своих исключительных правах на самих себя? И каков будет результат всего этого?

Я пробыл в Каире уже почти шесть недель к моменту, когда я заболел повторно малярией, которая впервые поразила меня в Палестине годом ранее. Она началась с головной боли, головокружения и боли в руках и ногах; к концу дня я слег и не мог поднять даже своей руки. Синьора Вителли, домовладелица, суежилась вокруг меня, как будто она наслаждалась моей беспомощностью, хотя ее забота была подлинной. Она дала мне горячего молока и наложила холодный компресс на голову. Однако когда я робко предложил позвать доктора, она запротестовала в негодовании:

— Доктор! Уф! Что эти мясники знают о малярии?! Я знаю о ней больше, чем кто-либо из них! Мой праведный второй муж умер от нее в Албании. Мы жили в Дурресе несколько лет, и он, бедная душа, часто был истязаем болями, похуже твоих; но он всегда был уверен во мне...

Я был слишком слаб, чтобы спорить, и позволил ей залить в меня крепкий отвар из горячего греческого вина и напичкать меня хинином, не просто таблетками в сладкой оболочке, но настоящим порошком, который потряс меня своей горечью больше, наверное, чем сама лихорадка. Но каким-то странным образом я был полностью уверен в маме Вителли, несмотря на настораживающее упоминание ее «праведного второго мужа»

В ту ночь, хотя мое тело горело, охваченное жаром, я вдруг отчетливо услышал нежную музыку с улицы — звук шарманки. Это была не обычная шарманка с хриплыми мехами и потрескавшимися трубками, она скорее напоминала хрупкий старый клавикорд, с которыми давно распрощались в Европе, потому что они были слишком изящны и слишком ограничены в оттенках. Я и ранее видел такие шарманки в Каире: человек нес коробку на своей спине, а мальчик, следовавший за ним, крутил рукоятку; и звуки падали поодиночке, короткие и аккуратные, подобно стрелам, попадающим в цель, подобно звону стекла, с промежутками между. И так как они были настолько чистыми и настолько отделенными друг от друга, эти тона не позволяли слушателю ухватить мотив всей мелодии, но увлекали его вместо этого рывками сквозь нежные, но выраженные мгновения. Они были подобны тайне, которую ты пытаешься раскрыть, но не можешь; они пытались тебя бесконечной повторяемостью в твоей голове, снова и снова на протяжении всей ночи, как круговорот, из которого нельзя выбраться, как танец кружащихся дервишей, который ты наблюдал в Ускюдаре — месяцы, годы тому назад? — после того, как ты прошел через самый дремучий кипарисовый лес в мире...

Это был самый странный лес, турецкое кладбище в Ускюдаре, сразу за Стамбулом, по ту сторону от Босфора: дорожки и

тропинки между несметным количеством кипарисов, а под ними бесчисленные вертикальные и упавшие надгробные камни с обветренными надписями на арабском. Кладбище вышло из употребления давным-давно; его мертвецы были мертвы уже очень долго. Из их тел выросли могучие стволы деревьев шестьдесят, восемьдесят футов длиной, разрастаясь в сменяющихся сезонах и спокойствии, которое в том лесу было настолько великим, что не оставалось и места для меланхолии. Нигде больше не чувствовалось с такой силой, как здесь, что мертвые пребывают в безмятежности. Они были мертвецами мира, который позволял своим обитателям жить в покое — умершие рода людского без суеты.

После некоторого блуждания по кладбищу, затем по узким холмистым тропам Ускюдара я вышел к маленькой мечети, которая выдавала себя за таковую лишь красотой узорчатой арабески над дверью. Дверь была наполовину открыта, и я вошел. Я остановился в темной комнате, в центре которой несколько фигур сидели на ковре вокруг старого-старого человека. Они все были одеты в длинные накидки и высокие коричневые шерстяные шляпы без полей. Старый *имам* читал пассаж из Корана монотонным голосом. Вдоль одной из стен сидели несколько музыкантов: барабанщики, флейтисты и исполнители с *кеманча*, длинношеими инструментами наподобие скрипок.

Меня осенило, что это странная компания должна быть теми самыми «кружащимися дервишами», о которых я слышал так много: мистический орден, пытающийся вызвать в адепте посредством определенных повторяющихся ритмических и четких движений экстатический транс, который, говорят, позволяет ему достичь прямого и личного ощущения Бога.

Тишина, последовавшая за чтением *имама*, внезапно прервалась тонким высоким звуком флейты; и музыка началась монотонно, почти завывающе. Как будто одним движением дервиши поднялись, откинули свои накидки и остались в белых ниспадающих туниках, доходивших до лодыжек и подпоясанных на талии пятнистыми платками. Затем каждый

из них сделал полуоборот, так что, стоя по кругу, они встретились лицом к лицу по парам; после этого они скрестили руки на груди и глубоко поклонились друг перед другом (и мне невольно вспомнились старые менуэты и кавалеры с вышитыми костюмами, кланяющиеся перед своими дамами). В следующий момент все дервиши вытянули руки в стороны: правая ладонь повернута вверх, а левая повернута вниз. Шепотом нараспев их губы испустили: «Хууа» ('Он', то есть Бог). С этим еле различимым звуком на устах каждый из них начал поворачиваться вокруг своей оси, раскачиваясь в ритм музыке, которая лилась, казалось, откуда-то издалека. Они откинули назад свои шапки, закрыли глаза, и их лица застыли в спокойствии. Все быстрее и быстрее становилось движение по кругу, объемистые туники поднимались и формировали широкие круги вокруг вертящихся фигур, делая их похожими на белые крутящиеся водовороты в море; их лица были полны глубокой сосредоточенности... Кружение перешло в вихревой круговорот, опьянение и экстаз заметно возбудили всех участников. Их полуоткрытые уста без конца бормотали: «Хууа... Хууа... Хууа...» Их тела кружились и кружились, вертелись и вертелись, и музыка, казалось, втягивала их в свои укутывающие, обволакивающие, монотонные аккорды, постепенно усиливаясь, и ты как будто чувствовал, как тебя непреодолимо втягивает в поднимающийся водоворот — крутая спиральная дурманящая лестница вверх, выше и выше, всегда только ввысь, всегда те же самые ступени, но всегда вверх, по бесконечно нарастающей спирали, наверх к какому-то неведомому, непостижимому концу...

... пока большая добрая рука мамы Вителли не опустилась на твой лоб, останавливая этот круговорот и снимая дурманящие чары, а также перенося тебя снова из Ускюдара в прохладу каменной комнаты в Каире.

Синьора Вителли была права как-никак. Ее уход помог мне преодолеть приступ малярии, если и не раньше, то по крайней мере за тот же срок, что понадобился бы профессиональному доктору на лечение. Через два дня я почти освободился от жара, а на третий день я смог перебраться с кровати на удобное

кресло. Я все еще был слишком слаб, чтобы выйти, а время тянулось медленно. Раз или два мой учитель-студент из Аль-Азхара навестил меня и принес мне несколько книг.

Мое недавнее воспоминание кружащихся ускударских дервишей, навеянное лихорадкой, не оставляло меня. Оно вдруг приобрело актуальность, приводя меня в недоумение, которое не проявилось во время исконного опыта. Тайные ритуалы этого религиозного ордена — одного из многих, что я встречал в различных мусульманских странах, — не вписывались, казалось, в картину Ислама, которая медленно формировалась в моей голове. Я попросил моего азхарного друга принести мне какие-нибудь работы востоковедов на эту тему; и через эти работы мое инстинктивное подозрение, что эзотеризм подобного рода внедрился в мусульманские сферы из неисламских источников, оправдалось. Домыслы *суфиев*, как называются мусульманские мистики, выдавали гностические, индийские и временами даже христианские веяния, которые привнесли аскетические концепции и практики, абсолютно чуждые посланию Пророка Аравии. В его послании *разум* акцентированно являлся единственным истинным путем к вере. Хотя законность мистического опыта не отвергалась с необходимостью в этом подходе, Ислам явился в первую очередь интеллектуальным и эмоциональным утверждением. В то время как естественным образом Ислам создал сильную эмоциональную привязанность у своих последователей, учение Мухаммада не предоставляло эмоциям как таковым какой-либо отдельной роли в религиозных *переживаниях*, так как эмоции, как бы ни были они выражены, намного сильнее подвержены колебаниям под действием личных желаний и страхов, чем разум со всеми его погрешностями.

— И так шаг за шагом, Мансур, Ислам открывался мне: проблеск здесь, мимолетный намек там, через диалог, книгу или наблюдение, медленно, почти незаметно для меня самого...

Когда мы останавливаемся на ночлег, Зейд начинает печь хлеб. Он месит тесто из грубой пшеничной муки, воды и соли и формирует из него плоские круглые лепешки толщиной в несколько сантиметров. Затем он очищает яму в песке, наполняет ее сухими ветками и разводит огонь; и когда пламя погасает после стремительного порыва, он кладет лепешку на тлеющие угли, накрывает ее горячей золой и поджигает новую кучку веток поверх нее. По истечении некоторого времени он открывает хлеб, переворачивает его, накрывает как прежде и зажигает снова огонь сверху. По прошествии еще одного получаса готовый хлеб выкапывается из углей и отряхивается палкой от остатков песка и золы. Мы едим его с очищенным маслом и финиками. Нет хлеба вкуснее этого.

Мы утолили голод, но любопытство Мансура не утолено. Мы лежим возле огня, а он продолжает засыпать меня вопросами о том, как я наконец стал мусульманином. И в то время как я пытаюсь объяснить ему, меня удивляет вдруг, как тяжело выразить словами мой долгий путь к Исламу.

— ... так как, о Мансур, Ислам пришел ко мне, как грабитель входит в дом ночью, незаметно, без шума или большой суеты. Однако в отличие от грабителя он вошел, чтобы остаться навек. Но мне нужны были годы, чтобы обнаружить, что мне суждено было стать мусульманином...

Оглядываясь назад на те дни моего второго путешествия на Ближний Восток — в то время Ислам начал занимать мою голову со всей серьезностью, — я думаю, что даже тогда я предчувствовал путешествие, полное открытий. Каждый день новые впечатления открывались мне, каждый день новые вопросы поднимались изнутри и новые ответы приходили извне. Они пробуждали эхо чего-то, что покоилось где-то глубоко в моем сознании; и по мере того как я продвигался в изучении Ислама, я чувствовал раз за разом, что истина, всегда

бывшая известной мне и которую я не замечал, постепенно открывалась и, что называется, утверждалась.

Ранним летом 1924 года я отправился из Каира в длинное странствие, которому было суждено стать лучшей частью тех двух лет. Почти два года я маршировал по странам, древним мудростью своей традиции, но неизменно свежим воздействием на мой разум. Я путешествовал не спеша, с долгими остановками. Я снова посетил Трансиорданию и провел несколько дней с Амиром Абдуллой, наслаждаясь приятной зрелостью тех бедуинских земель, которые еще не были вынуждены подстроить свой характер к наплыву западных влияний. В это время французская виза была организована для меня *Frankfurter Zeitung*, и я снова смог увидеть Сирию. Дамаск пришел и ушел. Левантийская живость Бейрута окутала меня на короткое время, чтобы вскоре быть забытой в необыкновенной дремоте сирийского Триполи с воздухом, полным тихого счастья. Маленькие старомодные кораблики раскачивались на швартовах в открытом порту, их латинские мачты мягко поскрипывали. На набережной перед кофейнями на низких стульях сидели жители Триполи, получая удовольствие от кофе и *наргиле* в послеполуденном солнце. Везде царили мир и удовлетворение, везде была еда. Даже попрошайки, казалось, не жились в теплых лучах солнца, как будто говоря: «О, как хорошо быть попрошайкой в Триполи!»

Я приехал в Алеппо. Его улицы и здания напомнили мне Иерусалим: старые каменные дома, которые казались выросшими из почвы, темные сводчатые проходы, тихие площади и дворы, резные окна. Внутренняя жизнь Алеппо, однако, была полностью отлична от таковой в Иерусалиме. Доминирующим настроением Иерусалима были странные трения между конфликтующими национальностями наподобие болезненного хронического спазма; и прямо рядом с миром созерцания и глубоких религиозных эмоций над людьми и вещами нависла, как облако яда, почти мистическая ненависть. Но Алеппо, хотя и со смесью арабов и левантинцев с намеком на близлежащую Турцию, пребывал в гармонии и умиротворении. Дома с каменными фасадами и деревянными балконами были

живы даже в безмолвии. Спокойное трудолюбие ремесленников на древних базарных площадях; дворы множества старых караван-сараев с галереями и крытыми балконами, полными тюков с товарами; бережливость вместе с веселым стяжательством — оба, лишённые всякой зависти; отсутствие всякой поспешности, спокойствие, окутывавшее странника так, что он и сам желал, чтобы его собственная жизнь укоренилась в безмятежности, — все это вместе струилось сильной чарующей музыкой...

Из Алеппо я направился на машине в Дайр аз-Зор, маленький городок в самой северной части Сирии, откуда я намеревался продолжить путь в Багдад по старому караванному пути параллельно Евфрату. Именно в этом путешествии я в первый раз встретил Зейда.

В отличие от дороги Дамаск—Багдад, по которой часто ездили машины на протяжении нескольких лет, дорога вдоль Евфрата была мало кому знакома тогда; собственно, лишь одна машина проехала по ней до меня несколько месяцев назад. Мой армянский водитель и сам никогда не выезжал дальше Дайр аз-Зора, но он был уверен, что сможет каким-то образом найти путь. Как бы то ни было, он чувствовал нужду в получении более конкретной информации, и мы вместе отправились на базар в поисках ее.

Базарная улица пронизывала по всей длине Дайр аз-Зор, который являлся чем-то вроде помеси между сирийским провинциальным городом и бедуинским центром с акцентом на последнем. Два мира встречались здесь в особом сочетании. В одном из магазинов продавали современные, плохо отпечатанные почтовые открытки с картинками, а рядом несколько бедуинов обсуждали дожди в пустыне и недавние междоусобицы между сирийским кланом Бишр-Аназа и иракским Шаммар. Один из них упомянул дерзкий налет на южный Ирак, совершенный недавно бедуинским вождем из Наджда, Файзалом Ад-Дауишем; и часто всплывало на поверхность имя великого человека Аравии, Ибн Сауда. Древние дульнозарядные орудия с длинным дулом и

инкрустированным серебром прикладом — оружие, которое никто не покупал более, потому что современные магазинные винтовки были намного более эффективными, — вели тусклое существование не от мира сего между бывшими в употреблении солдатскими туниками с трех континентов, седлами для верблюдов из Наджда, шинами *Гудьер*, керосиновыми фонарями из Лейпцига и коричневыми бедуинскими накидками из Аль-Джауф. Западные товары, однако, не выглядели незванными гостями среди старины; их полезность отводила им собственное место. Будучи настороже с реальностью, бедуины легко привыкали к этим новым вещам, которые лишь вчера были вне их кругозора, и делали их своими, при этом не предавая прежних самих себя. Эта внутренняя стабильность, размышлял я, должна дать им сил выдержать наплыв новой эры и, возможно, не поддаться ему, так как теперь это новое время подступало все ближе к этим людям, которые до недавнего времени были так отдалены и спрятаны от него. Однако оно совсем не было враждебно, заходя к ним: они получали всю эту новизну с невинным любопытством и вертели ее в руках, так сказать, рассматривая со всех сторон и обдумывая пути ее возможного применения. Как плохо я понимал тогда, что эта западная «новизна» может причинить простым необразованным бедуинам...

Пока мой армянский водитель расспрашивал группу бедуинов, кто-то потянул меня за рукав. Я повернулся. Передо мной стоял по-простому красивый араб около тридцати лет от роду.

— Если позволите, о *эффенди*, — сказал он медленным хриплым голосом, — я слышал, что вы отправляетесь на машине в Багдад и вы не уверены в дороге. Позвольте мне сопровождать вас: я могу быть полезен.

Мне он понравился сразу, и я спросил его, кто он такой.

— Меня зовут Зейд Ибн Ганим, — ответил он. — Я служу в *агайл*, в Ираке.

Только тогда я заметил его *кафтан* цвета хаки и семиконечную звезду на его черном *игале* — эмблема иракской пустынной полиции. Этот род войск, называемый *агайл* среди арабов, существовал уже в турецкие времена, он состоит из добровольцев, набранных почти исключительно из Центральной Аравии, — людей, для которых пустынная степь была домом, а дромадер — другом. Их любящая приключения кровь вела их с аскетической родины в мир, в котором было больше денег, больше движения и больше перемен между сегодня и завтра.

Зейд рассказал мне, что он приехал в Дайр аз-Зор с одним из его офицеров по одному делу, связанному с администрацией сирийско-иракской границы. Тогда как офицер вернулся в Ирак, Зейд остался по личному делу. И теперь он предпочел бы поехать обратно со мной, нежели направиться по обычному, но окружному пути через Дамаск. Он откровенно признался, что никогда еще не проезжал весь путь вдоль Евфрата, и мы оба знали, что из-за множества ее витков и поворотов река не будет постоянным ориентиром для нас, «однако, — добавил он, — пустыня есть пустыня, солнце и звезды одни и те же, и, *инша-Аллах*, мы найдем дорогу». Его серьезная уверенность в своих силах нравилась мне, и я с радостью согласился взять его с собой.

Следующим утром мы покинули Дайр аз-Зор. Большая пустыня Хаммада открылась колесам нашего *Форда* модели Т: нескончаемая равнина из гравия, иногда гладкая и ровная, как асфальт, иногда растянутая волнами от горизонта к горизонту. Временами глиняный спокойный Евфрат с низкими берегами появлялся слева от нас. Можно было подумать, что это тихое озеро, пока глаз не ловил быстро проплывающее бревно или лодку, выдающие мощный поток. Это была широкая, королевская река; она не издавала звуков, не игралась, не неслась, не плескалась. Она проделывала свой путь скользя, широкой полосой, раскованно, выбирая свой независимый путь в бесконечных поворотах вниз по неощутимому склону пустыни: равный внутри равного, гордый внутри гордого, ведь пустыня была настолько же широкой, мощной и тихой, как река.

Наш новый пассажир, Зейд, сел рядом с водителем, подтянул колени вверх и перекинул одну ногу через дверь автомобиля. На его ноге блестел новый сапог из красной марокканской кожи, который он купил днем ранее на базаре в Дайр аз-Зоре.

Иногда мы встречали людей на верблюдах, которые появлялись из ниоткуда посреди пустыни, стояли неподвижно некоторое время и рассматривали автомобиль, затем снова подстегивали своих животных и пропадали. Они были, очевидно, пастухами; солнце выжгло их лица темной бронзой. Короткие стоянки в одиноких и обветшалых караван-сараях сменялись бесконечными промежутками в пустыне. Евфрат пропал за горизонтом — и только песок в сильных порывах ветра, широкие участки гравия, то здесь, то там несколько пучков травы или колючего кустарника... Справа вдруг выросла гряда низких холмов и скрыла бесконечность пустыни: голые и потрескавшиеся холмы, растираемые под горячим солнцем. «Что могло быть там за этой узкой грядой холмов?» — вопрос, всплывающий в удивленном разуме наблюдателя. И хотя ответ был прост — та же самая плоская или холмистая пустыня, тот же самый песок и та же самая жесткая галька, подставляющая свою невинную твердость лучам солнца, дуновение необъяснимой тайны витало в воздухе: «Что могло быть там?» Воздух был лишен ответа или эха, вибрирующая тишина послеполуденного времени не знала звуков, кроме жужжания мотора и шуршания шин о гравий. Может, край света обрушился там в какую-то первобытную бездну? Так как я не знал, там была тайна; а так как я, скорее всего, никогда не узнал бы, то была непознаваемая тайна.

После полудня наш водитель обнаружил, что забыл взять воды для мотора у последнего караван-сарая. Река была далеко; колодцы отсутствовали на много километров вокруг; все вокруг нас до волнообразного горизонта — пустая раскаленная добела бледная равнина; мягкий горячий воздух игрался на ней, прилетая из ниоткуда и улета в никуда, без конца и начала, — приглушенный гул над самой вечностью.

Водитель, легкомысленный как все левантинцы (качество, которое я ценил в них всегда, но только не в тот момент), сказал:

— Ну что ж, даже если и так, мы доедем до следующего караван-сарая.

Но казалось, что мы можем не добраться до него «даже если и так». Солнце пылало, вода бурлила в радиаторе, как в чайнике. Снова мы встретили пастухов. «Вода?» — «Нет, нигде на расстоянии пятнадцати часов езды на верблюде».

— А что *вы* пьете? — спросил армянин в раздражении.

Они посмеялись: «Мы пьем молоко верблюдов». Они, должно быть, изумлялись внутри этим смешным людям в быстробегущей дьявольской повозке, спрашивающим о воде, ведь каждый бедуинский ребенок мог сказать им, что нигде в этом районе не было воды.

Неприятный исход застрять здесь в пустыне со сломанным мотором без воды и еды и ждать, пока следующая машина проедет мимо нас... завтра, послезавтра или в следующем месяце...

Со временем водитель потерял свою улыбчивую безмятежность. Он остановил автомобиль и открыл крышку радиатора; белая толстая струя пара со свистом вылетела в воздух. У меня было некоторое количество воды в моем термосе, и я принес ее в жертву моторному богу. Армянин добавил немного масла в радиатор, и старина *Форд* провез нас еще немного.

— Я думаю, мы сможем найти воду там, справа от нас, — сказал оптимист. — Те холмы выглядят слишком зелеными, там должна быть зеленая трава, а если там есть трава в это время года, когда дожди не идут, то там должна быть вода. И если там вода, то почему бы нам не поехать туда и не набрать ее?

В логике всегда есть что-то неотразимое, и так было даже здесь, хотя логика армянина хромала. Мы оставили дорогу и

продрезали несколько километров к холмам — воды нет... Склоны были покрыты не травой, а позеленевшими камнями.

Мотор свистел, клапаны стучали с хрипом, дым выходил рывками через щели капота. Еще несколько минут и что-нибудь бы сломалось: трещина в коленчатом вале или похожей детали. Но в этот раз мы отошли далеко от караванного пути; случись что сейчас, мы бы остались сидеть без надежды в этой заброшенности. Почти все запасы масла ушли в радиатор. Армянин впал в истерику: он «искал воды», поворачивая то влево, то вправо, делая развороты и зигзаги, как актер на арене цирка; но вода не появлялась, и бутылка коньяка, которую я выдал со вздохом, не помогла горячему радиатору, не говоря уже о том, что нас окутало облаком паров спирта, которые вызывали у Зейда (который, конечно, никогда не пил) чуть ли не рвоту.

Этот последний эксперимент вывел его из холодной апатичности, в которой он пребывал так долго. Раздраженным движением он натянул свою *куфию* ниже на глаза, наклонился через горячий край автомобиля и начал осматривать пустынную равнину: он смотрел сосредоточенно, внимательно и щепетильно — концентрация, которая так характерна для людей, живущих постоянно на открытых пространствах и приученных полагаться на свои чувства. Мы ждали с нетерпением, без особой надежды, так как он сказал нам ранее, что никогда не бывал в этой части страны. Однако он указал рукой в направлении севера и сказал:

— Туда.

Слово было подобно приказанию; водитель, радостный, что хоть кто-то освободил его от ответственности, подчинился сразу. С болезненной одышкой двигатель понес нас на север. Но вдруг Зейд приподнялся немного, положил свою руку на руку водителя и велел ему остановиться. Недолго он сидел с вытянутой вперед головой, как ищущий запах охотничий пес; вокруг его сжатых губ подрагивало едва уловимое напряжение.

— Нет, туда! — воскликнул он и указал на северо-восток. — Быстрее! — и снова водитель повиновался без слов. Через несколько минут: — Стоп! — и Зейд легко выпрыгнул из машины, собрал свою длинную накидку в обе руки и побежал напрямик вперед, остановился, повернулся несколько раз, как будто ища чего-то или внимательно слушая, — и в течение долгих мгновений я позабыл про мотор и наше положение: так пленяющим был вид человека, напрягающего все свои нервы для ориентации в природе... Как вдруг он тронулся, побежал большими шагами и исчез в низине между двумя курганами. Мгновение спустя его голова снова появилась, а он махал руками:

— Вода!

Мы побежали к нему — и впрямь в низине, укрытой от солнца нависшими над ней скалами, поблескивал маленький водоем, пережиток дождей с прошлой зимы, — желто-коричневая, грязная, но все же вода, вода! Некий непостижимый пустынный инстинкт открыл ее присутствие человеку из Наджда...

В то время как армянин и я черпали воду в пустые канистры для бензина и переносили ее к двигателю, который так долго был в злоупотреблении, Зейд, молчаливый герой, прогуливался взад и вперед вдоль машины.

В полдень третьего дня мы достигли первой иракской деревни — Ана на Евфрате — и ехали часами между ее пальмовыми садами и глиняными стенами. Многие из *агайл* были там, большинство из них, как сказал Зейд, были из его клана. В тени пальм они — короли, полные изящества и снисходительности, — шагали среди глянцевого скакунов, на которых отражалось солнце и зеленый отфильтрованный свет. Некоторым из них Зейд кивал, проезжая мимо, и его длинные черные локоны тряслись по обеим сторонам лица. Несмотря на его сложную жизнь в пустыне и жгучую жару, он был настолько чувствителен, что во время нашего быстрого движения по деревенским дорогам он обматывал платок вокруг рта, чтобы избежать проглатывания

пыли, пыли, которая не досаждала даже нам, изнеженным горожанам. Когда же мы двигались снова по гальке и пыль прекращалась, он откидывал назад свою *куфию* с девическим изяществом и начинал петь. Он внезапно открывал рот и пел, с внезапностью горы, резко выступающей из равнины. То была надждинская *касыда* — своего рода ода, раскачивание в затянувшейся мелодии с неизменным ритмом, струящимся, как пустынный ветер, из ниоткуда в никуда.

В следующей деревне он попросил водителя остановиться, выпрыгнул из машины, поблагодарил меня за поездку, повесил винтовку за спину и исчез за пальмами; и в машине остался аромат без названия — аромат человечности, целостной и независимой, едва колеблющееся воспоминание давно забытого, незабываемого, целомудрия духа.

В тот день в Ане я не думал, что когда-либо встречу Зейда снова, но случилось наоборот...

На следующий день я прибыл в Хит, маленький городок на Евфрате в точке, где выходит из пустыни старый караванный путь из Дамаска в Багдад. Увенчивая вершину горы со стенами и бастиянами, город напоминал древнюю полузабытую крепость. Не было и признаков жизни внутри и около него. Наружные дома казались вросшими в стены, они были без окон, только с несколькими проемами наподобие амбразур. Минарет возвышался из центра города.

Я остановился на ночь в караван-сараях около берега реки. Я пошел вымыть руки и лицо у колодца во дворе, пока ужин готовился для нас с водителем. Когда я присаживался на землю, кто-то взял кувшин для воды с длинным носиком, который я поставил на землю, и осторожно вылил воды на мои руки. Я посмотрел вверх и увидел перед собой костистого смуглого человека в меховой шапке на голове: непрошенный, он помогал мне умываться. Он, очевидно, не был арабом. Когда я спросил его, кто он такой, он ответил на ломаном арабском: «Я татарин,

из Азербайджана». У него были мягкие преданные глаза, а его когда-то бывшая военной туника была почти в лохмотьях.

Я начал разговор с ним частично на арабском, частично на обрывках персидского, которые я сумел выучить с иранским студентом в Каире. Обнаружилось, что имя татарина было Ибрагим. Большая часть его жизни (а ему было около сорока) прошла на иранских дорогах. Годами он перевозил грузовые фургоны из Тебриза в Тегеран, из Мешхеда в Бирдженд, из Тегерана в Исфахан и Шираз и одно время имел собственную упряжку лошадей; он служил кавалеристом в иранской конной жандармерии, личным телохранителем туркменского вождя и конюхом в караван-сараях в Исфахане; а теперь, после того как он приехал в Ирак как погонщик мулов в караване иранских паломников в Кербелу, он потерял свою работу после ссоры с руководителем каравана и оказался в бедственном положении в чужой стране.

Позднее той ночью я улегся спать на деревянной скамье в усеянном пальмовыми листьями дворе караван-сарая: зной, духота и тучи комаров, тяжелых и толстых от высосанной из человека крови. Несколько фонарей отбрасывали свой грустный тусклый свет в темноту. Некоторые лошади, принадлежавшие, пожалуй, хозяину, были привязаны к одной из стен. Ибрагим, татарин, чистил одну из них. Глядя на него, легко можно было понять, что он не только знал лошадей, но и любил их: его пальцы гладили мохнатую гриву, как поклонник гладит свою пассиву.

Вдруг ко мне в голову пришла идея. Я намеревался ехать в Иран, и впереди лежали долгие месяцы путешествия верхом. Почему бы не взять этого человека с собой? Он казался добрым и тихим. Мне наверняка понадобится кто-нибудь вроде него, кто знает почти каждую дорогу в Иране и чувствует себя как дома в каждом караван-сараяе.

Когда я предложил следующим утром взять его с собой в качестве слуги, он почти разрыдался с благодарностью и сказал мне на персидском:

— *Хазрат*, вы никогда не пожалеете об этом...

В полдень пятого дня после начала своего автомобильного путешествия из Алеппо я впервые увидел широкий оазис Багдада. Из-за верхушек несметного количества пальм блистали позолоченные купола мечетей и высокие минареты. По обеим сторонам дороги лежало обширное древнее кладбище с разрушенными надгробными камнями, серыми, голыми и заброшенными. Мелкая серая пыль повисла неподвижно над ним. И в сильном полуденном свете эта пыльная серость была похожа на вышитую серебром марлевую занавесу — туманный раздел между миром мертвых прошлого и живущим настоящим. И так должно быть всегда, думал я, что при подъезде к городу, чье прошлое было настолько отлично от настоящего, разум не может полностью охватить разницу...

Затем мы нырнули в гущу пальм — километр за километром огромные стволы деревьев и изогнутые листья, — пока пальмовая роща не закончилась вдруг, прямо перед крутым берегом Тигра. Эта река была непохожа на Евфрат: глиняно-зеленая, тяжелая и журчащая, экзотический странник в сравнении с тихим королевским потоком Евфрата. И когда мы пересекли Тигр по раскачивающемуся плавучему мосту, огненный зной Персидского залива приблизился к нам вплотную.

От былой пышности и великолепия Багдада не осталось и следа. Монгольское вторжение Средних веков разрушило город основательно, так что ничего не напоминало о старой столице Харуна Ар-Рашида. Все, что осталось, было мрачным городом со случайно выстроенными кирпичными домами, почти казалось, что это временная организация в ожидании возможных перемен. Безусловно, такая перемена уже происходила в форме новых политических реалий. Город начинал приходить в движение, вырастали новые здания, и из сонного турецкого провинциального центра медленно появлялся крупный арабский город.

Сильная жара оставляла везде свой след и делала всякое движение ленивым. Люди ходили медленно по улицам. У них, казалось, была тяжелая кровь, без веселья и грации. Их лица выглядели мрачными и недружелюбными из-под черно-белых клетчатых головных платков. И когда доводилось видеть красивое арабское лицо с выражением гордости, самодостаточности, достоинства, почти всегда над ним была красная или красно-белая *куфия*, что означало, что человек был не отсюда, а с севера, из Сирийской пустыни или из Центральной Аравии.

Но огромная сила была различима в этих людях — сила ненависти, ненависти к иностранной власти, которая не давала им права на свободу. Люди Багдада всегда были одержимы желанием свободы как дьяволом. Возможно, именно этот дьявол затемнял их лица мраком. Возможно, эти лица имели совершенно другой вид, когда они встречались с соплеменниками в узких улочках или огороженных дворах города. Так как, если присмотреться к ним, они не были полностью лишены обаяния. Они могли иногда посмеяться, как и другие арабы. Они иногда, как и другие арабы, волочили позади в пыли полы своих накидок с аристократической беззаботностью, как будто они шагали по мозаичному полу мраморного дворца. И женщины были свободны прогуливаться по улицам в накидках из разноцветной парчи: драгоценные закрытые женщины в черном и красном, голубом и серебряном, бордовом, группами парчевых силуэтов, медленно скользящих мимо бесшумными шагами...

Несколько недель спустя после моего приезда в Багдад во время моей прогулки по большому базару раздался крик с одной из темных галерей с цилиндрическим сводом. Из-за угла выбежал человек, затем другой, третий; и люди на базаре начали разбегаться, как будто охваченные ужасом, которому они, но не я, знали причину. Удар копыт лошади — всадник с испуганным лицом помчался галопом в толпу, которая разомкнулась перед ним. Все больше бегущих людей: все бегут в одном направлении и уносят покупателей вместе с ними. Толчками и рывками вся

толпа начала продавливаться вперед. Продавцы загораживали свои лавки деревянными досками в безумной суматохе. Никто не разговаривал. Никто не окрикивал друг друга. Без конца слышались только крики падающих людей; ребенок пронзительно вопил...

Что произошло? Нет ответа. Везде — бледные лица. Тяжелый фургон, все еще наполовину загруженный товарами, промчался без кучера по узкой улочке — лошади неслись галопом. Где-то далеко обрушилась гора глиняной посуды, и я отчетливо услышал, как осколки покатались по земле. Несмотря на звуки тяжелого дыхания и топота людей, в воздухе присутствовала глубокая и напряженная тишина, какая иногда бывает перед началом землетрясения. Только стук шагов бегущих ног; иногда вопль женщины или ребенка, вырывающийся из сдавливающей и плывущей массы. Снова какие-то всадники. Паника, бегство и тишина. Сумасшествие и неразбериха на пересечении крытых улиц.

Оказавшись в толпе на одном из таких перекрестков, я не мог больше двигаться и, конечно же, не знал, куда бежать. В тот момент я почувствовал, как кто-то схватил меня за руку — это был Зейд. Он потянул меня к себе за ограждение из бочек между двумя лавками.

— Не шевелись, — прошептал он.

Что-то просвистело мимо... Пуля? Невозможно...

Издавека, откуда-то из глубины базара, слышался приглушенный рев голосов. Снова что-то просвистело и взвизгнуло. На этот раз не было сомнений — это *была* пуля... На расстоянии раздался слабый грохочущий звук, как будто кто-то сыпал сухой горох на твердый пол. Звук понемногу приближался и усиливался — размеренный повторяющийся треск, и тогда я узнал его — пулеметы...

И снова, как много раз до этого, в Багдаде поднялась революция. За день до этого, двадцать девятого мая 1924 года,

иракский парламент ратифицировал, вопреки общественному мнению, договор о дружбе с Великобританией; и теперь народ в отчаянии пытался защитить себя от дружбы с великой европейской державой...

Как я узнал в последующем, все входы на базар были перекрыты британскими войсками, чтобы подавить демонстрацию, и много людей погибло в тот день в беспорядочной перестрелке. Если бы не Зейд, я бы, скорее всего, побежал напрямик под пулеметный огонь.

Это было настоящим началом нашей дружбы. Бывалая молчаливая мужественность Зейда сильно нравилась мне, а он, в свою очередь, совершенно очевидно полюбил молодого европейца, у которого было так мало предубеждений относительно арабов и их манеры жить. Он рассказал мне простую историю своей жизни: как он и его отец до него выросли в службе у правителей Хаиля из племени Шаммар династии Ибн Рашида и как, когда Ибн Сауд завоевал Хаиль в 1921 году и последний *амир* дома Ибн Рашидов стал узником Ибн Сауда, многие мужчины из племени Шаммар, в их числе и Зейд, покинули родину, предпочитая неопределенное будущее подчинению новому правителю. И вот теперь он носил семиконечную иракскую звезду на *игале*, тоскуя по земле своей юности.

В течение недель моего пребывания в Ираке мы часто виделись с ним и сохранили связь на протяжении последующих лет. Я иногда писал ему и раз или два в год посылал ему маленький подарок, купленный на базарах Ирана и Афганистана. Каждый раз он отвечал своим неуклюжим и небрежным почерком, вспоминая дни, которые мы провели вместе в седле вдоль берегов Евфрата или у крылатых львов в руинах Вавилона. Наконец, когда я приехал в Аравию в 1927 году, я попросил его присоединиться ко мне, что он и сделал годом позднее. И с тех пор он всегда был моим спутником, больше товарищем, чем слугой.

В начале двадцатых годов автомобили были все еще большой редкостью в Иране, и лишь несколько машин курсировали внаём между основными центрами. Если кто-нибудь хотел отойти в сторону от трех или четырех главных магистралей, ему приходилось зависеть от средств передвижения на основе конной тяги. И даже эти не могли пройти везде, так как во многих частях Ирана дорог не существовало вообще. Для меня, жаждущего увидеть людей этой земли в своих естественных условиях, поездка верхом на лошади была делом решенным. Итак, в течение последней недели в Багдаде вместе с Ибрагимом я посещал каждое утро конскую ярмарку за пределами города. После дней переговоров я купил лошадь себе и мула для Ибрагима. Под седлом у меня был красивый каштановый жеребец южноиранской породы, мул же — резвое своевольное животное со стальными канатами вместо мышц под серой бархатной кожей — приехал, очевидно, из Турции, он мог легко везти, не считая седока, большие сумки, в которых я планировал хранить свои личные вещи.

Оседлав моего жеребца и ведя мула на поводу, Ибрагим отправился одним утром в Ханакин, последний иракский город на границе с Ираном и конечная остановка багдадской железной дороги. Я последовал за ним двумя днями позднее на поезде, чтобы присоединиться к нему там.

Мы оставили Ханакин и арабский мир позади. Перед нами предстали желтые холмы, как караульные перед более высокими горами, горами иранского нагорья — новый мир, ожидающий нас. Пограничный пост — одинокое маленькое здание — был увенчан бледным изорванным флагом, зеленым, красным и белым, с символом льва с мечом и восходящим солнцем. Несколько офицеров таможни, черноволосые и светлокожие, в неряшливой униформе и с белыми туфлями на ногах проверили мой скудный багаж в некой дружелюбной иронии. Затем один из них обратился ко мне:

— Все в порядке, *джанаб-и-али*. Ваша доброта — выше наших пустынь. Не сделаете ли одолжение испить чаю вместе с нами?

И пока я все еще размышлял над причудливостью и старомодной учтивостью этих фраз, мне представилось, насколько отличается персидский язык от арабского, несмотря на множество арабских слов, имеющих в нем. Приятная утонченная мелодия присутствовала в этом языке, и мягкое открытое произношение гласных звучало странно «по-западному» после острых согласных языка арабов.

Мы не были единственными путешественниками. Несколько тяжелых фургонов, крытых парусиной и запряженных четверью лошадьми каждый, стояли перед постом таможни, и караван из мулов расположился лагерем неподалеку. Люди готовили еду на костре. Они, казалось, оставили всякие мысли продолжать путь, несмотря на ранний послеполуденный час, и мы, я уже не помню почему, решили сделать то же самое. Мы провели ночь под открытым небом, на земле в одеялах.

На рассвете все фургоны и караван начали двигаться по направлению к гладким горам, и мы выдвинулись вместе с ними. Дорога постепенно поднималась вверх, мы вскоре обогнали медленно идущие фургоны и продолжили путь одни все глубже и глубже в горную местность — землю курдов, землю высоких белокурых пастухов.

Я увидел первого из них возле места, где дорога поворачивала, он вышел из шелестящей хижины, сделанной из веток, и предложил нам без слов миску, наполненную до краев кислым молоком. Это был мальчик лет семнадцати, босоногий, в лохмотьях, невымытый, с остатками фетровой шапки на взъерошенной голове. Я пил нежное, малосольное и изумительно прохладное молоко, когда я увидел поверх краев миски голубые глаза, которые пристально осматривали меня. В них было что-то хрупкое, сырое и неиспорченное, как дымка, обволакивающая новорожденных животных, — первородная сонливость, еще совершенно не сломленная...

В полдень мы достигли курдской палаточной деревни, которая аккуратно располагалась между склонами холмов. Палатки были похожи на палатки полукочевых бедуинов Сирии и Ирака:

грубая черная ткань из козьего волоса растянулась поверх нескольких столбов, стены были сделаны из соломенных матов. Ручей протекал неподалеку; по берегам группа белых тополей создавала тень; на камне, стоявшем в воде, семья аистов взволнованно трещала клювами и махала крыльями. Человек в сине-голубой куртке шел длинными легкими шагами в сторону палаток: его приземленная, но все же очень раскованная походка говорила о старой кочевой крови. Женщина в пурпурно-красном длинном платье с высоким глиняным кувшином на плечах медленно подходила к ручью; ее бедра четко обозначились под мягкой тканью платья, они были длинными и упругими, как струны скрипки. Она встала на колени перед ручьем и наклонилась набрать воды в кувшин. Ее головной убор, похожий на тюрбан, развязавшись упал, и ткань красной струйкой крови коснулась блестящей поверхности воды, но лишь на мгновение, чтобы быть подобранной и снова обвязанной вокруг головы одним скользящим взмахом, который все еще словно принадлежал ее позе на коленях и в то же время был частью этого телодвижения.

Немного позднее я расположился у берега в компании старца и четырех молодых женщин. Все женщины имели абсолютное обаяние и естественность, рожденную жизнью на свободе: красота, бывшая в сознании самой себя, но все же целомудренная, гордость, не знавшая укрытия, но все же трудно отличимая от скромности и застенчивости. Самую миловидную среди них звали щебечущим птичьим именем *Ty-Ty* (с гласной, произносимой по-французски). Весь ее лоб был закрыт гранатово-красным платком вплоть до тонких бровей; веки были подкрашены сурьмой; из-под платка выдавались темно-рыжие локоны с мелкими серебряными цепочками, сплетенными с волосами, при каждом движении головы они звенели о мягкую впалую линию щеки.

Все остались довольны разговором, хотя мой персидский был все еще нескладным. (У курдов есть собственный язык, но большинство из них понимают персидский, который похож на курдский). Они были проницательны, эти мелкие женщины, которые никогда не выезжали за пределы среды родного

племени и, конечно же, не умели читать или писать; они легко понимали мои запинаящиеся выражения и часто находили подходящее слово, которое я подбирал, и вкладывали его, как нечто само собой разумеющееся, в мои уста. Я спросил об их делах, и они ответили мне, перечисляя множество повседневных и все же великих вещей, которые заполняли день женщины-кочевницы: перетирание зерен между двумя плоскими камнями, выпекание хлеба на горящих углях, доение овец, взбивание творога в кожаных мешках, пока он не превратится в масло, прядение на веретене руками из овечьей шерсти, вязание ковров и ткание *килимов* узорами почти настолько же древними, как и их раса, рождение детей, создание покоя, уюта и любви в доме...

Неизменная жизнь: сегодня, вчера и завтра. Для этих пастухов времени не существует, только последовательность дней, ночей и времен года. Ночь сотворена темной для сна; день — свет для нужд жизни; зима открывается усиливающимися холодами и скудностью пастбищ в горах, и так они переезжают со стадами и палатками вниз на теплые равнины, в Месопотамию и к Тигру; затем, когда лето вырастает зноем и горячими ветрами, обратно в горы, либо сюда, либо в другое место внутри традиционных земель племени.

— Не хотелось ли вам когда-нибудь пожить в каменном доме? — спросил я старика, который навряд ли вымолвил и слово и улыбаясь слушал наш разговор. — Не хотелось ли вам иметь когда-нибудь свои поля?

Старик покачал головой медленно:

— Нет... если вода застаивается в водоеме, она теряет свежесть, становится грязной и мутной; только если она двигается и течет, она остается чистой...

Со временем Курдистан отошел в прошлое. Почти восемнадцать месяцев я скитался вдоль и поперек на просторах самой странной из всех стран, на просторах Ирана. Я узнал народ,

совмещающий в себе мудрость культуры возрастом в три тысячи лет, а также изменчивость и непредсказуемость, присущие детям; народ, который мог смотреть на самого себя и все, происходящее вокруг, с ленивой иронией и мгновение спустя трястись в диких вулканических страстях. Я наслаждался культурной раскованностью городов и острыми бодрящими ветрами в степях; я проводил ночи в дворцах провинциальных губернаторов с десятком слуг в моем распоряжении и в полуразрушенных караван-сараях, где ночью необходимо было убивать скорпионов, прежде чем они ужалят тебя. Я отведал целиком зажаренного барашка, будучи гостем в племенах Бахтияр и Кашгай, и начиненных абрикосами индеек в обеденных комнатах богатых купцов; я наблюдал непринужденность и упоение праздника Мухаррам и слушал нежные стихи Хафиза, распеваемые под аккомпанемент лютни наследниками былой славы Ирана. Я шагал под тополями Исфахана и восхищался сталактитовыми арками, дорогими фаянсовыми фасадами и золотыми куполами больших мечетей этого города. Персидский стал почти настолько же знакомым для меня, как и арабский. Я имел разговоры с образованными людьми в городах, солдатами и кочевниками, торговцами на базарах, кабинетными министрами и религиозными лидерами, бродячими дервишами и мудрыми курильщиками опиума в придорожных тавернах. Я пребывал в городках и деревнях, переходил пустыни и опасные соленые болота и совсем потерялся во вневременном воздухе этой раздробленной страны чудес. Я узнал людей Ирана, их жизнь и их мысли почти так же, как если бы я родился среди них. Однако эта земля и эта жизнь, сложная и завораживающая, как старый драгоценный камень, который тускло сверкает сквозь множество граней, ни разу не приблизились ко моему сердцу настолько, насколько приблизился кристально чистый мир арабов.

Более шести месяцев я ехал по диким горам и степям Афганистана — шесть месяцев в мире, где оружие, которое носил каждый, не предназначалось для украшения и где необходимо было выверять каждое слово и каждый шаг, дабы не прилетела пуля, пронзая свистом воздух. Иногда Ибрагим и я, а также наши случайные попутчики, были вынуждены

защищаться от бандитов, которыми Афганистан был полон в те дни; но если случалось быть пятнице, бандиты не представляли угрозы, ибо они считали позорным грабить и убивать в день, предназначенный для поклонения Господу. Однажды, около Кандагара, я едва не был застрелен, потому что нечаянно посмотрел на незакрытое лицо миловидной деревенской девушки, работающей в поле; тогда как среди жителей монгольской деревни в высоких ущельях Хинду-Куш, среди воинственных потомков Чингиз Хана, было довольно подобающим позволить мне спать на полу однокомнатной лачуги бок о бок с молодой женой хозяина и его сестрами. На протяжении недель я был гостем у Амануллы Хана, короля Афганистана, в столице, Кабуле; длинными ночами я обсуждал с его учеными учение Корана; другими же ночами я советовался с патанскими ханами в их черных палатках, как лучше обойти области, вовлеченные в межплеменную вражду.

И с каждым днем тех двух лет, проведенных в Иране и Афганистане, во мне росла уверенность, что я приближаюсь к какому-то конечному ответу.

— Ведь случилось так, Мансур, что понимание того, как живут мусульмане, приводило меня с каждым днем все ближе к лучшему пониманию Ислама. Ислам всегда был наивысшим в моих мыслях...

— Время молитвы *иша*, — говорит Зейд, глядя на ночное небо.

Мы выстраиваемся на последнюю молитву дня, все трое — лицом в сторону Мекки. Зейд и Мансур стоят бок о бок, а я стою перед ними, возглавляя коллективную молитву (так как Пророк описал каждое собрание двух и более человек как общину). Я поднимаю руки и начинаю: «*Аллаху акбар* ('Бог — Превыше всего')», — и затем читаю, как мусульмане делают всегда, первую *суру* Корана:

*Во имя Господа, Всемилостивого,
Милосердного.*

*Вся хвала принадлежит лишь Господу
миров, Вседержителю,
Всемилоостивому, Распределителю
Милосердия,
Господу Дня Суда.
Тебе лишь мы покланяемся
И лишь у Тебя просим помощи.
Поведи нас путем правильным:
Путем тех, кого Ты облагодетельствовал,
Не тех, кто заслужил Твой гнев, не тех,
кто сошел с пути.*

И я продолжаю сто двенадцатой сурой:

*Во имя Господа, Всемилоостивого,
Милосердного.
Скажи: «Бог — Один,
Самодостаточный, все и вся зависит от
Него.
Он не рождал и не был рожден,
И ничто и никто не может сравниться с
Ним».*

Существует лишь несколько вещей, если есть вообще, которые сближают людей так, как молитва сообща. Это справедливо, я полагаю, для всех религий, но особенно для Ислама, который опирается на веру в то, что нет необходимости или даже какой-либо возможности для посредников между человеком и Богом. Отсутствие всякого духовенства, духовной иерархии или даже сформированной «церкви» дает каждому мусульманину почувствовать себя частью совместного акта поклонения, когда он молится в общине, а не просто присутствующим при молитве. Поскольку не существует священнодействий в Исламе, каждый совершеннолетний и разумный мусульманин может совершить любую религиозную функцию, будь то возглавление коллективной молитвы, обряд бракосочетания или заупокойная служба. Никто не нуждается в том, чтобы быть «рукоположенным» для служения Богу: религиозные учителя и лидеры мусульманской общины являются простыми людьми,

которые пользуются репутацией (иногда заслуженно, иногда нет) знатоков теологии и религиозного закона.

- 3 -

Я просыпаюсь на рассвете с тяжелыми ото сна веками. Ветер скользит по моему лицу нежным гулом из постепенно угасающей ночи в нарастающий день.

Я встаю смыть сон с лица. Холодная вода подобна касанию далеких пейзажей: горы, покрытые темными деревьями, и проточные бегущие ручьи, которые всегда чисты... Я сажусь и отклоняю голову назад, чтобы лицо дольше оставалось мокрым; ветер гладит влажное лицо, гладит его уязвимыми воспоминаниями всех прохладных дней, давно забытых морозных дней... гор и стремительной воды... езды через снега и сверкающую белизну... белизну того дня, много лет назад, когда я ехал по покрытым снегом иранским горам без троп, продвигаясь медленно вперед, утопая в снегу с каждым шагом лошади и следующим движением тяжело выкарабкиваясь из него...

В полдень того дня, я помню, мы остановились отдохнуть в деревне, жители которой — странный народ — напоминали цыган. Десять или двенадцать ям в земле, накрытых низкими сводами из кустарника и земли, составляли одинокое поселение — город кротов (это было в юго-восточном Иране, в провинции Керман). Как подземные существа из сказки, люди выползали из темных проходов подивиться на редких странников. Сверху одного из таких земляных сводов сидела молодая женщина и расчесывала свои длинные, черные, растрепанные волосы; ее желтовато-коричневое лицо с закрытыми глазами было повернуто в сторону бледного полуденного солнца; она пела тихим голосом песню на каком-то диковинном языке. Металлические кольца звенели на ее запястьях, которые были

тонкими и сильными, как жилы диких животных в первобытных лесах.

Чтобы разогреть онемевшие руки и ноги, я выпил чаю и арак, много арака, с жандармом, который сопровождал меня и Ибрагима. Когда я взобрался на лошадь снова, совершенно пьяный, и двинулся галопом, весь мир вдруг предстал открытым и прозрачным перед моими глазами, как никогда до этого. Я увидел его внутренний штрих, почувствовал биение его пульса в белом одиночестве и лицезрел все, что было спрятано от меня лишь мгновение назад. И я узнал, что все ответы лишь ожидают нас, тогда как мы, несчастные дураки, задаем вопросы и ждем, что таинства Бога откроются для нас. А ведь это они все это время ждут, что мы откроемся им...

Плоскогорье открылось нам, и я пришпорил лошадь и полетел как привидение сквозь кристаллический свет. Снег, поднимаемый копытами лошади, вихрем окутывал меня, как мантия из искр. Копыта лошади гремели по заледеневшим ручьям...

Я думаю, что именно тогда я испытал, не сознавая этого полностью, открытие милости, милости, о которой говорил мне отец Феликс давно-давно, когда я начинал путешествие, которому было суждено поменять всю мою жизнь: откровение милости, которое говорит тебе, что *ты* ожидаем... Между моим сумасшедшим галопом по льду и снегу и моим принятием Ислама должно было пройти еще больше года, но даже тогда я мчался стрелой, не понимая этого, напрямиком в сторону Мекки.

Теперь мое лицо высохло, и тот иранский зимний день более семи лет назад уходит в прошлое. Он уходит, но не исчезает, так как то прошлое является частью этого настоящего.

Прохладный ветерок, дыхание наступающего утра, содрогает колючий кустарник. Звезды начинают тускнеть. Зейд! Мансур! Вставайте, подъем! Давайте разжигать огонь и готовить кофе. Затем мы оседлаем верблюдов и поедem вперед сквозь еще один

день, сквозь пустыню, ожидающую нас с распростертыми объятиями.

VIII. Джинны

- 1 -

Солнце садится, как вдруг большая черная змея проползает перед нами, толстая, как детская рука, и длиною в метр. Она останавливается и поднимает голову в нашу сторону. Почти рефлексорным движением я скатываюсь с седла, отцепляю свой карабин, становлюсь на колени и прицеливаюсь. В тот же самый момент я слышу голос Мансура позади:

— Не стреляй! Нет!

Но я уже нажал на курок — змея дергается, извивается и умирает.

Лицо Мансура с неодобрительным выражением повисло надо мной.

— Ты не должен был ее убивать. В любом случае только не при закате, так как в это время джинны выходят из-под земли и часто принимают форму змей...

Я смеюсь и отвечаю:

— О Мансур, не веришь же ты этим бабушкиным сказкам о джиннах в форме змей?

— Конечно я верю в джиннов. Разве Книга Бога не упоминает их? Что касается форм, в которых они иногда появляются перед нами, я не знаю... Я лишь слышал, что они могут принимать самые странные и неожиданные формы...

«Может быть, ты, Мансур, прав, — думаю я про себя. — В самом деле, так ли натянуто полагать, что, помимо существ, явно ощущаемых нашими органами чувств, могут существовать такие, что ускользают от нашего восприятия? Не является ли своего рода интеллектуальным высокомерием то, что заставляет современного человека отрицать наличие форм жизни, отличных от тех, которые могут быть наблюдаемы и измерены им? Наличие джиннов, кем бы они ни являлись, не может быть доказано научными методами. Однако наука также не может опровергнуть возможности существования живых существ, чьи биологические законы могут настолько отличаться от наших, что наши органы чувств могут наладить контакт с ними только при весьма необычных обстоятельствах. Не может ли быть так, что такое случайное пересечение этих неизвестных миров и нашего порождает странные проявления, которые ранее человеческое воображение представляло как привидений, демонов и другие „сверхъестественные“ видения?»

В то время как я усаживаюсь заново в седло, размышляя над этими вопросами с полунасмешливым недоверием человека, чье воспитание сделало его более толстокожим, чем люди, которые всегда жили ближе к природе, Зейд поворачивается ко мне с серьезным выражением лица:

— Мансур прав, о мой дядя. Тебе не следовало убивать змею. Однажды много лет назад, когда я покинул Хаиль из-за взятия его Ибн Саудом, я застрелил такую же змею по пути в Ирак. Это также произошло во время заката. Немного позднее, когда мы остановились на вечернюю молитву, я вдруг почувствовал, как наливаются свинцом мои ноги, а также жар в голове, которая начала гудеть, как гудит водопад, мои конечности стали огнем, я не мог стоять прямо и упал на землю как пустой мешок. Все стало черным вокруг меня. Я не помню, сколько я пребывал в темноте, но я помню, что в конце концов я встал снова.

Незнакомец встал справа от меня, а другой — слева. Они повели меня в большой сумрачный зал, который был полон людей, ходивших взад и вперед в возбуждении и разговаривавших друг с другом. Позднее я понял, что они были двумя тяжущимися сторонами, как в суде. Старый человек весьма мелких размеров сидел на высоком помосте сзади; казалось, что он был судьей или вождем, или что-то в этом роде. И вдруг я осознал, что именно я был обвиняемым.

— Кто-то промолвил: «Он убил его прямо перед закатом выстрелом из своей винтовки. Он виновен». Кто-то с противоположной стороны возразил: «Но он не знал, кого он убивает; к тому же он произнес имя Бога, когда нажал на курок». Однако сторона обвинения крикнула: «Он не произнес его!» И тогда другая сторона повторила хором: «Произнес! Он возвеличил имя Господа!» И так продолжалось некоторое время, взад и вперед, обвинение и защита, пока в конечном счете сторона защиты не получила свое. Судья на заднем плане постановил: «Он не знал, кого он убивает, и он возвеличил имя Господа. Отведите его обратно!»

— Те двое, которые привели меня в судебный зал, взяли меня под руки снова, повели меня снова тем же путем в ту огромную темноту, из которой я вышел, и положили меня на землю. Я открыл глаза и увидел, что лежу между мешками с зерном, которые были подложены с обеих сторон от меня, а сверху был натянут кусок ткани, защищавший меня от лучей солнца. Очевидно было утро, и мои товарищи разбили лагерь. Вдалеке я мог видеть наших верблюдов, пасущихся на склоне холма. Я хотел поднять руку, но все конечности были измождены. Когда один из моих товарищей наклонился надо мной, я попросил кофе, так как я слышал звук кофейной ступки. Мой друг вскочил с криками: «Он разговаривает, он говорит! Он вернулся!» — и они принесли мне свежий, горячий кофе. Я спросил, был ли я без сознания всю ночь. Они ответили: «Всю ночь? Полных четыре дня ты не шевелился! Мы все время загружали тебя как мешок на одного из верблюдов и снимали тебя снова ночью; мы уж думали, что нам придется хоронить

тебя здесь. Но хвала Тому, Кто дает и забирает жизнь, Вечноживущему, Который не умирает...»

— Итак, ты видишь, о мой дядя, не стоит убивать змею на закате.

И хотя половина моего разума продолжает улыбаться рассказу Зейда, другая половина, кажется, чувствует сплетение невидимых сил в сгущающихся сумерках: жуткая суতোлка звуков, настолько тонких, что ухо еле улавливает их, и враждебное дыхание в воздухе, а у меня — робкое чувство сожаления о том, что я застрелил змею на закате...

- 2 -

После полудня на третий день после отъезда из Хаиля мы останавливаемся напоить наших верблюдов у колодцев Арьи в округлой долине, окруженной низкими холмами. Два больших, полных сладкой воды колодца располагаются в центре долины. Каждый из них является коллективной собственностью клана: западный принадлежит клану Харб, восточный — Мутайр. Земля вокруг колодцев лысая, как ладонь руки, так как каждый день в полдень сотни верблюдов и овец приходят сюда с далеких пастбищ для утоления жажды и общипывают любую травинку, растущую из земли, до того как она успеет вдохнуть жизни.

Когда приезжаем мы, долина полна животных и все новые стада прибывают из-за залитых солнцем холмов. Вокруг колодцев огромное столпотворение и суматоха, ведь не так просто утолить жажду такого количества животных. Пастухи вытягивают воду в кожаных ведрах с помощью длинных веревок под распев, чтобы синхронизировать движения: ведра очень большие и тяжелые, когда полны водой, требуется множество рук, чтобы вытянуть их наверх. У ближайшего к нам колодца, который принадлежит клану Мутайр, я слышу, как люди поют верблюдам:

Пейте, не жалейте воды:

Колодец полон милости и не имеет дна!

Половина мужчин поют первую строку, а другие — вторую, повторяя несколько раз в быстром темпе, пока ведро не появляется над краем колодца. Затем женщины подхватывают и выливают воду в кожаные корыта. Толпа верблюдов нажимает вперед с мычанием и фырканием, дрожью и возбуждением, суею вокруг корыт. Они успокаиваются людским умиротворяющим зовом: «Ху-ой...хуу-ой!» Один за другим они проталкивают свои длинные подвижные шеи вперед между или поверх сотоварищей, чтобы утолить жажду как можно быстрее, — качание и толчки, взмахи и толчея светло- и темно-коричневых, белых и желтых, черных и бурых, медовых тел. Воздух наполняет острый и едкий запах животного пота и мочи. Тем временем ведро наполняется снова и пастухи вытягивают его под беглый аккомпанемент следующего куплета:

*Ничто не утолит верблюжьей жажды,
Лишь Божественная милость и труд
пастуха!*

И зрелище обрушивающейся воды, пьющих и хлебающих, зовущих и напевающих начинается с самого начала.

Старец, стоящий на краю колодца, поднимает руку по направлению к нам и взывает:

— Да дарует вам Бог жизнь, о путники! Разделите с нами наше изобилие! — и тут несколько человек отделяются от толпы вокруг колодца и бегут к нам. Один из них берет моего верблюда за повод и усаживает его, чтобы я мог спешиться с удобством. Быстро создается коридор к корыту для наших верблюдов, и женщины наливают воды для них — ведь мы являемся путниками, поэтому имеем приоритет.

— Разве не удовольствие лицеизреть, — рассуждает Зейд, — как отлично ладят теперь эти Харб и Мутайр, так скоро после того, как они были в состоянии войны друг против друга? — (Ведь лишь три года назад Мутайр-клан был в сопротивлении королю, тогда как клан Харб был среди его самых верных сторонников.) — Помнишь ли, о мой дядя, как мы были здесь в прошлый раз?

Как мы обходили Арью по широкому кругу ночью, не смея даже приблизиться к колодцам, так как не знали, друг или враг находится здесь?..

Зейд ссылается на великое бедуинское восстание 1928–1929 годов — кульминация политической драмы, которая потрясла королевство Ибн Сауда до основания и на некоторое время затронула меня.

Когда занавес поднялся в 1927 году, мир воцарился на обширных просторах Саудовской Аравии. Борьба короля Ибн Сауда за власть окончилась. Его власть в Наджде более не оспаривалась никем из соперничающих династий. Хаиль и земля Шаммар были его, Хиджаз также был его после того, как он вытеснил династию Шарифа в 1925 году. Выдающимся воином короля был тот же самый отважный бедуинский вождь, Файзал Ад-Дауиш, который причинял столько забот королю вначале. Ад-Дауиш отличался в служении королю и доказывал свою преданность снова и снова: в 1921 году он завоевал Хаиль для короля; в 1924 году он провел рискованную вылазку в Ирак, откуда семья Шарифа при поддержке британцев вела интриги против Ибн Сауда; в 1925 году он взял Медину и сыграл решающую роль во взятии Джедды. И теперь, летом 1927 года, он почивал на лаврах в своем *Ихван*-поселении в Артауие, недалеко от границы с Ираком.

Многие годы эта граница была сценой почти непрекращавшихся бедуинских набегов, возникающих из-за клановых миграций в поисках пастбищ и воды. Однако в серии соглашений между Ибн Саудом и британцами — которые были ответственны за Ирак как государство-мандатарий — было решено не строить никаких препятствий на пути подобных необходимых миграций и не возводить каких-либо военных укреплений по обеим сторонам от границы между Ираком и Надждом. Летом 1927 года, однако, иракское правительство выстроило форт, организовало гарнизон вблизи границы у колодцев Бисайи и сделало официальное заявление о намерении выстроить другие укрепления вдоль границы. Волна

беспокойства пробежала по племенам северного Наджда. Они усмотрели в этом угрозу их существованию как таковому, так как они были отрезаны от колодцев, от которых они полностью зависели. Ибн Сауд протестовал против такого разрыва соглашений и разве что получил несколькими месяцами позже уклончивый ответ от британского Верховного Уполномоченного в Ираке.

Файзал Ад-Дауиш, будучи всегда человеком дела, сказал себе: «Возможно, королю не подобает начать ссориться с британцами, но я дерзну». И в конце октября 1927 года он выехал во главе своего *Ихван*, атаковал и разрушил форт в Бисае, не пощадив иракского гарнизона. Британские аэропланы появились над сценой, произвели разведку ситуации и, вопреки своему обычаю, улетели, не сбросив ни одной бомбы. Для них было бы легко отразить набег — действие, на которое они были уполномочены на основе договоров с Ибн Саудом, — и затем разрешить проблему укреплений дипломатическими переговорами. Но было ли британско-иракское правительство действительно заинтересовано в быстром и мирном разрешении спора?

Делегация племен северного Наджда предстала перед Ибн Саудом и призвала к кампании против Ирака. Ибн Сауд категорично отказал всем подобным запросам, объявил Ад-Дауиша правонарушителем и приказал *амиру* Хаиля внимательнее присматривать за приграничными территориями. Финансовая помощь, которую король оказывал большинству *Ихван*, была временно прекращена для кланов, подконтрольных Ад-Дауишу. Ему же было приказано оставаться в Артауие и там ожидать королевского суда. Иракское правительство было официально осведомлено о всех этих мерах и о том, что Ад-Дауиш будет сурово наказан. В то же самое время, однако, Ибн Сауд потребовал, чтобы в будущем Ирак строго придерживался соглашений о границах.

Таким образом, сгладить этот новый конфликт не составило бы и труда. Но на этом этапе дел британский Верховный Уполномоченный дал знать Ибн Сауду, что он высылает

воздушную эскадру, чтобы подвергнуть наказанию *Ихван* Ад-Дауиша (которые давно уж к тому времени возвратились на свои земли) и «принудить их к подчинению королю». Так как в то время в Рияде не было телеграфа, Ибн Сауд спешно послал курьера в Бахрейн, откуда в Багдад была послана телеграмма, в которой выражался протест против предлагаемых мер и призыв к соглашениям, которые бы запрещали любой из сторон преследовать правонарушителей по ту сторону от границы. Он подчеркнул, что не нуждается в британском «содействии» в исполнении своих полномочий над Ад-Дауишем; и наконец, он обратил внимание на то, что действия британских воздушных сил над территорией Наджда имели бы опасные отголоски среди *Ихван*, которые уже и так были достаточно взбудоражены.

Предупреждение было оставлено без внимания. К концу января 1928 года — три месяца спустя после инцидента в Бисае — британская эскадра перелетела через границу и разбомбила территорию Наджда, опустошая бедуинские поселения Мутайр и убивая без разбора мужчин, женщин, детей и скот. Все северные бедуины *Ихван* начали готовиться к операции возмездия против Ирака; и лишь только благодаря огромной репутации Ибн Сауда среди племен эта военная кампания была вовремя остановлена и ограничена несколькими мелкими приграничными стычками.

В то же самое время разрушенный форт Бисаи был потихоньку восстановлен британцами и два новых укрепления были сооружены на иракской стороне границы.

Файзал Ад-Дауиш был вызван в Рияд, но отказался приехать и объяснить свой поступок, который, по его мнению, был предпринят в интересах самого же короля. Ад-Дауиш, служивший королю так преданно и с отличием, был лишь *амиром* Артауии, которая, несмотря на большое количество жителей, была не более чем переросшей деревней. Его предводительство было решающим в победе над Хайлем, однако родственник короля, Ибн Мусаад, а не он был назначен

амиром Хаиля. Во время кампании в Хиджазе именно он, Ад-Дауиш, осаждал Медину на протяжении месяцев и в конце концов принудил город сдаться, но не он был назначен его амиром. Его необузданное, тщетное стремление к власти не давало ему покоя. Он сказал себе: «Ибн Сауд принадлежит клану Аназа, а я — клану Мутайр. Мы равны друг другу в знатности нашего происхождения. Почему я должен признавать превосходство Ибн Сауда?»

Такое рассуждение всегда было проклятием арабской истории: никто не признает, что другой лучше, чем он.

Один за другим разочарованные вожди *Ихван* начали забывать, чем они обязаны Ибн Сауду. Среди них был Султан Ибн Буджад, *шейх* могущественного племени Атайба и *амир* поселения Гатгат, одного из самых больших *Ихван* в Наджде. Он был победителем битвы Тараба 1918 года против сил Шарифа Хусейна, завоевателем Таифа и Мекки в 1924 году. Почему он должен довольствоваться лишь положением *амира* Гатгата? Почему не его, а одного из сыновей короля назначили *амиром* Мекки? Почему его не назначили хотя бы *амиром* Таифа? Он, подобно Файзалу Ад-Дауишу, считал себя обманутым и лишенным того, что ему причиталось. И так как он был родственником Ад-Дауиша, они, конечно же, вдвоем составили общую силу в борьбе против Ибн Сауда.

Осенью 1928 года Ибн Сауд созвал собрание предводителей кланов и *уляма* в Рияде с целью разрешения всех этих разногласий. Приехали почти все племенные лидеры, за исключением Ибн Буджада и Ад-Дауиша. Непоколебимые в своей оппозиции, они объявили Ибн Сауда еретиком, так как разве не он заключил соглашения с безбожниками и внедрил в земли арабов такие приспособления дьявола, как автомобиль, телефон, радиоприборы и аэропланы? *Уляма*, съехавшиеся в Рияд, единогласно объявили, что подобные технические нововведения не только допустимы, но и очень желательны с точки зрения религии, так как они увеличивают знания и силу мусульман; они также утвердили, опираясь на авторитет Пророка Ислама, что соглашения с немусульманскими

державами являются настолько же желательными, как и технические приспособления, если они способствуют миру и свободе мусульман.

Однако два восставших вождя продолжали свои обвинения и с легкостью нашли отклик среди множества простых *Ихван*, которые не обладали достаточным количеством знаний и видели лишь влияние сатаны в действиях Ибн Сауда. Его прежний промах — неспособность привить образование *Ихван* и повернуть их религиозный пыл к положительным целям — начал приносить свои трагические плоды...

Степи Наджда начали гудеть как улей. Таинственные посланники разъезжали на скоростных верблюдах от клана к клану. Тайные собрания предводителей кланов проводились у отдаленных колодцев. И в конце концов волнение переросло в открытое восстание против короля, втягивая многие другие кланы, помимо Мутайр и Атайба. Король оставался терпеливым. Он пытался быть отзывчивым. Он посылал посланников к предводителям-бунтарям и пытался урезонить их — все напрасно. Центральная и северная Аравия стали местом широкомасштабной партизанской войны; почти легендарная общественная стабильность и безопасность страны исчезли, и полный хаос воцарился в Наджде; банды мятежников *Ихван* проносились по Наджду во всех направлениях, атакуя деревни, караваны и кланы, которые оставались преданными королю.

После несметного количества местных стычек между повстанцами и лояльными кланами решающая битва состоялась на равнине Сибила в центральном Наджде весной 1929 года. На одной стороне был король с большим войском, на другой — Мутайр и Атайба, поддерживаемые группировками из других кланов. Король одержал победу. Ибн Буджад сдался безоговорочно и был доставлен в цепях в Рияд. Ад-Дауиш был тяжело ранен, и говорили, что он умирает. Ибн Сауд, самый мягкий из всех аравийских королей, послал личного врача ухаживать за ним. Тот врач, молодой сириец, диагностировал серьезное повреждение печени и дал Ад-Дауишу неделю. Тогда король решил: «Мы должны оставить его умирать в мире; он

получил свое наказание от Бога». Он приказал, чтобы раненный враг был доставлен обратно к своей семье в Артауию.

Однако Ад-Дауиш далеко не был при смерти. Его рана совсем не была настолько серьезной, насколько молодой доктор подразумевал, и в течение нескольких недель он достаточно окреп, чтобы сбежать из Артауии более чем когда-либо настроенным на возмездие.

Побег Ад-Дауиша из Артауии придал нового импульса восстанию. Ходили слухи о том, что он сам находится где-то возле границы с Кувейтом, пополняя людьми из союзных племен ряды своего, все еще немалого клана Мутайр. Среди первых присоединившихся к нему был клан Аджман, малочисленные, но доблестные бедуины, проживающие в провинции Аль-Хаса возле Персидского залива. Их *шейх*, Ибн Хазлейн, являлся дядей Ад-Дауиша по материнской линии. Вдобавок особой симпатии между Ибн Саудом и кланом Аджман не было и в помине. Много лет назад они убили младшего брата короля, Саада, и, опасаясь расплаты, мигрировали в Кувейт. Впоследствии Ибн Сауд простил их и позволил им вернуться на свои родовые территории, но старая рана не заживала. Она разрослась открытой враждой, когда во время переговоров о заселении глава Аджмана и несколько его сторонников были предательски убиты в лагере родственника Ибн Сауда, старшего сына *амира* Аль-Хасы.

Союз Аджмана с Мутайр дал новую искру среди кланов Атайба в центральном Наджде. После пленения их *амира*, Ибн Буджада, они воссоединились под знаменем нового лидера; и теперь они снова поднялись против короля, заставляя его отвести большую часть своей силы из северного в центральный Наджд. Бой был тяжелым, но потихоньку Ибн Сауд одержал верх. Группа за группой он преодолевал клан Атайба, пока в конце концов они не сдались. В деревне, лежащей на полпути между Риядом и Меккой, их *шейхи* присягнули на верность королю; и снова король простил их, надеясь, что наконец у него будет полная свобода против Ад-Дауиша и остальных мятежников на севере.

Однако едва он вернулся в Рияд, как Атайба нарушили свою присягу во второй раз и возобновили войну. Теперь это был бой до конца. В третий раз Атайба были разбиты и почти уничтожены; и с полным разрушением *Ихван*-поселения Гатгат — города, большего по размеру, чем Рияд, — королевская власть была заново установлена в центральном Наджде.

Тем временем борьба на севере продолжалась. Файзал Ад-Дауиш и его союзники теперь были серьезно укреплены вблизи от границы. Ибн Мусаад, *амир* Хаиля, атаковал их раз за разом от имени короля. Дважды докладывали о том, что Ад-Дауиш мертв, и оба раза сообщение было ложным. Он продолжал жить, упрямо и бескомпромиссно. Его старший сын и семьсот его воинов пали в битве, но он продолжал сражаться. Возникал вопрос: «Откуда Ад-Дауиш получал деньги, которые необходимы даже в Аравии для ведения войны? Откуда были у него оружие и боеприпасы?»

Ходили размытые слухи о том, что мятежник, однажды так резко осуждавший соглашение Ибн Сауда с «безбожниками», теперь сам вступил в отношения с британцами. Молва гласила, что он был частым гостем в Кувейте. Мог ли он гостить там, вопрошали все, без ведома британских властей? А могло ли быть так, что беспорядок на землях Ибн Сауда был только на руку собственным целям британцев?

Одним вечером в Рияде, летом 1929 года, я отправился спать рано и перед сном развлекал себя чтением старой книги о династиях Омана, как вдруг Зейд внезапно вошел в мою комнату:

— Здесь человек от *Шуиух*. Он очень хочет видеть тебя сейчас.

Я оделся наспех и пошел во дворец. Ибн Сауд ожидал меня в своих личных покоях, сидя скрестив ноги на диване с грудой арабских газет вокруг и одной из Каира в руках. Он кратко ответил на мое приветствие и, не отрываясь от чтения, жестом указал мне сесть на диване возле него. Спустя некоторое время

он оторвался от чтения, глянул на слугу, который стоял в дверях, и сделал движение рукой, указывая на то, что он хочет остаться один на один со мной. Как только слуга закрыл дверь за собой, король положил газету и стал смотреть на меня из-под блестящих очков. Он смотрел некоторое время так, как будто не видел меня уже давно (хотя я провел несколько часов с ним утром того же дня).

— Занят писанием?

— Нет, о мудрый годами, я ничего не писал уже много недель.

— То были интересные статьи, которые ты написал о наших проблемах на иракской границе.

Он, очевидно, ссылался на серию репортажей, которые я написал для своих европейских газет около двух месяцев тому назад; некоторые из них появились также в каирской газете, где — как это было лестно для меня! — они помогли разъяснить одну очень запутанную ситуацию. Зная короля, я был уверен, что он не говорил впустую, однако имел что-то определенное на уме. Итак, я продолжал молчать, ожидая, что он продолжит. И он продолжил:

— Наверное, ты пожелаешь написать еще что-нибудь о том, что происходит в Наджде, об этом восстании и о том, что оно предвещает. — В его голосе присутствовали следы гнева, и он продолжил: — Семья Шарифа ненавидит меня. Эти сыновья Хусейна, которые теперь правят в Ираке и Трансиордании, будут всегда ненавидеть меня, ведь они не могут забыть то, что я забрал у них Хиджаз. Они бы хотели, чтобы мое государство распалось, и тогда они смогли бы вернуться в Хиджаз... и их друзья, которые также притворяются моими друзьями, не будут против этого... Они неспроста выстроили те укрепления: они *хотели* причинить мне беспокойство и отодвинуть меня подальше от границы...

На фоне слов Ибн Сауда я мог различить смешанные, призрачные звуки: грохот и шум железнодорожных поездов,

которые, хоть и вымышленные, могли стать реальностью завтра, — призрак британской железной дороги из Хайфы в Басру. Слухи об этом плане буйно разрослись с годами. Было хорошо известно, что британцев заботила безопасность «наземного маршрута в Индию», и в этом, безусловно, был смысл их полномочий над Палестиной, Трансиорданией и Ираком. Железная дорога от Средиземного моря к Персидскому заливу не только добавила бы новую, важную линию связи к британским императорским коммуникациям, но также упрочила бы охрану нефтяной трубы, которую должны были начать прокладывать из Ирака в Хайфу через Сирийскую пустыню. С другой стороны, прямое железнодорожное сообщение между Хайфой и Басрой должно было пройти через северо-восточные провинции Ибн Сауда, а король никогда не стал бы даже рассматривать подобное предложение. Было ли возможно, что строительство укреплений вдоль границы между Ираком и Надждом, будучи вопиющим нарушением всех существовавших соглашений, представляло собой первую фазу тщательно разработанной схемы по созданию внутри этой критической области волнения, «обоснованного» учреждением маленького, полунезависимого буферного государства, более расположенного к британцам? Файзал Ад-Дауиш мог служить этой цели точно так же, как и представитель семьи Шарифа, а может даже лучше, потому что он был сам из Наджда и имел много последователей среди *Ихван*. Его предполагаемый религиозный фанатизм был лишь прикрытием, и это было ясно каждому, кто был знаком с его прошлым. То, чего он действительно желал, было властью и только. Не было сомнений в том, что, будь он сам по себе, он не смог бы продержаться очень долго против Ибн Сауда. Но был ли он сам по себе?

После долгой паузы король продолжил:

— Я думал, как и все тут, об источниках оружия и боеприпасов, которые Ад-Дауиш имеет в своем распоряжении. У него их в изобилии... и денег тоже. Мне доложили... Меня интересует, не хочешь ли ты написать обо всем этом, то есть о тех таинственных источниках снабжения Ад-Дауиша. У меня есть

подозрения, даже более чем подозрения, но я бы хотел, чтобы ты разузнал для самого себя все, что можешь, так как я могу ошибаться.

Так вот в чем было дело. Хотя король говорил почти поверхностно, было очевидно, что он взвешивал каждое слово перед тем, как вымолвить его. Я пристально глядел на него. Его лицо, столь серьезное мгновение назад, расплылось в широкой улыбке. Он положил руку на мое колено и потряс его:

— Я хочу, чтобы ты, о сын мой, разузнал все для себя. Я повторяю — для самого себя. Разузнай, откуда Ад-Дауиш получает свои винтовки, боеприпасы и деньги, которые он разбрасывает направо и налево. Я сам едва ли сомневаюсь, но я бы хотел, чтобы кто-нибудь вроде тебя, кто не связан напрямую с этим делом, рассказал миру правду о мошенничестве, стоящем за восстанием Ад-Дауиша... Я думаю, ты сможешь разузнать истину.

Ибн Сауд знал, что он делает. Он всегда знал, что я люблю его. Хотя я часто не соглашаюсь с его политикой и никогда не скрываю это, он никогда не теряет уверенности во мне и часто спрашивает моего совета. Я полагаю, он доверяет мне и того более, потому что он осведомлен о том, что я не ожидаю никакой личной наживы от него и не приму должности в его государстве, так как желаю оставаться свободным. Итак, в тот памятный вечер летом 1929 года он спокойно намекнул мне, что я должен поехать и изучить сплетение политических интриг, лежащих в основе восстания *Ихван*. Эта миссия, вероятно, несла в себе личный риск и совершенно точно могла быть завершена только ценой невероятных усилий.

Однако *Шуйух* не был разочарован моей реакцией. Помимо моей привязанности к нему и его стране, задание, которое он поручил мне, сулило, казалось, захватывающее приключение, не говоря уже о возможном журналистском «эксклюзиве».

— Моими глазами и моей головой будет исполнение твоего приказанья, о мудрый годами, — ответил я сразу. — Я

несомненно сделаю все, что смогу.

— В этом у меня нет сомнений, о Мухаммад; я также ожидаю, что ты сохранишь свою миссию в тайне. Это опасное поручение... как насчет твоей жены?

Женой была девушка из Рияда, на которой я женился в прошлом году, но я смог заверить короля на этот счет:

— Она не будет плакать, о имам. Именно сегодня я думал развестись с ней. Мы не подходим друг другу.

Ибн Сауд улыбнулся многозначительно, так как развод не был непривычным для него.

— Как насчет других людей, твоих родственников?

— Нет никого, кто бы скорбел, случись со мной что, за исключением Зейда, конечно; но в любом случае он будет сопровождать меня и все, что выпадет на мою долю, выпадет и на его.

— Это все к лучшему, — ответил король, — и кстати, пока я не забыл, тебе понадобится некоторая сумма для этого предприятия, — его рука скользнула под подушку позади него, и он вытянул кошелек и сунул его мне в руку. По весу кошелька я сразу догадался, что он был полон золотых соверенов. Я помню, что подумал про себя: «Насколько он был уверен, должно быть, еще до того, как спросить меня, в том, что я приму его предложение!..»

Вернувшись в свою комнату, я позвал Зейда, который ожидал моего возвращения.

— Если бы я попросил тебя, Зейд, сопровождать меня в предприятии, которое может оказаться опасным, пошел бы ты со мной?

Зейд ответил:

— Ты думаешь, о мой дядя, что я позволю тебе пойти одному, какова бы ни была опасность? И куда мы едем?

— Мы едем разузнать, откуда Ад-Дауиш получает свое оружие и деньги. Однако король настаивает, чтобы никто не знал о том, что мы делаем, пока дело не окончено, поэтому тебе нужно быть настороже.

Зейд даже не утруждает себя ответом, а обращается вместо этого к более практическому вопросу:

— Мы не можем, очевидно, спрашивать Ад-Дауиша и его людей; как тогда мы приступим к делу?

На обратном пути из дворца я размышлял над этой проблемой. Мне показалось, что самым лучшим началом будет один из городов центрального Наджда, где находилось множество торговцев с хорошими связями в Ираке и Кувейте. Наконец, я остановился на городе Шакра, столице провинции Уашм, около трех дней пути от Рияда, где мой друг Абд ар-Рахман Ас-Сибайи мог бы помочь мне.

Следующий день прошел в подготовке к нашей экспедиции. Так как я не хотел привлекать излишнего внимания к своим действиям, я предупредил Зейда о том, чтобы он не брал провизию — что было обычно для нас — из королевских кладовых, а купил все необходимое на базаре. К вечеру Зейд набрал необходимый ассортимент съестных припасов: около двадцати фунтов риса, такое же количество муки для хлеба, маленькую кожаную сумку очищенного масла, финики, кофейные бобы и соль. Он также приобрел два новых бурдюка, кожаное ведро и длинную веревку из козьего волоса, рассчитанную на очень глубокие колодцы. У нас уже было достаточно оружия и боеприпасов. Мы набили седельные вьюки двумя комплектами сменной одежды на человека; и каждый надел плотную *абаю*, которая вместе с одеялами на седлах могла служить покрывалом холодными ночами. Наши верблюды, которые провели несколько недель на пастбище, были в отличной форме: тот, которого я недавно отдал Зейду,

был чрезвычайно быстрым оманским беговым верблюдом, а я поехал на красивом и старом «северном» чистокровном верблюде, который однажды принадлежал последнему *амиру* Хаиля из династии Рашидов и был подарен мне Ибн Саудом.

С наступлением ночи мы выехали из Рияда. К рассвету мы достигли Уади Ханифа, глубокое, бесплодное русло реки между отвесными холмами, — место решающей битвы, случившейся более тысячи трехсот лет тому назад между мусульманским войском Абу Бакра, преемника Пророка и первого халифа Ислама, и войском «лжепророка» Мусайлимы, который много лет оказывал сопротивление мусульманам. Битва ознаменовала заключительную победу Ислама в центральной Аравии. Многие исконные сподвижники Пророка пали в ней, их могилы можно видеть и сегодня на скалистых склонах *уади*.

Утром мы проехали разрушенный город Аяйна, бывший однажды большим и густонаселенным поселением, раскинувшимся по обоим берегам Уади Ханифа. Между рядами тамариска лежали остатки прошлого: обвалившиеся стены домов, раскрошенные колонны мечети или руины дворцовых зданий то здесь, то там — все говорило о более высоком, более изящном архитектурном стиле, нежели можно видеть в простых глиняных постройках сегодняшнего Наджда. Рассказывают, что еще сто пятьдесят или двести лет назад на всем протяжении Уади Ханифа от Дарийи (изначальная столица династии Ибн Сауда) до Аяйны — расстояние в более чем пятнадцать миль — был один сплошной город. И когда сын родился у *амира* Дарийи, новость о рождении передавалась с крыши на крышу женщинами и достигала в течение минут самых отдаленных уголков Аяйны. История упадка Аяйны настолько затуманена легендами, что тяжело различить в ней исторические факты. Наиболее вероятно, что город был разрушен первым саудийским правителем, когда город отказался принять учение Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба; но согласно легенде последователей Ибн Абд аль-Ваххаба все колодцы Аяйны высохли в одну ночь как знак божественного гнева, заставляя всех жителей покинуть город.

В полдень третьего дня мы заметили глиняные стены и укрепления Шакры, а также высокие пальмы, вздымавшиеся над ее домами. Мы ехали через пустые сады и пустые улицы, и только тогда мы вспомнили, что была пятница и все люди должны были быть в мечети. Время от времени мы встречали женщину, одетую с ног до головы в черную *абая*; она вдруг вздрагивала при виде странников и натягивала свою вуаль поверх лица быстрым, стыдливым движением. То там, то здесь дети играли в тени домов; плотный жар навис над верхушками пальм.

Мы направились напрямик к дому моего хорошего друга Абд ар-Рахмана Ас-Сибайи, который в то время был заведующим *бейт аль-маль*, или казной, провинции. Мы спешили перед открытыми воротами, и Зейд крикнул во двор: «Йа уаляд! ('О мальчик!')» — и мальчик-слуга выбежал из дома, Зейд объявил: «Гости прибыли!»

В то время как Зейд и мальчик занимались снятием седел с верблюдов во дворе, я начал осваиваться в *кахве* Абд ар-Рахмана, где другой слуга немедленно развел огонь под медными кастрюлями в очаге для кофе. Едва ли я испил первый глоток, как голоса послышались со двора, вопросы и ответы — хозяин дома вернулся. Прямо с лестницы, еще невидимый, он громко поприветствовал меня и затем появился в двери с открытыми объятиями: изысканный, низкого роста мужчина с короткой светло-коричневой бородой и парой глубоко посаженных веселых глаз на улыбчивом лице. Несмотря на жару, он был одет в длинное меховое пальто под *абает*. Это меховое пальто было одним из его самых ценных владений. Он не уставал рассказывать каждому, кто еще не знал его историю, что оно однажды принадлежало бывшему королю Хиджаза, Шарифу Хусейну, и досталось ему, Абд ар-Рахману, во время завоевания Мекки в 1924 году. Я не помню, чтобы я видел его хоть раз без этого одеяния.

Он сердечно обнял меня и, встав на кончики пальцев ног, поцеловал меня в обе щеки: «*Ахлан уа сахлан уа мархаба!*

Добро пожаловать в этот скромный дом, о мой брат. Счастливым час, что привел тебя сюда!»

Затем последовали обыденные вопросы: откуда, куда, как поживает король, был ли дождь по дороге или по крайней мере слышал ли ты о дождях — традиционный обмен арабских новостей. Я рассказал ему, что Анайза из центрального Наджда была моей целью, что не было совсем правдой, но вполне могло стать ею.

В прошлом Абд ар-Рахман был связан с широкомасштабной торговлей между Надждом и Ираком и был досконально знаком с Басрой и Кувейтом. Было несложно заставить его говорить о тех местах и назвать людей, которые недавно прибыли оттуда (так как мне казалось, что, если Файзал Ад-Дауиш был замечен так близко к границе с Кувейтом, либо это место, либо Басра могли пролить свет на источники его снабжения). Я узнал, что член хорошо известной семьи Аль-Бассам из Анайзы — мой старый знакомый — недавно посетил Кувейт по дороге из Басры и, не желая подвергать себя опасностям путешествия по кишасей мятежниками территории, вернулся через Бахрейн в Наджд. Он был в Шакре в данный момент, и по моему желанию Абд ар-Рахман мог послать за ним, так как по древнему арабскому обычаю все посещают новоприбывшего, а не он наносит визиты. Вскоре Абдулла аль-Бассам присоединился к нам в *кахве* Абд ар-Рахмана.

Абдулла, хоть и принадлежал к, возможно, самой важной семье торговцев во всем Наджде, сам не был богатым человеком. Его жизнь была полна взлетов и падений — по большей части падений — которые он испытал не только в Наджде, но также в Каире, Багдаде, Басре, Кувейте, Бахрейне и Бомбее. Он знал каждого, кто был хоть кем-то в тех местах, и носил в своей практичной голове хранилище информации обо всем, что происходило в арабских странах. Я сказал ему, что меня попросила одна германская фирма разведать возможность импорта сельскохозяйственного оборудования в Кувейт и Басру. И так как фирма предложила мне хорошие комиссионные, я сильно желал узнать, хочет ли кто-нибудь из местных купцов в

этих двух городах рассмотреть подобное предложение. Аль-Бассам упомянул несколько имен и затем добавил:

— Я уверен, что некоторые люди из Кувейта будут заинтересованы в твоём проекте. Они постоянно импортируют товары из-за границы, и нынче торговля идет довольно оживленно: настолько оживленно, что большая партия серебряных *риялов* прибывает почти каждый день прямым с монетного двора в Триесте.

Упоминание серебряных *риялов* дало мне зацепку. Этот конкретный тип *рияла*, талер Марии Терезы, составлял, наравне с официальной аравийской валютой, основную торговую монету всего полуострова. Его чеканили в Триесте и продавали по его серебряной цене с небольшим сбором за чеканку различным правительствам, а также некоторым видным купцам с большим торговым интересом среди бедуинов, так как бедуины были несклонны принимать бумажные деньги и брали только золото и серебро, предпочтительно талеры Марии Терезы. Большой импорт этих монет кувейтскими купцами указывал на то, что между ними и бедуинами имеет место оживленная торговля.

— Почему, — спросил я Аль-Бассама, — кувейтские купцы импортируют *риялы* сейчас?

— Я не знаю, — ответил он с замешательством в голосе. — Они говорят о покупке верблюдов, идущих на убой, у бедуинов возле Кувейта для продажи в Ираке, где теперь высокие цены; хотя я не совсем понимаю, как они думают найти большое количество верблюдов в степях около Кувейта в эти беспокойные времена... Я бы скорее подумал, — добавил он со смехом, — что было бы куда выгоднее покупать верховых верблюдов в Ираке и продавать их Ад-Дауишу и его людям, однако конечно, у Ад-Дауиша нет денег на их покупку...

Так ли нет, в самом деле?

Той ночью, перед тем как пойти спать в подготовленную для нас комнату, я оттянул Зейда в угол и сказал ему:

— Мы направляемся в Кувейт.

— Это будет нелегко, о мой дядя, — ответил Зейд, но блеск в его глазах говорил яснее слов о его готовности взяться за то, что не просто было сложным, но и чрезвычайно опасным. Конечно, будет детской игрой проехать по территориям, контролируемым силами короля и преданными ему кланами, но по меньшей мере сто миль пути, или около того, до границы с Кувейтом мы будем полностью сами по себе посреди враждебной территории, по которой скитаются мятежные бедуины племен Мутайр и Аджман. Мы могли бы, безусловно, добраться до Кувейта по морю через Бахрейн, однако это потребовало бы разрешения от британских служб и таким образом подвергло бы все наши передвижения тщательнейшей проверке. Такое же возражение было применимо к путешествию через Аль-Джауф и Сирийскую пустыню в Ирак и оттуда в Кувейт, так как было бы слишком оптимистичным полагать, что мы смогли бы проскочить множество контрольно-пропускных пунктов в Ираке. Оставался, таким образом, лишь прямой наземный маршрут в Кувейт. Как проникнуть незамеченными в сам город, было вопросом, который не мог быть с легкостью решен в настоящий момент, и мы оставили его на потом, полагаясь на удачу и надеясь на благоприятное стечение обстоятельств.

Абд ар-Рахман Ас-Сибайи пожелал, чтобы я остался у него еще несколько дней, но, когда я сослался на срочное дело, он отпустил нас следующим утром после того, как присовокупил к нашим съестным припасам некоторое количество высушенного мяса верблюда — приятное дополнение к нашей весьма однообразной провизии, которая ожидала нас в пути. Он также настоятельно просил меня заехать к нему на обратном пути, на что я, по правде, мог лишь ответить *инша-Аллах* ('Да будет на то воля Господа').

Из Шакры мы ехали четыре дня на северо-восток без особых происшествий. Один раз мы были остановлены отрядом верных королю бедуинов племени Ауазим, которые формировали часть сил Амира Ибн Мусаада. Однако открытое письмо короля сразу

же успокоило их, и после принятого в пустыне обмена новостями мы продолжили путь.

Перед рассветом пятого дня нашего путешествия мы подъехали к местности, над которой не властвовала более рука Ибн Сауда. Отныне о езде днем и речи быть не могло; единственное наше спасение лежало в темноте и незаметности.

Мы разбили лагерь в удобной расщелине неподалеку от большой Уади Ар-Румма, древнего высохшего русла реки, которое пересекало северную Аравию по направлению к оконечности Персидского залива. Расщелина густо заросла нависшими над нею кустами *арфадж*, которые закрывали нас, пока мы находились рядом с почти вертикальным склоном. Мы крепко стреножили наших верблюдов, накормили их смесью из ячменной муки грубого помола и финиковых косточек, таким образом избегая необходимости отпускать их пастись, и затаились, ожидая наступления ночи. Мы не осмелились разжигать костер, так как даже днем дым от огня мог выдать нас, поэтому мы довольствовались финиками и водой.

Насколько хороши наши предосторожности стало ясно ближе к вечеру, когда до нас внезапно донеслись распевы песен бедуинов-наездников. Мы схватили морды наших верблюдов, чтобы те не фыркали и не мычали, и плотно прижались с винтовками в руках к защищающей нас стене расщелины.

Пение звучало все сильнее по мере того, как неизвестные наездники приближались; мы уже могли различить слова «*Ля иляха иль Аллах, ля иляха иль Аллах*» ('Нет бога и божества, кроме Бога, нет бога и божества, кроме Бога') — обычная у *Ихван* замена более мирскому распеву не подвергшихся реформации бедуинов. Не было сомнений в том, что это *Ихван*, а в этой местности они могли быть только враждебными *Ихван*. Через некоторое время они появились на гребне холма прямо над склоном расщелины: группа из восьми или десяти наездников, медленно двигавшаяся в один ряд и имевшая четкие очертания на фоне предвечернего неба, у каждого из них был белый характерный для *Ихван* тюрбан поверх бело-красной

клетчатой *куфии*, два комплекта нагрудного патронташа и винтовка, подвешенная на ручке седла сзади, — мрачная и грозная кавалькада, раскачивающаяся взад и вперед, взад и вперед в ритм верблюжьей походке, и великие, но нынче злоупотребляемые слова «*Ля иляха иль Аллах*»... Впечатляющее зрелище и в то же самое время жалкое... Эти люди, для которых вера, очевидно, значила в их жизни больше, чем что-либо другое, думали, что сражаются за ее чистоту и за величие и славу Бога, не осознавая, что их пыл и страсть были поставлены на службу амбициям беспринципного лидера в погоне за властью...

Они были на «правильной» стороне расщелины с позиции наших интересов, так как, будь они на противоположной стороне, они бы видели нас так же ясно, как можем видеть теперь мы их из-под нависшего выступа кустов. Когда же с ритмом вероучения на устах они исчезли из виду, мы вздохнули с облегчением.

— Они подобны джиннам, — прошептал Зейд. — Да, подобно джиннам они не знают ни радости жизни, ни страха смерти... Они смелы и сильны в вере, никто не может отрицать это, но все, о чем они мечтают, — это кровь, смерть и Рай...

И как будто в открытом протесте против угрюмого пуританства *Ихван*, он начал петь втихомолку очень мирскую сирийскую любовную песню: «О та, что сотворена из румяной золотистой плоти...»

Как только стемнело, мы продолжили наш тайный марш в направлении отдаленного Кувейта.

— Смотри, о мой дядя... вон там! — воскликнул Зейд внезапно. — Огонь!

Это был очень маленький костер для бедуинского поселения; возможно, одинокий пастух? Но какой пастух осмелится разжечь костер здесь, если он сам не один из мятежников? Все

же стоило бы разузнать. Если бы это был один человек, мы бы с легкостью справились с ним, а также, вероятно, смогли бы получить ценную информацию о вражеских передвижениях в этой местности.

Земля была песчанистой, и верблюды почти не издавали звука своей ходьбой, и мы осторожно подъехали к костру. В его свете мы теперь смогли разглядеть сидящую фигуру одинокого бедуина. Он, кажется, всматривался в темноту в нашем направлении, затем, как будто удовлетворенный тем, что увидел, он поднялся без спешки, скрестил руки на груди — возможно чтобы дать нам понять, что он невооружен, — и спокойно без малейшего признака страха стал ожидать нашего приближения.

— Кто ты? — выкрикнул Зейд коротко и направил винтовку на незнакомца в лохмотьях.

Бедуин медленно улыбнулся и ответил глубоким звучным голосом:

— Я сулюбби...

Причина его спокойствия теперь стала очевидна. Он принадлежал странному племени (или, скорее, группе племен) наподобие цыган, которое никогда не участвовало в аравийской, почти нескончаемой бедуинской вражде: они не были врагами никому, и никто не атаковал их.

Сулюбба (ед. сулюбби) по сей день остаются загадкой для всех исследователей. Никто не знает действительного их происхождения. Они точно не являются арабами: их голубые глаза и светло-коричневые волосы не соответствуют выжженной солнцем коже и содержат в себе память о северных странах. Исследователи древней Аравии говорят нам, что они потомки крестоносцев, которые были взяты в плен Саладином и привезены в Аравию, где они позднее стали мусульманами; и конечно, наименование сулюбба имеет тот же корень, что и слова *салиб* ('крест') и *салиби* ('крестоносец'). Верно ли это

объяснение, сказать трудно. В любом случае бедуины считают сулюбба неарабами и относятся к ним с неким снисходительным пренебрежением. Они объясняют это пренебрежение, которое сильно расходится со столь выраженным во всех остальных случаях арабским чувством человечности и равенства, тем, что эти люди не являются на самом деле мусульманами по убеждениям и не живут, как мусульмане. Они указывают на то, что сулюбба не заключают браки и во взаимоотношениях «неразборчивы как собаки», не рассматривая запрет даже на близкородственные связи, и что они едят мертвечину, которую мусульмане считают нечистой. Однако это может быть обоснованием постфактум. Я скорее склонен думать, что именно осознание расовой инаковости сулюбба заставило чрезвычайно чувствительного к национальности бедуина обрисовать магический круг неуважения вокруг них — инстинктивная защита против смешения крови, что должно быть весьма соблазнительным в случае сулюбба, ведь они почти без исключений красивые люди: выше, чем большинство арабов, и с весьма регулярными чертами, женщины особенно очаровательны, полны неувимого изящества в теле и движениях.

Но какова бы ни была причина, бедуинская неприязнь к сулюбба сделала их жизнь безопаснее, так как кто бы ни атаковал их или кто бы ни причинил им вред рассматривается своими соплеменниками как лишившийся своей чести. Несмотря на это, сулюбба высоко ценятся всеми обитателями пустыни как ветеринары, мастера седел, медники и кузнецы. Бедуин, хотя и сильно презирующий ремесло, чтобы заниматься им, иногда все же нуждается в нем, и сулюбба здесь, чтобы помочь ему в его нужде. Они также являются очень хорошими скотоводами и, самое главное, бесспорными мастерами охотничьего дела. Об их способности читать следы ходят легенды, и единственным народом, который может посоревноваться с ними в этом, является племя бедуинов Аль-Мурра на северной оконечности Пустой Четверти.

Успокоенный тем, что наш новый знакомый сулюбби, я рассказал ему честно, что мы люди Ибн Сауда — что было

довольно безопасно в свете уважения, которое эти люди испытывают к власти, — и попросил его затушить огонь. После этого мы уселись на земле в преддверии долгого разговора.

Он не смог рассказать нам особенно много о расположении сил Ад-Дауиша, «так как, — заявил он, — они все время в движении, как джинны, никогда не пребывают долго на одном месте». Стало известным, однако, что в непосредственной близости от нас на данный момент не было больших сосредоточений вражеских *Ихван*, хотя мелкие отряды постоянно курсировали через пустыню во всех направлениях.

Вдруг идея пришла мне в голову: не использовать ли нам охотничьи инстинкты и опыт следопытства сулюбби в нашем путешествии в Кувейт?

— Был ли ты когда-нибудь в Кувейте? — спросил я его.

Сулюбби посмеялся:

— Много раз. Я продавал шкуры газелей там, очищенное масло и верблюжью шерсть. Да что там, я вернулся оттуда только десять дней тому назад.

— Тогда ты сможешь, вероятно, провести нас в Кувейт? Я имею в виду провести нас таким образом, чтобы мы избежали встречи с *Ихван* по дороге?

Несколько мгновений сулюбби размышлял над вопросом, затем он ответил запинаясь:

— Я мог бы, но было бы слишком опасно для меня быть пойманным *Ихван* в твоей компании. Я все же мог бы, но... но это будет стоить много.

— Сколько?

— Ну... — и я смог различить дрожь жадности в его голосе, — что ж, о мой господин, если ты дашь мне сто *риялов*, я попробую

провести тебя и твоего друга в Кувейт таким способом, что никто, кроме птиц в небе, не увидит нас.

Сто *риялов* равнялись десяти соверенам — смехотворная сумма для нас, но сулюбби наверняка никогда в жизни не держал столько денег в своих руках.

— Я дам тебе сто *риялов*: двадцать сейчас и остальное по прибытии в Кувейт.

Наш будущий проводник, очевидно, не ожидал, что его запрос так быстро будет удовлетворен. Возможно, он сожалел, что не назначил более высокую цену, потому что в запоздалом раздумье он добавил:

— А как насчет моего верблюда? Если я поеду с вами в Кувейт и затем обратно, бедное животное полностью истощится, а у меня есть только один верблюд...

Не желая продолжать переговоры, я быстро ответил:

— Я куплю твоего дромадера. Ты поедешь на нем в Кувейт, и там я вручу его тебе как подарок. Однако ты обязан также провести нас обратно.

Это было больше того, на что он мог надеяться. С огромным рвением он поднялся, исчез в темноте и затем снова появился через несколько минут, ведя за собой старое, но красивое и, судя по всему, выносливое животное. После небольшого торга мы сошлись на цене в сто пятьдесят *риялов* при условии, что я заплачу ему пятьдесят сейчас, а оставшееся, вместе с его подарком, он получит в Кувейте. Зейд взял сумку, полную *риялов*, из одного из седельных вьюков и начал отсчитывать монеты в подол платья сулюбби. Из глубины забрызганной туники он вытянул кусок ткани, в котором были замотаны его деньги. Когда он начал складывать мои *риялы* в свой запас, яркий блеск новой монеты привлек мой взор.

— Стой! — воскликнул я, кладя свою руку на его. — Дай я посмотрю на тот блестящий *риял*.

Колеблясь, будто боясь, что его ограбят, сулюбби осторожно положил монету на мою ладонь. Она была с острыми краями, как новая, но, чтобы убедиться, я зажег спичку и рассмотрел ее поближе. Это, без сомнения, был новый талер Марии Терезы, совсем новый, как если бы он только что вышел с монетного двора. И когда я поднес спичку к остальным монетам сулюбби, я обнаружил, что еще пять или шесть монет обладали такой же поразительной новизной.

— Откуда ты взял эти *риялы*?

— Я раздобыл их честным путем, о мой господин, я клянусь... Я не своровал их. Мутайри (бедуин из клана Мутайр, *прим. пер.*) дал их мне несколько недель тому назад возле Кувейта. Он купил у меня новое седло для верблюда, потому что его было сломано...

— Мутайри? Ты уверен?

— Я уверен, о мой господин, и пусть Бог убьет меня, если я лгу... Он был из людей Ад-Дауиша, из одного отряда, который недавно вел боевые действия против *амира* Хаиля. Наверняка не было неправильным взять деньги у него за седло?.. Я не мог отказаться, и я уверен, что *Шуйух*, да продлит Господь его жизнь, все поймет...

Я заверил его, что король не будет держать зла на него, и его тревога утихла. Расспрашивая его далее, я узнал, что многие другие сулюбба получили такие новые *риялы* от различных солдат Ад-Дауиша в обмен на товары или мелкие услуги...

Наш сулюбби подтвердил на деле, что он отличный проводник. На протяжении трех ночей он вел нас извилистым маршрутом по территории мятежников по непроходимым участкам, которые даже Зейд, который знал эту местность хорошо, никогда не видел ранее. Дни проводились в убежище — сулюбби был непревзойденным мастером находить незаметные места для маскировки. Как-то он повел нас к колодцу с водой, о

котором, как сказал он, не знали даже бедуины этого края. Противная коричневая вода облегчила жажду верблюдов и позволила нам пополнить тюки с водой. Только дважды мы видели группы *Ихван* на расстоянии, но ни разу они не смогли увидеть нас.

Утром четвертого дня после нашей встречи с сулюбби мы вышли к городу Кувейт. Мы подъехали не с юго-запада, как сделали бы путешественники из Наджда, а с запада, вдоль дороги из Басры, так что каждый, кто встречал нас, думал, что мы торговцы из Ирака.

По приезде в Кувейт мы расположились в резиденции одного купца, который знал Зейда со времен его службы в иракской полиции.

Влажная, гнетущая жара покрывала песчаные улицы и дома, выстроенные из высушенного на солнце глиняного кирпича; привыкший к открытым степям Наджда, я вскоре промок насквозь испариной. Однако времени отдыхать не было. Оставив сулюбби присматривать за верблюдами — со строгим наказом не говорить никому, откуда мы приехали, — Зейд и я отправились на базар разведать обстановку.

Не будучи знакомым с Кувейтом и не желая обращать на Зейда чужого внимания своим присутствием, я пребывал около часа в кофейне, попивая кофе и покуривая *наргиле*. Когда Зейд вернулся, было видно по его победоносному выражению лица, что он раздобыл что-то важное.

— Давай выйдем, о мой дядя. Гораздо проще разговаривать и не быть услышанным на рынке. Я кое-что раздобыл для тебя и для себя, — и он вытащил из-под своей *абай* два иракских *игала* из толстой, неплотно сплетенной коричневой шерсти. — Это сделает нас иракцами.

С помощью осторожных расспросов Зейд выяснил, что его прежний партнер — товарищ по старому контрабандному

ремеслу в Персидском заливе — теперь живет в Кувейте, судя по всему все еще занимаясь привычным занятием.

— Если кто-нибудь и может нам рассказать что-нибудь о незаконном ввозе оружия в этот город, так это Бандар. Он из Шаммар, как и я, — один из тех упрямых дураков, которые не могут полностью смириться с правлением Ибн Сауда. Мы не должны говорить ему о том, что мы работаем на *Шуйух*, и даже о том, откуда мы приехали, так как Бандар совсем не дурак, он очень хитрый человек. На самом деле, он обманывал меня слишком часто в прошлом, чтобы я стал доверять ему теперь.

Наконец мы разыскали его, он жил в доме на узкой улице рядом с главным базаром. Он был высок и худощав, возможно сорока лет от роду, с близко посаженными глазами и мрачным, унылым выражением лица. Однако его черты озарились неподдельной радостью, когда он увидел Зейда. Из-за своей светлой кожи я был представлен как турок, который осел в Багдаде и промышлял экспортом арабских лошадей из Басры в Бомбей.

— Однако дело по перевозке лошадей в Бомбей совсем не окупается нынче, — добавил Зейд. — Те купцы из Анайзы и Бурайды окончательно загнали в тупик весь тамошний рынок.

— Я знаю, — ответил Бандар, — те грязные южане Ибн Сауда не довольны тем, что забрали нашу страну, им нужно вдобавок забрать наш заработок...

— Но что слышно про оружие, Бандар? — спросил Зейд. — Должно быть, здесь много дел со всеми этими Мутайр и Аджман, жаждущими свернуть шею Ибн Сауду, хе?

— *Было* много дел, — ответил Бандар и пожал плечами. — Еще несколько месяцев назад я зарабатывал неплохие деньги, покупая винтовки в Трансиордании и продавая их людям Ад-Дауиша. Но теперь все это закончилось, полностью. Нельзя продать и единой винтовки нынче.

— Как же это так? Я полагаю, что Ад-Дауиш нуждается в них сейчас больше, чем когда-либо.

— Да, — ответил Бандар, — именно так. Но он получает их по цене, за которую тебе или мне не позволительно было бы продать... Он получает их в ящиках из-за моря — английские винтовки, почти новые! — и платит десять *риялов* за винтовку с двумя сотнями патронов.

— Все хвала принадлежит Богу! — воскликнул Зейд в истинном удивлении. — Десять *риялов* за почти новую винтовку с двумя сотнями патронов — но это невозможно!..

Это на самом деле казалось невозможным, так как в то время бывшая в использовании винтовка Ли-Энфилд стоила в Наджде около тридцати или тридцати пяти *риялов* за штуку, без боеприпасов. Даже если принять, что цены в Кувейте могут быть ниже, чем в Наджде, огромная разница все равно была необъяснима.

Бандар криво усмехнулся:

— Да, кажется, что Ад-Дауиш имеет влиятельных друзей... очень влиятельных. Некоторые говорят, что в один день он станет независимым *амиром* в северном Наджде.

— То, что ты говоришь, о Бандар, — все хорошо и ладно, — вмешался я. — Возможно даже, что Ад-Дауиш станет действительно независимым от Ибн Сауда. Но у него нет денег, а без денег даже Александр Великий не смог бы построить королевства.

Бандар разразился громким хохотом:

— Деньги? Ад-Дауиш имеет их предостаточно — изобилие новых *риялов*, которые приезжают к нему в ящиках, как и винтовки, издалека, из-за моря.

— Ящики *риялов*? Но это очень странно. Откуда бедуин может взять ящики новых *риялов*?

— Того я не знаю, — ответил Бандар. — Но я знаю, что почти каждый день его люди забирают поставки новых *риялов*, которые доставляются через различных купцов города. Да что там: только вчера я видел Фархана Ибн Машхура в порту контролирующим разгрузку этих ящиков.

Это была, несомненно, новость. Я знал Фархана хорошо. Он являлся внучатым племянником того знаменитого сирийского бедуинского принца, Нури Аш-Шаальяна, который однажды воевал вместе с Лоуренсом Аравийским против турков. Я впервые встретил молодого Фархана в 1924 году в Дамаске, где он отличался своим кутежом во всякого рода сомнительных увеселительных местах. Некоторое время спустя он поскандалил со своим двоюродным дедушкой, мигрировал с частью своих соплеменников из племени Рувала в Наджд, где он вдруг стал «набожным» и присоединился к движению *Ихван*. Я встретил его снова в 1927 году в замке Ибн Мусаада в Хаиле. К тому времени он стал носить огромный белый тюрбан движения *Ихван* как символ его новообретенной веры и пользоваться щедростью короля. Когда я напомнил ему о наших прежних встречах в Дамаске, он быстро сменил тему. Глупый и амбициозный, он увидел в восстании Ад-Дауиша возможность заполучить отдельный эмират для себя в Аль-Джауф, оазисе на севере великой пустыни Нуфуд: ведь в Аравии, как и везде, мятежники следуют освященной веками практике дележа шкуры неубитого льва.

— Так Фархан здесь, в Кувейте? — спросил я Бандара.

— Конечно. Он приезжает сюда так же часто, как Ад-Дауиш, и свободно посещает дворец *шейха*. *Шейх*, говорят, очень любит его.

— Но разве британцы не препятствуют въезду Ад-Дауиша и Фархана в Кувейт? Я, кажется, помню, как несколько месяцев назад они объявили о том, что не позволят Ад-Дауишу и его людям въезжать на эту территорию?..

Бандар захохотал снова:

— Так они и сделали, так и сделали. Но я сказал тебе, что Ад-Дауиш имеет очень влиятельных друзей... Я не знаю, в городе ли он сейчас, но Фархан точно здесь. Он ходит каждый вечер в главную мечеть на молитву *магреб*, ты можешь увидеть его там своими собственными глазами, если не веришь мне...

И мы увидели его. Когда по совету Бандара Зейд и я отправились ранним вечером в окрестности главной мечети, мы почти столкнулись с группой бедуинов — по поведению, без сомнения, бедуинов Наджда, — которые вынырнули из-за угла улицы. Во главе их был человек приблизительно на четвертом десятке лет, немного ниже, чем высокие бедуины, окружавшие и следовавшие за ним, его лицо было украшено короткой черной бородой. Я узнал его сразу. Я до сих пор не знаю, узнал ли он меня; его глаза встретились с моими на мгновение, он окинул меня озадаченным взглядом, как будто пытаюсь вызвать тусклые воспоминания, и потом отвернулся; и в миг он и его свита исчезли в толпе людей, направлявшихся в мечеть.

Мы решили не затягивать излишне наше тайное пребывание в Кувейте ожиданием возможности увидеть также Ад-Дауиша. Открытое Бандаром подтвердилось, когда Зейд эффективно расспросил других своих знакомых в городе. Мистические поставки винтовок Ли-Энфилд для Ад-Дауиша — только внешне выдаваемые за «покупки» — ясно указывали на одного кувейтского предпринимателя, который всегда был известен в качестве импортера оружия; и почти в каждом случае прослеживалась связь больших количеств новоотчеканенных *риялов* Марии Терезы, которые циркулировали на базарах Кувейта, с Ад-Дауишем и людьми его окружения. Кроме непосредственного лицезрения складов и изучения грузовых накладных, которые вряд ли имелись в наличии, у нас было достаточно доказательств для подкрепления подозрений, которые король озвучил во время его беседы со мной.

Моя задача была выполнена; и следующей ночью мы выехали из Кувейта так же тайно, как и приехали. Во время наших с Зейдом исследований на базарах наш сулюбби разузнал, что к югу от Кувейта не было ни одной группы мятежников на

данный момент. И мы направились к югу, в направлении провинции Аль-Хаса, которая стабильно находилась под контролем короля. После двух напряженных ночных переходов мы встретили, неподалеку от берега, отряд бедуинов Бану Хаджар, которые были отправлены *амиром* Аль-Хасы для разведки последних расположений мятежников; и в их компании мы снова въехали на лояльные территории. Как только мы оказались в королевстве Ибн Сауда, мы распрощались с нашим проводником сулюбби, который, удовлетворенно кладя в карман честно заработанное вознаграждение, поехал на запад на верблюде, которого я «подарил» ему, тогда как мы продолжили свой путь на юг к Рияду.

Серия статей, которую я впоследствии написал, впервые явно рассказывала о том, что повстанцы поддерживались великой европейской державой. Она обращала внимание на то, что основной целью этих интриг было отодвинуть границы Ибн Сауда дальше на юг и в конечном итоге превратить его самую северную провинцию в «независимое» княжество между Саудовской Аравией и Ираком, которое позволило бы британцам построить железнодорожную линию через его территорию. Помимо этого, восстание Ад-Дауиша предоставляло долгожданную возможность для создания настолько большого беспорядка в королевстве Ибн Сауда, что у него не было бы оснований сопротивляться — как он делал доселе — британским запросам на две основные уступки: во-первых, аренда порта Рабиг на Красном море возле Джедды, где британцы давно хотели основать морскую базу, и, во-вторых, контроль над тем участком железнодорожного сообщения между Дамаском и Мединой, который располагался на территории Саудовской Аравии. Поражение Ибн Сауда от рук Ад-Дауиша перенесло бы эти планы в область их практического осуществления.

Вспышка сенсации последовала за публикацией моих статей в европейской и арабской (главным образом египетской) прессе; и очень может быть, что преждевременное раскрытие все тех

секретных планов сыграло свою роль в их последующем расстройстве. Так или иначе, плану строительства железной дороги из Хайфы в Басру позволили кануть в забвение, несмотря на огромные суммы, которые, очевидно, были потрачены на предварительную разведку; и более о нем не было слышно.

Что случилось после является предметом истории: тем же самым летом 1929 года Ибн Сауд предъявил протест британцам против свободы, дарованной Ад-Дауишу в покупке оружия и боеприпасов в Кувейте. Так как у него не было реальных «доказательств» того, что это оружие поставлялось иностранной силой, король мог протестовать лишь против продажи как таковой. Британские службы ответили, что купцы из Кувейта поставляли оружие мятежникам и что Британия не могла ничего поделать, чтобы остановить это, ведь согласно договоренности, заключенной в Джедде в 1927 году, они сняли эмбарго на ввоз оружия в Аравию. Если Ибн Сауд пожелал бы, сказали они, он тоже мог бы ввозить оружие через Кувейт... Когда же Ибн Сауд заявил, что согласно тому же самому соглашению Британия и Саудовская Аравия обязаны были предотвращать на своих территориях всякого рода активность, направленную против безопасности противоположной стороны, он получил в ответе упоминание о том, что Кувейт не может рассматриваться как «британская территория», так как это был независимый эмират, с которым Британия имела лишь договорные отношения...

И гражданская война продолжилась. Поздней осенью 1929 года Ибн Сауд лично вышел в бой, в этот раз настроенный преследовать Ад-Дауиша даже до самого Кувейта, если, как это было всегда до этого, эта страна останется служить мятежникам в качестве прибежища и базы для дальнейших операций. Перед лицом этой решимости, о которой Ибн Сауд предусмотрительно сообщил британским властям, они, очевидно, поняли, что было бы слишком рискованным продолжать вести эту игру и дальше. Британские аэропланы и бронированные автомобили были посланы предотвратить очередное отступление Ад-Дауиша в Кувейт. Мятежник осознал, что его дело проиграно; никогда не

смог бы он противостоять королю в открытой битве; и так он начал переговоры. Условия короля были четкие и ясные: мятежные племена должны сдаться; их оружие, лошади и верблюды будут отняты; Ад-Дауиша пощадят, но он будет вынужден провести остаток дней в Рияде.

Ад-Дауиш, всегда активный и полный движения, не смог примириться с пассивностью и неподвижностью — он отказался от предложения. В отчаянной битве с превосходящими силами короля мятежники были разбиты наголову; Ад-Дауиш и несколько других лидеров — среди них Фархан Ибн Машхур и Наиф Абу Киляб, глава клана Аджман, — сбежали в Ирак.

Ибн Сауд потребовал выдачи Ад-Дауиша. Некоторое время казалось, что король Файзал Иракский навсегда откажет его запросу, взывая к древнему арабскому закону гостеприимства и убежища; но наконец он сдался. В начале 1930 года Ад-Дауиш, серьезно больной, был передан королю и привезен в Рияд. Когда после нескольких недель стало ясно, что в этот раз он действительно умирает, Ибн Сауд, со своей обычной щедростью, перевез его к семье в Артауию, где его бурная жизнь подошла к концу.

И снова мир воцарился над просторами королевства Ибн Сауда...

И вот снова мир царит возле колодцев Арьи.

— Да дарует вам Бог жизнь, о путники! Разделите с нами наше изобилие! — кричит старый бедуин-мутайри, и его люди помогают нам напоить наших верблюдов. Всякая злоба и вражда еще недавнего прошлого кажутся забытыми, как если бы их не было никогда.

Ведь бедуины — странный народ: вспыхивают внезапно в бесконтрольной страсти в результате даже мнимой провокации и так же быстро успокаиваются и возвращаются к ровному

ритму жизни, в которой преобладают скромность и доброта, — всегда рай и ад рука об руку.

И по мере того как они вытягивают воду для наших верблюдов в больших кожаных ведрах, пастухи-мутайри поют в хоре:

*Пейте, не жалейте воды:
Колодец полон милости и не имеет дна...*

- 3 -

К пятой ночи после нашего выезда из Хаиля мы достигаем долины города Медина и видим темные очертания горы Ухуд. Верблюды двигаются медленным шагом; долгий путь уже позади нас: с раннего утра в глубокую ночь. Зейд и Мансур молчат, я тоже молчу. В лунном свете город появляется перед нами с зубчатыми стенами и тонкими прямыми минаретами мечети Пророка.

Мы подъезжаем к воротам, которые, потому что они смотрят на север, названы сирийскими. Верблюды не решаются идти из-за теней, создаваемых тяжелыми укреплениями, и нам приходится использовать наши палки, чтобы побудить их войти через ворота.

И вот я снова в Городе Пророка, дома после долгих скитаний, так как этот город является моим домом уже несколько лет. Глубокая, знакомая тишина нависла над спящими пустыми улицами. То там, то здесь лениво поднимается собака перед ногами верблюда. Молодой человек проходит мимо напевая: его голос качается в мягком ритме и постепенно исчезает в боковой улице. Резные балконы и окна эркеров домов висят над нами, черные и молчаливые. Освещенный светом луны воздух тепловат, как свежее молоко.

И вот мой дом.

Мансур прощается и уезжает к своим друзьям, тогда как мы вдвоем ставим на колени верблюдов перед дверью. Зейд привязывает их без слов и начинает разгружать тюки. Я стучу в дверь. Через некоторое время я слышу голоса и шаги за дверью. Свет лампы появляется в окне двери, засовы отодвигаются, и моя старая суданская служанка, Амина, кричит радостно:

— О, мой господин вернулся домой!

IX. Письмо из Персии

- 1 -

Вторая половина дня. Я сижу с другом в его пальмовом саду прямо за южными воротами Медины. Множество пальмовых стволов сада сплелось с серо-зеленым полусветом на фоне — сад кажется бесконечным. Деревья все еще молодые и низкие; солнечный свет пляшет по стволам и остроконечным аркам из ветвей. Зелень немного пыльная из-за песчаных бурь, которые случаются почти каждый день в это время года. Только толстый ковер люцерны под пальмами, яркий и безупречно зеленый.

Неподалеку от меня поднимаются стены города, старые и серые, выстроенные из камня и глиняных кирпичей, с укреплениями, выступающими вперед то там, то здесь. Позади стены возвышаются пышные пальмы другого сада, находящегося внутри города, и дома с потемневшими от погоды оконными ставнями и с огороженными балконами. Некоторые из домов были встроены в городскую стену и стали частью ее. Поодаль виднеются пять высоких и утонченных, словно флейты, минаретов Мечети Пророка; огромный зеленый купол высится над маленьким домом Пророка и скрывает его — дом, служивший ему жилищем при жизни и ставший могилой после смерти. И еще дальше, за городом, — голый скалистый хребет горы Ухуд как темно-красная декорация к белым минаретам Священной Мечети, кронам пальм и множеству домов города.

Небо, ослепительное в лучах послеполуденного солнца и кристально чистое, повисло над молочно-белыми облаками, а город окунулся в голубые, золотые и зеленые полосы света. Высокий ветер играет между мягкими облаками, которые в Аравии могут быть столь обманчивы. И никогда нельзя сказать: «Теперь облачно — скоро пойдет дождь», — так как, даже если облака кажутся тяжелыми, полными грозы, часто случается так, что порыв ветра, прилетевшего из пустыни, сметает их, и лица людей, ожидающих дождя, отворачиваются в безропотности, и они бормочут: «Нет ни силы, ни могущества, кроме как у Бога», — и небо снова начинает ослепительно сверкать в своей не знающей сострадания голубизне.

Я прощаюсь со своим другом и иду обратно к воротам города. Человек проезжает мимо, он ведет двух ослов, нагруженных люцерной, а сам едет на третьем осле. Он поднимает свой посох, приветствуя меня: «Да пребудет с тобой мир!» — и я отвечаю тем же. Затем проходит бедуинская женщина с волочащейся сзади одеждой и с закрытой вуалью нижней частью лица. Ее сверкающие глаза такие черные, что радужка глаза и зрачок сливаются, а ее шаг напоминает чем-то нерешительное, раскачивающееся напряжение молодого степного животного.

Я захожу в город и пересекаю огромную открытую площадь Аль-Манаха по направлению к внутренней стене города; я прохожу под тяжелой аркой Египетских ворот города, под которыми сидят, звеня золотыми и серебряными монетами, менялы, и вхожу на главный базар — улица шириною около трех с половиной метров, плотно заполненная лавками, вокруг которых бьет мелкая, но энергичная жизнь.

Продавцы восхваляют свой товар веселыми песнями. Яркие платки, шелковые шали и одежды из узорной кашмирской шерсти привлекают взор прохожего. Ювелиры припали к маленьким стеклянным сундучкам, в которых находятся драгоценности бедуинов: кольца на руки и ноги, ожерелья и серьги. Продавцы парфюмерии выставляют полные хны чаши, маленькие красные сумки с сурьмой для подкрашивания ресниц, разноцветные бутылочки с маслами и экстрактами, а

также горы специй. Купцы из Наджда продают бедуинские наряды, верблюжьи седла и украшенные длинными красными и голубыми кисточками седельные вьюки из восточной Аравии. Аукционист ходит по улицам и кричит во весь голос, на шее у него персидский ковер и *абаи* из верблюжьего волоса, а с руки свисает медный самовар. Потоки людей в обоих направлениях: люди из Медины и остальной Аравии, а также — так как время паломничества закончилось лишь недавно — из всех стран между пустынями Сенегала и Киргизии, между Ост-Индией и Атлантическим океаном, между Астраханью и Занзибаром. Однако, несмотря на многочисленность толпы и тесноту улиц, здесь нет и намека на безумную торопливость, нет толкотни и напористости, ведь в Медине время не летает на крыльях желаний.

Но может показаться еще более странным то, что, несмотря на огромное разнообразие людей и украшающих их костюмов, нет ничего похожего на «экзотическую» разношерстность на улицах Медины: разнообразие внешнего вида открывается лишь усердно изучающему глазу. Мне кажется, что все эти люди, которые живут в этом городе или даже временно прибыли сюда, очень скоро становятся, можно сказать, воплощением общего настроения и таким образом также поведения, и даже едва ли не воплощением общего выражения лица, так как все они попали под действие чар Пророка, чьим городом была когда-то Медина и чьими гостями они теперь являются...

Даже спустя тринадцать веков его духовное присутствие почти настолько же живо здесь, как оно было тогда. Только благодаря ему разрозненная группа деревень, когда-то называемая Ясриб, стала одним городом и снискала любовь всех мусульман до сегодняшнего дня — любовь, которой не удостоился ни один другой город нигде в мире в какие бы то ни было времена. У города даже нет имени как такового: более тринадцати столетий он назывался *Мадинат Ан-Набий* ('Город Пророка'). На протяжении более чем тринадцати веков так много любви сошлось в этом месте, что все формы и движения приобрели некую родственную близость, а все различия во внешнем нашли тональный переход в общую гармонию.

Эта объединяющая гармония и есть то счастье, которое всегда чувствуется здесь. Хотя жизнь в Медине сегодня напоминает лишь формально и отдаленно то, что Пророк ставил своей целью, хотя духовное сознание Ислама обесценилось здесь, как и во многих других частях мусульманского мира, неописуемая эмоциональная связь с великим духовным прошлым продолжает жить. Никогда никакой другой город не был так любим из-за одной личности; никогда никто иной, умерший более чем тринадцать веков назад, не был любим так лично и столькими людьми, как тот, который лежит погребенным под огромным зеленым куполом.

И тем не менее он никогда не претендовал на то, чтобы быть кем-то, помимо смертного человека, и никогда мусульмане не приписывали ему божественную природу, как делали многие последователи других пророков после смерти их пророка. Несомненно, Коран изобилует утверждениями человечности Мухаммада: *«Мухаммад не кто иной, как Пророк», «все пророки умирали и до него», «если он умрет или его убьют, вы что же тогда отвернетесь?»* Его абсолютная незначительность перед величием Божества была так выражена в Коране: *«Скажи [О Мухаммад]: „Не в моих силах и в малейшей степени причинить вам зло или даровать вам благо... Не в моих силах даже помочь самому себе или навредить, кроме как по желанию Господа; и, если бы я знал Непознаваемое, я бы мог получить много хорошего и никакое зло никогда бы не коснулось меня. Я лишь и только предупреждаю и несу благую весть тому, у кого есть вера в Бога...”»*

Именно потому, что он был только человеком и что он жил, как другие люди, довольствуясь наслаждениями и страдая от трудностей человеческого существования, те, кто был возле него, смогли настолько окружить его своей любовью.

Эта любовь пережила его смерть и продолжает жить в сердцах его последователей как *лейтмотив* мелодии, построенной из множества тонов. Она продолжает жить в Медине. Она говорит с тобой каждым камнем этого древнего города. Ты можешь почти

коснуться ее своими руками, но ты не можешь охватить ее словами...

- 2 -

По мере того как я продвигаюсь по базару в сторону главной мечети, многие старые знакомые приветствуют меня мимоходом. Я киваю то одному, то другому продавцу, и наконец мой друг Аз-Зугайби вытягивает меня из потока на небольшую площадку, где он продает одежду для бедуинов.

— Когда ты вернулся, о Мухаммад, и откуда? Я не видел тебя вот уже несколько месяцев.

— Я еду из Хаиля и Нуфуд.

— Разве ты не останешься дома хоть ненадолго?

— Нет, брат мой, я уезжаю в Мекку послезавтра.

Аз-Зугайби кричит мальчику из кофейни напротив, и вскоре маленькие чашечки звенят перед нами.

— Но зачем, о Мухаммад, ты теперь едешь в Мекку? Сезон *хаджа* в прошлом...

— Не желание паломничества тянет меня в Мекку. В конечном счете разве не был я *хаджи* пять раз к ряду? Но каким-то образом у меня есть предчувствие, что я не задержусь надолго в Аравии, и я бы хотел еще раз увидеть город, с которого началась моя жизнь в этой земле... — Затем я добавляю со смехом: — Что ж, брат, говоря начистоту, я не понимаю, зачем я еду в Мекку, но я знаю, что должен...

Аз-Зугайби качает головой в смятении:

— Неужели ты покинул бы эту землю и твоих братьев? Как ты можешь говорить подобным образом?

Знакомые фигуры проходят мимо длинным торопливым шагом... А это Зейд, очевидно в поисках кого-то.

— Эй, Зейд, куда?

Он резко поворачивается ко мне с напряженным лицом:

— Так это тебя я и ищу, о мой дядя; пачка писем ожидала твоего приезда в почтовом отделении. Вот они. И мир тебе, Шейх Аз-Зугайби!

Я сижу, скрестив ноги, перед лавкой Аз-Зугайби и пробегаюсь по пачке с конвертами: несколько писем от друзей в Мекке, одно от редактора швейцарской *Neue Zürcher Zeitung*, чьим корреспондентом я являюсь последние шесть лет, одно из Индии, призывающее меня приехать туда и ознакомиться с самой большой общиной мусульман в мире, несколько писем из разных уголков Ближнего Востока и одно с почтовой маркой Тегерана от хорошего друга Али Ага, о котором я не слышал более года. Я открываю его и просматриваю страницы, покрытые элегантным шрифтом *шикаста** в исполнении Али:

* Букв. «прерывистый» — персидский вариант арабского шрифта, используемый для быстрого письма.

Нашему самому любимому другу и брату, свету сердец наших, самому уважаемому Асаду Ага, да продлит Господь его жизнь и убережет его шаги. Аминь.

Да пребудут над тобою мир и благословение Господа, всегда и везде. И мы молим Бога, чтобы Он даровал тебе здоровье и счастье. Знаем, что ты будешь рад слышать, что и мы находимся в здравии, вся хвала Всевышнему.

Мы не писали тебе долгое время по причине нескладного хода нашей жизни в последние месяцы. Наш отец, да смилуется над ним Господь, ушел из жизни год тому назад, и мы, будучи старшим сыном, были вынуждены провести много времени в заботах об устройстве дел нашей семьи. А еще воля Всевышнего распорядилась так, что дела Его недостойного раба продвинулись сверх ожидания: правительство даровало ему повышение по службе до подполковника. Вдобавок мы надеемся вскоре соединиться в браке с великолепной и красивой дамой, с нашей троюродной сестрой Ширин. Таким образом, наши старые беспокойные дни подошли к концу. Как известно твоему дружественному сердцу, мы не были без греха и ошибок в нашем прошлом, но разве не сказал Хафиз:

*О Господи, ты бросил бревнышко в середине
моря —
Разве мог Ты желать, чтобы оно осталось
сухим?*

Итак, старый Али Ага наконец решил обосноваться и стать почтенным! Он не был столь уважаем, когда я впервые встретил его немногим более семи лет назад, в городе Бам, в который он был «сослан». Хотя ему было лишь двадцать шесть тогда, его прошлое было полно действия и возбуждения: он участвовал в политических переворотах, которые предшествовали приходу Ризы Хана к власти, и мог бы сыграть значительную роль в Тегеране, не веда он слишком яркую жизнь. Его переезд в находящийся на отшибе Бам в юго-восточном уголке Ирана был осуществлен его взволнованным и влиятельным отцом в надежде, что сын, возможно, изменится вдали от удовольствий Тегерана. Но Али Ага и в Баме нашел компенсацию: женщины, арак и сладкий яд опиума, к которому он был сильно привязан.

В то время, в 1925 году, он являлся начальником окружной жандармерии в звании лейтенанта. Так как я намеревался пересечь огромную пустыню Дашт-и-Лут, я разыскивал его с рекомендательным письмом от губернатора провинции Кирман, которое, в свою очередь, было основано на письме от Ризы Хана, премьер-министра и диктатора. Я обнаружил Али Ага в

тенистом саду с апельсиновыми деревьями, олеандрами и пальмами, через чьи остроконечные своды фильтровался солнечный свет. Он был в неформальной одежде. Ковер был расстелен на лужайке, на ковре были блюда с остатками еды и полупустые бутылки арака. Али Ага извинился, что нельзя найти вина в этой «проклятой дыре», и заставил меня пить местный арак — ужасный напиток, который ударяет в голову. С плывущими глазами северного перса он взглянул на письмо из Кирмана, швырнул его в сторону и сказал:

— Даже если бы ты пришел без рекомендаций, я бы сопровождал тебя самолично в твоём переходе через Дашт-и-Лут. Ты — мой гость. Я никогда не отпущу тебя одного в пустыню белуджей.

Некто, сидевший до сих пор наполовину скрытым в тени дерева, медленно поднялся — молодая женщина в светло-голубой тунике до колен и широких белых белуджских штанах. У нее было чувственное лицо, которое, казалось, горело изнутри, большие красные губы и красивые, но странно отсутствующие глаза; веки были подкрашены сурьмой.

— Она слепая, — прошептал Али Ага на французском, — и она прекрасно поет.

Я восхитился огромной нежностью и уважением, с которыми он относился к девушке, которая, как публичная певица, в Иране принадлежала к категории, приравняваемой более или менее к куртизанкам: он не смог бы вести себя лучше по отношению к любой другой знатной даме Тегерана.

Мы сели вместе, все трое, на ковер; пока Али Ага занимался налаживанием мангала и опиумной трубки, я заговорил с белуджской девушкой. Несмотря на ее слепоту, он могла смеяться, как только могут смеяться те, кто переживают глубокую внутреннюю радость; она делала проницательные и остроумные замечания, за которые и даме из высшего общества не было бы стыдно. Когда Али Ага закончил с трубкой, он взял ее мягко за руку и сказал:

— Этому страннику здесь, этому австрийцу, несомненно понравилась бы одна из твоих песен; он еще никогда не слышал песен белуджей.

По незрячему лицу распространилось отдаленное туманное счастье, когда она взяла лютню из рук Али Ага и начала бить по струнам. Она пела глубоким сухим голосом белуджскую шатерную песню, которая звучала эхом жизни с ее теплых губ...

Я возвращаюсь к письму:

Я все думаю, помнишь ли ты, мой дорогой брат и друг, как мы поехали вместе в те старые времена через Дашт-и-Лут и как мы дрались не на жизнь, а на смерть с теми белуджскими бандитами...

Помню ли я? Я улыбаюсь внутри на бесполезный вопрос Али Ага и вижу себя и его в заброшенной Дашт-и-Лут, «голая пустыня», которая растянулась своей огромной пустотой от Белуджистана вглубь к самому сердцу Ирана. Я намеревался пересечь ее для того, чтобы доехать до Систана, самой восточной провинции Ирана, и оттуда проследовать до Афганистана: так как я приехал из Кирмана, не было никакого другого пути, кроме этого.

Мы остановились вместе с нашим эскортом из белуджских жандармов у зеленого оазиса на оконечности пустыни, чтобы взять внаймы верблюдов и купить провизии для предстоящего долгого перехода. Наш временный штаб находился на станции Индо-Европейского телеграфа. Смотритель станции, высокий, костлявый и востроглазый человек, не спускал глаз с меня и, казалось, оценивал меня взглядом.

— Берегись этого человека, — прошептал Али Ага, — он бандит. Я знаю его, и он знает, что я знаю его. Еще несколько лет тому назад он был настоящим грабителем, но теперь он скопил немного денег, стал благовоспитанным и зарабатывает еще больше денег, снабжая оружием своих старых товарищей. Я лишь поджидаю удобного случая, чтобы схватить его. Однако

парень изобретателен и слишком тяжело доказать что-либо. Так как он услышал, что ты австриец, он очень возбудился. Во время Первой мировой войны некоторые австрийские и немецкие агенты пытались поднять кланы в этих местах против британцев, у них были мешки с золотыми монетами, и наш друг думает, что каждый немец или австриец оснащен подобным образом.

Однако ловкость зрителя сыграла нам на руку, потому что он смог найти для меня двух самых быстрых верховых верблюдов в этих краях. Остаток дня мы были заняты торгом по поводу цен на бурдюки с водой, веревки из верблюжьего волоса, рис, очищенное масло и множество других мелких вещей, необходимых в путешествиях по пустыне.

После полудня следующего дня мы начали наш переход. Али Ага решил пойти вперед с четырьмя жандармами, чтобы подготовить место ночевки; и длинная вереница из их верблюдов вскоре исчезла за горизонтом. Мы, оставшиеся, — Ибрагим, я и пятый жандарм — пошли следом немного медленнее.

Мы раскачивались — как незнакомо это было для меня! — в странной размашистой походке тонконогих верблюдов вначале через песчаные дюны, желтые и редко усеянные пучками травы, затем все дальше и дальше вглубь равнины — в бесконечную, беззвучную, серую равнину, плоскую и пустую, настолько пустую, что казалось, будто она не тянется до горизонта, а обваливается на него, так как глаз не мог найти ничего, на чем остановиться: ни горной гряды на земле, ни камня, ни куста, ни даже травинки. Сквозь безбрежную тишину не доносилось ни звука, ни щебетания птиц, ни жужжания жука, и даже ветер, лишенный препятствий на своем пути, неся низко без голоса над вакуумом — нет, он просто упал в него, как камень падает в пропасть... То была не тишина смерти, но скорее тишина еще не рожденного, тишина того, что никогда не сможет ожить: тишина до Первого Слова.

И потом случилось это. Тишина была нарушена. Человеческий голос мягко и с треском взорвал воздух и остался, что называется, подвешенным; тебе могло показаться, что ты не только мог слышать, но и видеть его: настолько одиноким и обнаженным в отсутствие других звуков он поплыл над пустынной равниной. То был наш белуджский солдат. Он пел песню своих кочевнических дней — наполовину песня, наполовину восторженная речь, быстрая смена острых и мягких слов, которые я не мог понять. Его голос звенел на одном уровне несколькими тонами с настойчивостью, которая постепенно переросла во что-то величественное, по мере того как она обволакивала хрупкую мелодию эпизодических гортанных звуков; и путем простого повторения и вариации одной и той же темы песнь разошлась непредвиденным богатством своих ровных тонов, ровных и бесконечных, как земля, в которой она была рождена...

Теперь мы ехали через ту часть пустыни, которая получила название «пустыня колокольчиков Ахмада». Много лет назад караван, ведомый человеком по имени Ахмад, сбился с пути здесь и все они, люди и животные, погибли от жажды; и по сей день говорят, что иногда путешественники слышат колокольчики, которые висели вокруг шей верблюдов Ахмада, — призрачные, траурные звуки, которые заманивают и сводят с пути неосмотрительных, направляя их к смерти в пустыне.

Сразу после заката мы нагнали Али Ага и его конвой и разбили лагерь посреди кустов *кахур* — последнее, что мы видели на протяжении многих дней. Развели костер из сухих веток, приготовили неизменный чай, и Али Ага закурил свою обычную опиумную трубку. Верблюдов накормили грубой ячменной мукой и усадили по кругу, внутри которого расположились мы. Три жандарма были поставлены караульными на ближайших дюнах, так как земля, в которой мы пребывали, являлась поприщем ужасных демонов пустыни — белуджских клановых бандитов с юга.

Али Ага только что закончил свою трубку и чай и пил арак один — я был не в настроении составить ему компанию, — когда

выстрел винтовки нарушил тишину ночи. Второй выстрел одного из наших караульных прозвучал в ответ, и громкий крик последовал за ним откуда-то из темноты. Ибрагим с огромным хладнокровием сразу же набросал песка в огонь. Еще выстрелы, со всех направлений... Караульных не было видно теперь, но можно было слышать, как они кричат друг другу. Мы не знали, сколько было нападавших, так как они хранили зловещее молчание. Лишь изредка тусклый блеск света из дул винтовок говорил об их присутствии; и раз или два я смог различить одетые в белое фигуры, мелькающие в темноте. Несколько низко летящих пуль просвистели над нашими головами, но никого не задели. Постепенно суматоха стихла, прозвучало еще несколько выстрелов, и ночь поглотила их; бандиты, очевидно растерявшиеся перед нашей бдительностью, исчезли так же тихо, как и появились.

Али Ага созвал караульных, и мы провели совет. Изначально мы намеревались провести ночь здесь; но, так как мы не имели и малейшего представления о том, насколько сильна была атакующая сторона и придут ли они снова с подкреплением, мы решили сняться с лагеря сейчас же и продолжить путь.

Ночь была черна как деготь; тяжелые низкие облака скрывали луну и звезды. В летнее время, как правило, лучше путешествовать по пустыне ночью. Но при обычных обстоятельствах мы бы не стали рисковать и идти в такой темноте из-за боязни потерять курс, ведь твердый гравий Дашт-и-Лут не сохраняет следов. В прежние времена иранские короли отмечали караванные пути в таких пустынях каменной кладкой, служившей указателем, но, как и другие хорошие вещи прошлого, эти вехи давно исчезли. Конечно же, они не были нужны более: кабель Индо-Европейского телеграфа, проложенный британцами в начале века от индийской границы через Дашт-и-Лут к Кирману, служил так же хорошо или даже лучше, чем указательные столбы. Однако в ночи, как эта, кабель и телеграф не были видны.

Мы обнаружили это к своему ужасу, когда после получаса езды жандарм, который ехал спереди в качестве направляющего,

вдруг потянул за вожжи и стыдливо доложил Али Ага:

— *Хазрат*, я не вижу кабель более...

На мгновение все пребывали в молчании. Колодцы, мы знали, находились только вдоль пути, помеченного телеграфной линией, и даже те были весьма отдалены друг от друга. Потерять свой курс здесь означало погибнуть, как легендарный караван Ахмада...

Затем Али Ага заговорил манерой, совсем не свойственной ему; можно было с уверенностью предположить, что арак и опиум имели прямое отношение к этому. Он выхватил свой пистолет и заревел:

— Где кабель? Почему вы потеряли кабель, вы... дети собаки? О, я знаю — вы заодно с теми бандитами и пытаетесь сбить нас с пути, чтобы мы погибли от жажды и так стали легкой добычей!

Такой упрек был однозначно несправедливым, ведь белудж никогда не предаст человека, с которым он разделит хлеб и соль. Наши жандармы, очевидно задетые обвинениями своего лейтенанта, заверили нас в своей невиновности, но Али Ага взорвался:

— Молчать! Найти кабель немедленно, или я застрелю каждого из вас, вы дети клейменных отцов!

Я не мог видеть их лиц в этой темноте, но я ощутил, как глубоко они, свободные белуджи, прочувствовали оскорбление; они больше и не пытались отвечать. Вдруг один из них, бывший нашим проводником некоторое время назад, отделился от группы, ударил своего верблюда плетью и в галопе исчез в темноте.

— Куда? — прокричал Али Ага и получил несколько непонятных слов в ответ. Несколько секунд можно было слышать мягкий шаг верблюда, затем звуки погрузились в ночь.

Несмотря на мою уверенность лишь мгновение назад в невинности белуджского жандарма, нерешительная мысль мелькнула в моей голове: теперь он уехал к бандитам, Али Ага был прав, пожалуй... Я услышал, как Али Ага снял с предохранителя свой пистолет, я сделал то же. Ибрагим медленно снимал с плеча свой карабин. Мы сидели без движения в седлах. Один верблюд мягко кряхтел, винтовка одного из жандармов ударила прикладом о седло. Долгие минуты проходили. Можно было почти слышать дыхание людей. Затем обрывистый крик донесся издалека. Мне показалось, что это было просто «ooo», однако белуджи, казалось, распознали его, и один из них, сложив руки около рта, взволнованно выкрикнул что-то в ответ на языке брауи. Снова тот вдалеке крикнул. Один из жандармов повернулся к Али Ага и сказал на персидском:

— Кабель, *хазрат!* Он нашел кабель!

Напряжение спало. С облегчением мы последовали за голосом невидимого разведчика, направлявшего нас время от времени. Когда мы настигли его, он поднялся в седле и указал в темноту:

— Вон кабель.

Так и было: через несколько мгновений мы почти ударились о телеграфный столб.

Первое, что сделал Али Ага, было очень характерно для него. Он поймал солдата за ремень, потянул его ближе к себе и, перегибаясь через седло, поцеловал его в обе щеки:

— Это я, а не ты, сын собаки, брат мой. Прости меня...

Впоследствии выяснилось, что белудж, этот сын пустыни, ехал зигзагами, пока не услышал с расстояния около полумили, как ветер гудит о кабель — гудение, которое даже теперь, когда я ехал прямо под кабелем, было едва уловимо для моего европейского уха...

Мы продолжили путь медленно, осторожно, сквозь черную ночь, от одного телеграфного столба к другому, с одним жандармом всегда выезжающим вперед и сигнализирующим каждый раз, как он касался своей рукой столба: мы нашли курс и были решительно настроены не терять его снова.

Я пробуждаюсь от своих грез и возвращаюсь к письму от Али Ага:

С продвижением до подполковника этот скромный человек получил назначение в генеральный штаб; и это, о мой дорогой друг и брат, трогает нас больше, чем гарнизонная жизнь в провинциальном городке...

В этом у меня нет сомнений: Али Ага всегда имел склонность к жизни в столице и ее интригам, особенно политическим. И на самом деле он продолжает письмо описанием политической атмосферы Тегерана, тех бесконечных закулисных баталий, тех запутанных маневров, которыми иностранные державы умудрялись так долго держать Иран в состоянии беспокойства, которое не дает практически никаких шансов необыкновенной, одаренной нации найти свой путь.

Прямо сейчас мы обеспокоены английской нефтяной компанией; огромное давление оказывается на наше государство для того, чтобы оно расширило уступки и таким образом продлило наше рабство. Базары жужжат слухами, и только Богу известно, куда все это приведет...

Базар всегда играл самую важную роль в политической жизни восточных стран; и это особенно актуально в случае тегеранского базара, на котором скрытое сердце Ирана пульсирует с настойчивостью, не поддающейся ни всеобщему национальному закату, ни проходящему времени. Между строчками письма от Али Ага этот громадный базар, почти как город сам по себе, снова всплывает перед моими глазами с живостью, как будто видел его только вчера: широкие смежные пространства, сумрачный лабиринт залов и проходов, покрытый

сводами из заостренных арок. На главной улице рядом с маленькими темными киосками, заполненными всякими дешевыми безделушками, находятся крытые патио со стеклянными крышами и магазины, где продаются самые дорогие европейские и азиатские шелка; сразу за цехами канатных мастеров — стеклянные сундучки ювелиров, полные филигранной работы; разноцветные ткани из Бухары и Индии вперемешку с редкими персидскими коврами, охотничьими коврами с изображениями рыцарей верхом, львов, леопардов, павлинов и антилоп; ожерелья с прозрачными жемчужинами и автоматические зажигалки рядом с ткацкими станками; черные печальные зонтики бок о бок с желтой украшенной вышивкой одеждой из овчины, привезенной из Хорасана, — все это собрано в этом чрезвычайно длинном зале, как будто на огромной и не слишком ухоженной витрине магазина.

В бесконечном количестве боковых улочек этого запутанного лабиринта из ремесла и коммерции лавки сгруппированы по виду торговли. Вот можно видеть длинную улицу седельных мастеров и кожевников с красным в качестве основного цвета, из-за крашеной кожи, распространяющей в воздухе свой кисловатый запах. А вот и портные, и из каждой ниши — ведь большинство лавок имеет лишь одну приподнятую нишу площадью помещения около трех квадратных метров — можно слышать рокот трудолюбивых ткацких станков; длинные одежды свисают для продажи, всегда одни и те же одежды, так что, когда проходишь мимо, можно иногда подумать, что стоишь на месте. Такое же впечатление складывается и в других частях рынка; все же изобилие одинаковости на каждом углу не имеет ничего общего с монотонностью; похожесть одурманивает посетителя и наполняет его беспокойным удовольствием. Хотя и приходишь на базар уже в сотый раз, ты находишь настроение вокруг тебя всегда тем же самым, вроде бы неизменным, но настроение это — настроение неистощимой, качающейся несменяемости океанской волны, которая всегда изменяет свою форму, но оставляет сущность.

Базар мастеров медных дел: раскачивающиеся молотки — хор бронзовых колокольчиков — выбивают из меди, бронзы и

латуни самые различные формы, преобразовывая их из бесформенных металлических листов в чаши, миски и кубки. Какая звуковая гамма этот стук молотков в сменяющихся ритмах во всю длину рынка: каждый человек молча поддается ритму других, так что нет никакого диссонанса для уха. Сотня рабочих кует разные формы в разных лавках, но на всем базаре — только одна мелодия... В этом глубоком, более чем музыкальном, почти общественном желании гармонии проявляется скрытое изящество иранской души.

Базар специй: молчаливые переулки с головами из белого сахара, мешками риса, насыпями миндаля и фисташек, фундука и дынных косточек, тазами, полными сухих абрикосов и имбиря, медными тарелками с корицей, карри, перцем, шафраном и маковыми семенами, множеством мелких посудин с анисом, ванилью, тмином, гвоздикой и несметным количеством других странных трав и кореньев, которые выделяют тяжелый непреодолимый аромат. Над сверкающими медными весами склоняются хозяева этих странностей, как будды со скрещенными ногами, время от времени взывают к прохожему полутонем и спрашивают о его нуждах. Вся речь — лишь шепот здесь, ведь нельзя быть шумным там, где сахар плавно перелетает из мешка на весы, и нельзя быть шумным там, где взвешиваются тимьян или анис... Это — та же самая адаптация к капризам материала, которая позволяет иранцам ткать прекрасные ковры из бессметного числа цветных шерстяных нитей: нить за нитью, доля сантиметра за долей сантиметра, пока целостность не предстанет в своем игривом совершенстве. Совершенно не случайно то, что персидские ковры не имеют равных в мире. Где еще можно найти такое глубокое безмолвие, такую внимательность и сосредоточенность на своем деле? Где еще такие глаза — темные глубины, для которых время и его ход значат так мало?

В углубленных нишах, немного больших, чем обычные, сидят молчаливые художники-миниатюристы. Они копируют старые миниатюры из рукописных, давно изорванных в клочья книг, изображая в легких плавных линиях и цветах великие вещи жизни: бои и охоту, любовь, счастье и печаль. Изящны и

утонченны, как нервные волокна, их кисти; цвета не доверяются безжизненным сосудам, но смешиваются на живой ладони художника и распределяются мельчайшими пузырьками и каплями на пальцах левой руки. На новых страницах безупречной белизны старые миниатюры возрождаются снова, мазок за мазком, тень за тенью. Бок о бок с шелушащимися золотыми фонами оригиналов выходят сверкающие планы копий. Завядшее апельсиновое дерево королевского парка расцветает снова новой весной; нежные женщины в шелках и мехах повторяют снова свои любовные жесты; заново поднимается солнце над старой рыцарской игрой в поло... Мазок за мазком, тень за тенью молчаливые люди следуют творческим приключениям мертвого живописца; и в них столько же любви, сколько было очарования в нем; и эта любовь заставляет тебя почти забыть несовершенство копий...

Время идет, а художники-миниатюристы сидят, склонившись над своей работой, чуждые белому свету. Время идет; на базарных улицах поблизости западный хлам проникает с упрямой постепенностью в лавки; керосиновая лампа из Чикаго, отпечатанная бумажная ткань из Манчестера и чайник из Чехословакии продвигаются победоносно; однако миниатюристы сидят, скрестив ноги на потертых соломенных матах и копаясь чутким глазом и кончиками пальцев в блаженных старых радостях, и дают своим королевским охотам и восторженным любовникам новое пробуждение, день за днем...

Несметно число людей на базаре: господа с европейскими воротниками и зачастую стелющимися арабскими *абаями* поверх европейских или полуетропейских костюмов, консервативные горожане в длинных *кафтанах* и шелковистых кушаках, крестьяне и ремесленники в голубых и сероватых камзолах. Поющие дервиши — иранские аристократические попрошайки — в белых ниспадающих одеждах, иногда с леопардовой шкурой на спине, длинными волосами и изящным телосложением. Женщины среднего класса одеты в шелка или хлопок согласно своим возможностям, но всегда в черном с традиционной короткой тегеранской вуалью, отступающей

жестко от лица; женщины победнее носят светлые хлопковые накидки с изображением цветов. Старцы-муллы едут на пышно украшенных ослах или мулах и поворачиваются к незнакомцу с фанатичным взглядом, как будто спрашивая: «Что *ты* делаешь тут? Ты один из тех, кто работает, чтобы разрушить нашу страну?»

Долгий опыт западных интриг сделал людей Ирана подозрительными. Ни один иранец в действительности не ожидает ничего хорошего для его страны от *фаранжи*. Но Али Ага не кажется излишне пессимистичным:

*Иран — старая страна, но совершенно точно она не готова еще умирать. Мы часто были притеснены. Многие нации захлестывали нас, и все они исчезли, но мы продолжаем жить. В бедности и угнетении, в невежестве и темноте, но мы продолжаем жить. Это потому, что мы, иранцы, всегда идем собственным путем. Как часто внешний мир пытался навязать нам новые пути к жизни — и всегда терпел неудачу. Мы не боремся с внешними силами насильем, и так может иногда показаться, что мы подчинились им. Но мы из числа племени **мурьюн** — маленький незначительный муравей, который живет под стенами. Ты, о свет моего сердца, должно быть, видел когда-нибудь в Иране, как хорошо выстроенные дома с крепкими стенами вдруг обрушиваются по непонятным причинам. Но что явилось причиной? Лишь и только те мелкие муравьи, которые много лет с непрерывным трудолюбием рыли проходы и углубления в фундаменте, всегда продвигаясь на толщину волоса, медленно, терпеливо, во всех направлениях, пока в конце концов стена не потеряла равновесие и не обвалилась. Мы, иранцы, — такие муравьи. Мы не боремся с мировыми державами шумным и бесполезным насильем, но позволяем им делать самое гнусное и роим в тишине свои проходы и углубления, пока в один день их здание вдруг не содрогнется...*

А видел ли ты, что происходит, когда бросаешь камень в воду? Камень тонет, несколько кругов появляются на поверхности,

расходятся и сходят постепенно на нет, пока вода не станет спокойной снова. Мы, иранцы, — такая вода.

Шах, да продлит Господь его жизнь, несет тяжелую ношу с англичанами по одну сторону и русскими по другую. Но мы не сомневаемся, что по милости Всевышнего он найдет способ спасти Иран...

Безоговорочная вера Али Ага в Ризу Шаха не кажется на первый взгляд неуместной. Он, несомненно, является одним из самых активных личностей, которые я когда-либо встречал в мусульманском мире, и из всех королей, которых я знал, только Ибн Сауд мог сравниться с ним.

История восхождения Ризы Шаха к власти подобна фантастической сказке, возможной только в этом восточном мире, где личная храбрость и стремление к власти могут иногда вывести человека из абсолютной неизвестности на вершину лидерства. Когда я узнал его впервые во время моего первого пребывания в Тегеране летом 1924 года, он был премьер-министром и неоспоримым диктатором Ирана; однако народ еще не совсем преодолел потрясение, связанное с его таким внезапным, таким неожиданным появлением у руля власти страны. Я все еще помню удивление, с которым старый иранский служащий германского посольства в Тегеране однажды сказал мне: «Знал ли ты, что лишь десять лет назад этот премьер-министр наш стоял охранником в звании рядового солдата перед воротами этого самого посольства? И я самолично время от времени давал ему письмо для доставки в министерство иностранных дел и наставлял его: „Давай скорее, ты сын собаки, и не бездельничай по базарам!..“»

Да, не так много лет прошло с момента, когда рядовой Риза стоял караульным перед посольствами и общественными зданиями Тегерана. Я могу представить его, как он стоит там в потертой униформе иранской казачьей дружины, опираясь на винтовку и пялясь на суматоху улиц вокруг. Он, наверное, наблюдал людей Персии шагающими туда-сюда как призрачные тени или сидящими в прохладе вечеров вдоль

водных каналов так же, как я наблюдал их. И из английского банка позади он слышал треск пишущих машинок, суету деловых людей, весь шелест кутерьмы, которую отдаленная Европа принесла в то тегеранское здание с голубым фаянсовым фасадом. Возможно, что именно тогда в первый раз (никто не говорил мне этого, но мне почему-то кажется, что это было именно так) в неученой голове солдата Ризы возникло изумленное вопрошание: «Разве так это должно быть?.. Должно ли быть так, что люди из других стран работают и трудятся, тогда как наша жизнь пролетает мимо как сон?»

И возможно, что именно в тот момент желание изменений — творец всех великих дел, открытий и революций — забрезжило в его мозгу и начало молча взывать к выражению...

В другой день он мог быть охранником перед воротами сада одного из больших европейских посольств. Хорошо ухоженные деревья двигались вместе с ветром, а усыпанные гравием тропинки хрустели под ногами облаченных в белое слуг. В том доме посреди парка, казалось, обитала таинственная сила; она запугивала каждого иранца, который проходил через ворота, заставляла его неловко приводить себя в порядок и делала его руки неуклюжими и растерянными. Иногда элегантные экипажи подъезжали и иранские политики выходили из них. Солдат Риза узнавал многих из них по виду: этот — министр иностранных дел, тот — министр финансов. Почти всегда у них были напряженные и озабоченные лица, когда они входили в ворота, и было забавным наблюдать выражения их лиц, когда они выходили из посольства: иногда они были сияющими, как если огромная благосклонность была выказана им, иногда они были бледными и расстроенными, как если им был вынесен роковой приговор. Те загадочные люди внутри объявляли приговор. Солдат Риза изумлялся: «Должно ли это быть так?..»

Иногда случалось так, что иранский служащий выбегал из административного здания, которое охранял Риза, и бросал письмо ему в руки со словами: «Отнеси это быстро тому-то и тому-то. Только поторопись, ты сын собаки, иначе посол разозлится!» Риза привык к такому обращению, так как его

офицеры не были и в малом разборчивы в своем выборе эпитетов. Но возможно — нет, почти наверняка! — слова «сын собаки» унижали его, ведь он знал, он не сын собаки, но сын великой нации, которая называет имена, такие как Рустам, Дарий, Нуширван, Кей-Хосров, Шах Аббас, Надир Шах, своими именами. Но что знали об этом «те внутри»? Что они знали о силах, которые двигались как темный немой поток в груди сорокалетнего солдата и иногда грозились разорвать его ребра и заставить его кусать свои кулаки в беспомощном отчаянии: «О если бы я мог...»?

И жажда самоутверждения, которая с рыданием живет в каждом иранце, иногда поднималась с болезненной, нечаянной жесточенностью в рядовом Ризе, делала его разум чистым и заставляла его понять витиеватый узор всего, что он видел...

Первая мировая война закончилась. После Великой Октябрьской революции русские войска, которые до этого оккупировали северный Иран, ушли; но сразу за этим коммунистическое восстание вспыхнуло в иранской провинции Гилян на берегу Каспийского моря, его предводителем был влиятельный Кучук Хан, которого поддерживали регулярные русские подразделения на суше и в море. Правительство выслало войска против мятежников, но плохо дисциплинированные и скудно вооруженные иранские солдаты терпели поражение за поражением, и батальон, в котором служил сержант Риза, тогда уже пятидесятилетний, не был исключением. Но однажды, когда его подразделение пустилось в бегство после неудачной схватки, Риза не смог сдерживаться более. Он выступил из расстроенных рядов и громко выкрикнул, чтобы каждый мог его слышать: «Почему вы убегаете, иранцы; вы — иранцы?!» Он, должно быть, чувствовал то же, что чувствовал король Швеции Карл XII, когда лежал раненный на поле битвы у Полтавы и видел своих солдат бегущими мимо в беспорядочном отступлении, он воззвал к ним отчаянным голосом: «Почему вы убегаете, шведы; вы — шведы?!» Но разница была в том, что Карл XII истекал кровью от многих ран и в его распоряжении был лишь его голос, тогда как солдат Риза был целым и невредимым и имел полностью заряженный

Маузер в своей руке, его голос был сильным и грозным, в то время как он предостерегал своих товарищей: «Кто побежит, того я застрелю, будь он даже моим братом!»

Такой взрыв был чем-то новым для иранских войск. Их недоумение уступило место удивлению. Они заинтересовались: что у этого человека на уме? Некоторые офицеры протестовали и указывали на безвыходность ситуации, а один из них усмехнулся: «Может быть, *ты* поведешь нас к победе?» В ту секунду Риза, возможно, пережил заново все те разочарования прошлых лет и все его безответные чаяния вдруг осветились. Он увидел конец волшебного каната перед собой и ухватился за него. «Принято! — крикнул он и повернулся к солдатам: — Примите ли вы меня в качестве своего лидера?»

Ни у одной другой нации нет такого глубокого врожденного культа героя, как у иранцев; и этот человек здесь, казалось, был героем. Солдаты забыли свой ужас и бегство. «*Ты* должен быть нашим лидером! — прогремели они с ликованием». — «Да будет так, — ответил Риза, — я поведу вас, и я убью любого, кто попытается бежать!» Но никто и не думал о побеге более. Они сбросили громоздкие рюкзаки, присоединили штыки к винтовкам, и под предводительством Ризы весь батальон развернулся и захватил русскую батарею во внезапной атаке, втянул в бой другие иранские подразделения, надавил на врага — и через несколько часов битва была решена в пользу иранцев.

Спустя несколько дней телеграмма из Тегерана продвинула Ризу в звании до капитана; и он теперь мог присоединять титул *хан* к своему имени.

Он схватился крепко за конец каната и полез вверх по нему. Его имя вдруг стало знаменитым. Быстро друг за другом он достиг званий майора, полковника, бригадного генерала. В 1921 году вместе с молодым журналистом Зиа ад-Дином и тремя другими офицерами он осуществил государственный переворот, арестовал коррумпированный кабинет министров и при поддержке своей преданной бригады заставил слабого и маловажного юного Шаха Ахмада назначить новый кабинет:

Зиа ад-Дин стал премьер-министром, Риза Хан — военным министром. Он не мог ни читать, ни писать. Но он был подобен демону в своем стремлении к власти. И он стал идолом для армии и людей, которые теперь, в первый раз за сотни лет, увидели перед собой настоящего человека — лидера.

В политической истории Ирана сцены сменяются быстро. Зиа ад-Дин ушел со сцены и появился как изгнанник в Европе. Риза Хан остался — в качестве премьер-министра. В те дни в Тегеране ходили слухи, что Риза Хан, Зиа ад-Дин и младший брат Шаха, наследник престола, сговорились лишить Шаха трона; и шептались — никто не знает доподлинно и по сей день, — что Риза Хан сдал своих друзей Шаху, чтобы не рисковать своим собственным будущим в таком сомнительном предприятии. Но, правда или нет, вскоре за этим премьер-министр Риза Хан посоветовал молодому Шаху Ахмаду предпринять увеселительную поездку в Европу. Он сопровождал его в огромной роскоши автомобильного путешествия к границе с Ираком и, говорят, сказал ему: «Если Ваше Величество когда-нибудь вернется в Иран, Вы сможете сказать, что Риза Хан ничего не понимает в мире».

Ему больше не нужно было делиться властью ни с кем; он был по факту, если не по званию, единственным владыкой в Иране. Подобно голодному волку он принялся за дела. Весь Иран сверху донизу должен был претерпеть реформы. До сих пор рассредоточенная администрация была централизована; старая система сдачи в аренду целых провинций на аукционе была отменена; губернаторы перестали быть сатрапами и стали чиновниками. Армия, любимец диктатора, была реорганизована на западный манер. Риза Хан начал кампании против непокорных лидеров племен, которые ранее рассматривали себя как мелких королей и часто отказывались подчиняться Тегерану; он сурово обходился с бандитами, которые на протяжении многих десятилетий терроризировали глубинку. Некоторый порядок был привнесен в финансовую структуру страны с помощью советника из Америки; налоги и таможенные сборы начали прибывать регулярно. Порядок появлялся из хаоса.

Переключаясь с движением кемализма в Турции, в Иране возникла идея республики — сначала как молва, затем как требование более продвинутых слоев населения и, наконец, как прямая цель самого диктатора. Однако здесь Риза Хан, казалось, просчитался: могучий крик протеста поднялся среди иранских масс.

Народное сопротивление республиканским тенденциям не являлось следствием какой бы то ни было любви к правящему дому, ведь никто в Иране не имел особой привязанности к династии Каджаров, которая из-за своего туркоманского происхождения всегда рассматривалась «чужеземной»; не было оно и результатом какого-либо сентиментального предрасположения к круглому, юному лицу Шаха Ахмада. Причина крылась совсем в другом: люди боялись потерять свою религию, как потеряли ее турки на волне революции Ататюрка. В своем невежестве иранцы совершенно не понимали, что республиканская форма правления соответствовала бы гораздо больше исламскому укладу жизни, чем монархическая; руководимые консерватизмом своих религиозных лидеров и, возможно, по праву напуганные тем, что Риза Хан открыто восхищался Кемалем Ататюрком, иранцы чувствовали в его предложениях лишь угрозу Исламу как доминирующей силе в стране.

Огромное возбуждение завладело городским населением, особенно в Тегеране. Разъяренная толпа, вооруженная палками и камнями, собралась перед служебным кабинетом Ризы Хана и выкрикивала проклятия и угрозы в адрес диктатора, который лишь вчера был полубогом. Советники Ризы Хана настоятельно советовали ему не выходить на улицу до тех пор, пока возбуждение не спадет; но он отмахнулся от них и в сопровождении лишь одного дневального и полностью безоружный покинул служебные владения в закрытом экипаже. Как только экипаж выехал из ворот, толпа схватила лошадей за вожжи и остановила их. Толпа распахнула дверь экипажа: «Вытаскивайте его, вытаскивайте его на улицу!» Но он уже и сам стал выходить с багровым от ярости лицом, он начал бить своим стеком по головам и плечам тех, кто был рядом: «Вы,

собачье отродье, прочь от меня, прочь! Как вы смеете! Я — Риза Хан! Убирайтесь отсюда в свои постели и к своим женщинам!» И яростная толпа, которая угрожала смертью и уничтожением лишь минуты назад, стихла под влиянием его личной храбрости; они отошли, рассеялись один за другим и исчезли в переулках. И снова великий лидер говорил с народом; он говорил в гневе, и народ умирился. Очень может быть, что в тот самый момент чувство презрения пробилось сквозь любовь Ризы Хана к своему народу и затемнило ее навсегда.

Но несмотря на успех авторитета Ризы Хана, республика не состоялась. Провал этого плана доказал, что военная власть сама по себе не может создать «движение преобразования» перед лицом народного сопротивления. Не то чтобы иранцы были против реформ как таковых, но они инстинктивно осознавали, что ввезенная западная политическая доктрина означала бы конец всяким надеждам на достижение здорового развития внутри контекста своей собственной культуры и религии.

Риза Хан не понимал этого тогда или когда-либо после и таким образом отделился от своего народа. Их любовь к нему улетучилась, и пугливая ненависть постепенно заняла ее место. Они начали спрашивать себя: «Что на самом деле герой сделал для этой страны?» Они перечислили все достижения Ризы Хана: реорганизация армии, но ценою огромных затрат, которые возложили давящий груз налогов на и без того доведенное до нищеты население; подавление племенных восстаний, но также и патриотов; строительство ярких зданий в Тегеране, но непрерывно растущее горе крестьян в сельской местности. Люди стали вспоминать, что лишь несколько лет назад Риза Хан был бедным солдатом, а теперь — самым богатым человеком в Иране с бесчисленными акрами земли на своем счету. И это те «реформы», о которых так много говорили? Представляли ли на самом деле несколько сверкающих зданий в Тегеране и роскошные отели, которые выросли то тут, то там под влиянием диктатора, какое-либо улучшение жизни людей?

Именно на этой стадии карьеры Ризы Хана я познакомился с ним. Каковы бы ни были слухи о его личной амбициозности и предполагаемом эгоизме, я смог безошибочно распознать силу этого человека с того самого момента, когда он впервые принял меня в своем кабинете в военном министерстве. Это, возможно, был самый простой кабинет, занимаемый когда-либо и где-либо премьер-министром: стол, кушетка, покрытая клеёнкой, пара стульев, маленькая книжная полка и светлый, но скромный ковер на полу — все, что наполняло комнату. Высокий плотного сложения мужчина в возрасте более пятидесяти лет поднялся из-за стола. Он был одет в простую военную униформу без единой медали, без лент и знаков отличия.

Меня представил посол Германии, граф фон дер Шуленбург (так как, хотя я и был австрийцем, я представлял крупное германское издание). Даже во время того первого, формального разговора я обратил внимание на мрачную динамичность натуры Ризы Хана. Из-под серых густых бровей пара энергичных коричневых глаз взирала на меня — персидские глаза, которые обычно прикрыты тяжелыми веками, — странное сочетание меланхолии и стойкости. Резкие линии окружали его нос и рот, но ширококостные черты выдавали наличие необычной силы воли, которая держала губы сжатыми и наполняла челюсти напряжением. Слушая его низкий и мелодичный голос — голос человека, привыкшего говорить важные слова и взвешивать каждое из них на языке прежде, чем ему было позволено превратиться в звук, — можно было подумать, что ты слушаешь человека с тридцатилетней карьерой штабного офицера или государственного деятеля за плечами. Тяжело было поверить, что только шесть лет назад Риза Хан был сержантом и лишь три года назад научился читать и писать.

Он, должно быть, почувствовал мой интерес к нему, а также, возможно, мое расположение к его народу, так как он настоял на том, чтобы это интервью не было последним, и пригласил меня и Шуленбурга на чай через неделю в его летней резиденции в Шемране, курорте с красивыми садами для отдыха в нескольких километрах от Тегерана.

Мы договорились с Шуленбургом, что я сначала приеду к нему (как большинство иностранных представителей, он также проводил лето в Шемране) и затем мы вместе отправимся к резиденции премьер-министра. Но случилось так, что я не смог прибыть вовремя. Несколько дней ранее я приобрел маленький четырехколесный охотничий экипаж с двумя горячими лошадьми. Насколько они были горячи, стало совершенно ясно в нескольких километрах от Тегерана, когда, следуя какому-то нечестивому порыву, они строптиво отказались ехать вперед и настаивали на возвращении домой. Около двадцати минут я боролся с ними; в конце концов я отдал лошадей и экипаж Ибрагиму, чтобы он доставил их домой, а сам отправился пешком в поисках другого вида транспорта. Три километра пешком привели меня к деревне, где, к счастью, я нашел дрожки, но, когда я прибыл в германское посольство, прошло уже полтора часа с назначенного времени. Я нашел Шуленбурга шагающим, как разъяренный тигр, по своему кабинету взад и вперед, вся его обычная обходительность улетучилась, ведь для его прусско-посольского чувства дисциплины такое нарушение пунктуальности было не менее чем кощунством. При виде меня он взорвался негодованием:

— Нельзя, нельзя так поступать с премьер-министром! Разве ты забыл, что Риза Хан диктатор и, как все диктаторы, чрезвычайно раздражителен?

— Мои лошади, должно быть, не учли этой тонкости, граф Шуленбург, — был мой единственный ответ. — Даже если бы это был император Китая, я бы не смог приехать раньше.

Тут граф обнаружил в себе снова чувство юмора и разразился громким смехом:

— Ей-Богу, такое еще никогда не случалось со мной! Пойдем тогда, будем надеяться, что лакей не захлопнет дверь перед нашим носом...

И он не захлопнул. Когда мы прибыли ко дворцу Ризы Хана, чайный вечер уже давно подошел к концу и все другие гости

разошлись, однако диктатор не казался и в малой степени оскорбленным тем, что я нарушил протокол. Услышав причины нашего опоздания, он воскликнул:

— Что ж, я бы хотел взглянуть на этих твоих лошадей! Я думаю, они должны принадлежать партии оппозиции. Я не знаю, но может, будет разумным, если полиция арестует их!

Пожалуй, мое непредвиденное осложнение скорее помогло, чем помешало, установлению легких неформальных отношений между всемогущим премьер-министром Ирана и молодым журналистом, что впоследствии сделало для меня возможным передвижение по стране с большей свободой, чем та, что предоставлялась большинству других иностранцев.

Однако письмо Али Ага подразумевает не Ризу Хана тех ранних лет, человека, который жил со скромностью, почти невероятной в любящем выставляться напоказ Иране; оно подразумевает Ризу Хана Пехлеви, который взошел на Павлиний трон в 1925 году; оно ссылается на короля, который оставил всякую претензию на скромность и теперь старается походить на Кемаля Ататюрка в строительстве тщеславного западного фасада к его древней восточной земле...

Я подхожу к концу письма:

Хотя ты и находишься теперь, дорогой друг, в священном городе Божьего Пророка, мы надеемся, что ты не забыл и никогда не забудешь твоего недостойного друга и его страну...

О Али Ага, друг моей молодости, «свет моего сердца», как ты бы сам выразился, твое письмо опьянило меня воспоминаниями: сделало опьяненным Персией точно так же, как я был опьянен тогда, когда я начал узнавать твою страну, тот старый, потускневший драгоценный камень, вставленный в древнее золото и потрескавшийся мрамор; и пыль, и тени — тени всех

тех дней и ночей в твоей унылой стране и с темными, мечтательными глазами твоих людей...

Я все еще помню Кирманшах, первый иранский город, который я увидел после того, как покинул горы Курдистана. Странная, потускневшая, густая атмосфера окружала город, укутанный, покоренный, если не сказать потрепанный. Без сомнений, в каждом восточном городе бедность лежит на поверхности, намного более обозримая, чем в любом другом западном городе, но к этому я уже привык. Это была не бедность в экономическом смысле, что пронзила мое сознание, так как Кирманшах, говорили, был богатым городом. То, что окутывало людей, было скорее из разряда подавленности, что-то, что было напрямую связано с ними и, казалось, не имело ничего общего с экономическими условиями.

Все эти люди имели большие черные глаза, утяжеленные грузными веками как вуалью, под густыми черными бровями, которые часто соединялись над переносицей. Большинство людей были худыми (я не могу вспомнить, чтобы я видел толстых людей в Иране); они никогда не смеялись громко, а в их молчаливой улыбке таилась слабая ирония, которая, кажется, скрывала больше, чем показывала. Никакой подвижности черт, никакой жестикуляции — только тихие, взвешенные движения, как будто они носили маски.

Как и во всех восточных городах, жизнь здесь была сосредоточена на базаре. Он показывался страннику как неяркое сочетание коричневого, коричнево-золотого и коверного красного с медными мерцающими тарелками и тазами там и сям, а также, возможно, голубой майоликой над дверьми караван-сарая с фигурами черноглазых рыцарей и крылатых драконов. Присмотревшись повнимательнее, можно было обнаружить на этом базаре все цвета мира, но ни один из этих разнообразных цветов не мог вполне реализовать себя в однородном полумраке, создаваемом сводами, которые покрывали базар и объединяли все в один спящий сумрак. Остроконечные арки куполовидного потолка имели отверстия для солнечного света, сделанные с регулярным интервалом.

Через эти отверстия проникали лучи солнечного света; в благовонном воздухе залов они приобретали свойство вещества и напоминали непрозрачные косые колонны света; и не люди казались идущими сквозь них, но они, сверкающие колонны, казалось, проходили сквозь тенистых людей...

Ведь люди на этом базаре были кроткими и тихими как тени. Если продавец звал прохожего, то делал это тихим голосом; никто из них не хвалил свой товар криками и песнями, как обычно делают на арабских базарах. Легкой поступью жизнь шагала здесь. Люди не толкались и не толпились тут. Они были вежливы, и вежливость эта, казалось, склонялась к тебе, но в действительности держала тебя на расстоянии. Они были естественно проницательны и не отказывались завести беседу с незнакомцем, но говорили лишь их губы. Их души находились где-то на фоне, отрешенно ожидали и обдумывали...

В чайных домах сидели некие люди из рабочего класса на соломенных матах, может быть ремесленники, рабочие, водители караванов. Они сидели скученно вокруг железных тазов с горящими углями. Две длинные трубки с округлыми фарфоровыми чашами ходили по кругу. Сладкий запах опиума витал в воздухе. Они курили без слов; каждый делал только несколько глубоких затяжек за раз, передавая трубку своему соседу. И затем я увидел то, что не наблюдал ранее: много, очень много людей курили опиум, кто-то публично, кто-то нет. Продавец за лавкой, праздношатающийся под арками ворот караван-сарая, кузнец по меди в своей мастерской в время передышки — они все курили с тем же самым отрешенным, немного уставшим лицом, пристально вглядываясь утомленными глазами куда-то в безразмерную пустоту...

Свежий, зеленый опийный мак с тяжелыми бутонами продавался повсюду на базаре и, очевидно, принимался в таком виде — еще один, более мягкий, вид приема опиума. Даже дети жевали семена в дверях и на углах. Двое-трое из них разделяли лакомство между собой с маститой снисходительностью по отношению друг к другу, без детского эгоизма, но и без детской радости или живости. Но разве могли они вести себя по-

другому? С самого раннего детства им давали пить тяжелый отвар семян опийного мака, как только они плакали или доставляли хлопоты родителям. Когда они выросли и начали бродить по улицам, границы между спокойствием, усталостью и добротой были уже размыты в них.

И тогда я понял, что тронуло меня так сильно, когда я впервые увидел меланхолию иранских глаз, — знак трагической судьбы в них. Я чувствовал, что опиум подходил им таким же образом, как улыбка страдания подходит лицу страдальца; он был частью их мягкости, их внутренней апатии; он даже сочетался с их огромной бедностью и огромной бережливостью. Он не казался таким уж пороком внешне, а может, даже и помогал. Помогал против чего? Странная земля вопросов...

Мой разум задерживается так долго на впечатлениях от Кирманшаха, первого иранского города на моем пути, потому что те впечатления продолжились в разных вариациях, но оставались всегда неизменными в основе на протяжении полутора лет, что я пребывал в Иране. Мягкая, проникающая меланхолия доминировала повсюду. Ее можно было чувствовать в деревнях и городах, в повседневных делах людей и в их религиозных празднествах. И конечно, их религиозное чувство, так непохожее на чувство арабов, несло в себе сильный оттенок грусти и скорби: рыдания над трагическими событиями, произошедшими тысячу триста лет назад (рыдания над смертью Али, мужа дочери Пророка, и смертью его двух сыновей, Хасана и Хусейна), для них, казалось, были более значимы, чем рассмотрение того, что представляет собой Ислам и какие направления он обозначает для человеческой жизни...

Много раз вечером во множестве городов можно было видеть группы мужчин и женщин, которые собирались на улице вокруг странствующего дервиша — одетого в белое религиозного попрошайки — с барсовой шкурой на спине, длинным топором в правой руке и вырезанной из кокоса чашей для милостыни в левой. Он декламировал наполовину песней, наполовину чтением балладу о борьбе за преемство в халифате, которая

последовала за смертью Пророка в седьмом веке, — скорбный рассказ о вере, крови и смерти. И баллада всегда была чем-то вроде этого:

Внемлите, о люди, тому, что выпало на долю избранных Богов и как кровь семени Пророка была пролита на земле.

Однажды был Пророк, которого Бог уподобил Городу Знаний; и Вратами к тому Городу служил самый верный и храбрый из его последователей, муж его дочери Али, Свет Мира, соучастник в миссии Пророка, называемый Львом Бога.

Когда Пророк умер, Лев Бога был его законным преемником. Но злодеи отняли Богом назначенное право Льва и сделали другого преемником Пророка; и после смерти первого самозванца другой того же сорта сменил его; и после него еще один.

И только после смерти третьего Воля Бога осуществилась и Лев Бога принял свое законное место как предводитель верующих.

Но враги Али и Бога были многочисленны; и в один день, когда он пал ниц перед своим Господом в молитве, меч убийцы сразил его замертво. Земля содрогнулась в муках перед сим богохульным деянием, и горы рыдали, и камни проливали слезы.

О, да пребудет проклятье Бога над нечестивцами, и да истребит их вечное наказание!

И снова злой узурпатор вышел и отрицал сыновей Льва Бога, Хасана и Хусейна, сыновей Блаженной Фатимы, отрицал их право на преемство трона Пророка. Хасан был оскорбительно пленен; и, когда Хусейн поднялся на защиту веры, его прекрасная жизнь была уничтожена на поле Кербелы в то время, как он присел около колодца с водой, чтобы утолить жажду после битвы.

О, да пребудет проклятье Бога на нечестивцами, и да продолжают ангелы вечно омыwać своими слезами священную почву Кербелы!

Голова Хусейна — голова, которую когда-то целовал Пророк, — была жестоко отрублена, и его обезглавленное тело было перенесено в палатку, где его рыдающие дети ожидали возвращения своего отца.

И с тех времен верующие взывают к Богу о проклятии грешников и оплакивают смерти Али, Хасана и Хусейна; и вы, о верующие, возвысьте голос в стенаниях над их смертью — ведь Бог прощает грехи тем, кто оплакивает семя Пророка...

И распеваемая баллада вызывала необузданные всхлипывания у слушающих женщин, и тихие слезы скатывались по лицам бородатых мужчин...

Такие крайние «стенания» были, конечно, далеки от реальной, исторической картины тех ранних событий, которые вызвали неизлечимый раскол в мире Ислама: разделение мусульманской общины на суннитов, которые составляют основную массу мусульманских народов и которые твердо стоят на принципах «избирательного» преемства в халифате, и шиитов, которые придерживаются мнения о том, что Пророк назначил Али, своего зятя, в качестве законного наследника и преемника. В действительности же, однако, Пророк умер, не назначая преемников, после чего один из его самых давних и самых преданных сподвижников, Абу Бакр, был избран халифом подавляющим большинством общины. После Абу Бакра пришел Омар и затем Усман; и только после смерти Усмана Али был избран возглавлять халифат. Не было ничего (и это я знал даже тогда в Иране) злого или порочного в трех предшественниках Али. Они были, без сомнений, самыми великими и самыми благородными фигурами исламской истории после Пророка, а также находились на протяжении многих лет в числе его самых близких сподвижников; и они, конечно же, не были «узурпаторами», так как их избрали люди свободным выбором — правом, предоставляемым им Исламом. И не их вступление

во власть, но скорее нежелание Али и его последователей принять всецело результаты того народного голосования привело к последующей борьбе за власть, к смерти Али, к превращению (во времена пятого халифа, Муавийя) исходной республиканской формы мусульманского государства в наследственное царствование и в конечном счете к смерти Хусейна в Кербеле.

Да, я знал все это до того, как приехал в Иран; но здесь я был поражен безграничными эмоциями, которые тот старый, трагический рассказ возрастом в тысячу триста лет все еще мог вызывать среди иранского народа при любом упоминании имен Али, Хасана или Хусейна. Я начал думать: «Не та ли внутренняя меланхолия иранцев и их чувство драматичного заставили их принять шиитскую доктрину? Или трагичность последней привела к этой глубокой иранской меланхолии?»

Постепенно, на протяжении месяцев, пугающий ответ начал формироваться в моей голове.

Когда в середине седьмого века армии халифа Омара завоевали древнее государство Сасанидов и принесли Ислам, зороастризм как вероисповедание уже давно редуцировался до неподвижного формализма и был, таким образом, неспособен эффективно противостоять новой динамичной идее, пришедшей из Аравии. Но в то время, когда арабское завоевание внезапно нахлынуло на него, Иран проходил через период социального и интеллектуального брожения, которое сулило надежду на национальное возрождение. Эта надежда на внутреннее, органическое пробуждение была разбита вдребезги арабским вторжением; и иранцы, оставляя собственную историческую стезю развития, стали отныне приспособляться к культурным и этическим концепциям, привнесенным извне.

Появление Ислама представляло в Иране, как и во многих других странах, огромный общественный прогресс: он уничтожил прежнюю кастовую систему Ирана и создал новое общество свободных и равноправных людей; он открыл новые пути для культурной деятельности, которая давно находилась в

состоянии сна и была невнятной. Но несмотря на все это, гордые потомки Дария и Ксеркса не смогли забыть навсегда то, что историческая последовательность их национальной жизни, органическая связь между их вчера и сегодня, была внезапно прервана. Народ, чей самый сокровенный характер нашел выражение в дуализме барокко религии Зенд и в почти пантеистическом поклонении четырем элементам — воздуху, воде, огню и земле, — теперь находился перед лицом строгого, непреклонного монотеизма Ислама и его страстью к Абсолюту. Переход был слишком резким и болезненным, чтобы позволить иранцам подчинить свое глубоко укоренившееся национальное сознание сверхнациональной идее Ислама. Несмотря на их быстрое и очевидно добровольное принятие новой религии, они подсознательно приравнивали победу исламской идеи иранскому национальному поражению; и ощущение того, что они потерпели поражение и были вырваны из контекста своего древнего культурного наследия, — чувство отчаянно острое, несмотря на свою неопределенность, — осталось разъедать их национальную самоуверенность на века. В противоположность такому большому количеству других наций, которым принятие Ислама дало почти немедленно самый позитивный импульс к дальнейшему культурному развитию, первой и самой долговременной реакцией иранцев на него были глубокое унижение и подавленная неприязнь.

Эта неприязнь *должна* была быть подавлена и задушена в темных уголках подсознания, ведь в то же самое время Ислам стал собственно верой Ирана. Но в их ненависти к арабскому завоеванию иранцы инстинктивно прибегли к тому, что психоанализ называет «сверхкомпенсацией»: они начали рассматривать веру, принесенную для них арабскими завоевателями, как нечто исключительно их собственное. Они сделали это с помощью неувимого преобразования рационального, немистического осознания Бога, присущего арабам, в его противоположность — мистический фанатизм и мрачную эмоцию. Вера, которая для араба означала присутствие, реальность и источник самообладания и свободы, развилась в голове иранца в темное стремление к сверхъестественному и символичному. Исламский принцип

непознаваемости природы Бога был переформулирован в мистическую доктрину (которой было множество аналогов в доисламском Иране) физического проявления Бога в специально выбранных смертных, которые передают эту божественную сущность своим потомкам. Для такой тенденции обручение с доктриной *шия* предоставляло самое желанное русло, так как не может быть никаких сомнений в том, что шиитское почитание, почти обожествление, Али и его потомков скрывало в себе зачаток идеи воплощения Бога и последовательной реинкарнации — идея, полностью чуждая Исламу, но слишком близкая иранскому сердцу.

Не было случайным и то, что Пророк Мухаммад умер, не выдвигая кандидатов в преемники, и, конечно, отказался назначить кого-либо, когда пожелание на этот счет было высказано незадолго до его смерти. Этой позицией он хотел передать, во-первых, что духовное качество Пророчества не является чем-то, что можно «унаследовать», и, во-вторых, что будущее руководство общиной должно быть результатом свободного избрания самих людей, но не «повелением» Пророка (что естественным образом подразумевалось бы назначением преемника). Таким образом, он умышленно исключил идею того, что руководство общиной может быть чем-то, помимо светского управления, или по природе своей может быть похоже на «апостольскую преемственность». Однако это было в точности то, что подразумевала концепция *шия*. Она не только настаивала — в полном противоречии с духом Ислама — на апостольской преемственности, но и закрепляла преемственность лишь от «Пророческого семени», то есть от его двоюродного брата и мужа дочери Али и от его прямых потомков.

И это было в полном согласии с мистическими предпочтениями иранцев. Однако, когда они с энтузиазмом присоединились к лагерю тех, кто провозгласил, что духовная сущность Мухаммада продолжала жить в Али и его потомках, иранцы не просто удовлетворили желание мистического — была еще одна подсознательная предпосылка для их выбора. Если Али был законным наследником и преемником Пророка, три халифа, что

предшествовали ему, должны были быть с неизбежностью узурпаторами, а среди них был Омар — тот самый Омар, который завоевал Иран! Национальная ненависть к завоевателю государства Сасанидов теперь могла быть рационально обоснована в терминах религии — религии, которая стала иранской: Омар «лишил» Али и его сыновей Хасана и Хусейна их предопределенного Богом права на преемство в исламском халифате и тем самым препятствовал воле Бога; следовательно, в повиновении воле Бога должно было поддерживать сторонников Али. И из национальной вражды зародилась религиозная доктрина.

В иранском возведении на престол доктрины *шия* я узрел немой протест против арабского завоевания Ирана. Теперь я понимал, почему иранцы проклинали Омара с ненавистью, куда более сильной, чем та, что была сбережена для других двух «узурпаторов»: Абу Бакра и Усмана, — с точки зрения догмата первый халиф, Абу Бакр, должен был бы рассматриваться как главный грешник, но именно Омар завоевал Иран...

Это тем самым служило причиной такой странной интенсивности, с которой семья Али почиталась в Иране. Ее культ представлял собой символический акт иранского возмездия аравийскому Исламу (который стоял так бескомпромиссно против обожествления всякой человеческой личности, включая таковую Мухаммада). Истинно, догмат *шия* не происходил из Ирана; были и другие шиитские группы в других мусульманских землях, но нигде более этот догмат не достиг такого полного овладения человеческими эмоциями и воображением. Когда иранцы давали выход своей скорби над смертью Али, Хасана и Хусейна, они рыдали не просто над уничтожением семьи Али, но также над собой и над утратой своей древней славы...

Они были меланхоличными, эти иранцы. Их меланхолия отражалась даже в иранском пейзаже: в бесконечных пространствах залежных земель, одиноких горных тропах и магистралях, разбросанных на большой площади деревнях из

глиняных домов, стадах овец, ведомых вечером серо-коричневыми волнами к колодцам. В городах жизнь капала медленными, непрерывными каплями, без усердия или веселья; все казалось укутанным сонным саваном, и каждое лицо несло на себе выражение праздного ожидания. Никогда не было слышно музыки на улицах. Если вечером внезапно начинал петь татарский мальчик из конюшни караван-сарая, удивленное ухо невольно прислушивалось. Публично пели лишь многочисленные дервиши, и они всегда пели ту же самую древнюю, трагическую балладу об Али, Хасане и Хусейне. Смерть и слезы переплетались около этих песен и ударяли в голову слушателя как тяжелое вино. Ужас печали, но добровольно, почти с жадностью, допускаемой печали, казалось, лежал поверх этих людей.

Летними вечерами в Тегеране можно было видеть мужчин и женщин, сидевших неподвижно возле каналов, что проходили по обеим сторонам улицы под сенью огромных вязов. Они сидели и пристально смотрели на поток воды. Они не разговаривали. Они лишь слушали журчание воды и шуршание веток над головами. Всякий раз, как я видел их, я думал о псалме Давида: *«У рек Вавилона, там сидели мы, да, мы плакали...»*

Они сидели у края каналов подобно огромным, онемевшим, черным птицам, забывшимся в безмолвном созерцании текущей воды. Обдумывали ли они долгую, затянувшуюся мысль, которая была их частью и принадлежала только им? Ждали ли они?.. Чего?

И Давид продолжал: *«На вербах, посреди него, повесили мы наши арфы...»*

- 3 -

— Пойдем, Зейд, пора, — и я кладу письмо Али Ага в карман и встаю, чтобы попрощаться с Аз-Зугайби. Но он качает головой:

— Нет, брат, позволь Зейду остаться здесь со мной немного. Если ты слишком скуп на рассказы обо всем, что произошло с тобой за последние месяцы, дай ему рассказать вместо тебя. Или ты думаешь, что твоих друзей более не заботит то, что происходит с тобой?

<http://tomecca.ruslim.org>
<https://inuritdino.github.io/TheRoadToMecca>

Даджалъ

- 1 -

Я вхожу в извилистые переулки самой старой части Медины: каменные стены домов, укоренившиеся в полумраке, выступающие окна и балконы, свисающие над уличными проходами, напоминающими теснины, которые так узки местами, что два человека едва могут пройти мимо друг друга. Я останавливаюсь перед серым каменным фасадом библиотеки, построенной около ста лет назад одним турецким ученым. Во внутреннем дворе позади кованой бронзовой решетки ворот — манящая тишина. Я прохожу сквозь выложенный каменными плитами двор мимо единственного дерева, стоящего посередине с неподвижными ветвями, и вхожу в крытый зал с рядами книжных полок — тысячи рукописных книг, среди которых одни из самых редких рукописей, известных в исламском мире. Именно книги, как эти, принесли славу исламской культуре, славу, которая прошла, как ветер вчерашнего дня.

Я смотрю на эти книги в тисненном кожаном переплете — и разница между мусульманским Вчера и Сегодня поражает меня болезненным ударом...

— Что мучает тебя, сын мой? Из-за чего такое выражение горечи на твоём лице?

Я поворачиваюсь по направлению к голосу и вижу сидящую на ковре между окнами эркера низкую фигуру моего старого друга, Шейха Абдуллы Ибн Булайхида, с фолиантом на коленях. Его пронизательные, иронические глаза приветствуют меня теплым блеском, когда я целую его в лоб и присаживаюсь рядом с ним. Он — величайший ученый из всех *уляма* Наджда и, несмотря на определенную догматическую ограниченность, характерную для точки зрения Ваххаби, является одним из самых блестящих умов, которые когда-либо встречались мне в мусульманских странах. Его дружба внесла огромный вклад в становление моей жизни в Аравии легкой и приятной, ведь в королевстве Ибн Сауда его слово значит больше, чем слово любого другого человека, за исключением самого короля. Он закрывает свою книгу быстрым движением и притягивает меня к себе, глядя на меня вопросительно:

— Я думал, о Шейх, как далеко мы, мусульмане, ушли от этого, — и я указываю на книги на полках, — к нашим современным бедствиям и упадку.

— Сын мой, — отвечает старик, — мы лишь пожинаем плоды того, что сами посеяли. Однажды мы были великими, и именно Ислам сделал нас великими. Мы несли миссию. Пока мы оставались преданными той миссии, наши сердца вдохновлялись, а умы освещались; однако как только мы забыли, для какой цели мы были избраны Всемогущим, мы пали. Мы ушли так далеко от этого, — и *шейх* повторяет мой жест в направлении книг, — потому что мы ушли далеко от того, чему Пророк — да благословит его Бог и дарует ему мир — учил нас тринадцать веков назад...

— А как идет твоя работа? — спрашивает он после паузы, так как он знает, что я занимаюсь изучением ранней исламской истории.

— Я должен признаться, о Шейх, не очень хорошо. Я не могу найти покоя в сердце и не знаю почему. И поэтому я снова принялся за странствования по пустыне.

Ибн Булайхид смотрит на меня улыбающимися, прищуривающимися глазами — те мудрые, проникающие глаза — и покручивает свою окрашенную хной бороду:

— Ум возьмет должное, и тело возьмет должное... Тебе нужно жениться.

Я знаю, конечно, что в Наджде женитьба рассматривается как решение почти любой проблемы, и поэтому я не могу удержаться от смеха:

— Но Шейх, ты хорошо знаешь, что я женился снова лишь два года назад, и в этом году у меня родился сын.

Старик пожимает плечами:

— Если сердце мужчины в покое с его женой, он остается дома как можно дольше. Ты не остаешься дома долго... И к тому же никогда не вредило мужчине жениться на второй жене, — (он сам, несмотря на свой возраст в семьдесят лет, имеет три жены в настоящее время, и мне говорили, что самая младшая, на которой он женился пару месяцев назад, едва достигла шестнадцати лет).

— Может быть, — возражаю я, — мужчине не вредит взять в жены вторую жену, но как быть с первой? Не навредит ли ей данное обстоятельство?

— Сын мой, если женщина удерживает сердце ее мужчины полностью, он и не подумает о женитьбе на другой и не будет нуждаться в этом. Но если его сердце не полностью с ней, получит ли она что-нибудь, сохраняя его себе таким равнодушием?

Конечно же, не существует ответа на это. Ислам побуждает — само собой разумеется — к моногамным бракам, однако позволяет мужчине жениться не более чем на четырех женах в исключительных случаях. Можно спросить, почему подобная свобода не была дана и женщине; но ответ прост. Независимо от духовного аспекта любви, которая вошла в жизнь человека в

ходе его развития, основной *биологической* причиной полового влечения в обоих полах является деторождение: тогда как женщина может в одно время иметь ребенка только от одного мужчины и должна вынашивать его на протяжении девяти месяцев, прежде чем она сможет зачать другого, мужчина устроен так, что он может быть отцом каждый раз, как он соединяется с женщиной. Таким образом, если природа была бы попросту расточительна, произведи она полигамный инстинкт в женщине, несомненная мужская склонность к полигамии является с точки зрения природы биологически оправданной. Очевидно, что биологический фактор является лишь одним — и отнюдь не всегда самым главным — из мотивов любви; и все-таки он является основным фактором и, следовательно, имеет вес в общественном институте брака как таковом. С мудростью, которая всегда в полной мере считается с человеческой природой, исламский закон гарантирует не более чем сохранность общественно-биологической функции брака (которая, безусловно, также включает заботу о потомстве), позволяя мужчине иметь более чем одну жену и не позволяя женщине иметь более чем одного мужа в одно и то же время, тогда как духовная проблема брака, не поддающаяся определению и, следовательно, находящаяся вне компетенции закона, возлагается на благоразумие супругов. Где бы любовь ни была полной и взаимодополняющей, вопрос второго брака естественным образом отпадает для каждого из супругов. Если же муж не любит свою жену всем сердцем, но все же не желает терять ее, он может взять в жены другую при условии, что первая жена согласна на такое разделение его чувств, но, если она не может согласиться на это, она может получить развод и свободна выйти замуж снова. В любом случае — ведь брак в Исламе является не таинством, но гражданско-правовым договором — дверь к разводу всегда открыта любому из супругов, тем более что клеймо позора, которое присовокупляется к разводу в той или иной степени где-либо еще, отсутствует в мусульманском обществе (за исключением, возможно, мусульман Индии, на которых повлиял в этом отношении многовековой контакт с индуистским обществом, в котором развод категорически запрещен).

Свобода, которую исламский закон предоставляет и мужчинам, и женщинам для вступления в брак и его расторжения, объясняет, почему прелюбодеяние рассматривается как одно из самых отвратительных преступлений, ведь с учетом такой благосклонности никакие эмоциональные или чувственные сплетения не могут быть отговоркой. Верно то, что в течение веков мусульманского спада общественный обычай часто затруднял для женщин свободное осуществление своего права на развод в той мере, в которой предписал Законодатель; однако в этом стоит винить не Ислам, но обычай; точно так же, как обычай, а не исламский закон, повинен в изоляции, в которой женщины пребывали так долго в столь многих мусульманских странах, ведь ни в Коране, ни в жизненном примере Пророка мы не находим оснований такой практике, которая позднее получила распространение в мусульманских сообществах Византии.

Шейх Ибн Булайхид прерывает мой внутренний монолог понимающим взглядом:

— Нет нужды торопить решение. Оно придет к тебе, сын мой, как только ему будет суждено прийти.

- 2 -

Тишина в библиотеке; мы с *шейхом* одни в куполообразной комнате. Из маленькой близлежащей мечети мы слышим призыв на вечернюю молитву; и мгновение спустя тот же самый призыв повторяется с пяти минаретов мечети Пророка, которые, хоть и не видны нам теперь, смотрят так торжественно, полные нежной гордости, поверх зеленого купола. *Муаззин* на одном из минаретов начинает призыв: «*Аллаху акбар...* Бог превыше всего, Бог превыше всего...» — глубоким, низким голосом в минорной тональности с медленно поднимающимися и опускающимися долгими переходами. До того как он

закончил эту первую фразу, *муаззин* на ближайшем к нам минарете включился тоном немного выше: «... превыше всего, Бог превыше всего!» И тогда как на третьем минарете вырастает медленно тот же распев, первый *муаззин* уже закончил первую строфу и начинает — теперь под аккомпанемент отдаленных полифонических звуков первой фразы с четвертого и пятого минаретов — вторую строфу: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Бога!» А в это время голоса со второго и затем с третьего минаретов соскальзывают на мягких крыльях: «... и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Бога!» Тем же способом каждая строфа повторяется дважды каждым из пяти *муаззинов*, призыв продолжается: «Вставайте к молитве, вставайте к молитве. Торопитесь к вечному счастью!» Каждый из голосов, кажется, будит другие и притягивает их ближе друг к другу, только чтобы ускользнуть самому и перехватить мелодию в другом месте, и так голоса переносят призыв к заключительной строфе: «Бог превыше всего, Бог превыше всего! Нет бога, кроме Бога!»

Это звучное, пышное слияние и расхождение голосов не похоже ни на одно пение человека. И пока мое сердце, выскакивая из груди, колотится в восторженной любви к этому городу и к его звукам, я начинаю ощущать, что все мои блуждания всегда имели лишь одну цель — уловить смысл этого призыва...

— Пошли, — говорит Шейх Ибн Булайхид, — пойдем в мечеть на молитву *магреб*.

Священная Мечеть, или *Харам*, Медины приобрела свою нынешнюю форму в середине прошлого века, но некоторые части ее намного старше: некоторые датируются временем египетской династии Мамлюков, а некоторые даже ранее. Центральный зал, в котором находится могила Пророка, покрывает в точности ту же самую площадь, что и здание, воздвигнутое третьим халифом, Усманом, в седьмом веке. Над ним возвышается большой зеленый купол, украшенный на внутренней стороне цветным орнаментом. Большое количество рядов из тяжелых мраморных колонн поддерживает крышу и

гармонично разделяет внутреннюю часть. Мраморный пол уложен богатыми коврами. Изысканно отделанные бронзовые светильники примыкают к каждому из трех *михрабов* — полукруглые ниши, направленные в сторону Мекки и украшенные изящными фаянсовыми плитками в белом и голубом, один *михраб* всегда служит местом для *имама*, ведущего коллективную молитву. На длинных медных цепочках свисают сотни стеклянных и хрустальных шаров; ночью они подсвечиваются изнутри маленькими лампами, которые работают на оливковом масле и распространяют мягкое мерцание по рядам молящихся людей. Днем зеленоватый полумрак наполняет мечеть и делает ее похожей на дно озера: как будто сквозь толщу воды человеческие фигуры скользят босиком по коврам и мраморным плитам, как будто отделенный стеной из воды голос *имама* доносится во время молитвы из конца огромного зала, приглушенный и без эха.

Могила Пророка не видна, так как она покрыта тяжелым парчовым занавесом и окружена бронзовой решеткой, переданной в пятнадцатом веке мамлюкским султаном из Египта, Каит Беем. На самом деле, не существует никакой могильной постройки как таковой, так как Пророк был похоронен под земляным полом той самой комнаты маленького дома, в котором он жил и умер. Позднее стена без дверей была выстроена вокруг дома, которая наглухо закрыла его от внешнего мира. При жизни Пророка мечеть находилась в непосредственной близости от его дома; с течением времени, однако, она была расширена далеко за пределы дома, вширь и ввысь.

Длинные ряды ковров расстелены на камнях открытого дворика внутри мечети; мужчины рядами сидят на них, читая Коран, разговаривая друг с другом, размышляя или просто отдыхая в ожидании вечерней молитвы. Ибн Булайхид кажется погруженным в бессловесную молитву.

Издалека доносится голос, читающий по заведенному обычаю перед вечерней молитвой часть из Священной Книги. Сегодня это девяносто шестая *сура*, самая первая ниспосланная

Мухаммаду, начинающаяся словами: «Читай с именем Господа Твоего...» Именно эти слова составляли Божественный зов, который впервые снизошел на Мухаммада в пещере Хира, возле Мекки.

Он молился в уединении, как и много раз до этого, молился для просветления и наставления на истинный путь, когда вдруг перед ним появился ангел и скомандовал: «Читай!». И Мухаммад, который, как и большинство людей его среды, никогда не учился читать и, сверх того, не знал, что именно хотят, чтобы он прочитал, ответил: «Я не могу читать». Тогда ангел взял его и прижал к себе так, что Мухаммад почувствовал, что теряет все силы; затем он отпустил его и повторил команду: «Читай!» И снова Мухаммад ответил: «Я не умею читать». Тогда ангел сжал его снова, пока он не начал прихрамывать, думая, что умрет; и снова раздался грохочущий голос: «Читай!» И когда в третий раз Мухаммад прошептал сквозь боль, что не умеет читать, ангел отпустил его и сказал:

*Читай с именем Господа Твоего, Который
сотворил,
Сотворил человека из маленькой клеточки!
Читай, и Твой Господь Наищедрейший:
Он научил посредством пера,
Научил человека тому, чего он не знал...*

И так с указанием на человеческое сознание, интеллект и знание началось откровение Корана, которое продолжалось двадцать три года до смерти Пророка в Медине в возрасте шестидесяти трех лет.

Эта история его первого опыта божественного откровения напоминает нам в некотором смысле борьбу Иакова с ангелом, представленную в Книге Бытия. Но, в то время как Иаков боролся, Мухаммад уступил объятиям ангела со страхом и болью, пока не почувствовал, что «теряет все силы», и пока в нем не осталось ничего, кроме способности внимать голосу, о котором нельзя было более сказать, откуда он исходит: снаружи или изнутри. Он не знал еще, что впредь ему придется быть

полным и пустым в одно и то же время: человеком, наполненным человеческими устремлениями, желаниями и сознанием своей собственной жизни, и в то же время пассивным инструментом получения Послания. Невидимая книга Вечной Истины — истины, которая одна дает смысл всем существующим вещам и событиям, — была раскрыта перед его сердцем в ожидании быть понятой; и ему было велено «читать» ее миру, чтобы другие люди смогли, возможно, понять то, «чего они не знали» и, конечно же, не могли узнать сами.

Ужасные последствия этого видения потрясли Мухаммада; он, подобно Моисею перед горящим кустом, посчитал себя недостойным величественного положения пророчества и дрожал при мысли, что Бог мог избрать его. Нам говорят, что он вернулся обратно в город в свой дом и позвал свою жену, Хадиджу: «Укутай меня, укутай меня!» — ведь он весь дрожал как осиновый лист. И она укутала его в одеяло, и постепенно его дрожь прошла. Затем он рассказал ей то, что произошло с ним, и сказал: «Воистину, я опасюсь за самого себя». Но Хадиджа с проницательностью, которую может дать только любовь, сразу поняла, что он боялся важности миссии, которая стояла перед ним; и она ответила: «Нет, клянусь Богом! Никогда Он не возложит задания на тебя, с которым ты не сможешь справиться, и никогда Он не унизит тебя! Ведь, вне всякого сомнения, ты хороший человек: ты исполняешь свои обязанности по отношению к родственникам и помогаешь слабым и нуждающимся, ты щедр к гостю и облегчаешь тому, кто пребывает в страдании». Чтобы успокоить его, она отвела своего мужа к Уараке, ученому мужу и ее двоюродному брату, который был христианином много лет и, согласно преданию, мог читать Библию на иврите; в то время он был уже старцем и ослеп. И Хадиджа сказала: «О сын моего дяди, внемли этому родственнику твоему!» И когда Мухаммад изложил то, что он испытал, Уарака поднял свои руки в благоговейном страхе и сказал: «То был Ангел Откровения, тот же самый, которого Бог посылал к Своим прежним пророкам. О, если бы я только был молод! Если бы только я остался жив и смог помочь тебе, когда твой народ изгонит тебя!» Тогда Мухаммад спросил, потрясенный: «Почему им понадобится изгонять меня?» И

мудрый Уарака ответил: «Да, они изгонят тебя. Никогда еще не приходил человек к своему народу с тем, что пришло к тебе, кроме как его подвергали гонениям».

И они притесняли его... тринадцать лет, пока он не оставил Мекку и не переехал в Медину. Ведь мекканцы всегда были черствы сердцем...

А все же, так ли сложно понять черствость сердец большинства мекканцев, которую они выказали, услышав в первый раз призыв Мухаммада? Лишенные всяких духовных стараний, они знали лишь практические устремления, ведь они верили, что жизнь может расшириться только за счет расширения средств, с помощью которых улучшаются внешние условия существования. Таким людям мысль о предании себя без всяких оговорок моральному требованию — ведь *Ислам* буквально означает «предание себя Богу» — могла, вероятно, показаться нестерпимой. К тому же учение Мухаммада угрожало устоявшимся нормам и клановому устройству жизни, столь милому мекканцам. Когда он начал проповедовать Единственность Бога и изобличать в поклонении идолам самый большой грех, они увидели в этом не просто нападение на традиционные верования, но также и попытку уничтожить общественный уклад их жизни. В частности, им не нравилось, что Ислам диктует им, что делать в областях, которые они считали чисто «светскими», вне сферы религии: экономика, вопросы общественной справедливости и поведения людей в целом, — так как такое вмешательство не очень согласовывалось с их предпринимательскими привычками, распутством и тем, что рассматривалось ими как родовое благо. Для них религия была личным делом — вопросом отношения, нежели поведения.

Теперь же это было полной противоположностью тому, что Аравийский Пророк имел в виду, когда говорил о религии. Для него общественные порядки и установления очень даже относились к ведению религии, и он несомненно удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что религия является делом личной морали и только и не имеет ничего общего с

общественным поведением. Именно эта характерная черта его послания, более чем что-либо другое, сделало его настолько неудобным для язычников Мекки. Если бы не его вмешательство в социальное устройство, их недовольство Пророком было бы намного менее выраженным. Несомненно, они были бы все еще раздражены Исламом, поскольку его теология конфликтовала с их собственными религиозными взглядами, но, скорее всего, они бы смирились с ним после некоторого начального роптания — так же как они смирились немного ранее с единичными случаями проповедования христианства, — если бы только Пророк последовал примеру христианских священников и ограничился призывом людей к вере в Бога, к молитве Ему о спасении и к праведному поведению в личных делах. Однако он не последовал христианскому примеру и не ограничился вопросами веры, обряда и личной морали. Как мог он? Разве его Бог не велел ему молить: «О Господи, дай нам благо в этой жизни и благо в следующей»?

В самой структуре этого коранического предложения «благо этой жизни» предшествует «благу следующей»: во-первых, потому что настоящее предшествует будущему и, во-вторых, потому что человек так устроен, что он должен искать удовлетворения своих физических, мирских нужд прежде, чем он сможет слушать зов духа и искать блага того света. Послание Мухаммада не требовало от духовности быть чем-то противоположным или оторванным от физической жизни: оно покоилось полностью на представлении о том, что дух и плоть есть лишь различные стороны одной и той же реальности — человеческой жизни. Таким образом, по природе вещей он не мог довольствоваться простым возвращением моральных принципов в отдельных личностях, но должен был стремиться перевести эти принципы в определенную общественную программу, которая бы обеспечивала каждого члена общества наибольшей степенью физических и материальных благ и таким образом наибольшим потенциалом к духовному росту.

Он начал говорить людям, что *«дела являются частью веры»*, ведь Бог желает не просто веры от человека, но также его или ее деяний, особенно таких деяний, которые влияют на других

людей. Он проповедовал самой яркой фигуральностью речи, которую только Бог вложил в его уста, о зле притеснения слабых сильными. Он выдвинул неслыханный доселе тезис о том, что мужчины и женщины равны перед Богом и что все религиозные обязанности и чаяния применимы и к тем, и к другим; он даже пошел дальше, объявив к ужасу всех благоразумных мекканцев-язычников, что женщина является полноправной личностью, и не просто по причине ее взаимоотношений с мужчинами в качестве матери, сестры, жены или дочери, и что, следовательно, она имеет право на собственность, на свое дело и на добровольное распоряжение собою в браке! Он осудил всякие игры на удачу и все формы опьяняющих веществ, так как, выражаясь словами Корана, «огромное зло и некоторое преимущество находятся в них, но все же зла больше, чем преимуществ». И вдобавок ко всему он противостоял традиционному эксплуатированию человека человеком; был против прибыли от процентных ссуд; против частных монополий и скупки товара с целью повышения цены; против азартных игр на возможных нуждах других людей — то, что сегодня мы называем «спекуляцией»; против разрешения конфликтов через призму клановости и групповой принадлежности — «национализм», выражаясь современным языком. Конечно же, он отрицал всякую нравственную законность племенных симпатий и предпочтений. В его глазах единственным законным — то есть этически допустимым — мотивом к общественному группированию была не случайность общего происхождения, но свободное, осознанное принятие людьми общей точки зрения на жизнь, а также общая мера моральных ценностей.

В действительности Пророк настаивал на основательном пересмотре почти всех социальных концепций, которые до тех пор рассматривались как неизменные, и таким образом, как выразились бы сегодня, он «привнес религию в политику» — совершенно революционное нововведение в те времена.

Правители языческой Мекки были убеждены, как и большинство людей во все времена, что общественные устои, мысленные стереотипы и обычаи, в которых они были

воспитаны, являются самыми лучшими из тех, которые могут существовать. Следовательно, было естественным то, что они противостояли попытке Пророка привнести религию в политику — то есть сделать осознание Бога отправной точкой всякого общественного изменения — и осудили ее как безнравственную, бунтарскую и «противную всем правилам приличия». И когда стало очевидным то, что он не был простым мечтателем, но знал, как вдохновить людей к действию, защитники устоявшегося порядка прибегли к решительному сопротивлению и начали преследовать его и его последователей...

Так или иначе все пророки бросали вызов «устоявшемуся порядку» их времени; и разве является удивительным то, что большинство из них подвергалось гонениям и осмеянию их народом? И разве является удивительным то, что последний из них, Мухаммад, подвергается насмешкам и глумлению на Западе сегодня?

- 3 -

Как только вечерняя молитва подходит к концу, Шейх Ибн Булайхид становится центром заботливого круга бедуинов и горожан Наджда, жаждущих извлечь пользу из его мудрости и знания мира, тогда как сам он всегда горит желанием услышать о том, что люди могут сказать ему о своих впечатлениях и путешествиях в отдаленные уголки. Длинные путешествия совершенно нередки среди жителей Наджда; они называют себя сами *ахл аш-шидад* («люди седла»), и для многих из них действительно верблюжье седло более знакомо, чем кровать в доме. Оно несомненно весьма знакомо молодому бедуину Харб, который только что закончил рассказывать *шейху* о том, что приключилось с ним в его недавнем путешествии в Ирак, где он видел, впервые в своей жизни, людей *фаранжи*, то есть европейцев (которые обязаны этим наименованием франкам, с которыми арабы столкнулись во времена крестовых походов).

— Скажите мне, о Шейх, почему *фаранжи* всегда носят шляпы, которые затевают их глаза? Как они могут увидеть небо?

— Это как раз то, чего они не хотят увидеть, — отвечает *шейх*, подмигивая в мою сторону. — Возможно, они боятся, как бы лицемерие неба не напомнило им о Боге, а они не хотят помнить о Боге в будние дни...

Мы все смеемся, однако молодой бедуин настойчив в поиске знаний:

— Тогда почему Бог так щедр к ним и дает им богатства, которых Он лишает верующих?

— О, это просто, сын мой. Они поклоняются золоту, поэтому их божество находится у них в кармане... Но мой друг вот здесь, — и он кладет свою руку на мое колено, — знает о *фаранжи* больше, чем я, ведь он происходит из них: Господь, да возвеличится Имя Его, вывел его из той тьмы к свету Ислама.

— Это так, о брат? — спрашивает нетерпеливый молодой бедуин.

— Правда ли то, что ты и сам был *фаранжи*? — и когда я кивнул, он прошептал: — Хвала Всевышнему, хвала Всевышнему, Он наставляет всякого, кого пожелает... Скажи мне, брат, почему *фаранжи* так беспечны в отношении к Богу?

— Это долгая история, — отвечаю я, — и ее не пересказать в двух словах. Все, что я могу сказать тебе теперь, так это то, что мир *фаранжи* стал миром *Даджала*, обольщающего, обманчивого. Слышал ли ты когда-нибудь предсказание нашего Святого Пророка о том, что к концу времен большая часть мира последует за *Даджалем*, веруя в него, как в Бога?

И в то время как он смотрит на меня вопросительно, я пересказываю, с видимого разрешения Шейха Ибн Булайхида, пророчество о появлении того апокалиптического существа, *Даджала*, который будет слеп на один глаз, но наделен таинственными силами, предоставленными ему Богом. Он будет слышать своими ушами то, что говорится в самых отдаленных

уголках земли, и будет видеть одним глазом вещи, которые происходят на бесконечных расстояниях; он будет облетать вокруг земного шара в течение дней и заставлять богатства из золота и серебра внезапно появляться из-под земли; он будет вызывать дожди и рост растений по своей команде; он будет умерщвлять и снова оживлять — и так все те, чья вера слаба, будут думать, что он и есть Сам Бог, и падут ниц перед ним в поклонении. Но те, чья вера сильна, будут читать то, что написано огненными буквами на его лбу: «*Отрицающий Бога*», — и тем самым они узнают, что он является лишь обманом для проверки веры человека на прочность...

И пока мой бедуинский друг смотрит на меня с широко открытыми глазами и бормочет: «У Бога я ищу спасения», — я поворачиваюсь к Ибн Булайхиду:

— Разве эта притча, О Шейх, не является подобающим описанием современной технической цивилизации? Она «одноглазая», то есть смотрит лишь на одну сторону жизни — материальный прогресс — и не знает ее духовную сторону. С помощью своих механических чудес она позволяет человеку видеть и слышать гораздо дальше и лучше своих естественных возможностей, а также покрывать безграничные просторы на немыслимой скорости. Ее научное знание вызывает «дожди и рост растений», а также открывает непредвиденные богатства под землей. Ее медицина дает жизнь тем, кто, казалось, был обречен на смерть, тогда как ее войны и научные трагедии уничтожают жизнь. И ее материальный прогресс настолько силен и настолько соблазнителен, что слабые в вере начинают верить, что она и является по праву божеством; но те, кто остался сознающим Своего Создателя, четко распознают — поклоняться *Даджалю* означает отрицать Бога...

— Ты прав, о Мухаммад, ты прав! — восклицает Ибн Булайхид, с волнением ударяя по моему колену. — Мне никогда не доводилось смотреть на пророчество *Даджаля* в этом свете, но ты прав! Вместо признания того, что человеческие достижения и научный прогресс являются щедротами от Господа нашего,

все больше и больше людей в своем безрассудстве начинают думать, что все это есть самоцель и заслуживает поклонения.

Да, думаю я про себя, западный человек искренне отдался поклонению *Даджалю*. Он уже давно потерял все целомудрие, всю внутреннюю интеграцию с природой. Жизнь стала головоломкой для него. Он сомневается и затем изолируется от своего брата, оставаясь один на один с самим собой. Чтобы не сгинуть в этом одиночестве, он должен стремиться доминировать над жизнью с помощью внешних приспособлений. Бытность живым, сама по себе, не может более даровать ему внутреннюю уверенность: он обязан всегда бороться за нее, с болью, мгновение за мгновением. Потому что он потерял всякое метафизическое направление и решил обойтись без него, он должен постоянно изобретать себе механических помощников — отсюда неистовая, отчаянная стремительность его технологий. Он изобретает каждый день новые машины и дает каждой из них что-то от своей души, чтобы сделать их защитниками своего существования. И они защищают его; но вместе с тем они создают для него все новые нужды, новые опасности, новые страхи и неутолимую жажду еще более новых, но искусственных помощников. Его душа теряет саму себя в еще более дерзновенных, еще более фантастических, еще более могучих зубчатых передачах изобретательных машин; и машина теряет свое предназначение — быть защитником и обогатителем человеческой жизни — и превращается в независимое божество, пожирающий Молох из стали. Жрецы и проповедники этого ненасытного божества, кажется, не понимают, что скорость современного технического прогресса является результатом не только положительного роста знания, но также духовной безысходности; и великие материальные достижения, в свете которых западный человек провозглашает свою волю к заполучению господства над природой, имеют, в своих самых сокровенных мотивах, защитный характер: позади сверкающих фасадов таится страх Неизвестного.

Западная цивилизация не смогла найти гармоничный баланс между телесными, общественными нуждами человека и его духовными стремлениями; она отреклась от своей прежней религиозной этики и так и не смогла породить другой нравственной системы, которая, какой бы умозрительной она ни была, прельстила бы разум. Несмотря на все свои достижения в образовании, она не смогла преодолеть глупую готовность человека пасть жертвой любого, иногда очень даже нелепого, лозунга, который умные демагоги считают уместным придумать. Она довела метод «организации» до изящного искусства, и тем не менее народы Запада каждый день демонстрируют совершенную беспомощность в управлении силами, порожденными их учеными, и теперь достигли стадии, на которой явно безграничные научные возможности идут рука об руку со всемирным хаосом. Не имея поистине полноценной религиозной направленности, западный человек не может извлечь нравственной пользы из света знания, который его — без сомнения великая — наука изливает. К нему можно применить слова из Корана:

Их пример — пример людей, которые разожгли огонь. Но когда он излил свой свет вокруг них, Бог забрал их свет и оставил их в темноте, в которой они не могут видеть: глухие, немые, слепые, — и все же они не возвращаются.

И все же в своей кичливой слепоте люди Запада убеждены, что именно их цивилизация принесет свет и счастье миру... В восемнадцатом и девятнадцатом веках они думали распространить благую весть христианства на весь мир; теперь же, когда их религиозный пыл угас настолько, что они рассматривают религию как не более чем утешающее музыкальное сопровождение, которому разрешается сопровождать, но не формировать «настоящую» жизнь, они начали распространять вместо этого материалистическую благую весть «западного стиля жизни» — вера в то, что все человеческие проблемы могут быть решены на заводах, в лабораториях и за столами статистиков.

И таким образом *Даджаль* вступил в свои права...

- 4 -

На долгое время наступает тишина. Затем *шейх* начинает говорить снова:

— Было ли такое понимание того, что означает *Даджаль*, причиной принятия тобою Ислама, сын мой?

— В какой-то степени, я полагаю, оно сыграло свою роль; однако то был лишь последний шаг.

— Последний шаг... да, ты рассказывал мне историю твоего пути к Исламу, но когда и как в точности тебя начало осенять, что Ислам может быть твоей целью?

— Когда? Дайте подумать... Думаю, что это случилось в один зимний день в Афганистане, когда моя лошадь потеряла подкову и мне пришлось искать кузнеца в деревне, которая располагалась в стороне от моего маршрута; там был человек, который сказал мне: «Но ты и есть мусульманин, только ты не подозреваешь об этом сам...» Это случилось за восемь месяцев до того, как я принял Ислам... Я был на пути из Херата в Кабул...

Я был на пути из Херата в Кабул, я ехал вместе с Ибрагимом и афганским кавалеристом через погребенные в снегу горные долины и ущелья Хинду-Куш в центральной части Афганистана. Было холодно, и снег блестел, и со всех сторон вздымались отвесные горы, черные и белые.

Мне было грустно, и в то же самое время я был счастлив тем днем. Мне было грустно, потому что люди, с которыми я жил последние несколько месяцев, казалось, были отделены непроницаемой завесой от света, мощи и развитости, которые их вера могла бы дать им; и я был счастлив, потому что свет,

мощь и развитость той веры предстали так близко перед моими глазами, как черные и белые горы вокруг, — их можно было почти коснуться.

Моя лошадь начала хромать, и что-то звякнуло у ее копыта: железная подкова ослабла и висела теперь только на двух гвоздях.

— Есть ли где-нибудь поблизости деревня, где можно было бы найти кузнеца? — спросил я нашего афганского товарища.

— Деревня Дех-Занги находится меньше чем в пяти километрах отсюда. Там есть кузнец, и замок *хакима* Хазараджат находится там.

Итак, по сверкающему снегу мы медленно отправились в Дех-Занги, чтобы не утомить мою лошадь.

Хаким, или губернатор района, оказался низкорослым молодым человеком с веселым выражением лица; дружелюбный, он был рад иностранному гостю в одиночестве своего скромного особняка. Хотя он и был близким родственником короля Амануллы, он являлся одним из самых непритязательных людей, которых я встречал за все свое время в Афганистане. Он принудил меня остаться с ним на несколько дней.

Вечером на второй день моего пребывания мы сидели вместе как обычно за богатым ужином, после которого человек из деревни развлекал нас балладой, распеваемой под сопровождение трехструнной лютни. Он пел на пушту — языке, который я не понимал, — но некоторые персидские слова, используемые им, вырастали живо на фоне теплой, устланной коврами комнаты и холодного мерцания снега, которое проникало через окна. Он пел, помню я, о борьбе Давида с Голиафом — о борьбе веры с грубой силой, — и, хотя я не мог полностью понять слов песни, ее сюжет был ясен для меня, так как она началась смиренно, затем поднялась в яростном, страстном восхождении к конечному, победоносному крику.

Когда она закончилась, *хаким* заметил:

— Давид был мал, но его вера была велика...

Я не смог сдержаться и добавил:

— И вы многочисленны, но ваша вера мала.

Хозяин посмотрел на меня в изумлении, и смущенный своей почти произвольной репликой, я быстро начал объясняться. Мое объяснение приняло форму потока вопросов:

— Как могло выйти так, что вы, мусульмане, потеряли уверенность в себе — ту уверенность, с которой вы смогли распространить свою веру, в течение менее чем ста лет, из Аравии на запад до самого Атлантического океана и на восток в глубь Китая, — и теперь поддаетесь так легко, так вяло мыслям и обычаям Запада? Почему не можете вы, чьи отцы озарили мир наукой и искусством во времена, когда Европа покоилась в глубоком варварстве и невежестве, воззвать к храбрости, чтобы вернуться к своей собственной передовой, лучезарной вере? Как возможно, что Ататюрк, тот мелкий притворщик, который отрицает всякую ценность Ислама, стал для вас символом «мусульманского возрождения»?

Хозяин оставался безмолвным. Начал идти снег за окном. Снова я почувствовал смешение грусти и счастья, которое я чувствовал на подъезде к Дех-Занги. Я прочувствовал славу, которая была, и позор, который окутывал этих последних сынов великой цивилизации.

— Скажи мне, как случилось так, что вера вашего Пророка и вся ее чистота и простота были погребены под завалами бесплодных домыслов и буквоедства ваших педантичных формалистов? Как случилось так, что ваши принцы и большие землевладельцы кутят в богатстве и роскоши, тогда как такое большое количество их братьев-мусульман кормятся в неопикуемой бедности и нищете, а ведь ваш Пророк учил, что *«ни один не может называть себя верующим, если он*

наедается досыта, когда его сосед остается голодным»? Можешь ли ты объяснить мне, почему вы отметнули женщину на задворки своей жизни, хотя женщины вокруг Пророка и его сподвижников были в огромной степени вовлечены в жизни своих мужчин? Как произошло так, что столь многие из вас, мусульман, невежественны и большинство не умеет даже читать и писать, тогда как ваш Пророк провозгласил, что «стремление к знанию — самая священная обязанность каждого мусульманина, мужчины или женщины» и что «превосходство ученого мужа над просто набожным подобно превосходству полной луны над всеми другими звездами»?

Хозяин продолжал пристально глядеть на меня без слов, и я начал думать, что мой эмоциональный взрыв глубоко оскорбил его. Человек с лютней, не зная персидского в достаточной степени, чтобы понимать меня, наблюдал в удивлении за тем, как чужестранец с таким большим увлечением и чувством говорит с *хакимом*. В конце концов последний натянул широкую желтую овчину на себя, как если бы замерзал, и затем прошептал:

— Но... ведь ты мусульманин...

Я засмеялся и ответил:

— Нет, я не мусульманин, но я увидел столько много красоты в Исламе, что иногда возмущаюсь, видя, как вы растрчиваете ее... Прости меня, если я говорил грубо. Я не говорил как враг.

Но хозяин покачал головой:

— Нет, именно так, как я сказал: ты — мусульманин, только ты не знаешь этого сам... Почему бы тебе не сказать прямо здесь и сейчас: «Нет бога и божества, кроме Бога, и Мухаммад — Его Посланник», — и не стать мусульманином по факту, кем ты уже и являешься в своем сердце? Скажи это, брат, скажи сейчас, и я поеду завтра с тобой в Кабул и приведу тебя к *амиру*, и он встретит тебя с распростертыми объятиями как одного из нас.

Он даст тебе дома, сады и скот, и мы все будем любить тебя. Скажи это, брат мой...

— Если я когда-нибудь скажу это, так это потому, что мой разум примет это, но не ради домов и садов *амира*.

— Но, — настаивал он, — ты уже знаешь об Исламе гораздо больше, чем большинство из нас; что *именно* ты еще не понял?

— Это не вопрос понимания. Это вопрос убежденности — убежденности в том, что Коран в действительности является словом Бога, а не просто гениальным созданием великого человеческого ума...

Однако слова моего афганского друга ни на минуту не покидали меня в последующие месяцы.

Я выехал из Кабула и провел несколько недель в южном Афганистане: я проехал через древний город Газни, из которого около тысячи лет назад великий Махмуд выехал на завоевание Индии; через экзотический Кандагар, где можно увидеть самых свирепых воинов мира из здешних племен; через пустыни юго-западного уголка Афганистана и обратно в Херат, где начался афганский поход.

В 1926 году, ближе к концу зимы, я покинул Херат на первом этапе своего долгого возвращения домой: поезд перенес меня от афганской границы к Мерву, в русском Туркестане, Самарканду, Бухаре и Ташкенту и оттуда через туркестанские степи на Урал и в Москву.

Моим первым и самым длительным впечатлением от советской России стал огромный, красочно выполненный плакат на железнодорожной станции в Мерве, изображающий молодого пролетария в голубых одеждах, вышибающего ударом ноги из облаков на небе смешного господина с белой бородой, одетого в широкую и длинную мантию. Надпись по-русски под плакатом гласила: «Таким образом рабочие Советского Союза выбили

Бога из его рая! Напечатано обществом „Безбожники“ Союза Советских Социалистических Республик».

Такая официально санкционированная антирелигиозная пропаганда навязывалась везде: на общественных зданиях, на улицах и особенно вблизи от храмов. В Туркестане это были, естественно, по большей части мечети. Тогда как коллективные молитвы не были открыто запрещены, руководство делало все, чтобы отговорить людей от присутствия на них. Мне часто говорили, особенно в Ташкенте и Бухаре, что полицейские шпионы записывали имя каждого человека, который входил в мечеть; копии Корана конфисковывались и уничтожались; и излюбленным развлечением молодых *безбожников* было подкидывать головы свиней в мечети. Поистине прелестный обычай.

Было облегчением пересечь польскую границу после недель путешествия по азиатской и европейской России. Я направился напрямик во Франкфурт и появился в теперь знакомых мне владениях моего издания. Мне понадобилось не много времени, чтобы узнать, что во время моего отсутствия мое имя стало знаменитым и что теперь меня рассматривали как одного из самых выдающихся иностранных корреспондентов центральной Европы. Некоторые из моих статей — в особенности те, что имели дело с замысловатой религиозной психологией иранцев, — попали во внимание известных ученых-востоковедов и получили более чем мимолетное признание. В силу этих достижений меня пригласили прочитать серию лекций в Академии геополитики в Берлине, где, как мне сказали, еще ни разу не удостоивали человека моего возраста (а мне еще не было двадцати шести) такой чести. Другие статьи более общего характера были воспроизведены с разрешения *Frankfurter Zeitung* множеством других газет; одна статья, я узнал, была переиздана около тридцати раз. В итоге мои иранские скитания оказались исключительно плодовитыми...

Именно в это время я женился на Эльзе. Два года моего отсутствия в Европе не ослабили нашей любви, но скорее

укрепили ее; и с счастьем, которого я никогда не испытывал ранее, я отмел все ее опасения по поводу большой разницы в возрасте, что была между нами.

— Но как ты можешь жениться на мне? — спорила она. — Тебе еще не исполнилось двадцати шести, а мне уже за сорок. Подумай об этом: когда тебе будет тридцать, мне будет сорок пять; а когда тебе будет сорок, я стану старой женщиной...

Я смеялся:

— Какая разница? Я не могу представить будущего без тебя.

И в конце концов она сдалась.

Я не преувеличивал, когда говорил, что не могу представить будущего без Эльзы. Ее красота и инстинктивное изящество сделали ее крайне привлекательной для меня, настолько что я не мог даже смотреть на какую-либо другую женщину; а ее деликатное понимание того, чего я хотел от жизни, озарило мои собственные надежды и желания и сделало их более конкретными, более постижимыми, чем они могли бы быть при моем личном осмыслении.

Однажды, примерно через неделю после нашей свадьбы, она заметила: «Как странно то, что именно ты умаляешь ценность мистицизма в религии... Ты сам являешься мистиком, чувственным мистиком, исследующим жизнь вокруг с помощью кончиков пальцев, видящим сложные, мистические узоры в повседневных вещах, во многих вещах, которые для других людей являются такими обыденными... Но как только ты обращаешь свой взор к религии, ты — сама логика. Для большинства людей все было бы наоборот...»

Но Эльза не была озадачена на самом деле. Она знала то, чего я искал, когда говорил с ней об Исламе; и, хотя она могла и не чувствовать той же самой настойчивости, которую чувствовал я, ее любовь побудила ее разделить мои поиски.

Часто мы читали Коран вместе и обсуждали идеи, найденные там; и Эльза, как и я сам, впечатлялась все больше внутренним согласием между нравственным учением Корана и его практическим наставлением. Согласно Корану, Бог не призывал к слепому угождению со стороны человека, но взывал к его интеллекту; Он не стоял в стороне от человеческой судьбы, но был *«ближе к тебе, чем шейная вена»*; Он не разграничивал никак между верой и общественным поведением, и — что, возможно, было самым важным — Он не начинал с аксиомы о том, что вся жизнь была обременена конфликтом между материей и духом и что путь к Свету требовал освобождения души от оков плоти. Всякая форма самоунижения и отречения от жизни осуждалась Пророком в высказываниях вроде: *«Поистине, аскетизм не для нас, не существует отрешения от жизни в Исламе»*. Человеческая воля к жизни не только признавалась положительным, благодатным инстинктом, но наделялась также святостью нравственного постулата. Человека учили, по сути: ты не только *можешь* использовать свою жизнь сполна, но ты *обязан* это делать.

Органический образ Ислама теперь вырисовывался с законченностью и очевидностью, которые порой изумляли меня. Он формировался в процессе, который можно было бы описать как своего рода мысленный осмос, то есть без каких-либо осознанных попыток с моей стороны связать и «систематизировать» многие фрагменты знания, которые пришли ко мне в течение последних четырех лет. Я увидел перед собой что-то вроде совершенного памятника архитектуры со всеми элементами, призванными гармонично дополнять и поддерживать друг друга, с отсутствием всякого рода чрезмерностей и недостатков — баланс и уравновешенность, которые создавали чувство того, что все внешние формы и постулаты Ислама были «на своем месте».

Тринадцать веков назад человек поднялся и сказал: «Я являюсь лишь только человеком; но Он, сотворивший вселенную, возложил на меня миссию донести Его Послание к вам. Чтобы вы могли жить в гармонии с планом Его творения, Он приказал мне напомнить вам о Его существовании, всемогуществе и

всезнании и предложить вам на рассмотрение программу поведения. Если вы принимаете это напоминание и эту программу, следуйте за мной». Это было сутью пророческой миссии Мухаммада.

Социальное устройство, которое он предложил к обсуждению, представляло собой простоту, которая идет рука об руку с настоящим величием. Начальной предпосылкой этого устройства явился тот факт, что люди — биологические существа с биологическими потребностями и так устроены своим Создателем, что они обязаны жить в *группах* для удовлетворения целого ряда физических, нравственных и интеллектуальных потребностей. Говоря коротко, они *зависят* друг от друга. Непрерывность духовного роста индивидуума — фундаментальная цель каждой религии — зависит от того, помогают, воодушевляют и защищают ли его другие люди вокруг, которые, конечно же, ожидают аналогичной кооперации от него. Эта людская взаимосвязь была причиной тому, что в Исламе религия не может быть отделена от экономики и политики. Устроить практическое взаимодействие между людьми таким образом, чтобы каждый человек смог бы найти как можно меньше препятствий и как можно больше поддержки в развитии своей личности, — это, и ничто другое, явилось исламской концепцией истинной функции общества. Следовательно, было естественным, что система, которую изложил Пророк Мухаммад за двадцать три года своей проповеди, имела прямое отношение не только к делам духовным, но также определяла рамки всякой индивидуальной и общественной деятельности. Она позиционировала идею не только индивидуальной праведности, но также справедливого общества, которое бы способствовало такой праведности. Она очертила форму политической общности — только лишь очертила, потому что детали политических нужд человека меняются со временем, — так же, как и структуру личностных прав и общественных обязанностей, в которой факт исторического развития был должным образом предвосхищен. Исламский код охватывал жизнь во всех ее аспектах: нравственном и физическом, личном и общественном; проблемам плоти и разума, полов и экономики уделялось,

наряду с проблемами теологии и поклонения, свое законное место в учении Пророка, и ничто, относящееся к жизни, не казалось слишком тривиальным, чтобы войти в сферу религиозной мысли, ни даже такие «мирские» вопросы, как коммерция, наследство, права на имущество или владение землей...

Все статьи исламского закона были направлены на пользу всех членов общины вне зависимости от рождения, расы, пола или предыдущей общественной принадлежности. Никаких специальных льгот не предусматривалось для основателя общины или его потомков. Звания и сословия не существовали в социальном смысле; не было концепции класса. Все права, обязанности и возможности были применимы одинаково ко всем, кто исповедовал исламскую веру. Священников не требовалось для посредничества между человеком и Богом, ибо *«Он знает все, что лежит перед ними в их руках и что они скрывают за своей спиной»*. Признавалась верность лишь Богу и Его Пророку, родителям и общине, которая имеет целью установление Царства Божьего на земле; и это устраняло верность, утверждающую *«в добре или зле — моя страна»* или *«моя нация»*. Поясняя этот принцип, Пророк особо подчеркнуто говорил не единожды: *«Тот не из нас, кто провозглашает мотивом племенную приверженность; тот не из нас, кто ведет борьбу во имя племенной приверженности; тот не из нас, кто умирает ради племенной приверженности»*.

До Ислама все политические организации — даже те, что основывались на теократии или полутеократии, — были ограничены узким понятием племени и племенной однородности. И так боги-короли Древнего Египта не имели понятия о том, что происходило за пределами долины Нила и не касалось ее обитателей, и в раннем теократическом государстве иудеев, где Богу предназначалось править, это неизбежно был Бог сынов Израиля. С другой стороны, в структуре коранической мысли нет и места обсуждению происхождения или клановой привязанности. Ислам постулировал самостоятельную политическую общность, которая переходила традиционные разделения на кланы и расы. В этом отношении

можно сказать, что Ислам и Христианство имеют одну и ту же цель: оба выступали в защиту международной общины людей, связанных своей приверженностью общему идеалу; но, в то время как Христианство удовлетворилось нравственной защитой данного принципа и, советуя своим последователям отдавать должное кесарю, ограничило свой универсальный призыв духовной сферой, Ислам развернул перед миром картину политического устройства, в котором сознание Бога должно стать главной движущей силой действительного поведения человека и единственной основой всех общественных институтов. Таким образом, заполняя пробел, оставленный Христианством, Ислам ознаменовал новую главу в развитии человека — первый пример открытого, мировоззренческого общества в отличие от закрытых, ограниченных расой или географией обществ прошлого.

Послание Ислама предусматривало и воплотило в жизнь цивилизацию, в которой не было места ни национализму, ни «правлящим кругам», ни разделению на классы, ни Церкви, ни духовенству, ни наследуемым титулам; собственно, никакой наследственной функции не существовало вообще. Целью было установление теократии в отношении к Богу и демократии между человеком и человеком. Самой важной характерной чертой той новой цивилизации — чертой, которая полностью отличала ее от всех других движений человеческой истории, — явился тот факт, что она зародилась и была воздвигнута на основе добровольного соглашения людей, причастных к ней. Здесь общественный прогресс не был — как во всех других обществах и цивилизациях, известных истории, — результатом давления и сопротивления соперничающих интересов, но неотъемлемой частью исконной «конституции». Другими словами, подлинный общественный договор лежал в основе вещей: не в качестве фигуры речи, сформулированной более поздними поколениями власть имущих в защиту своих привилегий, но как действительный исторический источник исламской цивилизации. Коран говорит: *«Уразумейте, Бог выкупил у верующих их самих и их имущество, предлагая им Рай взамен... Так возрадуйтесь сделке, которую вы заключили, ведь это — наивысший триумф»*.

Я знал, что этот «наивысший триумф» — образец действительного общественного договора, записанного историей, — был реализован лишь в течение очень короткого времени; или, скорее, лишь в течение очень короткого времени была предпринята массовая попытка его осуществления. Меньше века спустя после смерти Пророка политическая форма первоначального Ислама начала разлагаться, и с течением последующих веков исходная программа была постепенно вытеснена на задний план. Родовая борьба за власть заняла место свободного соглашения свободных мужчин и женщин; наследственное царствование, так же несопоставимое с политической идеей Ислама, как и многобожие с его теологической концепцией, вскоре появилось на свет, а вместе с ним династические конфликты и интриги, клановые предпочтения и тирания, а также обычное вырождение религии в статус прислужницы политической власти — одним словом, целый сонм «корыстных интересов», так хорошо известных истории. Некоторое время великие мыслители Ислама пытались сохранить его истинные смыслы в первозданной чистоте, но те, что пришли позднее, были людьми меньшего калибра и увязли через два или три столетия в трясине интеллектуальных соглашений, они перестали думать самостоятельно и согласно повторяли мертвые фразы ранних поколений, забывая, что каждое человеческое мнение связано временем и подвержено ошибкам, и, следовательно, оно нуждается в постоянном обновлении. Исходного толчка Ислама, такого колоссального у своих истоков, хватило, чтобы перенести мусульманское содружество государств к величайшим культурным высотам, к тем блестящим научным, литературным и художественным достижениям, охарактеризованным историками как Золотой Век Ислама; но в течение еще нескольких веков этот толчок также угас за неимением духовной поддержки и мусульманская цивилизация начала становиться все более инертной и лишенной созидательной силы.

Я не питал иллюзий по поводу настоящего положения дел в мусульманском мире. Четыре года, проведенные мною в тех странах, показали мне, что, в то время как Ислам все еще жил и

ощущался в миропонимании его последователей и в их смиренном принятии его этических предпосылок, они сами были подобны парализованным людям, неспособным трансформировать свои верования в продуктивные дела. Но что интересовало меня больше, чем неспособность сегодняшних мусульман реализовать программу Ислама, так это возможности самой этой программы. Мне было достаточно знать, что на небольшом промежутке времени, сразу в начале исламской истории, *была* предпринята попытка реализовать эту программу на практике, а то, что казалось возможным в одно время, вероятно, могло быть в действительности осуществлено в другое. Какое это имеет значение, говорил я себе, что мусульмане отклонились от первоизданного учения и впали в праздность и невежество? Какая разница, что они не жили согласно идеалу, поставленному перед ними Аравийским Пророком тринадцать столетий назад, если сам идеал все еще лежал открытым для каждого, кто желает услышать его послание?

И вполне может быть, думал я, что мы, люди более поздних поколений, нуждаемся в этом послании даже более отчаянно, чем нуждались в нем люди во времена Мухаммада. Они жили в среде намного более простой, чем наша, поэтому их проблемы и сложности имели гораздо более легкие решения. Мир, в котором жил я, весь без исключения колебался из-за отсутствия какого-либо соглашения о том, что есть хорошо и плохо в духовном смысле, а следовательно, также в общественном и экономическом смыслах. Я не верил, что отдельный человек нуждался в «спасении», но я верил, что современное общество нуждалось в спасении. Более чем когда-либо я чувствовал с нарастающей уверенностью, что это наше время нуждалось в мировоззренческой базе для нового общественного договора: ему нужна была вера, которая бы заставила нас понять пустоту материального прогресса ради одного только прогресса и которая тем не менее отдавала бы должное жизни в этом мире, которая показала бы нам, как достичь равновесия между нашими духовными и физическими потребностями, и таким образом спасла бы нас от катастрофы, в которую мы неслись очертя голову.

Можно было без преувеличения сказать, что в этот период моей жизни проблема Ислама — а она была именно проблемой для меня — занимала мои мысли, вытесняя все остальное из моей головы. К тому моменту моя первичная, незамысловатая интеллектуальная заинтересованность странными, хотя и привлекательными, мировоззрением и культурой переросла в патетический поиск истины. В сравнении с этим поиском даже радостное возбуждение от приключений последних двух лет путешествий отходило на второй план, до такой степени, что мне стало трудно концентрироваться на написании новой книги, которую редактор *Frankfurter Zeitung* по праву ожидал от меня.

Поначалу доктор Симон относился снисходительно к моему очевидному нежеланию писать книгу. Как-никак я только что вернулся из долгого путешествия и заслуживал что-то вроде отпуска; моя недавняя женитьба также, казалось, служила основанием для отсрочки от рутинного процесса написания текста. Но когда отпуск и свадебная передышка затянулись дольше разумных, по мнению доктора Симона, пределов, он намекнул, что мне следует перестать витать в облаках.

В ретроспективе мне кажется, что он был весьма чутким, однако так не казалось на тот момент. Его частые и настойчивые расспросы о ходе работ над «книгой» имели эффект, противоположный тому, на что он рассчитывал. Я находился, мне казалось, под излишним давлением и стал испытывать неприязнь к самой мысли об этой книге. Меня интересовало то, что я мог еще открыть, больше, чем то, что я уже обнаружил.

В конце концов доктор Симон с раздражением заметил:

— Я не думаю, что ты когда-нибудь напишешь эту книгу. Ты страдаешь от *horror libri*.

Немного со злостью я ответил:

— Возможно, моя болезнь даже серьезнее, чем это. Пожалуй, я страдаю от *horror scribendi*.

— Ну, если ты страдаешь от этого, — возразил он незамедлительно, — неужели ты считаешь, что *Frankfurter Zeitung* подходящее место для тебя?

Слово за слово, и наше разногласие переросло в ссору. В тот же самый день я отказался от должности в *Frankfurter Zeitung* и через неделю уехал с Эльзой в Берлин.

Конечно же, я не намеревался оставлять журналистику, так как, помимо достаточного заработка и удовольствий (временно омраченных этой «книгой»), которые писательство давало мне, она предоставляла мне единственный способ возвращения в мусульманский мир — и в мусульманский мир я хотел вернуться любой ценой. С репутацией, полученной мною за последние четыре года, не составляло труда установить новые связи с представителями прессы. Сразу после моего разрыва с Франкфуртом я заключил соглашения на весьма выгодных условиях с тремя другими изданиями: *Neue Zürcher Zeitung* из Цюриха, амстердамским *Telegraaf* и *Kölnische Zeitung* из Кёльна. Отныне мои статьи о Ближнем Востоке должны были печататься в этих трех изданиях, которые, хотя, возможно, и не шли в сравнение с *Frankfurter Zeitung*, были среди самых значительных в Европе.

В это время мы с Эльзой обосновались в Берлине, где я намеревался завершить серию лекций в Академии геополитики, а также продолжить изучение исламских наук.

Мои старые литературные друзья были рады видеть меня снова, однако каким-то образом стало нелегко продолжать наши прежние отношения, остававшиеся нетронутыми со времени моего отъезда на Ближний Восток. Мы отдалились друг от друга; мы более не говорили одним и тем же интеллектуальным языком. В частности, ни у одного из моих друзей я не смог вызвать чего-нибудь похожего на понимание моей озабоченности Исламом. Почти каждый из них качал головой в

замешательстве, когда я пытался объяснить, что Ислам как интеллектуальное и общественное понятие мог успешно соревноваться с любой другой идеей. Хотя они иногда и соглашались с разумностью того или иного положения Ислама, большинство из них придерживалось мнения о том, что древние религии принадлежали прошлому и что наше время нуждалось в новом, «гуманистическом» подходе. Но даже те, кто не отрицал так категорично всякую законность учрежденной религии, были далеки от того, чтобы оставить популярное западное мнение об Исламе, гласившее, что это — религия светских дел, которой недостает «таинственности», подразумеваемой в каждой религии.

Мне до некоторой степени было удивительно видеть, что тот самый аспект Ислама, который привлек меня с самого начала, — отсутствие деления реальности на физическую и духовную составляющие и акцент на разум как способ достижения веры — интересовал так мало людей умственного труда, которые во всем остальном имели обыкновение провозглашать доминирующую роль интеллекта в жизни. Именно в религиозной сфере, и только, они инстинктивно отходили от своих привычных, столь «рациональных» и «реалистичных», позиций. И в этом отношении я не видел никакой разницы между теми немногими из моих друзей, которые были расположены к религии, и теми многими, для которых религия стала не более чем устаревшей условностью.

Со временем, однако, я начал понимать, откуда происходила их трудность. Я начал осознавать, что в глазах людей, воспитанных в среде христианских идей с их акцентом на «сверхъестественное», якобы присущее каждому истинному религиозному опыту, преимущественно рациональный подход казался умаляющим духовную ценность религии. Это отношение ни в коем случае не ограничивалось верующими христианами. Из-за долгой, почти исключительной связи Европы с Христианством даже европейцы-агностики подсознательно научились смотреть на всякий религиозный опыт через призму христианских концепций и считать его «действительным», только если он сопровождается глубоким

волнением и мистическим страхом перед вещами скрытыми и вне разумного осознания. В Исламе не было подобной необходимости: он настаивал на согласовании физических и духовных сторон жизни на совершенно естественных основаниях. Собственно говоря, его миропонимание так отличалось от христианского, на котором построено большинство этических положений Запада, что принятие законности одного неизбежно приводило к сомнению в законности другого.

Что касается меня, то я знал теперь, что меня движет к Исламу, но последнее сомнение заставляло меня откладывать решающий, безвозвратный шаг. Мысль о принятии Ислама была подобна перспективе взойти на мост, который перекинулся через пропасть между двумя различными мирами, мост настолько длинный, что необходимо было достичь точки невозврата до того, как обнаружится другой конец моста. Я хорошо осознавал, что, если я стану мусульманином, мне придется отрезать себя от мира, в котором я вырос. Никакой другой исход не представлялся возможным. Никто не мог бы в действительности последовать призыву Мухаммада и поддерживать тем не менее внутренние связи с обществом, управляемым диаметрально противоположными принципами. *Но был ли Ислам на самом деле посланием от Бога или просто мудростью великого, но несовершенного человека?..*

В один день в сентябре 1926 года Эльза и я ехали в берлинском метро. Это был вагон высшего класса. Мой взгляд случайно упал на хорошо одетого гражданина напротив меня, несомненно преуспевающего предпринимателя с красивым портфелем на коленях и большим кольцом с бриллиантом на руке. Я думал от нечего делать, как хорошо его дородная фигура вписывалась в встречавшуюся повсюду в центральной Европе в те дни картину процветания, процветания особенно выраженного, так как оно пришло после нескольких лет инфляции, когда вся экономическая жизнь была перевернута вверх дном и убогость внешнего вида была нормой. Большинство людей были теперь хорошо одеты и хорошо откормлены, и человек напротив меня,

следовательно, не был исключением. Но, когда я посмотрел на его лицо, мне не показалось, что я смотрю на счастливое лицо. Он казался обеспокоенным, и не просто обеспокоенным, но отчетливо несчастным, с глазами, уставленными бездумно вперед, и втянутыми уголками рта, как если бы он был мучим болью, но не телесной болью. Не желая казаться невежливым, я отвел свой взгляд в сторону и увидел рядом с ним элегантную даму. Она также имела странно несчастное выражение лица, как если бы она испытывала боль или размышляла над чем-то, что причиняло ей боль. Однако ее рот застыл в холодном подобии улыбки, что, я был уверен, стало привычкой для нее. И тогда я начал осматривать все другие лица в вагоне — лица, принадлежавшие без исключений зажиточным людям, — и в почти каждом из них я смог различить выражение скрытого страдания, настолько скрытого, что обладатель лица, казалось, сам не подозревал о его наличии.

Это было, безусловно, странно. Я никогда ранее не видел столько несчастных лиц вокруг себя, или, возможно, я никогда ранее не искал того, что теперь так ясно выражалось на них? Впечатление было настолько сильным, что я рассказал о нем Эльзе; и она тоже начала осматриваться вокруг внимательным взглядом художника, привыкшего изучать людские черты. Затем она повернулась ко мне в удивлении и сказала:

— Ты прав. Они все выглядят так, как будто они страдали от мучений в аду... Хотела бы я знать, подозревают ли они сами о том, что происходит в них?

Я знал, что они не подозревают, потому что иначе они бы не смогли продолжать тратить свою жизнь так, как тратили они: без какой-либо веры в сдерживающие истины, без какой-либо цели, помимо желания повисить свой собственный «уровень жизни», без каких-либо надежд, за исключением приобретения большего количества материальных благ, большего количества приспособлений и, возможно, большей власти...

Когда мы возвратились домой, я бросил взгляд на свой стол, на котором лежала открытой копия Корана, который я читал до

этого. Механически я взял книгу, чтобы отложить ее, но, как только я собирался закрыть ее, мой взгляд упал на открытую страницу передо мной и я прочитал:

*Завладевает вами алчность все больше и больше,
Пока вы не опуститесь в свои могилы.
Нет, вы узнаете!
Нет же, вы узнаете!
Нет же, если бы вы только знали знанием
несомненным,
Вы бы увидели ад, в котором вы находитесь.
Придет время, и вы несомненно увидите его
своими глазами.
И в Тот День вас спросят о том, что вы сделали с
благами жизни.*

На мгновение я лишился дара речи. Я думаю, книга тряслась в моих руках. Затем я дал ее Эльзе.

— Прочитай это. Разве это не ответ тому, что мы видели в метро?

Это был ответ, ответ настолько решительный, что всякие сомнения вдруг развеялись. Я знал теперь, без всякой тени неуверенности, что то, что я держал в руках, была Богом внушенная книга, так как, хотя она и была представлена человеку более тринадцати веков назад, она ясно предвидела то, что могло воплотиться лишь в этом сложном, механизированном, иллюзорном веке.

Во все времена люди знали алчность, но никогда ранее жадность не переходила простого стремления к получению вещей и не становилась одержимостью, затуманивающей все остальное: непреодолимое влечение получать, делать, придумывать все больше и больше, сегодня больше, чем вчера, и завтра больше, чем сегодня, демон, оседлавший шеи людей и подгоняющий их сердца вперед к целям, которые язвительно блистают на расстоянии, но, как только их достигают, растворяются в презренном ничто, всегда выставляя обещание

новых целей впереди, целей еще более блестящих, более соблазнительных, до тех пор, пока они находятся там, на горизонте, целей, которые непременно зачахнут, переходя снова в небытие, как только они окажутся в пределах досягаемости. И тот голод, тот ненасытный голод по снова и снова сменяющимся целям, грызет человеческую душу: *так нет же, если бы вы только знали, вы увидели бы ад, в котором находитесь...*

И это, я видел, не было простой мудростью человека из далекого прошлого в далекой Аравии. Как бы он ни был мудр, такой человек не смог бы самостоятельно предвидеть мучение, столь исключительно свойственное этому двадцатому веку. Из Корана говорил голос величественнее, чем голос Мухаммада...

- 5 -

Темнота опустилась на внутренний двор мечети Пророка, только свет масляных ламп, подвешенных на длинных цепях между колоннами арок, пробивался сквозь нее. Шейх Абдулла Ибн Булайхид сидит, низко повесив голову над грудью и закрыв глаза. Тот, кто не знает его, может подумать, что он уснул, но я знаю, что он слушал мой рассказ с глубокой сосредоточенностью, пытаюсь вписать его в систему своего собственного обширного знания людей и их сердец. После долгого молчания он поднимает голову и открывает глаза:

— И тогда? Что ты сделал тогда?

— Обычную вещь, о Шейх. Я разыскал своего друга, мусульманина из Индии, который в то время заведовал делами маленькой мусульманской общины в Берлине, и рассказал ему, что я бы хотел принять Ислам. Он протянул мне свою правую руку, и я вложил свою в нее и в присутствии двух свидетелей объявил: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Бога, и что Мухаммад — Его Посланник»*. Несколько недель спустя моя жена сделала то же самое.

* См. сурат аль-Бакара, аят 201.

* Это объявление веры является единственным «ритуалом», необходимым для становления мусульманином. В Исламе слова «посланник» и «пророк» взаимозаменяемы при употреблении в отношении главных пророков, несших новое послание, таких как Мухаммад, Иисус, Моисей, Авраам.

— И что сказали твои люди на это?

— Что ж, им это не понравилось. Когда я сообщил своему отцу о том, что стал мусульманином, он даже не ответил на мое письмо. Несколько месяцев спустя моя сестра написала мне, рассказывая, что он считает меня мертвым... Тогда я написал ему еще одно письмо, заверяя его, что мое принятие Ислама ничего не изменило в моем отношении к нему или моей любви к нему и что, наоборот, Ислам предписывает мне любить и почитать моих родителей больше всех остальных людей... Но и это письмо осталось без ответа.

— Твой отец, должно быть, и вправду очень сильно предан своей религии...

— Нет, о Шейх, совсем нет; и это — самая странная часть этой истории. Он считает меня, я полагаю, изменником не столько его религии (так как она никогда не удерживала его сильно), сколько общества, в котором он вырос, и культуры, к которой он привязан.

— И ты никогда не видел его после этого?

— Нет. Вскоре после нашего обращения я и моя жена покинули Европу; мы не смогли оставаться там дольше. И я никогда не возвращался обратно...[†]

[†] Наши отношения были восстановлены в 1935 году после того, как мой отец наконец понял и оценил причины моего обращения в Ислам. Хотя мы более и не встретились лично, мы

пребывали в постоянной переписке до 1942 года, когда он и моя сестра были высланы из Вены нацистами в концентрационный лагерь, где впоследствии скончались.

Джихад

- 1 -

Когда я покидаю мечеть Пророка, рука хватает меня, я поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с добрыми старыми глазами Сиди Мухаммада Аз-Зувей, Сануси.

— О сын мой, как я рад видеть тебя после всех этих месяцев. Да благословит Господь твои шаги в благословенном городе Пророка...

Рука об руку мы медленно идем по вымощенной улице, ведущей от мечети к главной базарной площади. В своем белом североафриканском *бурнусе* Сиди Мухаммад является привычной фигурой в Медине, где он живет уже много лет; и многие останавливают нас, чтобы поздороваться с ним в дань уважения не только его преклонному возрасту (ему уже семьдесят лет), но также его славе в качестве одного из лидеров героической борьбы за независимость Ливии.

— Я хочу сказать тебе, о сын мой, что Сайид Ахмад теперь в Медине. У него проблемы со здоровьем, и он был бы очень рад видеть тебя. Как долго ты пробудешь здесь?

— Только до послезавтра, — отвечаю я, — но я определенно не уеду, пока не увижу Сайида Ахмада. Пойдем к нему сейчас же.

Во всей Аравии нет человека, которого я любил бы больше, чем Сайида Ахмада, ведь нет ни одного человека, который пожертвовал собой так всецело и так бескорыстно во имя идеала. Ученый и воин, он посвятил всю свою жизнь духовному возрождению мусульманской общины и ее борьбе за политическую независимость, понимая, что одно не может быть осуществлено без другого.

Как хорошо я помню нашу первую встречу с Сайидом Ахмадом много лет назад в Мекке...

К северу от Священного Города возвышается гора Абу Кубейс — центр множества древних легенд и традиций. С ее вершины, увенчанной маленькой белоснежной мечетью с двумя низкими минаретами, открывается прекрасный вид вниз на долину Мекки: квадрат мечети Каабы в самом низу и красочная просторная арена домов, поднимающихся вверх по голым, скалистым склонам со всех сторон. Немного ниже вершины Абу Кубейс комплекс каменных зданий свисает с узких уступов, как скопление орлиных гнезд, — мекканская усадьба общества Сануси. Старый человек, которого я повстречал там, изгнанник, которому перекрыты все пути к возвращению домой на Киренаику после тридцатилетней борьбы и семилетних странствий между Черным морем и горами Йемена, носит имя, известное во всем мусульманском мире, — Сайид Ахмад, великий Сануси. Ни одно другое имя не доставляло столько хлопот колониальным правителям в Северной Африке, ни даже имя великого Абд аль-Кадира из Алжира в девятнадцатом веке или имя марокканского Абд аль-Карима, который был столь сильным раздражителем французов в недалеком прошлом. Те имена, как бы ни были они незабываемы для мусульман, имели лишь политическое значение, тогда как Сайид Ахмад и его орден являлись также великой духовной силой на протяжении многих лет.

Меня представил ему мой яванский друг Хаджи Агос Салим, который был лидером индонезийской борьбы за политическую свободу и который теперь приехал паломником в Мекку. Когда

Сайид Ахмад узнал, что я являюсь недавним новообращенным в Ислам, он протянул мне свою руку и мягко сказал:

— Добро пожаловать в братство, о мой юный брат...

Страдание было запечатлено на красивом лбу стареющего борца за веру и свободу. Его лицо с короткой серой бородой и чувствительным резким ртом посреди болезненных углублений было уставшим; веки опускались тяжело поверх глаз и делали их сонливыми; тон его голоса представлялся мягким, обремененным печалью. Но иногда он вспыхивал. Глаза принимали сверкающую сметливость, голос вырастал звучностью, и из складок его белого *бурнуса* поднималась рука, словно крыло орла.

Преемник идеи и миссии, которая, будь она реализована, могла способствовать возрождению современного Ислама, североафриканский герой даже в упадке лет, болезни и разладе дела всей его жизни не потерял своего пыла. У него было основание не терять надежды: он знал, что тоска по религиозному и политическому обновлению в истинном духе Ислама — то, за что выступал орден Сануси, — не могла быть искоренена навсегда из сердец мусульманских народов.

Именно у деда Сайида Ахмада, великого алжирского ученого Мухаммада Ибн Али Ас-Сануси (именованного так из-за клана Бану Санус, к которому он принадлежал), в первой половине столетия зародилась идея исламского общества, которое могло бы проложить путь к установлению истинно исламского содружества государств. После многих лет странствий и обучения наукам во многих арабских странах Мухаммад Ибн Али учредил первую *зауия*, или ложу, ордена Сануси на горе Абу Кубейс в Мекке и быстро получил сильную поддержку среди бедуинов Хиджаза. Он, однако, не остался в Мекке, но возвратился в Северную Африку и окончательно осел в Джагбубе, оазисе посреди пустыни между Киренаикой и Египтом, откуда его проповедь распространилась как молния по всей Ливии и далеко за ее пределы. Когда он умер в 1859 году,

орден Сануси (к тому времени все члены ордена были известны под этим именем) получил влияние над огромным государством, растянувшимся от берегов Средиземного моря вглубь экваториальной Африки и страны туарегов в алжирской Сахаре.

Термин «государство» не может описать данное уникальное образование в полной мере, так как великий Сануси никогда не искал установления личной власти для себя или его потомков — он желал подготовить организационные основы для нравственного, общественного и политического возрождения Ислама. В соответствии с этой целью он не сделал ничего, чтобы подорвать традиционную клановую структуру региона, он также не стремился бросить вызов номинальной власти турецкого султана в Ливии (он продолжал рассматривать султана в качестве исламского халифа), однако посвятил себя полностью образованию бедуинов в духе Ислама, от которого они отошли в прошлом, и укреплению среди них чувств братства, которые предусматривались Кораном, но были почти совершенно уничтожены веками клановой междоусобицы. Из многих *зауия*, которые появились повсюду в Северной Африке, проповедь Сануси дошла до самых отдаленных племен и претворила в жизнь в течение нескольких десятилетий почти чудодейственные изменения среди арабов и берберов. Старая межклановая анархия постепенно прекратилась, и однажды непокорные воины пустыни наполнились доселе неизвестным духом сотрудничества. В *зауия* их дети получали образование не только в исламских науках, но и во многих практических дисциплинах и искусстве, которыми до этого пренебрегали воинственные кочевники. Они стали бурить больше колодцев лучшего качества в регионах, которые веками были бесплодны; и под руководством Сануси цветущие плантации стали покрывать пустыню. Поощрялась торговля, и спокойствие, порожденное орденом, открыло дорогу торговле в областях, где в прошлом любой проходящий караван подвергался нападению. Иными словами, влияние ордена послужило мощным толчком к цивилизованности и прогрессу, тогда как его строгая ортодоксальность подняла нравственные стандарты нового сообщества выше всего, что эта часть света когда-либо знала.

Почти до единого племени и их предводители добровольно приняли духовное лидерство великого Сануси; и даже турецкие власти в прибрежных городах Ливии убедились, что духовное влияние ордена значительно облегчило их взаимодействие с когда-то «трудными» бедуинскими кланами.

Таким образом, хотя орден концентрировал все свое усилие на прогрессивном возрождении местных народов, его авторитет со временем стал почти неотличим от фактической государственной власти. Эта власть покоилась на способности ордена возвысить простых бедуинов и туарегов Северной Африки над их прежним чистым формализмом в делах религиозных, наполнить их желанием жить истинно в духе Ислама и дать им ощущение того, что все они работают на благо свободы, человеческого достоинства и братства. Никогда со времен Пророка не было нигде в мусульманском мире широкомасштабного движения, настолько близко соответствующего исламскому образу жизни, как движение Сануси.

Эта мирная эпоха была разрушена в последней четверти девятнадцатого века, когда Франция начала продвигаться на юг из Алжира в экваториальную Африку и захватывать шаг за шагом области, которые были независимы под духовным руководством ордена. В защиту своей свободы сын основателя и последователь Мухаммад Аль-Махди был вынужден прибегнуть к оружию, и никогда более у него не было возможности сложить его. Эта долгая борьба явилась истинным исламским джихадом — войной в целях защиты себя, так определяемой Кораном: *«Воюйте на пути Господа против тех, кто воюет против вас, но не будьте сами агрессорами; ведь, воистину, Бог не любит агрессоров... Воюйте против них до тех пор, пока не останется более притеснения и пока все люди не получат свободу в поклонении Богу. Однако если они прекратят, всякая враждебность должна закончиться...»*

Однако французы не прекратили: они понесли свой триколор на штыках глубже и глубже в мусульманские земли.

Когда Мухаммад Аль-Махди умер в 1902 году, его племянник Сайид Ахмад сменил его в руководстве орденом. В возрасте девятнадцати лет при жизни его дяди и позднее, когда он сам стал великим Сануси, он был вовлечен в борьбу против французского вторжения в регион, теперь известный как Французская Экваториальная Африка. Когда итальянцы вторглись в Триполитанию и Киренаику в 1911 году, он обнаружил себя воюющим на два фронта; и это новое и более непосредственное давление вынудило его перевести свое главное внимание на север. Бок о бок с турками и — когда последние покинули Ливию — один Сайид Ахмад и его *муджахидин* (как называли себя эти борцы ордена за свободу) вели войну против захватчиков с таким успехом, что, несмотря на свое превосходство в вооружении и количестве, итальянцы смогли сохранить лишь шаткое присутствие в нескольких прибрежных городах.

Британцы, тогда прочно укоренившиеся в Египте и очевидно не слишком опасаящиеся за продвижение итальянцев вглубь Северной Африки, не были настроены враждебно по отношению к Сануси. Их нейтралитет имел огромное значение для ордена, так как все припасы *муджахидин* доставлялись из Египта, где они пользовались симпатией практически всего населения. Вполне возможно, что в долгосрочной перспективе эта британская безучастность позволила бы Сануси полностью выбить итальянцев из Киренаики. Но в 1915 году Турция вступила в Первую мировую войну на стороне Германии и османский султан, исламский халиф, призвал великого Сануси помочь туркам в борьбе с британцами в Египте. Британцы, естественным образом более чем когда-либо озабоченные сохранностью тыла своих египетских владений, рекомендовали Сайиду Ахмаду держать нейтралитет. В обмен на его нейтралитет они были готовы предоставить политическое признание ордену Сануси в Ливии и даже уступить ему некоторые египетские оазисы в Западной Пустыне.

Если бы Сайид Ахмад принял это предложение, он лишь последовал бы тому, чего требовал здравый смысл. Он не испытывал какой-либо особой верности к туркам, которые

передали Ливию итальянцам несколько лет ранее, оставляя Сануси продолжать борьбу в одиночестве; британцы не совершали никаких враждебных актов по отношению к Сануси, но напротив, позволяли ордену получать припасы из Египта — и Египет был их единственным источником снабжения. Более того, воодушевленный Берлином «джихад», который провозгласил оттоманский султан, очевидным образом не соответствовал условиям, установленным Кораном: турки не воевали в свою защиту и даже присоединились к немусульманской державе в захватнической войне. Таким образом, и религиозные, и политические соображения указывали великому Сануси лишь одно направление — держаться подальше от войны, которая не являлась его собственной. Несколько самых влиятельных лидеров Сануси — и мой друг Сиди Мухаммад Аз-Зувей среди них — посоветовали Сайиду Ахмаду оставаться нейтральным. Но его идеалистичное чувство рыцарства и отваги по отношению к халифу Ислама наконец перевесило повеления разума и побудило его сделать неверное решение: он полностью отдался воле турков и атаковал британцев в Западной Пустыне.

Этот конфликт совести и его окончательный исход были даже еще более трагичными, так как в случае Сайида Ахмада то был не просто вопрос личной утраты или выгоды, но также, пожалуй, нанесения непоправимого вреда великой цели, которой были посвящены жизни двух поколений до него и его собственная. Зная его, я не сомневаюсь ни в малейшей степени в том, что им двигал самый бескорыстный мотив — желание сохранить целостность мусульманского мира; но у меня нет сомнений и в том, что с политической точки зрения его решение было наихудшим из того, что он мог бы предпринять. Ведя войну с британцами, он пожертвовал, не осознавая этого полностью на тот момент, будущим всего ордена Сануси.

С того момента он был вынужден вести борьбу на трех фронтах: на севере против итальянцев, на юго-западе против французов и на востоке против британцев. Вначале он имел некоторый успех. Британцы, сильно прижатые германско-турецким продвижением вдоль Суэцкого канала, освободили оазисы в

Западной Пустыне, которые сразу же были заняты Сайидом Ахмадом. Летящие колонны солдат на верблюдах под руководством Мухаммада Аз-Зувей (который так сильно и мудро выступал против этой авантюры) достигли окрестностей Каира. В тот момент, однако, военная фортуна вдруг перевернулась: быстрое продвижение германско-турецких войск было остановлено на Синайском полуострове и превратилось в отступление. Сразу за этим британцы контратаковали Сануси в Западной Пустыне, снова заняли приграничные оазисы и колодцы и таким образом отрезали единственный путь снабжения для *муджахидин*. Внутри Киренаики не хватало ресурсов, чтобы прокормить население, вовлеченное в борьбу не на жизнь, а на смерть, и лишь подобием помощи являлись несколько германских и австрийских подводных лодок, которые тайно выгружали оружие и боеприпасы.

В 1917 году турецкие советники убедили Сайида Ахмада уехать на подводной лодке в Стамбул и оттуда организовать более эффективную помощь. Перед тем как он уехал, он доверил руководство орденом в Киренаике своему родственнику, Сайиду Мухаммаду Аль-Идрису*. Будучи более примиренческого склада, чем Сайид Ахмад, Идрис почти сразу же попытался прийти к соглашению с британцами и итальянцами. Британцы, которым не нравился конфликт с Сануси с самого начала, охотно согласились заключить перемирие; они же оказали давление на итальянцев, чтобы те поступили так же. Вскоре после этого Сайид Идрис был официально признан итальянским правительством в качестве «Амира Сануси» и сумел сохранить сомнительную псевдонезависимость Киренаики до 1922 года. Когда стало очевидным, однако, что итальянцы не намеревались в действительности придерживаться своих соглашений, но были склонны установить свое господство над всей страной, Сайид Идрис, в знак протеста, уехал в Египет в начале 1923 года, передавая руководство Сануси проверенному временем старому последователю, Омару Аль-Мухтару. Ожидаемый разрыв соглашений со стороны итальянцев последовал почти незамедлительно, и война в Киренаике возобновилась.

* Король Ливии с 1952 года.

В то самое время в Турции Сайид Ахмад переживал разочарование за разочарованием. Он намеревался вернуться на Киренаику, как только он достигнет своей цели; но цель была недостижима, так как в Стамбуле странные интриги заставляли его откладывать свое возвращение каждую неделю, каждый месяц. Почти казалось, что приближенные султана не желали успеха Сануси. Турки всегда боялись, как бы в один день возрождающиеся арабы не попытались получить обратно лидирующую роль в мусульманском мире; победа Сануси с неизбежностью ознаменовала бы такое арабское возрождение и сделала бы великого Сануси, чья слава была почти легендарной даже в самой Турции, явным преемником халифата. То, что он сам не имел подобных амбиций, не уменьшало подозрений Высокой Порты; и, хотя Сайид Ахмад был принят с предельным уважением и всеми почестями, подобающими его позиции, его вежливо, но эффективно удерживали в Турции. Распад Османской империи в 1918 году и последующая оккупация Стамбула союзными войсками обозначили конец его неоправданных надежд и в то же самое время перекрыли все пути к возвращению на Киренаику.

Однако стремление работать во имя единства мусульманского мира не позволило Сайиду Ахмаду оставаться бездеятельным. В то время как союзные войска высаживались в Стамбуле, он переехал в Малую Азию и присоединился к Кемалю Ататюрку — тогда известному как Мустафа Кемаль, — который только что начал организовывать турецкое сопротивление из Анатолии.

Следует помнить, что сначала героическая борьба кемалистской Турции находилась под знаком Ислама и что только религиозный энтузиазм давал турецкой нации в те мрачные дни силу противостоять превосходящей мощи греков, которые поддерживались всеми ресурсами союзных войск.

Отдавая свой огромный духовный и нравственный авторитет на службу турецкому сопротивлению, Сайид Ахмад без устали

проехал через города и деревни Анатолии, призывая людей поддержать *Гази*, или «Защитника веры», Мустафу Кемалю. Попытки великого Сануси и слава его имени внесли неизмеримый вклад в успех кемалистского движения среди простых крестьян Анатолии, для которых националистические лозунги ничего не значили, но которые на протяжении бесконечного числа поколений считали привилегией пожертвовать жизнью за Ислам.

Но и здесь снова великий Сануси совершил ошибку суждения: не в отношении турецкого народа, чей религиозный пыл привел их к победе над намного более сильным противником, но в отношении намерений их лидера, — ведь, как только *Гази* одержал победу, стало очевидным, что его реальные цели значительно отличались от того, что было внушаемо его народу. Вместо того чтобы построить свою социальную революцию на возрожденном и обновленном Исламе, Ататюрк оставил духовный импульс религии (который один привел его к победе) и сделал, совсем без надобности, отказ от всех исламских ценностей основой своих реформ, без надобности даже с позиций самого Ататюрка, так как он мог бы легко использовать огромный религиозный энтузиазм своих людей в качестве созидательной силы прогресса и не бросать на произвол судьбы все, что формировало их культуру и сделало их великим народом.

В горьком разочаровании антирелигиозными реформами Ататюрка Сайид Ахмад отошел от всякой политической деятельности в Турции и в конце концов в 1923 году уехал в Дамаск. Там, несмотря на его несогласие с внутренней политикой Ататюрка, он старался служить на благо единства мусульманского мира, склоняя сирийцев воссоединиться с Турцией. Французское уполномоченное правительство смотрело на него естественным образом с крайним недоверием, и, когда ближе к концу 1924 года его друзья разузнали, что его арест был неизбежен, он сбежал на машине через пустыню к границе с Надждом и оттуда проследовал в Мекку, где его тепло встретил король Ибн Сауд.

- 2 -

— И как поживают *муджахидин*, о Сиди Мухаммад? — спрашиваю я, так как я не слышал новостей из Киренаики вот уже около года.

Круглое, белобородое лицо Сиди Мухаммада Аз-Зувей темнеет:

— Новости не очень хорошие, о сын мой. Бои закончились несколько месяцев назад. *Муджахидин* сломлены; последний патрон истрачен. Теперь только милость Бога стоит между нашим несчастным народом и местью его притеснителей...

— А что с Сайидом Идрисом?

— Сайид Идрис... — отвечает Сиди Мухаммад со вздохом, — Сайид Идрис все еще в Египте, беспомощный, в ожидании — чего? Он хороший человек, да благословит его Господь, но не воин. Он живет в своих книгах, а меч не держится крепко в его руке...

— Но Омар Аль-Мухтар... он наверняка не сдался? Он сбежал в Египет?

Сиди Мухаммад останавливается и смотрит на меня в изумлении:

— Омар?.. Так ты даже этого не слышал?

— Слышал что?

— Сын мой, — мягко говорит он, — Сиди Омар, да смилуется над ним Господь, умер около года назад...

Омар Аль-Мухтар умер... Этот лев Киренаики, чьи семьдесят с лишним лет не помешали ему воевать до самого конца за свободу своей страны, мертв... На протяжении десяти долгих, мрачных лет он являлся душой сопротивления своего народа

против безнадежного превосходства, против итальянской армии, в десять раз большей, чем его, армии, снабженной самыми современными орудиями, бронированными автомобилями, аэропланами и артиллерией, тогда как Омар и его полуголодные *муджахидин* имели лишь только винтовки и несколько лошадей, с помощью которых они вели отчаянную партизанскую войну в стране, превращенной в один огромный тюремный лагерь...

Я едва сдерживаю себя и говорю:

— Последние полтора года, сразу как я вернулся из Киренаики, я знал, что он и его люди обречены. Я пытался убедить его отступить в Египет с остатками *муджахидин* лишь только для того, чтобы он остался жить для своего народа. И как спокойно он отменил все мои попытки такого рода, зная хорошо, что его ожидает смерть — и только смерть — в Киренаике. И как после сотни сражений эта долго ожидавшая его смерть наконец настигла его... Но скажите мне, когда он пал?

Мухаммад Аз-Зувей медленно качает головой и, когда мы выходим из узкой базарной улицы на открытую черную площадь Аль-Манаха, говорит мне:

— Он не пал в битве. Он был ранен и взят в плен живым. И тогда итальянцы убили его... повесили его, как обычного вора...

— Но как могли они! — восклицаю я. — Даже Грациани не посмел бы сделать такую ужасную вещь!

— Но он сделал, он сделал, — отвечает он с сухой усмешкой. — Сам генерал Грациани приказал повесить его. Сиди Омар и десяток его людей были глубоко внутри итальянцами контролируемой территории, когда они решили засвидетельствовать почтение могиле Сиди Рафи, сподвижника Пророка, которая находилась неподалеку. Каким-то образом итальянцы разузнали о его присутствии и перекрыли долину множеством людей с обеих сторон. Выхода не оставалось. Сиди Омар и *муджахидин* защищались до тех пор, пока в живых не

остался лишь он и два других его товарища. В конце концов его лошадь была застрелена под ним и, падая на землю, придавила его. Но старый лев продолжал стрелять из своей винтовки, пока вражеская пуля не раздробила одну его руку; затем он продолжил стрелять другой рукой, пока его боеприпасы не иссякли. Затем они схватили его и понесли связанным в Сулюк. Там он предстал перед генералом Грациани, который спросил его: «Что бы ты сказал, если итальянское правительство в качестве акта милосердия даровало бы тебе жизнь? Готов ли ты пообещать, что проведешь остаток своих дней в мире?» На что Сиди Омар ответил: «Я не перестану воевать против тебя и твоих людей, пока либо ты не покинешь мою страну, либо я не покину этой жизни. И я клянусь тебе Тем, Кто знает, что обитает в людских сердцах, что, если бы мои руки не были связаны в этот самый момент, я бы дрался с тобой голыми руками, старыми и дряхлыми, как я сам...» Тогда генерал Грациани рассмеялся и приказал повесить Сиди Омара на базарной площади в Сулюке — так они и поступили. И они собрали вместе многие тысячи мусульман, мужчин и женщин, из лагерей, где их держали в тюремном заключении, и заставили их наблюдать казнь их лидера...*

* Сей героический подвиг итальянцев случился 16 сентября 1931 года.

- 3 -

Все еще рука об руку, я и Мухаммад Аз-Зувей продвигаемся в направлении *зауия* Сануси. Темнота повисла над огромной площадью, а шумы базара остались позади. Песок хрустит под нашими ногами. Группами то там, то здесь отдыхают грузовые верблюды. И ряд домов на отдаленной окраине площади расплывается на фоне облачного ночного неба. Он напоминает мне оконечность далекого леса, наподобие тех можжевельных

лесов на плоскогорьях Киренаики, где я впервые встретил Сиди Омара Аль-Мухтара, и память о том безрезультатном путешествии всплывает во мне со всеми его трагическими оттенками темноты, опасности и смерти. Я вижу хмурое лицо Сиди Омара, склонившегося над маленьким мерцающим костром, и слышу его сухой серьезный голос: «Мы должны драться за нашу веру и нашу свободу, пока мы не выгоним захватчиков прочь или не умрем сами... У нас нет другого выбора...»

То была странная миссия, что привела меня в Киренаику в конце января 1931 года. Несколько месяцев до этого — чтобы быть точным, осенью 1930 года — великий Сануси приехал в Медину. Я проводил часы вместе с ним и Мухаммадом Аз-Зувей, обсуждая отчаянное положение *муджахидин*, которые продолжали борьбу в Киренаике под руководством Омара Аль-Мухтара. Было очевидным, что, если они не получают скорую и действенную помощь извне, они не смогут продержаться долго.

Ситуация в Киренаике была приблизительно следующей. Итальянцы крепко осели во всех городах на побережье и нескольких объектах в северной части Джабаль Ахдар, «Зеленые Горы» центральной Киренаики. Территория между этими укрепленными пунктами постоянно патрулировалась бронеавтомобилями и большим количеством пехоты, главным образом эритрейскими *аскари*, которые поддерживались воздушными эскадрильями, совершавшими частые рейды в глубь страны. Бедуины (они составляли основную часть сопротивления Сануси) не могли передвигаться незамеченными и сразу же обстреливались с воздуха. Часто случалось так, что самолет разведки сообщал о наличии палаточного лагеря по беспроводному оборудованию в ближайший гарнизон; и, пока пулеметы аэроплана не давали людям разбежаться в разные стороны, несколько бронированных автомобилей поспевали к месту и проезжали напрямик по палаткам, верблюдам и людям, без разбора убивая каждого в пределах досягаемости: мужчин, женщин, детей и скот; а всех выживших из людей и животных собирали вместе и уводили на север в огромные огороженные

колючей проволокой загоны, сделанные итальянцами возле берега. В то время, к концу 1930 года, около восьмидесяти тысяч бедуинов вместе с несколькими сотнями тысяч голов скота были загнаны на территорию, которая не могла дать пропитания и четверти от их числа. В результате чего смертность среди людей и животных была ужасающая. Ко всему прочему, итальянцы возводили забор из колючей проволоки вдоль египетской границы от побережья на юг к Джагбубу, чтобы сделать невозможной доставку припасов для партизан из Египта. Отважное племя Магариба под предводительством их непобедимого лидера Аль-Атайуиша, правой руки Омара Аль-Мухтара, все еще оказывало жесткое сопротивление возле западного берега Киренаики, однако большая часть племени уже была разбита превосходящими силами и вооружением итальянцев. Глубоко на юге племя Зувайя, ведомое девяностолетним Абу Караййимом, вело отчаянные бои, несмотря на потерю их племенного центра, оазиса Джалу. Голод и болезни истребляли бедуинское население внутри страны.

Вся военная сила, которую Сиди Омар мог задействовать в любой отдельно взятый момент времени, насилу превышала тысячу человек. Это, однако, не являлось полностью следствием недостатка людей. Партизанская война, которую вели *муджахидин*, не позволяла иметь большие группировки солдат, но зависела скорее от скорости и подвижности маленьких атакующих подразделений, которые внезапно появлялись из ниоткуда, атаковали итальянские колонны или аванпосты, захватывали оружие и рассыпались без следа в густые можжевельниковые леса и изрезанные *уади* нагорья Киренаики. Было очевидным то, что такие маленькие группы, как бы ни были они храбры и как бы не презирали они смерть, никогда бы не смогли одержать победу в решающем сражении над противником, в распоряжении у которого были почти неограниченные ресурсы и вооружение. Следовательно, задачей было усиление *муджахидин*, чтобы они могли не только наносить урон захватчикам время от времени, но и вернуть себе позиции, в которых противник укрепился, и удержать эти позиции перед лицом новых вражеских атак.

Такое усиление Сануси зависело от нескольких факторов: постоянный приток крайне необходимого продовольствия из Египта; оружие, с которым можно было встретить стремительные атаки аэропланов и бронеавтомобилей, в особенности противотанковые ружья и тяжелые пулеметы; обученный технический персонал для эксплуатации такого оружия и для обучения *муджахидин* его использованию; наконец, установление надежной беспроводной связи между различными группами *муджахидин* в Киренаике и тайными базами снабжения внутри египетской территории.

Около недели каждый вечер великий Сануси, Сиди Мухаммад и я обсуждали возможные варианты помощи. Сиди Мухаммад выразил мнение о том, что единовременное усиление *муджахидин* в Киренаике не решит проблемы. Он верил, что оазис Куфра, располагавшийся глубоко на юге Ливийской Пустыни и служивший центром ордена Сануси при Сайиде Ахмаде, должен снова стать сосредоточением всех будущих военных действий, так как Куфра была все еще вне досягаемости итальянских войск. Оазис располагался, более того, на прямом (хотя и длинном и сложном) караванном маршруте в египетские оазисы Бахрийя и Фарафра и, следовательно, мог бы снабжаться провизией более эффективно, чем любой другой населенный пункт страны. Куфра могла также стать центром сбора многих тысяч беженцев из Киренаики, которые жили в египетских лагерях, и таким образом сформировать постоянный источник людских ресурсов для подразделений Сиди Омара на севере. Будучи хорошо укрепленным и оснащенным современным оружием, оазис мог бы сдержать пулеметные атаки низколетящих самолетов, тогда как бомбардировка с большой высоты не могла навредить такой широко разбросанной группе поселений.

Великий Сануси сказал, что, если подобная реорганизация борьбы возможна, он сам вернется в Куфру для координирования дальнейших операций оттуда. Я, со своей стороны, настоял на том, что для успеха такого предприятия Сайид Ахмад обязан восстановить хорошие отношения с британцами, которых он так резко и без всякой необходимости

настроил против себя своей атакой в 1915 году. Такое улучшение отношений было вполне возможно, так как Британия не особенно благосклонно смотрела на экспансионистские настроения Италии, особенно теперь, когда Муссолини раструбил на весь мир о его намерении «вновь воссоздать Римскую Империю» по обоим берегам Средиземного моря и бросал алчный взгляд также и на Египет.

Мой сильный интерес к судьбе Сануси не был просто результатом моего восхищения предельным героизмом за правое дело: гораздо больше меня интересовало возможное влияние победы Сануси на весь арабский мир. Подобно стольким многим мусульманам я многие годы возлагал свои надежды на Ибн Сауда как на потенциального лидера исламского возрождения; и теперь, когда эти надежды оказались тщетными, я видел лишь одно движение во всем мусульманском мире, которое искренне боролось за воплощение идеала исламского общества, — движение Сануси, теперь ведущее беззаветную битву за выживание.

И потому что Сайид Ахмад знал, насколько сильно мои собственные эмоции были вовлечены в дело Сануси, он теперь повернулся ко мне и, смотря прямо мне в глаза, спросил:

— Может быть, ты, о Мухаммад, съездишь в Киренаику от нашего имени и разузнаешь, что может быть сделано для *муджахидин*? Возможно, ты сможешь оценить вещи более свежим взглядом?

Я посмотрел на него и кивнул, не произнося и слова. Хотя я знал о его уверенности во мне и, следовательно, не был сильно удивлен его предложением, оно все же поразило меня. Перспектива приключения такого масштаба оживила меня неимоверно; однако что возбуждало меня еще больше, так это мысль о возможности содействия делу, за которое так много людей положили свои жизни.

Сайид Ахмад потянулся к полке над своей головой и достал копию Корана, обернутую в шелковый чехол. Кладя ее на свои

колени, он взял мою руку двумя своими и положил ее на Книгу:

— Поклянись, о Мухаммад, Тем, Кто знает, что в сердцах у людей, что ты всегда будешь верно служить *муджахидин...*

Я поклялся; и никогда в своей жизни я не был более уверен в том, что пообещал, чем в тот самый момент.

Миссия, которую доверил мне Сайид Ахмад, требовала крайней секретности. Так как мои отношения с великим Сануси были хорошо известны и не могли ускользнуть от внимания дипломатических миссий в Джедде, было неразумным ехать открыто в Египет и подвергаться риску быть выслеженным там. Мое недавнее разоблачение интриг, связанных с восстанием Файзала Ад-Дауиша, очевидно не улучшило мою репутацию в глазах британцев, и было очень вероятно, что они будут внимательно наблюдать за мной, как только я ступлю на египетскую землю. Поэтому мы решили, что даже мое путешествие в Египет должно храниться в тайне. Я пересеку Красное море на арабском парусном судне и высажусь тайком, без паспорта или визы, на одном из уединенных мест вдоль побережья Верхнего Египта. В Египте я смогу свободно передвигаться под видом горожанина из Хиджаза, так как многие мекканцы и мединцы, которые приехали туда по делам торговли или в поисках будущих паломников, были привычной картиной в египетских городах и деревнях; и, так как я идеально владел диалектом Хиджаза, я мог бы с легкостью сойти за уроженца одного из двух священных городов.

Несколько недель понадобилось для завершения организационных работ, которые включали тайную переписку с Сиди Омаром в Киренаике и членами Сануси в Египте. И так только в начале января 1931 года Зейд и я отправились из портового городка Янбу в Хиджазе к редко посещаемому участку берега. Была безлунная ночь, ходьба по неровной дороге в сандалиях была крайне неприятна. Я споткнулся, и рукоятка пистолета Люгера, спрятанного под моим хиджазским *кафтаном*, ударила по моим ребрам — и мне живо

представился опасный характер приключения, в которое я пустился.

И вот я шагал к месту встречи с неизвестным арабским шкипером, который должен был перевезти меня на *дау* через море и высадить тайно где-то на египетском берегу. У меня не было никаких документов, которые могли бы удостоверить мою личность, и поэтому было бы нелегко доказать, кто я такой, если меня поймают в Египте. Но даже риск провести несколько недель в египетской тюрьме был ничем по сравнению с опасностями, которые лежали далеко впереди. Мне нужно было проделать путь через всю Западную Пустыню, не будучи замеченным разведывательными самолетами итальянцев и по возможности сторожевыми броневыми автомобилями, в сердце страны, где только оружие имело слово. «Почему я делал это?» — спрашивал я себя.

Хотя опасность и была знакома мне, я никогда не искал ее ради потенциального возбуждения. Когда бы я ни сталкивался с ней, это всегда был ответ на мотивы, сознательные или подсознательные, связанные на очень личном уровне с моей собственной жизнью. Тогда что можно сказать о нынешнем предприятии? Действительно ли я верил, что мое вмешательство могло повернуть ход событий в пользу *муджахидин*? Я бы хотел думать так, но в глубине души я знал, что отправляюсь по утопическому поручению. Тогда зачем — во имя всего святого! — я рисковал своей жизнью, как никогда ранее, с такой скудной перспективой впереди?

Но ответ имелся даже до того, как сам вопрос был осознанно сформулирован.

Когда я узнал Ислам и принял его в качестве своего уклада жизни, я думал, что все мои вопросы и поиски подошли к концу. Только со временем, совсем понемногу, я осознал, что это не было целью: ведь принятие образа жизни как обязательства нераздельно связано, по крайней мере для меня, с желанием следовать ему среди единомышленников, и не только следовать в личном смысле, но также работать на благо его общественной

реализации внутри избранной общины. Для меня Ислам являлся дорогой, но не целью, и отчаянные партизаны Омара Аль-Мухтара воевали за свободу, протаптывая своей кровью эту дорогу, так же как делали сподвижники Пророка тринадцать веков назад. Помощь им в их сложной и горькой борьбе, каким бы сомнительным ни был результат, была необходима для меня лично так же, как молитва...

И вот появился берег. В мягких накатах мелких, плескавшихся о гальку волн качалась лодка, которая должна была отвезти нас к кораблю, поставленному на якорь в темноте на расстоянии. Когда одинокий гребец поднялся в ожидающей нас лодке, я повернулся к Зейду:

— Зейд, брат мой, знаешь ли ты, что мы отправляемся в рискованное предприятие, которое может оказаться более опасным для тебя и меня, чем все *Ихван Ад-Дауиша* вместе взятые? Не смотришь ли ты назад с томлением по тишине Медины и спокойствию в кругу твоих друзей?

— Твой путь — мой путь, о мой дядя, — ответил он. — И не ты ли сам сказал мне, что стоячая вода портится и становится мутной? Поехали — и пусть вода течет, пока не станет чистой...

Корабль был большим неуклюжим *дау*, такие часто курсируют около берегов Аравии. Он был выстроен полностью из дерева и имел запах вяленой рыбы и водорослей, высокую корму, две мачты с латинским парусом, а между ними — большую каюту с низким потолком. *Раис*, или шкипер, был иссохшим старым арабом из Муската. Маленькие блестящие глаза, которые всматривались в меня из-под складок объемного разноцветного тюрбана, несли в себе выражение настороженности, говорившей о долгих годах, проведенных в опасностях и противозаконных похождениях; и изогнутый, покрытый серебром кинжал у него за поясом, казалось, не был простым украшением.

— *Мархаба, йа мархаба*, мои друзья! — воскликнул он, когда мы вскарабкались на борт. — Час хорошего предзнаменования!

Как много раз, размышлял я, он оказывал такой радушный прием бедным *хаджи*, которых он тайком брал на борт в Египте и, без дальнейших размышлений об их безопасности, высаживал на берегу Хиджаза, чтобы они могли избежать выплаты обременяющего их налога, взимаемого саудийским правительством с тех, кто желает совершить паломничество к Дому Божьему? И сколько раз он использовал те же самые слова, приветствуя торговцев рабами, которые, в полном противоречии с законом Ислама, захватывали несчастных эфиопов для продажи их на невольнических рынках Йемена? Но, утешал я себя, опыт, который получил наш *раис*, как бы ни была сомнительной его биография, был лишь на руку нам, так как он знал окрестности Красного моря, как мало кто другой, и мог надежно посадить нас на безопасный берег.

И в самом деле спустя четыре ночи после того, как мы сели на *дау*, мы высадились, снова на лодке, к северу от порта Кусайр на побережье Верхнего Египта. К нашему удивлению, *раис* отказался взять деньги, «так как, — заявил он с ухмылкой, — мне заплатили мои хозяева». Потом добавил: «Да пребудет с вами Господь».

Как я и предполагал, было несложно оставаться незаметным в Кусайр, так как город привык видеть людей в хиджазской одежде. Утром после нашего прибытия мы забронировали места в полуразвалившемся автобусе, отправлявшемся в Ас-Сиют на Ниле; и, зажатые между угрожающе толстой женщиной, которая везла полную цыплят корзину на огромных коленях, и *феллахом*, который, когда увидел наши одеяния, сразу начал вспоминать *хадж*, совершенный им десять лет назад, Зейд и я начали первый этап нашего африканского путешествия.

Я всегда полагал, что любой человек, вовлеченный в тайное и рискованное предприятие, непременно чувствует себя объектом подозрений со стороны всех вокруг и думает, что его личина очевидна каждому. Однако, как ни странно, у меня не было такого чувства в этот раз. В течение прошлых лет, проведенных в Аравии, я вошел в жизнь ее людей так всецело, что почему-то

мне и не пришло в голову рассматривать себя как кого-то не из них; и, хотя я никогда не разделял специфических торговых интересов мекканцев и мединцев, я теперь чувствовал себя настолько комфортно в моей роли предлагающего услуги, связанные с паломничеством, что вскоре оказался посреди почти «профессиональных» переговоров с несколькими другими пассажирами о совершении *хаджа*. Зейд втянулся в дух этой игры с огромным пылом. И так первые часы нашего путешествия были проведены в живых беседах.

После пересадки на поезд в Ас-Сиюте мы наконец прибыли в маленький городок Бани Суеф и напрямик отправились к дому связного Сануси, Исмаила Ад-Диби, низенького плотного человека с радостным видом, разговаривающего на звонком арабском Верхнего Египта. Будучи лишь торговцем тканями среднего достатка, он не являлся одним из выдающихся людей города, но его верность ордену Сануси была проверена много раз, а его личная привязанность к Сайиду Ахмаду сделала его вдвойне надежным. Хотя и был поздний час, он поднял слугу приготовить нам еду и, пока мы ожидали трапезы, подробно изложил все свои приготовления.

Прежде всего, сразу после получения послания от Сайида Ахмада, он связался с хорошо известным членом королевской семьи Египта, который на протяжении лет являлся горячим и активным сторонником движения Сануси. Принц был полностью посвящен в цели моей миссии; он с готовностью согласился выделить необходимые средства в мое распоряжение, а также предоставить верховых животных и двух надежных проводников для путешествия по пустыне к границам Киренаики. В это время, сообщил нам хозяин дома, они ожидали нас в одном из пальмовых садов на окраине Бани Суеф.

Мы с Зейдом к тому времени сбросили свои хиджазские одежды, которые бы привлекли к себе излишнее внимание на маршрутах Западной Пустыни. Вместо них нам дали хлопковые штаны и туники североафриканского покроя, а также шерстяные *бурнусы*, такие что носят на западе Египта и в Ливии. Из подвала своего дома Исмаил достал два коротких

кавалерийских карабина итальянского образца, «так как будет легче пополнять боеприпасы для такого ружья среди *муджахидин*».

Следующей ночью в сопровождении Исмаила мы вышли из города. Наши два проводника оказались бедуинами из египетского племени Ауляд Али, среди которого орден Сануси имел много сторонников; один из них, жизнерадостный молодой человек по имени Абдулла, участвовал в сражении в Киренаике годом ранее и мог, таким образом, предоставить нам важную информацию о том, что нас ожидало там. Другой, чье имя я забыл, был сухопарым, мрачным парнем, он разговаривал редко, но проявил себя не менее благонадежно, чем более любезный Абдулла. Четыре верблюда, которых они имели при себе, — сильные, быстрые дромедары породы Бишарин — были, очевидно, выбраны за их качества; на верблюдах были седла, не очень отличавшиеся от тех, к которым я привык в Аравии. Так как нам было необходимо двигаться быстро, без долгих остановок, приготовление еды исключалось на протяжении большей части пути; следовательно, наша провизия была проста: большая сумка с финиками и сумка поменьше, наполненная до отказа жестким подслащенным печеньем, сделанным из грубой пшеничной муки и фиников, а три верблюда несли на седлах бурдюки с водой.

Немногим ранее полуночи Исмаил обнял нас и испросил Божьего благословения на наше предприятие; я мог видеть, как он глубоко тронут. С Абдуллой впереди мы оставили пальмовый сад позади и вскоре в ярком свете луны посеменили бодрым шагом по усыпанной гравием пустынной равнине на северо-запад.

Мы держались подальше от главных караванных маршрутов в связи с необходимостью избегать встречи с египетской пограничной службой, чьи машины и верховые военно-полицейские формирования могли, насколько нам было известно, патрулировать эту часть Западной Пустыни. Однако, так как почти все движение между Бахрийей и долиной Нила проходило через Файюм, далеко на север, риск был невелик.

В течение первой ночи мы покрыли расстояние приблизительно в тридцать миль и остановились на день в купе тамарисковых кустов; во вторую и последующие ночи мы прошли еще больше, так что перед рассветом четвертого дня мы подошли к краю глубокой низины, внутри которой располагался оазис Бахрийя.

Между тем как мы разбили лагерь под прикрытием валунов снаружи оазиса, который состоял из нескольких отдельных плантаций и поселений, главным из которых была деревня Бауити, Абдулла спустился пешком по крутому скалистому склону в покрытую пальмами низину, чтобы разыскать нашего связного в Бауити. Он не мог вернуться до наступления ночи, поэтому мы улеглись спать в тени скал — приятный отдых после напряженного и холодного ночного перехода. Все же я не мог спать долго, так как слишком большое количество мыслей занимало мою голову.

Я раздумывал над нашими планами, и мне казалось, что было бы не слишком тяжело поддерживать постоянную линию связи между Бани Суеф и Бахрийей; даже большие караваны смогли бы, я был уверен, пройти незамеченными между этими двумя точками при соблюдении достаточных мер предосторожности. Несмотря на тот факт, что пост пограничной службы находился в Бауити (мы могли видеть его белые здания с высоты нашего убежища около оазиса), можно было бы установить тайный беспроводный радиопередатчик в одной из более удаленных деревень на юге Бахрийи. На этот счет я был обнадежен спустя несколько часов Абдуллой и сопровождавшим его старым бербером, нашим связным. Оказалось, что по преимуществу оазис лишь формально наблюдался правительством; и, что было еще более важным, жители в подавляющем большинстве поддерживали Сануси.

Еще пять ночей напряженного перехода: сначала по гравию и растрескавшейся земле и затем по плоским песчаным дюнам; через необитаемый оазис Ситра и его безжизненное темно-синее соленое озеро, окаймленное камышом и зарослями диких пальм; через низину Ардж с ее фантастическим скалистым известняком, которому лунный свет придает призрачный,

потусторонний вид; и к концу пятой ночи перед нами появляется оазис Сива...

Многие годы одним из моих самых сокровенных желаний было посетить этот отдаленный оазис, в котором когда-то находился храм Амона и оракул, известный на весь древний мир; однако мое желание каким-то образом оставалось неудовлетворенным. И теперь он лежал передо мной в первых лучах зари: огромное пространство из пальмовых рощ, окружающих одинокий холм, на котором городские дома, укоренившиеся в скале, как пещерные жилища, поднимались ряд за рядом к высокому, коническому минарету, который увенчивал плоскую вершину, — необычное нагромождение разрушающейся каменной кладки наподобие того, что можно видеть во сне... Мной вдруг завладело стремление войти в эти загадочные пределы и побродить по улочкам, которые видели времена фараонов, а также увидеть руины храма, где Крёз, царь Лидии, услышал оракула, предвещающего его конец, и где Александру Македонскому было предсказано завоевание мира.

И снова мое стремление должно было остаться неудовлетворенным. Хотя и в такой близости, город Сива должен остаться закрытым для меня. Безрассудным было бы посетить место, настолько удаленное от связи с внешним миром и настолько не привыкшее к чужеземцам, что каждому новому лицу было бы суждено сразу привлечь к себе внимание, ведь, располагаясь почти на ливийской границе, Сива тщательно охранялась пограничной службой, а также, вне всяких сомнений, была полна доносчиков, оплачиваемых итальянской стороной. Итак, сожалея и утешая себя мыслью о том, что увидеть ее не было в моих силах в эту поездку, я выбросил Сиву из головы.

Мы объехали город по широкой дуге к югу и наконец разбили лагерь в роще диких пальм. Не позволяя себе отдыхать — а мы и не намеревались останавливаться в такой близости от границы дольше, чем того требовали обстоятельства, — Абдулла сразу же выехал в близлежащий хутор, чтобы разыскать человека, которому Сайид Ахмад поручил перевести нас через границу.

Через пару часов он вернулся с двумя новыми проводниками и четырьмя свежими верблюдами, которые должны были повезти нас дальше. Проводники, бедуины Бараса из Джабаль Ахдар, являлись людьми Омара Аль-Мухтара, посланными специально, чтобы провести нас через участок между оккупированными итальянцами оазисами Джагбуб и Джалу на плато Киренаики, где я должен был встретиться с Омаром.

Абдулла и его друг расстались с нами, чтобы возвратиться в свою деревню в Египте; и под руководством двух *муджахидин*, которых звали Халиль и Абд ар-Рахман, мы начали наше недельное шествие через почти безводную пустынную степь, которая медленно поднималась в направлении Джабаль Ахдар. Это было самое сложное путешествие по пустыне в моей жизни. Хотя и не было большого риска быть обнаруженным итальянским патрулем, если, соблюдая все меры предосторожности, скрываться днем и передвигаться только ночью, необходимость избегания редко расположенных колодцев сделала переход ночным кошмаром. Лишь раз мы смогли напоить наших верблюдов и заполнить наши бурдюки у одного из одиноких колодцев в Уади аль-Мра — и это почти стоило нам наших жизней.

Мы подъехали к колодцу позднее, чем предполагалось: собственно, рассвет забрезжил, когда мы начали поить наших животных, а когда мы закончили, солнце уже стояло высоко. Нам все еще предстояло, как сказал нам Халиль, проехать два добрых часа до того, как мы достигнем скалистой низины, которая должна была послужить нам укрытием на дневное время. Но едва мы возобновили свой ход, как зловеющий гул аэроплана нарушил тишину пустыни, — и несколько минут спустя маленький моноплан появился над нашими головами, круто накренился и стал размеренно снижаться по спирали. Укрыться было негде, поэтому мы спрыгнули с верблюдов и рассыпались по сторонам. В тот самый момент пилот открыл огонь из пулемета.

— Вниз, на землю! — крикнул я. — Не двигайтесь, притворитесь мертвыми!

Но Халиль, который, должно быть, был во многих подобных стычках за свои долгие годы, проведенные с *муджахидин*, не «притворялся мертвым». Он лег на спину, положил голову на булыжник и, оперев винтовку о поднятое колено, начал стрелять в приближающийся самолет: и не как попало, но прицеливаясь перед каждым выстрелом, как будто на учебной стрельбе. Это был чрезвычайно отважный поступок, так как самолет обрушился на него в пологом пикировании, разбрызгивая песок пулями. Но одна из пуль Халиля, должно быть, попала в самолет, потому что он внезапно отклонился в сторону, повернул носом кверху и быстро начал набирать высоту. Пилот, вероятно, решил, что было бы нецелесообразно обстреливать четырех врагов с риском для своей собственной безопасности. Он покругил еще раз или два над нами и затем скрылся на востоке, в направлении Джагбуба.

— Эти итальянцы, собачье отродье, — трусы, — объявил Халиль негромко, когда мы собрались вместе снова. — Они любят убивать, но не любят шибко выставлять свою собственную шкуру.

Никто из нас не пострадал, но верблюд Абд ар-Рахмана был мертв. Мы перенесли его седельные вьюки на животное Зейда, и впредь он ехал, сидя позади Зейда.

Три ночи спустя мы достигли можжевельниковых лесов Джабаль Ахдар и благодарно обменяли наших измотанных верблюдов на лошадей, которые ожидали нас в укромном месте под присмотром группы *муджахидин*. Отныне пустыня была позади; мы ехали по холмистому и скалистому плато, которое пересекали во всех направлениях пересохшие русла рек и которое было усыпано можжевельником, местами формировавшим почти непроходимые заросли. Эта дикая и непроторенная земля в сердце итальянцами оккупированной территории являлась охотничьим угодьем *муджахидин*.

Еще четыре ночи — и мы прибыли к Уади ат-Таабан, «Долина утомленного», как ее прозвали самым надлежащим образом, где

мы должны были встретиться с Омаром Аль-Мухтаром. Тщательно укрывшись в густо посаженных деревьях расщелины с лошадьми, привязанными под скалой, мы ожидали приезда Льва Джабаль Ахдар. Ночь была холодная, беззвездная и полная шелестящей тишины.

До приезда Сиди Омара оставалось еще несколько часов. И так как ночь была чрезвычайно темной, наши два бедуина Бараса не видели оснований для того, чтобы не поехать пополнить наших запасов воды из колодцев Бу Сфайи, несколько миль на восток. Это правда, что укрепленный итальянский пост находился меньше чем в полумиле от Бу Сфайи, «но, — сказал Халиль, — те трусливые дворняги не посмеют покинуть своих стен в такую темную ночь».

Итак, Халиль и Зейд выехали на лошадях с двумя пустыми бурдюками, обвязав обрезками ткани копыта лошадей во избежание издавания всякого звука о каменистую землю. Они исчезли в темноте, а мы с Абд ар-Рахманом прижались друг к другу для тепла возле низкой скалы. Разжигать огонь было бы слишком опасно.

По прошествии часа или около того слышался хруст веток среди можжевельника; сандалия мягко ступила на камень. Мой напарник сразу же вскочил, постоял немного с винтовкой в руках, всматриваясь в темноту. Ослабленный зов, довольно похожий на вой шакала, донесся из чащи, и Абд ар-Рахман, свернув ладони около рта, издал похожий звук. Фигуры двух людей появились перед нами. Они шли пешком и несли винтовки. Когда они подошли, один из них сказал: «На пути Господа». И Абд ар-Рахман ответил: «Нет ни силы, ни могущества, кроме как у Него», — что казалось своего рода паролем.

Один из двух пришедших — оба были одеты в изорванные *джарды*, накидки ливийских бедуинов, — очевидно, знал Абд ар-Рахмана, так как он взял его за обе руки и поприветствовал нежно. Меня представили, и двое *муджахидин* пожали мне руку по очереди. Один из них сказал:

— Да пребудет с тобой Бог. Сиди Омар скоро будет.

Мы стали слушать. По прошествии, возможно, десяти минут ветки снова затрещали в можжевельниковых кустах и еще трое людей вышли из тени, каждый с отдельной стороны, приближаясь к нам с винтовками наготове. Когда они убедились, что мы на самом деле были теми, кого они ожидали встретить, они тотчас разошлись в чащу, опять в разных направлениях, явно намереваясь надежно следить за сохранностью своего лидера.

И вот появился он, верхом на маленькой лошади, чьи копыта были обвязаны тканью. Два человека шли по обе стороны, и еще несколько следовали позади. Когда он достиг скалы, где ожидали мы, один из его людей помог ему спешиться, и я увидел, что он двигается с трудом (позднее я узнал, что он был ранен в стычке около десяти дней до этого). В свете поднимающейся луны я смог теперь разглядеть его лучше: человек средних лет с крупной костью, короткая белоснежная борода окаймляла его мрачное лицо с глубокими морщинами, глаза сидели глубоко, по морщинкам вокруг них можно было догадаться, что при прочих обстоятельствах они легко могли рассмеяться, но теперь в них была лишь темнота, и страдание, и мужество.

Я шагнул вперед навстречу ему и почувствовал сильное сжатие его грубой руки.

— Добро пожаловать, сын мой, — и, пока он говорил, его глаза проскользили по мне проницательно, оценивающе, — глаза человека, для которого опасность была хлебом насущным.

Один из его людей расстелил одеяло на земле, и Сиди Омар медленно сел. Абд ар-Рахман наклонился поцеловать его руку и затем, после разрешения командира, принялся разводить маленький костер под сенью нависшей скалы. В блеклом свете костра Сиди Омар прочитал письмо от Сайида Ахмада, которое я привез с собой. Он прочитал внимательно, свернул его, подержал мгновение над своей головой — жест уважения и

преданности, который вряд ли можно увидеть в Аравии, но который часто встречается в Северной Африке, — и затем повернулся ко мне с улыбкой:

— Сайид Ахмад, да продлит Бог его жизнь, хорошо отзывается о тебе. Ты готов помочь нам. Но я не знаю, откуда может прийти помощь, если не от Бога, Всемогущего, Щедрого. Воистину, мы подходим к концу отведенного нам времени.

— Но этот план, который разработал Сайид Ахмад, — вмешался я, — разве не может он быть новым началом? Если возможно организовать постоянные поставки и сделать Куфру базой для дальнейших операций, нельзя ли будет таким образом сдержать итальянцев?

Я никогда не видел более грустной, более безнадежной улыбки, чем та, с которой ответил мне Сиди Омар:

— Куфра?.. Куфра потеряна. Она была занята итальянцами около двух недель назад...

Эта новость оглушила меня. В течение всех предыдущих месяцев мы с Сайидом Ахмадом строили планы, исходя из предположения, что Куфра может быть превращена в пункт сбора для усиления сопротивления. Куфры нет — и ничего не остается для Сануси, кроме растерзанного плато Джабаль Ахдар, ничего, кроме постепенного затягивания зла итальянской оккупации, потери пяди за пядью, медленного, безжалостного удушения...

— Как была взята Куфра?

Усталым движением Сиди Омар подозвал к себе одного из своих людей:

— Этот человек расскажет тебе историю... Он — один из спасшихся в сражении при Куфре. Он приехал ко мне лишь вчера.

Человек из Куфры сел на землю передо мной и подтянул свой изорванный *бурнус* вокруг талии. Он говорил медленно, без эмоциональной дрожи в голосе; но его изможденное лицо, казалось, отражало все ужасы увиденного им.

— Они подошли к нам в трех колоннах с трех сторон, с большим количеством бронированных автомобилей и тяжелых орудий. Их самолеты летали низко и бомбили дома, мечети и пальмовые рощи. У нас было всего лишь несколько сотен людей, способных нести оружие; остальные — женщины, дети и старики. Мы защищали дом за домом, но они были слишком сильны по сравнению с нами; в конце концов только деревня Аль-Хауари осталась за нами. Наши винтовки были беспомощны против их бронев автомобилей; и они превзошли нас. Только несколько из нас успели бежать. Я спрятался в пальмовом саду, ожидая возможности пересечь итальянский фронт; всю ночь я слышал крики женщин, которых насиловали итальянские солдаты и эритрейские *аскари*. На следующий день старая женщина пришла к моему убежищу и принесла мне воды и хлеба. Она рассказала мне, что итальянский генерал собрал всех выживших перед гробницей Сайида Мухаммада Аль-Махди, на их глазах он разорвал на куски копию Корана, бросил его на землю и наступил на него ногой, выкрикивая: «Пусть теперь ваш бедуинский пророк поможет вам, если сможет!» Затем он приказал, чтобы все пальмы оазиса были срублены, колодцы — разрушены, а все книги в библиотеке Сайида Ахмада — сожжены. На следующий день он приказал взять на самолет некоторых наших стариков и *улама* — и их вышвырнули из самолета высоко над землей, чтобы те разбились насмерть... И на протяжении всей второй ночи из своего укрытия я слышал вопли наших женщин, и смех солдат, и выстрелы винтовок... В конце концов я переполз в пустыню в темноте ночи, и нашел отбившегося верблюда, и уехал...

Когда человек из Куфры закончил свой ужасающий рассказ, Сиди Омар мягко притянул меня к себе и повторил:

—Итак, ты видишь, сын мой, мы и в самом деле подошли к концу отведенного нам времени.

И, будто бы отвечая на невысказанный вопрос в моих глазах, он добавил:

— Мы боремся, потому что мы вынуждены бороться за нашу веру и нашу свободу, пока мы не изгоним захватчиков прочь или не умрем сами. У нас нет другого выбора. Богу мы принадлежим, и к Нему мы возвратимся. Мы выслали наших женщин и детей в Египет, чтобы не переживать за их безопасность тогда, когда Бог пожелает, чтобы мы отдали свои жизни.

Послышалось приглушенное жужжание где-то в темном небе. Почти произвольным движением один из людей Сиди Омара бросил песка на костер. Самолет, не более чем размытый образ на фоне освещенных лунным светом облаков, пролетел довольно низко над нами в восточном направлении, и звук его мотора постепенно сошел на нет.

— Но, Сиди Омар, — сказал я, — не будет ли лучше для тебя и твоих *муджахидин* отойти в Египет, пока путь еще открыт? Ведь в Египте можно будет собрать вместе многих беженцев из Киренаики и организовать более действенную военную силу. Сопротивление здесь должно быть остановлено на время, так чтобы люди возобновили свои силы... Я знаю, что британцы в Египте не очень счастливы от мысли иметь сильные итальянские позиции у себя под боком. Видит Бог, они, скорее всего, закроют глаза на твою подготовку, если ты сможешь убедить их, что ты не относишься к ним враждебно...

— Нет, сын мой, слишком поздно для этого. То, о чем ты говоришь, было возможно пятнадцать, шестнадцать лет назад, до того как Сайид Ахмад, да продлит Господь его жизнь, взял на себя атаку британцев, чтобы помочь туркам, которые не помогли нам... Теперь слишком поздно. Британцы и пальцем не пошевелият, чтобы сделать наш жребий легче, а итальянцы решительно настроены сражаться с нами до самого конца и подавить всякую возможность будущего сопротивления. Если я и мои последователи уйдем теперь в Египет, мы никогда не

сможем вернуться обратно. Да и как мы покинем наш народ и оставим его без лидера на растерзание врагам Бога?

— Как насчет Сайида Идриса? Разделяет он твои взгляды, Сиди Омар?

— Сайид Идрис — хороший человек, хороший сын великого отца. Однако Бог не даровал ему сердца, способного выдержать такую борьбу...

Глубокая серьезность, но не угнетенность, чувствовалась в голосе Сиди Омара, в то время как он обсуждал со мной неизбежный исход его долгой борьбы за свободу: он знал, что его не ожидает ничего, кроме смерти. Но в смерти не было ужаса для него; он не искал ее, но и не пытался избежать ее. И я уверен, даже если бы он знал, какого рода смерть ожидает его, он бы не стал пытаться избежать ее. Он, казалось, осознавал каждой фиброй своего тела и мозга, что всякий человек несет свою судьбу внутри себя, куда бы он ни шел и что бы он ни делал.

Небольшой шорох послышался из кустов, настолько тихий, что при обычных обстоятельствах его можно было бы не заметить, но тут не было обычных обстоятельств. Я напряг слух в ожидании всякого рода опасности с любой стороны, и тогда я смог отчетливо различить слабые звуки незаметного движения, которое резко прекратилось, чтобы возобновиться несколько мгновений позднее. Кусты зашевелились, и из них выступили Зейд и Халиль, сопровождаемые двумя часовыми; лошади, которых они вели, были нагружены полными водой бурдюками. При виде Сиди Омара Халиль бросился вперед, чтобы поцеловать руку лидера, тогда как я представил Зейда. Острый взор Сиди Омара остановился с очевидным одобрением на аскетическом лице и скромной фигуре Зейда; кладя руку на плечо Зейда, он сказал:

— Добро пожаловать, о брат с земли моих предков. Из каких арабов будешь? — и, когда Зейд сказал ему, что он принадлежит

к племени Шаммар, Омар кивнул улыбаясь: — О, тогда ты из племени Хатима Ат-Таййи, самого щедрого из людей...*

* Доисламский воин и поэт Аравии, известный за свою щедрость. Его имя стало синонимом этой добродетели, которой арабы придают первостепенное значение. Племя Шаммар, к которому принадлежал Зейд, уходит корнями к племени Хатима, Тай.

Кто-то из людей Сиди Омара положил несколько фиников, завернутых в ткань, перед нами, и он пригласил нас к этой простой трапезе. Когда мы поели, старый воин встал:

— Пора ехать, братья. Мы находимся слишком близко к итальянскому посту в Бу Сфайе, чтобы позволить утренней заре застать нас здесь.

Мы свернули наш наскоро разбитый лагерь и поехали позади Сиди Омара, тогда как остальные его люди последовали пешком. Как только мы выехали из расщелины, я увидел, что сопровождение Сиди Омара было намного больше, чем я предполагал: один за другим темные тени выбегали из-за скал и деревьев и присоединялись к нашей колонне, и еще несколько людей были расставлены в свободном дозоре далеко справа и слева от нее. Никакой случайный наблюдатель не догадался бы, что около тридцати человек находилось около нас, так как каждый из них двигался тихо, как индейский лазутчик.

До рассвета мы добрались до главного лагеря личной группы партизанов Омара Аль-Мухтара, *даур*, которая состояла на то время из немногим более двух сотен человек. Лагерь был укрыт в глубоком и узком ущелье, и несколько маленьких костров горели под выступающими над землей скалами. Некоторые спали на земле, другие, размытые тени в серости раннего утра, были заняты различного рода лагерными делами: чисткой оружия, добыванием воды, приготовлением пищи или уходом за несколькими лошадьми, которые были

привязаны к деревьям то там, то здесь. Почти все казались одетыми в лохмотья, и ни разу я не видел за все свое пребывание там и одного целого *джарда* или *бурнуса* во всей группе. Многие мужчины были в повязках, что говорило о недавних столкновениях с противником.

К моему удивлению, я заметил двух женщин, молодую и пожилую, в лагере. Они сидели возле одного из костров, очевидно поглощенные починкой разодранного седла с помощью грубой длинной иглы.

— Эти наши сестры всегда вместе с нами, куда бы мы ни пошли, — сказал Сиди Омар в ответ на мое немое удивление. — Они отказались уехать в Египет со всеми остальными нашими женщинами и детьми. Мать и дочь... Все мужчины из их семьи были убиты в бою.

На протяжении двух дней и ночи, во время которой лагерь переместили на другое место среди лесов и ущелий плато, Сиди Омар и я рассматривали каждую возможность организации более регулярных поставок для *муджахидин*. Небольшое количество припасов все еще поступало из Египта. С того времени как Сайид Идрис добился договоренности с ними во время периода кратковременного перемирия с итальянцами, британские власти были склонны снова смотреть с определенной долей терпимости на активность Сануси внутри египетской территории до тех пор, пока эта активность ограничивалась местными передвижениями. В частности, они игнорировали на официальном уровне маленькие группы партизан, которые иногда с успехом пробивались через итальянскую линию обороны и приезжали в Саллум, ближайший египетский городок на побережье, чтобы продать военные трофеи — по преимуществу итальянских мулов — в обмен на крайне необходимые продовольственные товары. Такие вылазки, однако, были чрезвычайно опасны для *муджахидин* и не могли быть частым явлением, тем более что итальянцы быстро продвигались в строительстве заграждения из колючей проволоки вдоль египетской границы. Сиди Омар согласился со мной, что единственной альтернативой мог быть

маршрут, проделанный мною на пути сюда, с тайными хранилищами в египетских оазисах Бахрийя, Фарафра и Сива; однако он сильно сомневался в том, что такая схема может долго оставаться незамеченной для бдительных итальянцев.

(Опасения Омара оказались более чем обоснованными. Несколько месяцев спустя один такой снабженческий караван добрался до *муджахидин*, но был замечен итальянцами при проходе через участок между Джагбубом и Джалу. Вскоре после этого укрепленный итальянский пост был воздвигнут в Бир Тарфауи, почти посередине между двумя оазисами, и это, наряду с почти постоянным воздушным патрулированием, сделало дальнейшие предприятия такого рода чрезвычайно рискованными.)

Я теперь должен был подумать о своем возвращении. Не желая особенно повторять длинный и тяжелый переход моего путешествия на запад, я справился у Сиди Омара о возможности более короткого маршрута. Таковой имелся, сказал он, но был опасным: через заграждения из колючей проволоки в Саллум. Как оказалось, группа *муджахидин* готовилась предпринять рискованную попытку такого рода, чтобы доставить муку из Саллума. Я бы мог присоединиться к ним, если захочу. И я решил, что хочу.

Зейд и я попрощались с Омаром Аль-Мухтаром и никогда не видели его больше: менее чем восемь месяцев спустя он был взят в плен и казнен итальянцами.

После почти недельного перехода только по ночам по неровной местности и через можжевеловые чащи восточной части Джабаль Ахдар наша группа, состоящая примерно из двадцати человек, достигла границы между Египтом и Киренаикой около места, где мы планировали совершить наш прорыв. Это место не было выбрано случайно. Хотя колючая проволока растянулась вдоль большей части границы, в те дни заграждение не было полностью завершено. В некоторых местах, как здесь, единственное ограждение было около восьми футов в высоту и

четырёх футов в ширину, тогда как в других местах уже стояли три отдельных ряда с увесистыми, многократными витками на столбах, вставленных в бетонное основание. Точка, выбранная нами, находилась лишь в полумиле или около того от укрепленного аванпоста, в котором, мы знали, были также броневые автомобили; однако перед нами стоял выбор между этим участком границы и другим, который, возможно, находился дальше от аванпостов, но был укреплен двойной или даже тройной линией проволоки.

Мы договорились, чтобы нас встретили через несколько миль от границы внутри египетской территории доброжелатели Сануси с транспортными животными. Таким образом, нам не нужно было подвергать опасности своих собственных лошадей; их отослали назад с несколькими *муджахидин*, а остальные — я и Зейд среди них — подошли к проволоке пешком сразу перед наступлением полуночи. Темнота была нашей единственной защитой, так как итальянцы вырубали все деревья и кусты вдоль границы.

С дозорными, расставленными на расстоянии в несколько сотен метров к северу и к югу, шестеро из нас, вооруженные инструментами для перерезания проволоки и тяжелыми кожаными перчатками, захваченными в предыдущих налетах на итальянские рабочие отряды, поползли вперед на четвереньках; остальные прикрывали их продвижение винтовками. Атмосфера была напряженной. Напрягая свой слух и вслушиваясь в каждый шорох, я мог различить лишь хруст гравия под тяжестью ползущих тел и редкое пение ночных птиц. Затем послышался первый скрип ножниц, режущих проволоку, — он прозвучал, словно взрыв в моих ушах, — и приглушенное стакато щелкающих металлических проводов: *щёлк, щёлк, щёлк...* трение и лязганье, глубже и глубже в заграждение...

Еще один голос певчей птички раздался в ночи, но в этот раз это была не птица, но сигнал — сигнал одного из наших дозорных на севере, предупреждающий о приближении опасности... и почти в тот же самый момент мы услышали гул приближающегося к нам мотора. Луч прожектора наискось

проскользил в воздухе. Как один, мы бросились на землю, кроме тех, кто резал проволоку: они продолжали свою работу теперь в отчаянном темпе, больше не заботясь о незаметности, просто перерезая, взламывая провода ножницами и прикладами ружей, подобно одержимым. Несколько секунд спустя раздался выстрел — наш северный дозорный. Бригада броневедомобиля, должно быть, заметила его, так как луч прожектора вдруг метнулся вниз и мы услышали зловеший треск пулемета. Рев мотора усилился, и черный силуэт устремился прямо на нас, луч отчетливо вылавливал нас на земле. Вслед за этим последовала волна пулеметного огня; стрелок явно целился слишком высоко: я слышал, как пули со свистом пролетали над нашими головами. Лежа на животах, мы начали ответный огонь из винтовок.

— Прожектор, прожектор! — закричал кто-то. — Целься в прожектор! — и прожектор погас, несомненно разбитый пулей одного из наших снайперов. Броневедомобиль вдруг остановился, но его пулеметчик продолжал стрелять вслепую. В тот самый момент крик впереди нас объявил о том, что брешь в ограждении была завершена, и один за другим мы начали протискиваться сквозь узкую щель, раздирая свои одежды и плоть о колючую проволоку. Звук бегущих шагов — и еще две одетых в *джарды* фигуры бросились в брешь в ограждении: наши дозорные снова примкнули к нам. Итальянцам явно не хотелось покидать свой автомобиль и вступать в открытый бой...

И затем мы встали на египетскую землю, или, скорее, мы продолжали бежать, прячась за булыжниками, песчаными гребнями и одинокими кустами от преследовавшего нас некоторое время беспорядочного огня из-за границы.

Рассвет застал нас глубоко внутри египетской территории и вне опасности. Из наших двадцати с лишним человек пять пропали, предположительно погибли, а четверо были ранены, хотя и не серьезно.

— Бог смилостивился над нами, — сказал один из раненных *муджахидин*. — Иногда половина наших людей погибает при

переходе через заграждение. Но ведь никто не умирает, если Бог, Свят Он и Велик, не желает его смерти... И разве Священная Книга не говорит: «Не говорите о тех, кто погиб на пути Бога, как о мертвых, — они живы...»?

Две недели спустя, после возвращения через Марса Матрух и Александрию в Верхний Египет и оттуда, как было спланировано заранее, на *дау* обратно в Янбу, Зейд и я снова очутились в Медине. Все приключение наше заняло около двух месяцев, и наше отсутствие в Хиджазе едва ли кто-то заметил...

Когда я переступаю вместе с Сиди Мухаммадом Аз-Зувей через порог скромной *зауия* Сануси в Медине, те тусклые отголоски смерти и отчаяния задерживаются в моей голове: и запах можжевельника, и сжатие сердца при звуке пуль, пролетающих над моей головой, и боль от безнадежного искания; и затем память о моем приключении в Киренаике угасает, и только боль остается.

- 4 -

И вот я снова стою перед Великим Сануси и смотрю на уставшее лицо старого воина; и снова я целую руку, державшую меч так долго, что она не может держать его более.

— Да благословит Господь тебя, о сын мой, и сделает твой путь безмятежным... Прошло больше года с того момента, как мы виделись в последний раз; и этот год видел окончание наших надежд. Но вся хвала принадлежит лишь Богу, что бы Он ни предписал...

Должно быть, это действительно был печальный год для Сайида Ахмада: морщины вокруг его рта стали еще глубже, а голос — ниже, чем всегда. Старый орел сломился. Он сидит съежившись на ковре, его белый *бурнус* туго обтягивает его, будто бы для теплоты, он смотрит пристально, без слов, в бесконечность.

— Если бы мы только могли спасти Омара Аль-Мухтара, — шепчет он. — Если бы мы только могли убедить его уйти в Египет, пока еще было время...

— Никто не смог бы спасти Сиди Омара, — успокоил я его. — Он не хотел спастись. Он предпочел умереть, когда не смог победить. Я знал это, когда попрощался с ним, о Сиди Ахмад.

Сайид Ахмад кивает тяжело:

— Да, я тоже знал это, я тоже знал это... Я узнал это слишком поздно. Иногда мне кажется, что я зря откликнулся на зов из Стамбула семнадцать лет назад... Разве не было это началом смерти не только для Омара, но для всех Сануси?

На это у меня нет ответа, так как я всегда полагал, что решение Сайида Ахмада начать эту бессмысленную войну против британцев было самой смертоносной ошибкой его жизни.

— Но, — добавляет Сайид Ахмад, — как мог я поступить иначе, когда Халиф Ислама просил меня о помощи? Был ли я прав или ошибался? Но кто, кроме Бога, может сказать, прав ли человек или нет, если он следует зову своей совести?

И правда, кто?

Голова Великого Сануси раскачивается медленно из стороны в сторону в болезненном недоумении. Его глаза прикрыты поникшими веками; и с неожиданной уверенностью я понимаю, что они никогда не будут снова гореть огнем надежды.*

Сайид Ахмад умер в Медине на следующий год (1933).

Конец пути

- 1 -

Мы покидаем Медину поздно ночью, следуя «восточному» маршруту — маршруту, которому следовал Пророк в его последнем паломничестве в Мекку, за несколько месяцев до его смерти.

Мы едем всю оставшуюся ночь, и с наступлением рассвета мы все еще в седле. После короткой остановки на утреннюю молитву мы продолжаем путь уже при свете дня, пасмурного и облачного. До полудня начинается дождь, и вскоре мы промокаем насквозь. Наконец мы замечаем маленькую бедуинскую стоянку вдалеке, слева от нас, и решаем укрыться в одной из черных палаток.

Маленький лагерь принадлежит группе бедуинов Харб, которые встречают нас громким «да дарует вам Бог жизнь, о путники, добро пожаловать». Я расстилаю свое одеяло на циновках из козьего волоса в палатке *шейха*, чья жена, с открытым лицом, как и у большинства бедуинских женщин этого региона, повторяет за мужем любезные приветствия. После бессонной ночи сон быстро одолевает меня под стук дождя о крышу палатки.

Стук дождя пробивается сквозь мое пробуждение спустя несколько часов. Ночная мгла покрывает меня — о нет, это не

ночь, а лишь только темный навес палатки; она пахнет мокрой шерстью. Я вытягиваю руки, и они ударяются о седло, лежащее позади меня на земле. Гладкость старого дерева приятна на ощупь; приятно играть пальцами на нем: вверх по луке седла до сшитой с ней воедино, твердой как сталь верблюжьей кишки с острыми краями. В палатке никого, кроме меня.

Через некоторое время я поднимаюсь и встаю в просвет палатки. Дождь выбивает дырки в песке — мириады мелких дырочек, которые внезапно появляются и так же внезапно исчезают, уступая место новым дырочкам, — и обрызгивает серо-голубые гранитные камни справа от меня. Никого не видно, так как в это время дня люди, должно быть, отправились приглядывать за верблюдами; множество черных палаток возле акации, там в долине внизу, безмолвно в тишине дождливого дня. Из одной из них серое облако дыма вздымается вверх — предвестник вечерней трапезы; оно слишком мелкое и слишком тонкое, чтобы заявить о себе во время дождя, и поэтому ползет в сторону, беспомощно подрагивая, как длинные женские волосы на ветру. Холмы расплываются позади живой завесы из серебристо-серых водяных ленточек; воздух наполнен ароматом воды, диких акаций и сырой шерсти палаток.

Постепенно брызги и капли прекращаются, и облака начинают расходиться под лучами вечернего солнца. Я шагаю в сторону одного из низких гранитных валунов. Внутри него находится углубление размером с блюдо, на котором подают гостям по праздникам целиком зажаренного барашка с рисом; теперь оно заполнено водой. Когда я опускаю свои руки в воду, она, теплая и странно ласкающая, доходит до локтей. И когда я двигаю руками в ней, кажется, что моя кожа пьет. Из одной из палаток выходит женщина с большим медным сосудом на голове, очевидно намереваясь наполнить его из какого-нибудь из образовавшихся здесь в большом количестве водоемов в скалах. Она держит свои руки вытянутыми в стороны и вверх, пальцами ухватив края своей широкой красной одежды, похожей на крылья, и мягко скользит по направлению ко мне. «Она скользит, как скользит вода, медленно струясь из скал», — думаю я про себя; она прекрасна, как и вода... На расстоянии я

слышу мычание возвращающихся верблюдов — и вот они появляются разбросанной группой из-за скал, царственно шаркая развязанными ногами. Пастухи подгоняют их резкими, пронзительными криками в центр долины, затем они кричат «грр...грр...», чтобы посадить животных на колени; и коричневые спины в большом количестве раскачиваясь опускаются вниз к земле. В нарастающих сумерках люди перевязывают передние ноги верблюдам и затем расходятся по палаткам, каждый в свою.

И вот наступает ночь с мягкой темнотой и прохладой. Почти перед всеми палатками зажигается костер; звон кухонной утвари и смех женщин перемешиваются со случайными криками мужчин и фрагментами их разговоров, которые ветер доносит до меня. Овцы и козы, которые пришли за верблюдами, продолжают блеять некоторое время, и иногда лает собака, так же как она лает во все ночи во всех палаточных лагерях Аравии.

Зейда нигде не видно; он, вероятно, все еще спит где-то в палатке. Я медленно спускаюсь к отдыхающим верблюдам. Своими огромными телами они выдавили для себя углубления в песке и теперь комфортно улеглись: некоторые жуют жвачку, а другие растянули шеи во всю длину на земле. То один, то другой поднимает свою голову и кряхтит, когда я прохожу рядом и игриво хватаю его за тучный горб. Очень маленький верблюжонок крепко прижался к материнскому боку; испуганный моей рукой, он вспрыгивает вверх, а мать поворачивает ко мне свою голову и мягко мычит с широко открытым ртом. Я хватаю верблюжонка за шею своей рукой и держу крепко, я прижимаю свое лицо к теплой шерсти на его спине — и вдруг он совершенно успокаивается и, кажется, весь страх его рассеивается. Теплота молодого тела животного проникает в мое лицо и грудь; под ладонью своей руки я чувствую, как кровь бьется в его шейной артерии; биение сливается с биением моей собственной крови и пробуждает во мне непреодолимое чувство близости к самой жизни и желание раствориться в ней полностью.

Мы едем, и каждый шаг верблюдов приближает нас к концу нашего пути. Мы едем подолгу через залитую солнцем степь; мы спим ночью под звездами и просыпаемся в прохладе рассвета; и медленно я подхожу к концу своего путешествия.

Не было ни одной другой дороги для меня; хотя я и не знал об этом много лет, Мекка всегда была моей целью. Могущественным голосом, задолго до того, как мой разум смог постичь его, она звала меня: «Мое Царство — в этом мире и после него; Мое Царство ожидает человеческое тело так же, как и его душу, и простирается на все, что он думает, чувствует и делает: его торговля, так же как его молитва, его опочивальня, так же как его политика; Мое Царство не знает ни конца, ни начала». И когда после многих лет все это прояснилось для меня, я знал, частью чего я являюсь: я узнал, что братство Ислама ожидало меня с самого момента моего рождения; и я принял Ислам. Желание моего раннего юношества принадлежать к определенной сфере идей, быть частью братского сообщества наконец осуществилось.

Довольно странно, — возможно не так уж и странно, если понимать, что Ислам, собственно, означает, — но мой самый первый опыт в качестве мусульманина среди мусульман был опыт братства...

В первые дни января 1927 года я выехал снова на Ближний Восток, на этот раз в сопровождении Эльзы и ее маленького сына; и в этот раз я чувствовал, что навсегда.

Мы долго плыли по Средиземному морю сквозь мерцающий диск из моря и неба, иногда нас приветствовали далекие берега и дым скользящих мимо кораблей. Европа исчезла позади нас и была почти забыта.

Я часто спускался из комфорта каютной палубы вниз в спертое помещение для пассажиров третьего класса с многоярусными

рядами из железных коек. Поскольку пароход направлялся в Восточную Азию, большинство пассажиров здесь были китайцами, мелкие ремесленники и торговцы, возвращающиеся в Срединную империю после многих лет тяжелого труда в Европе. Помимо них на борту была также маленькая группа арабов из Йемена, которые сели на корабль в Марселе. Они также возвращались домой. Шум и запахи западных портов все еще были связаны с ними; они все еще жили в приятных воспоминаниях о днях, когда их смуглые руки сгребали уголь в кочегарках английских, американских и голландских пароходов; они все еще разговаривали о незнакомых чужеземных городах: Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Гамбург. Однажды, подвергшись внезапному желанию блестящего неизведанного, они нанялись на работу в порте Аден истопниками и кочегарами; они покинули знакомый им мир и думали, что переросли самих себя, избирая непостижимую странность мира, однако вскоре корабль достигнет Адена и те времена отойдут в прошлое. Они обменяют западную шляпу на тюрбан или *куфию*, сохраняют прошлое лишь как память и, каждый сам по себе, возвратятся в свои деревенские дома в Йемене. Вернутся ли они теми же самыми людьми, как во время отправления, или изменятся? Зацепил ли Запад их души или только слегка коснулся их чувств?

Проблема этих людей углубилась в моей голове, перерастая в проблему большей важности.

Я размышлял о том, что никогда ранее мир Ислама и мир Запада не приходили в такое близкое соприкосновение, как сегодня. Эта близость — борьба, видимая и невидимая. Под влиянием культурных веяний Запада души многих мусульман и мусульманок понемногу съеживаются. Они поддаются давлению и увлекаются дальше от своей былой веры в то, что улучшение стандартов жизни обязано быть лишь средством для улучшения духовного восприятия человека; они впадают в то же самое преклонение перед «прогрессом», в которое впал западный мир после того, как он редуцировал религию до простого мелодичного позвякивания где-то на заднем плане всего происходящего; и таким образом они становятся ниже в статусе,

не выше, потому что любое культурное подражание, в противовес, так сказать, творческой силе, обязательно делает народ мелким...

Нет, мусульмане могут научиться многому у Запада, особенно в области науки и технологии. Но тогда приобретение научных понятий и методов не является на самом деле «подражанием» — и конечно же, оно не является таковым в случае народа, чья вера приказывает им искать знания, где бы оно ни находилось. Наука не западная и не восточная, потому что все научные открытия являются лишь звеньями в бесконечной цепи интеллектуальных устремлений, которые охватывают все человечество. Каждый ученый выстраивает на основаниях, выстроенных его предшественниками, будь они из его народа или из другого; и этот процесс выстраивания, исправления и улучшения продолжается снова и снова, от человека к человеку, от века к веку, от цивилизации к цивилизации, и так о научных достижениях определенного века или цивилизации нельзя никогда сказать, что они «принадлежат» данному веку или цивилизации. В разные времена один народ, более активный, чем другие, в силах сделать больший вклад в общий научный фонд; однако в долгосрочной перспективе процесс разделяется с полным на то основанием всеми. Было время, когда цивилизация мусульман была более жизнедеятельна, нежели европейская цивилизация. Она передала Европе многие технологические изобретения, революционные по своей природе, и, более того, самые принципы этого «научного метода», на котором строится современная наука и цивилизация. Как бы там ни было, фундаментальные открытия Джабира Ибн Хайяна в химии не сделали химию «арабской» наукой; ни алгебру с тригонометрией нельзя считать «мусульманскими» науками, хотя первая была разработана Аль-Хорезми, а другая — Аль-Баттани, оба из которых были мусульманами; точно так же, как нельзя говорить об «английской» теории тяготения, хотя человек, который сформулировал ее, был англичанином. Все подобные достижения являются общим достоянием человеческой расы. Если, таким образом, мусульмане переймут — как и должны перенять — современные методы в науке и технологии, они

лишь последуют эволюционному инстинкту, который заставляет человека извлекать пользу из опыта других людей. Однако, если они переймут — без всякой на то необходимости — западный стиль жизни, западные манеры, обычаи и общественные концепции, они не приобретут тем самым, потому что то, что Запад может дать им в этом отношении, не будет лучше того, что их собственная культура дала им и к чему их вера прокладывает путь.

Если мусульмане сохраняют трезвый ум и примут прогресс как средство, но не цель сама по себе, они смогут не только удержать свою собственную свободу, но также, возможно, передать западному человеку потерянный ключ к сладости жизни...

Среди йеменцев на корабле был худощавый низкий человек с орлиным носом и настолько пылающим лицом, что казалось, что у него жар; однако его жесты были тихими и размеренными. Когда он разузнал, что я только что принял Ислам, он почувствовал особенное расположение ко мне: часами мы сидели вместе на палубе и он рассказывал мне о своей деревне в горах Йемена. Его имя было Мухаммад Салих.

Одним вечером я зашел к нему на нижнюю палубу. Один из его друзей заболел и находился в жару на железной койке. Мне сказали, что бортовой доктор не утрудит себя спуститься на палубу третьего класса. Так как было очевидно, что он страдает от малярии, я дал ему немного хинина. В то время как я был занят с больным, другие йеменцы собрались в углу вокруг Мухаммада Салиха и, глядя украдкой на меня, шепотом совещались. В конце концов один из них вышел вперед — высокий человек с зеленовато-коричневым лицом и горячими черными глазами — и предложил мне пачку скомканных франков:

— Мы собрали это все вместе. К сожалению, тут немного; окажите милость и примите это.

Я опешил и отступил назад, объясняя, что я не ради денег дал лекарство их другу.

— Нет-нет, мы знаем это; но все же прими эти деньги. Это не плата, а подарок... подарок от братьев. Мы очень рады за тебя и поэтому даем тебе деньги. Ты — мусульманин и наш брат. Ты даже лучше, чем мы, остальные: мы родились мусульманами, наши отцы и деды были мусульманами, но ты распознал Ислам внутри своего собственного сердца... Прими деньги, о брат, ради Посланника Всевышнего.

Однако я, все еще связанный европейскими обычаями, защищал себя:

— Я бы ни за что не смог принять подарок в обмен на услугу, оказанную больному другу... Кроме того, у меня достаточно денег; вам наверняка они нужны больше. Однако, если вы настаиваете на том, чтобы отдать их, отдайте их беднякам в Порте Саид.

— Нет, — повторил йеменец, — ты прими их от нас, но, если ты не желаешь их оставлять, отдай их от своего имени беднякам.

И в то время как они оказывали на меня давление и, потрясенные моим отказом, вдруг погрузились в смолкли, как будто я отказал не их деньгам, но их сердцам, я вдруг осознал: там, откуда приехал я, люди привыкли выстраивать преграды между Я и Ты, однако это была община без преград...

— Дайте мне деньги, братья. Я принимаю их и благодарю вас.

- 3 -

— Завтра, *инша-Аллах*, мы будем в Мекке. Костер, что ты разводишь, Зейд, будет последним; наше путешествие подходит к концу.

— Но ведь будут еще костры, о мой дядя, и всегда в будущем нас будет ожидать новое путешествие.

— Может быть и так, Зейд, брат мой, однако почему-то мне кажется, что те предстоящие путешествия будут не в этой земле. Я странствовал по Аравии так долго, что она вросла в мою кровь; и я боюсь, что, если я не уеду сейчас, я никогда не уеду... Но мне нужно ехать дальше, Зейд. Разве ты не помнишь то высказывание, что вода должна двигаться и течь, чтобы оставаться чистой? Я хочу, пока еще молод, увидеть, как наши братья-мусульмане живут в других частях мира: Индии, Китае, Яве...

— Но, мой дядя, — отвечает Зейд в испуге, — верно ты не перестал любить землю арабов?

— Нет, Зейд, я люблю ее так же, как и всегда. Возможно даже, что немногим более, чем надо: так сильно, что мне больно, когда я думаю о том, что будущее может уготовить для нее. Мне сказали, что король планирует открыть свою страну для *фаранжи*, с тем чтобы он мог получать деньги от них: он позволит им вести раскопки в поисках нефти в Аль-Хасе и золота в Хиджазе, — и только Бог знает, что станет с бедуинами после всего этого. Эта страна изменится навсегда...

Сквозь тишину пустынной ночи пробивается стук скачущего верблюда. Из темноты одинокий наездник с развевающимися кисточками седла и скользящей по воздуху *абай* врывается в свет от нашего костра, резко останавливает верблюда и, не дожидаясь, пока тот сядет, спрыгивает с седла. После короткого «да пребудет над вами мир» он начинает, не говоря ни единого слова, расседлывать животное, бросает седельные вьюки возле костра и садится на землю, все еще не проронив ни слова, с отвернутым в сторону лицом.

— Да продлит Господь тебе жизнь, о Абу Саид, — говорит Зейд, очевидно зная незнакомца. Но незнакомец пребывает в молчании, тогда Зейд поворачивается ко мне: — Он один из *раджаджил* Ибн Сауда, дьявол.

Необщительный Абу Саид очень угрюм; его толстые губы и кудрявые волосы, заботливо заплетенные в две длинные косы, выдают в нем африканские корни. Он очень хорошо одет; кинжал за поясом — вероятно подарок короля — в ножнах из золота; его верховое животное — великолепный, медового цвета верблюд «северной» породы: тонкие ноги, узкая голова, мощные плечи и задние конечности.

— Что с тобой, о Абу Саид? Почему ты не разговариваешь со своими друзьями? Тобой овладел джинн?

— Нура... — шепчет Абу Саид. И по прошествии некоторого времени, когда горячий кофе развязывает его язык, он рассказывает нам о Нуре, девушке из города Ар-Расс в Наджде (он упоминает имя ее отца, и оказывается, что я хорошо знаю его). Он наблюдал ее тайком через стену сада, когда она и другие девушки набирали воду. — И я почувствовал, как горящий уголек упал в мое сердце. Я люблю ее, но ее отец — эта собака! — не хочет выдавать свою дочь за меня. Попрошайка! Он сказал, что она боится меня! Я предложил много денег в качестве приданого, а также часть своей земли; но он всегда отказывался и в конце концов выдал ее за кузена — да будут они прокляты, он и она!

Его сильное, темное лицо освещено с одной стороны костром, и тени, которые пробегают по его лицу, подобны мучительным теням огня ада. Он не может сидеть долго; в своем беспокойстве он вспрыгивает на ноги, занимает свои руки на мгновение седлом, возвращается к огню и вдруг срывается в пустоту ночи. Мы слышим, как он бежит вокруг нашего лагеря по большому кругу и кричит, кричит:

— Огонь Нуры сжигает меня! Огонь Нуры пылает у меня в груди! — И снова, уже всхлипывая: — Нура, Нура!

Он подходит к костру снова и бежит вокруг него, его *кафтан* развеивается, как у призрачной ночной птицы, в игре света и тени от трепещущего костра.

Сошел с ума? Я так не думаю. Но вполне возможно, что из темных уголков его души поднимаются какие-то первобытные, атавистические эмоции — наследственные воспоминания просторов Африки, воспоминания людей, которые жили посреди демонов и сверхъестественной таинственности вскоре после того, как Божья искра сознания превратила животное в человека; и искра эта еще не достаточно сильна, чтобы связать непокорные желания вместе и спаять их в высокое чувство... На секунду мне кажется, что я действительно вижу перед собой сердце Абу Саида, кусок плоти и крови, дымящийся в огне страсти, как будто в настоящем огне. И так или иначе мне кажется довольно естественным то, что он кричит так безумно, кричит и бежит кругами как сумасшедший, пока привязанные верблюды не начинают подниматься, испуганные, на трех ногах...

Затем он возвращается к нам и бросается на землю. Я могу различить отвращение на лице Зейда при виде такого необузданного всплеска чувств, так как для аристократического нрава истинного араба не существует ничего более презренного, чем такая разнузданность эмоций. Но доброе сердце Зейда вскоре берет верх над ним. Он дергает Абу Саида за рукав; и в то время как тот поднимает свою голову и пристально смотрит на него пустыми глазами, Зейд мягко подтягивает его ближе к себе:

— О Абу Саид, как можешь ты забываться вот так? Ты — воин, Абу Саид... Ты убивал людей, и люди были близки к тому, чтобы убить тебя... И теперь женщина сразила тебя? Существуют другие женщины на земле, кроме Нуры... О Абу Саид, ты воин, ты дурак...

И пока африканец тихо стонет и закрывает свое лицо руками, Зейд продолжает:

— Помолчи, Абу Саид... Посмотри вверх. Ты видишь ту яркую линию на небесах?

Абу Саид смотрит вверх в удивлении, и я невольно поворачиваю голову в направлении, указанном Зейдом, и смотрю на бледный,

неровный путь, который растянулся через все небо, от одного горизонта до другого. Вы бы назвали его Млечным Путем, однако бедуины, с присущей пустыне мудростью, считают, что это не что иное, как след того небесного овна, который был послан Аврааму, когда, в соответствии с приказанием Бога и в сердечном отчаянии, он вознес нож, чтобы принести в жертву своего старшего сына. След овна остался на небесах навечно, символ милосердия и прощения, воспоминание о спасении, посланном исцелить страдание одного человеческого сердца, и, следовательно, утешение для тех, кто придет после: того, кто одинок или заблудился в пустыне, и того другого, кто остутился, рыдает и опустошен в глуши своей собственной жизни.

И Зейд — его рука поднята в направлении неба — продолжает торжественным тоном, но в то же самое время скромно, как может говорить только араб:

— Это путь овна, которого Бог даровал нашему господину Аврааму, когда он был близок к тому, чтобы убить своего первенца. Таким образом Бог проявил милосердие к Своему рабу... И ты думаешь, что Он забудет тебя?

Под действием умиротворяющих слов Зейда мрачное лицо Абу Саида смягчается в по-детски невинном изумлении и становится заметно спокойнее. И он смотрит внимательно, как ученик, внимающий своему учителю, на небо, пытаясь найти на нем разрешение своей безысходности.

- 4 -

Авраам и его небесный овен... эти образы легко всплывают в сознании человека в этой стране. Замечательно то, насколько жива память о том древнем патриархе среди арабов: намного ярче, чем среди христиан на Западе, чьи религиозные образы все-таки базируются в первую очередь на Ветхом Завете, или даже среди евреев, для которых Ветхий Завет является началом и концом Божественного слова человеку. Духовное присутствие

Авраама всегда чувствуется в Аравии, так же как и во всем мусульманском мире: и не только в том, как часто его именем (в своей арабской форме *Ибрагим*) нарекают мусульманских детей, но также в постоянном упоминании, и в Коране, и в каждодневных молитвах мусульман, роли патриарха как первого сознательного проповедника Единства Бога, что также объясняет огромное значение, придаваемое Исламом ежегодному паломничеству в Мекку, которая с самых ранних времен была тесно связана с историей Авраама. Он не был, как ошибочно полагают многие на Западе, привнесен в сферу арабской мысли Мухаммадом в попытке, что называется, «заимствования» элементов религиозного знания из иудаизма, так как исторически доказано, что личность Авраама была хорошо известна арабам задолго до рождения Ислама. Все упоминания патриарха в самом Коране сформулированы так, чтобы не оставить никакого сомнения в том, что он занимал видное положение в арабском сознании поколениями до времен Мухаммада: его имя и описание его жизни всегда упоминаются без каких-либо предисловий или объяснений, то есть как что-то, с чем даже самые первые слушатели Корана должны были быть весьма хорошо знакомы. Конечно же, уже в доисламские времена Авраам имел особое место в родословных арабов как прародитель — через Измаила (*Исмаиля*), сына Агари — «северных» арабов, которые сегодня составляют более половины всей арабской нации и к которым принадлежало племя Мухаммада, Курейш.

Лишь начало истории Измаила и его матери упомянуто в Ветхом Завете, ведь ее более позднее развитие не имеет отношения к судьбам еврейской нации, которой главным образом посвящен Ветхий Завет. Однако доисламская арабская традиция может рассказать нам гораздо больше на этот счет.

Согласно этой традиции Авраам покинул Агарь и Измаила в месте, где теперь находится Мекка, что, на первый взгляд, далеко не маловероятно, если иметь в виду, что для кочевника на верблюде путешествие в тридцать дней и более было и остается совсем обыденным делом. Так или иначе, арабская традиция гласит, что именно в эту долину Авраам привез Агарь

и их сына, в это ущелье между скалистыми холмами, голыми и бесплодными под аравийским солнцем, где носятся пылающие ветра пустыни и куда не залетают даже хищные птицы. Даже сегодня, когда долина Мекки заполнена домами, и улицами, и людьми разных языков и национальностей, одиночество пустыни кричит с мертвых склонов вокруг нее, и над толпами паломников, которые падают ниц перед Каабой, витают призраки тех давно прошедших тысячелетий, в течение которых непрерывная тишина, лишенная всякой жизни, висела над пустой долиной.

Эта долина была подходящим местом для отчаяния той египетской невольницы, которая родила сына своему господину и таким образом стала объектом настолько большой ненависти со стороны жены ее господина, что она и ее сын Измаил должны были остаться отвергнутыми. Патриарх, должно быть, и впрямь горевал, когда он сделал это, чтобы умиротворить свою неуступчивую жену; но нужно помнить, что он, будучи весьма близким к Богу, был уверен в Его безграничной милости. Нам говорится в Книге Бытия, что Бог так успокоил его: «И пусть не будет для тебя печали в этом, ведь это твой ребенок и твоя невольница... Из ее сына Я выведу нацию, потому что он — от твоего семени». Итак, Авраам оставил рыдающую женщину и ребенка в долине с бурдюком воды и сумкой, полной фиников, и уехал обратно на север через Мадиям в землю Ханаан.

Одинокое дикое дерево *сарха* стояло в долине. В его тени присела Агарь с ребенком на коленях. Вокруг нее — один только волнообразный, заполняющий все зной и слепящий свет на песке и скалистых утесах. Как хорошо было в тени дерева... Но тишина, эта ужасная тишина без дыхания, без единой живой души! В то время как день медленно проходил, Агарь подумала: «Если бы только кто-нибудь живой пришел сюда: птица, животное — да! — или даже хищник, — какое наслаждение было бы тогда!» Но взамен пришла лишь ночь, успокаивающая, как и всякая ночь в пустыне, прохладный свод темноты и звезд, который смягчил горечь ее отчаяния. Агарь почувствовала прилив храбрости. Она накормила своего ребенка финиками, и оба выпили воды из бурдюка.

Ночь прошла, и еще один день, и еще одна ночь. Но, когда огненным дыханием пришел третий день, воды в бурдюке больше не было, и отчаяние переросло всякую силу, и надежда стала подобна разбитому сосуду. И когда ребенок кричал напрасно, все более слабеющим голосом прося воды, Агарь воззвала к Господу; но Он не появился. И Агарь, обезумевшая от страдания своего умирающего ребенка, начала бегать взад и вперед с поднятыми руками через долину, всегда по одному и тому же участку между двумя низкими холмами. И именно в память о ее отчаянии паломники, приезжающие в Мекку теперь, пробегают семь раз между этими двумя холмами, взывая, как взывала однажды она: «О Наищедрейший, Всемиловитый! Кто смилуется над нами, если Ты не проявишь свою милость!»

И тогда пришел ответ — и вот источник забил фонтаном и вода начала течь по песку. Агарь закричала от счастья и прижала ребенка лицом к драгоценной жидкости, так чтобы он мог напиться. И она пила вместе с ним, громко и умоляюще выкрикивая между тяжелыми вздохами «Зумми, зумми!» — слово без смысла, просто имитирующее звук выходящей из недр земли воды, как если бы приговаривая: «Лейся-лейся, еще-еще!» Чтобы вода не вытекала и не уходила под землю, Агарь сложила небольшую стену из песка вокруг родника, и тогда вода перестала течь и превратилась в колодец, который впредь стал известен как колодец Замзам, существующий и по сей день.

Оба были спасены от жажды, а финики помогли им продержаться еще немного дольше. Через несколько дней группа бедуинов, которые вместе со своими семьями и вещами покинули родные земли в Южной Аравии и искали новые пастбища, проходила у входа в долину. Когда они увидели стаи птиц, кружащихся над ней, они решили, что там должна быть вода. Несколько человек отправились в долину на разведку и нашли одинокую женщину с ребенком, сидящую на краю большого колодца. Настроенные миролюбиво, представители племени попросили разрешения Агари поселиться в долине. И она дала его, но при условии, что колодец Замзам навсегда останется собственностью Измаила и его потомков.

Что касается Авраама, то традиция гласит, что он вернулся в долину через некоторое время и обнаружил, что Агарь и их сын живы, как ему и было обещано Богом. С тех пор он посещал их часто и увидел, как Измаил стал мужчиной и женился на девушке из южноаравийского племени. Годы спустя патриарху было приказано во сне построить рядом с колодцем Замзам храм для поклонения Господу; и тогда, при содействии своего сына, он построил прообраз святыни, которая находится в Мекке сегодня и известна как Кааба. В то время как они гранили камни для того, что впоследствии станет первым в истории храмом, воздвигнутым для поклонения Единому Богу, Авраам поднял взор к небу и воскликнул: «*Ляббайк, Аллахумма, ляббайк!*» («Для Тебя я готов, о Господи, для Тебя я готов!»). И именно поэтому во время паломничества в Мекку — паломничества к первому храму Единого Бога — мусульмане начинают стенать: «*Ляббайк, Аллахумма, ляббайк!*» — когда они приближаются к Священному Городу.

- 5 -

«Ляббайк, Аллахумма, ляббайк...»

Как много раз я слышал эту мольбу во время своего паломничества в Мекку (я совершал *хадж* уже пять раз). Мне кажется, что я слышу ее сейчас, когда я лежу рядом с Зейдом и Абу Саидом у костра.

Я закрываю глаза, и луна со звездами исчезают. Я кладу руку поверх лица, и даже свет костра не может теперь проникнуть сквозь мои веки. Все звуки пустыни исчезают, я слышу лишь только звук *ляббайк* в голове и гул и пульсацию крови в ушах. Кровь гудит, пульсирует и бьется подобно биению морских волн о корпус корабля и подобно стуку мотора. Я слышу стук мотора и чувствую дрожь корабельных досок под собой и запах моторного дыма и масла, я слышу зов «*Ляббайк, Аллахумма, ляббайк!*», исходящий от сотен людей на корабле, который нес

меня в мое первое паломничество около шести лет назад из Египта в Аравию по морю, которое называется Красным, и никто не знает почему. Ибо вода была серая, когда мы проплывали через Суэцкий залив, окруженные справа горами африканского континента и слева горами Синайского полуострова; и те, и другие представляли собой голые, скалистые хребты, лишенные растительности, раздвигающиеся по мере нашего продвижения все дальше и дальше друг от друга в туманную, серую даль, которая превратила землю в нечто осязаемое, но не видимое. И когда ближе к концу дня мы незаметно перешли на широкий простор Красного моря, оно было подобно Средиземному под ласкающими порывами ветра.

На борту были только паломники, так много, что корабль еле вмещал их всех. Судоходная компания, жадная до прибыли от короткого сезона *хаджа*, буквально заполнила его до самого края, не заботясь о комфорте пассажиров. На палубах, в каютах, во всех проходах, на каждой лестнице, в столовых первого и второго класса, в трюме, который был очищен специально для этого и оснащен временными лестницами, — в каждом доступном пространстве и уголке болезненно толпились люди. Главным образом это были паломники из Египта и Северной Африки. С огромной смиренностью, имея целью лишь морской переход, безропотно они переносили все излишние тяготы. Как они сидели скорчившись на палубе тесными группами, мужчины, женщины и дети, и с трудом занимались своими домашними делами (так как компания не предоставляла никакой еды); как они постоянно бегали из стороны в сторону в поисках воды, не жалея сил, с жестяными банками и парусиновыми флягами: каждое движение — пытка в этой давке из людской массы; как они собирались пять раз в день возле кранов с водой — которых было слишком мало для такого большого количества людей, — чтобы совершить омовение перед молитвой; как они страдали в удушающей атмосфере в глубине трюмов, два яруса под палубой, где в обычное время путешествуют только тюки и ящики с товарами, — кто бы ни увидел это, сразу бы распознал силу веры, которая находилась внутри этих паломников. Ведь они, казалось, даже и не чувствовали своего страдания: так поглощены были они

мыслью о Мекке. Они разговаривали только о *хадже*, и эмоции, с которыми они глядели в обозримое будущее, заставляли их лица сиять. Женщины часто пели хором песни о Священном Городе, и снова и снова повторялся припев «*Ляббайк, Аллахумма, ляббайк!*»

Около полудня второго дня путешествия раздался гудок корабля: то был условный знак, что мы достигли широты маленького порта Рабиг, севернее Джедды, где, согласно старой традиции, мужчины-паломники, приезжающие с севера, должны снять с себя повседневные одежды и облачиться в *ихрам*, или одежду паломника. Она состоит из двух цельных кусков шерстяной или сделанной из хлопка белой ткани, один из которых обвязывается вокруг талии и закрывает колени, тогда как другой свободно свисает с плеч; голова остается непокрытой. Причиной такого одеяния, которое было предписано Пророком, служит то, что во время *хаджа* не должно быть никаких внешних различий между верующими, которые собираются со всех уголков планеты, чтобы посетить Храм Бога: никаких различий между расами и нациями, или между богатыми и бедными, или главными и подчиненными, — так чтобы все знали, что они братья, равные пред Богом и человеком. И вскоре всякая красочная мужская одежда исчезла с нашего корабля. Более нельзя было наблюдать красных тунисских *тарбушей*, роскошных марокканских *бурнусов* или броских *галлябий* египетских *феллахин* — повсюду тебя окружало лишь это скромное белое одеяние, лишенное всякого украшения, широко свисающее с тел людей, которые теперь двигались с большим достоинством, заметно подверженные этому переходу в состояние паломничества. Так как *ихрам* обнажил бы значительную часть их тела, женщины-паломники оставались при своем обычном одеянии; но на нашем корабле это была лишь черная и белая одежда — черные платья египтянок и белые североафриканских женщин, — и поэтому она не привносила каких бы то ни было цветных штрихов в эту картину.

На рассвете третьего дня корабль бросил якорь у побережья Аравии. Большинство из нас стояли у ограждения верхней

палубы и всматривались в землю, которая медленно поднималась из легкого утреннего тумана.

По всем сторонам виднелись силуэты других кораблей с паломниками, а между ними и землей — бледно-желтые и изумрудно-зеленые полосы в воде: подводные коралловые рифы, участок той длинной неприветливой вереницы, которая растянулась вдоль восточного берега Красного моря. За ними на восток находилось что-то наподобие холма, низкого и сумрачного, однако, когда солнце поднялось позади него, он вдруг перестал быть холмом и превратился в приморский город, поднимающийся от своей оконечности к центру все выше и выше крышами домов, мелкая, утонченная структура из розового и желто-серого кораллового камня — город-порт Джедда. Мало-помалу можно было различить резные, решетчатые окна и деревянные завесы балконов, которым с годами влажный воздух придал монотонный, серо-зеленый цвет. Минарет выступал из центра, белый и прямой, как поднятый палец.

И снова зов «*Ляббайк, Аллахумма, ляббайк!*» — радостный крик подчинения и восторга, который пронесся от возбужденных паломников в белом на борту через воду к земле их наивысших чаяний.

Их чаяний и моих: ведь для меня вид аравийского берега явился кульминацией на годы растянувшегося поиска. Я посмотрел на Эльзу, мою жену, которая сопровождала меня в этом паломничестве, и прочитал то же самое чувство в ее глазах...

И затем мы увидели множество белых крыльев, устремившихся к нам с суши, — арабские береговые лодки. Они заскользили по глади воды под латинским парусом, мягко и беззвучно лавируя между невидимыми коралловыми рифами, — первые эмиссары Аравии, готовые встретить нас. Они плавно подходили все ближе и ближе к нам и в конечном счете собрались с раскачивающимися мачтами сбоку от корабля. Их паруса сворачивались один за другим в стремительном броске, со свистом и хлопками, как будто стая гигантских цапель

приземлилась для кормления. И из тишины, бывшей еще мгновение назад, поднялся визг и крик среди них: крик лодочников, которые теперь прыгали с лодки на лодку и брали штурмом корабельную лестницу, чтобы завладеть багажом паломников. И паломники, столь переполненные возбуждением при виде Священной Земли, позволяли делать с собой все, что вздумается, не защищаясь.

Лодки были тяжелыми и большими; неуклюжесть их корпуса странно контрастировала с красотой и изящностью их высоких мачт и парусов. Должно быть, именно на таком судне, или даже большем по размеру, но такого же типа, храбрый Синдбад-мореход отправился в непрошеные приключения и высадился на остров, который в действительности — о ужас! — оказался спиною кита... И на похожих кораблях плавали, задолго до Синдбада, финикийцы на юг через то же самое Красное море и дальше через Аравийское море в поисках специй, и фимиама, и богатств Офира...

И теперь мы, ничтожные преемники тех героических странствований, плыли через коралловое море, огибая подводные рифы по большой дуге, — паломники в белых одеждах, набитые между чемоданами, и ящиками, и сундуками, и вязанками, немая толпа, трепещущая в ожидании.

И я был полон ожидания. Но как я мог знать заранее, сидя тогда на носу лодки, взявшись за руки со своей женой, что простая попытка совершить паломничество так глубоко и так бесповоротно изменит наши жизни? И снова я невольно думаю о Синдбаде. Когда он покинул берега своей родины, он, как и я, не имел и отдаленного представления о том, что будущее уготовит для него. Он не знал наперед и не желал всех тех необычных приключений, что случились с ним, он искал только торговли и заработка. А я хотел лишь совершить паломничество. Но когда все, что должно было случиться с ним и со мной, действительно случилось, ни я, ни он уже не могли снова смотреть на мир прежними глазами.

Правда, со мной никогда не случилось ничего настолько фантастического, как джинны, и заколдованные девы, и гигантская птица Рух, с которыми сражался мореплаватель из Басры. Тем не менее тому первому паломничеству было суждено оставить след в моей жизни глубже, чем все его приключения вместе взятые оставили в его. Эльзу ожидала смерть, и никто из нас не имел и понятия, как близко она была. Что касается меня, то я знал, что покидаю Запад, чтобы жить среди мусульман, но я не знал, что оставляю все свое прошлое позади. Без каких-либо предостережений мой старый мир подошел к концу, мир западных мировоззрений и ощущений, дерзаний и образов. Дверь тихо закрывалась за мной, настолько тихо, что я сам не заметил этого. Я полагал, что это будет путешествием наподобие всех прежних путешествий, когда постраниствуешь по иноземным странам и возвращаешься непременно обратно к своему прошлому. Однако жизнь поменялась полностью и вместе с ней направление всех устремлений.

К тому времени я уже видел много восточных стран. Я знал Иран и Египет лучше, чем какую-либо страну в Европе; Кабул давно перестал быть непривычным; базары Дамаска и Исфахана были знакомы мне. И я не мог чувствовать ничего, кроме «обыденности», когда я прошел в первый раз через базар в Джедде и увидел лишь несвязную смесь и бесформенное повторение того, что в других городах Востока можно было видеть в куда большем совершенстве. Базар был покрыт досками и мешковиной для защиты от раскаляющего зноя; в дыры и щели проходили тонкие, ослабленные солнечные лучи и покрывали позолотой полумрак. Перед открытыми кухнями темнокожие мальчики жарили мелкие кусочки мяса на шампурах над сверкающими углями; были тут и кофейни с отполированной медной посудой и диванчиками из пальмовых листьев, а также бесполезные лавки, полные европейского и восточного барахла. Везде духота и запах рыбы и коралловой пыли. Повсюду толпы людей — бесчисленное количество паломников в белом и простые жители Джедды в цветном, в чьих лицах, одеждах и манерах проявлялись все страны мусульманского мира: вот, возможно, отец из Индии, а отец

матери — сам, вероятно, помесь малайца и араба — женился, должно быть, на бабушке, которая по отцовской линии происходила от узбеков, а по материнской линии от сомалийцев, — живые следы веков паломничества и мусульманского окружения, которое не знает ни преград в виде цвета кожи, ни различий между расами. Вдобавок к этой местной и паломниками привнесенной неразберихе Джедда в те дни (1927 год) была единственным местом в Хиджазе, где разрешалось проживать немусульманам. Иногда можно было видеть на лавках вывески с европейским шрифтом и людей в белом тропическом костюме с солнцезащитными касками или шляпами на головах; над консульствами развевались иностранные флаги.

Все это принадлежало, что называется, не столько к суше, сколько к морю: к звукам и запахам порта, к кораблям, стоящим на якоре за бледной полосой из кораллов, к рыболовным лодкам с белым треугольным парусом, — к миру, не сильно отличному от Средиземноморья. Хотя дома уже немного отличались — открытые бризу с богатыми фасадами, резными деревянными оконными рамами и закрытыми балконами, тончайшими завесами из дерева, которые позволяли жителям смотреть наружу без помех, но не давали возможности прохожим посмотреть внутрь. Все эти изделия из дерева были подобны серо-зеленой тесьме на стенах из розового кораллового камня, изысканного и крайне гармоничного на фоне всей картины. Это уже было не Средиземноморье, но еще и не Аравия. Это был прибрежный мир Красного моря, который производит подобную архитектуру по обеим его сторонам.

Аравия, однако, оповестила о себе синевато-стальным небом, обнаженными скалистыми холмами и песчаными дюнами на востоке, а также тем дыханием величия и той нагой скудностью, которые всегда так необычно переплетены в аравийском ландшафте.

После полудня следующего дня наш караван начал движение по дороге в Мекку, проделывая свой путь в сторону восточных

ворот города между толпами паломников, бедуинов, верблюдов с паланкинами и без, верховых верблюдов, весело украшенных ослов. Время от времени мимо нас проезжали нагруженные паломниками легковые автомобили с громко гудящими клаксонами — самые первые автомобили в Саудовской Аравии. Верблюды, казалось, чувствовали, что эти новые монстры являются для них врагами, потому что они пугались каждый раз при приближении одного из них, безумно поворачивая к стене какого-нибудь дома и двигая своей шеей туда и сюда, растерянные, беспомощные. Новая эра угрожающе начиналась для этих высоких, терпеливых животных, наполняя их страхом и предчувствием трагического конца.

Через некоторое время мы оставили позади белые городские стены и очутились в одно мгновение посреди пустыни, посреди широкой равнины, серо-коричневой, безлюдной, усыпанной колючим кустарником и клочками степной травы. Как острова в море, низкие, разрозненные холмы вырастали из нее, окруженные к востоку слегка более высокой, скалистой цепью гор, голубых и серых, с зазубренными очертаниями, лишенных всякой жизни. По всей этой неприступной равнине тяжело брели караваны, много караванов, в длинной процессии, сотни и тысячи верблюдов, животное за животным, одной колонной, нагруженные носилками, паломниками и багажом, иногда исчезающие за холмами и затем снова появляющиеся. Постепенно все их пути сошлись в одну песчаную дорогу, протоптанную такими же караванами в течение долгих столетий.

В тиши пустыни, скорее подчеркнутой, нежели нарушаемой шлепками верблюжьих ног, случайными криками бедуинских погонщиков и низким пением паломника то здесь, то там, мною вдруг овладело сверхъестественное чувство, настолько непреодолимое, что можно было назвать его почти видением: я увидел себя на мосту, который растянулся над невидимой пропастью, мосту настолько длинном, что конец, с которого я пришел, потерялся в туманной дали, тогда как другой конец едва стал показываться. Я стоял посередине, и мое сердце содрогнулось от ужаса, так как я увидел себя между двумя

концами моста: уже слишком далеко от одного из них и еще не так близко к другому. И мне казалось в течение долгих секунд, что я навсегда останусь так между двумя концами, навсегда над ревущей пропастью...

... когда женщина из Египта на верблюде передо мной вдруг начала древний призыв паломника: «*Ляббайк, Аллахумма, ляббайк!*» — и мой сон рассыпался на части.

Со всех сторон можно было слышать разговоры и шепот людей на разных языках. Иногда группа паломников начинала хором «*Ляббайк, Аллахумма, ляббайк!*» или египетская крестьянка пела песню в честь Пророка, и тогда другая издавала *гатрафу*, тот радостный крик арабской женщины (который в Египте называют *загрутой*): пронзительная, резкая, очень высокая трель, которую женщины поднимают по всем праздничным случаям, таким как свадьба, рождение ребенка, обрезание, религиозные шествия всякого рода и, конечно же, паломничество. В рыцарской Аравии более раннего периода, когда дочери вождей кланов ездили на войну вместе с мужчинами своего племени, чтобы побудить их к еще большей отваге (ведь считалось большим позором позволить какой-либо из этих девушек быть убитой или, еще хуже, быть захваченной в плен врагом), *гатрафу* часто можно было слышать на поле боя.

Большинство паломников передвигались в паланкинах, по два на верблюда, и качающееся движение этих хитроумных изобретений вызывало головокружение и мучило нервы: настолько безостановочными были раскачивания и наклоны. Ты засыпаешь утомленный на несколько мгновений и снова просыпаешься от внезапного толчка, засыпаешь снова и просыпаешься снова. Время от времени погонщики, которые сопровождали караван пешком, подгоняли голосом верблюдов. Тот или иной из них порой напевал в ритм длинному, растянутому шагу верблюда.

К утру мы достигли Бахры, где караван остановился на дневное время, так как жара позволяла передвигаться только ночью.

Эта деревня — в реальности лишь двойная линия из лачуг, кофеен, нескольких хибарок из пальмовых листьев и очень маленькой мечети — являлась традиционным остановочным пунктом для караванов на полпути между Джеддой и Меккой. Пейзаж был тем же самым, что на протяжении всего пути с момента, как мы покинули побережье: пустыня с одинокими, редко расположенными холмами и более высокими голубыми горами на востоке, которые отделяли прибрежную низменность от плоскогорья центральной Аравии. Но теперь вся эта пустыня вокруг нас напоминала огромный военный лагерь с бесчисленным количеством палаток, верблюдов, носилок, котомок, со смешением множества языков: арабский, хиндустани, малайский, персидский, сомалийский, турецкий, пушту, амхарский и невесть сколько еще. То было настоящее собрание наций, но, так как каждый был одет во всех уравнивающий *ихрам*, различия в происхождении были едва уловимы, и все множество рас представлялось одной.

Паломники были уставшими после ночного марша, но лишь немногие из них знали, как воспользоваться этим временем для отдыха; для большинства из них путешествие, наверное, было весьма необычным предприятием, и для многих это было первое путешествие в их жизни — и какое путешествие, к какой цели! Они не могли успокоиться; они ходили кругами; их руки искали какого-нибудь дела, даже если это было не более чем развязыванием и завязыванием своих сумок и котомок. В противном случае пришлось бы быть потерянным для мира, полностью погрузиться в неземное счастье, как в море...

Именно так, казалось, и случилось с семьей в находящейся по соседству со мной палатке, очевидно паломниками из бенгальской деревни. Они едва обменялись и словом, сидели, скрестив ноги, на земле и пристально вглядывались в направлении Мекки, в пустыню, которая была заполнена мерцающим зноем. В их лицах было такое отсутствующее умиротворение, что казалось, они уже находились перед Храмом Бога, почти в Его Присутствии. Мужчины были чрезвычайно красивы: стройные, с длинными волосами до плеч и гладкими черными бородами. Один из них хворал, лежа на

ковре; над ним хлопотали две молодые женщины, подобные разноцветным маленьким птичкам в объемных красно-голубых штанах и украшенных серебром туниках, их толстые черные косы свисали на спине; самая молодая из них имела тонкое золотое кольцо в одной ноздре.

После полудня больной умер. Женщины не стонали, как они часто это делают в восточных странах: ведь этот человек умер паломником на святой земле и таким образом стал блаженным. Мужчины омыли тело и завернули его в ту же самую белую ткань, которую умерший носил в качестве своего последнего одеяния. После этого один из них встал возле палатки, приложил ладони ко рту и начал громким голосом призыв на молитву: «Бог Превыше всего, Бог Превыше всего! Нет бога, кроме Бога, и Мухаммад — посланник Бога!.. Молитва над усопшим! Да смилуется Господь над всеми вами!» И со всех сторон начали собираться одетые в *ихрам* мужчины и выстраиваться в ряды перед *имамом*, как солдаты большой армии. Когда молитва закончилась, они выкопали могилу, один старый человек прочитал несколько отрывков из Корана, и затем они накидали песка поверх мертвого паломника, который лежал на боку, повернутый лицом в сторону Мекки.

Перед восходом второго дня песчаная равнина сузилась, холмы срослись ближе друг к другу; мы прошли через узкое ущелье и увидели в тусклом свете зари первые здания Мекки; затем с восходом солнца мы ступили на улицы Священного Города.

Дома напоминали таковые Джебды, с резными окнами эркеров и крытыми балконами; однако камень, из которого они были выстроены, казался более тяжелым, более массивным, чем светлый коралловый камень Джебды. Все еще было раннее утро, но уже поднимался густой нависший зной. Перед многими домами стояли скамьи, на которых спали уставшие люди. Все уже и уже становились немощные улицы, через которые наш раскачивающийся караван продвигался в сторону центра города. Так как лишь несколько дней оставалось до праздника *хаджа*, толпы на улицах были огромные: бессчетное количество

паломников в белом *ихраме* и другие, кто временно переоделся снова в свои каждодневные одежды — одежды со всех уголков мусульманского мира; разносчики воды, прогибающиеся под тяжелыми бурдюками или под коромыслом, нагруженным двумя старыми бензиновыми канистрами, используемыми в качестве ведер; извозчики и верховые ослы с колокольчиками и веселыми хомутами; и, чтобы дополнить эту неразбериху, верблюды, прибывающие с противоположной стороны, нагруженные пустыми паланкинами и ревущие на разные лады. Стоял такой гам в узких улицах, что можно было подумать, что *хадж* был не чем-то, что происходило каждый год на протяжении веков, а неожиданностью, к которой люди не были готовы. В конце наш караван перестал быть караваном и стал беспорядочным сплетением верблюдов, паланкинов, багажа, паломников, погонщиков и шума.

Я договорился еще в Джедде остановиться в доме известного *мутаууифа*, или гида паломника, по имени Хасан Абид, но казалось, у меня было мало шансов найти его или его дом в этом хаосе. Как вдруг кто-то крикнул: «Хасан Абид! Где паломники для Хасана?» — и, как джинн из бутылки, молодой человек появился перед нами и с глубоким поклоном попросил нас следовать за ним; он был послан Хасаном Абидом для сопровождения нас к его дому.

После богатого завтрака в доме *мутаууифа* я вышел, сопровождаемый тем же самым молодым человеком, который встретил нас ранее, к Священной Мечети. Мы прошли через полные, жужжащие улицы: около мясных лавок с рядами свисающих, очищенных от кожи овечьих туш; около торговцев овощами с товаром, разложенным на соломенных матах, на земле; сквозь рой мух и запах зелени, пыли и испарины; затем через узкий, крытый базар, в котором держали свои лавки только торговцы тканями и одеждой. Последний представлял собой настоящее празднество цвета. Как и везде на базарах Западной Азии и Северной Африки, лавки являлись простыми возвышениями около метра над уровнем земли, владельцы, скрестив ноги, сидели окруженные рулонами ткани, разнообразной по структуре и цвету, а над ними висели ряды

всякого рода одежды для всех национальностей мусульманского мира.

И снова тут были люди всех рас, и нарядов, и выражений: некоторые в тюрбанах, другие с непокрытой головой; некоторые шли молча с поникшей головой, иногда с четками в руках, другие пробегали легкой походкой через толпу; сомалийцы — их гибкие, коричневые тела светились как медь из-под складок их одежд, напоминающих тогу; арабы с плоскогорья центральной Аравии — сухощавые фигуры, узкие лица, гордая осанка; коренастые узбеки из Бухары с тяжелыми руками — даже в этой мекканской жаре они не оставляли своих стеганых *кафтанов* и кожаных сапогов до колен; одетые в саронг девушки с Явы с открытыми лицами и миндалевидными глазами; марокканцы в медленной и величавой походке в белых *бурнусах*; мекканцы в белых туниках — головы покрыты смехотворно маленькими ермолками; египетские *феллахин* с взволнованными лицами; одетые в белое индусы с черными глазами, выглядывающими из-под объемных, белоснежных тюрбанов, и индийские женщины, настолько недоступно укутанные в белые *бурки*, что они походили на передвигающиеся шатры; огромные темнокожие представители Тимбукту или Бенина в сине-фиолетовых одеяниях и красных ермолках; изящные китайские дамочки, как расписные бабочки, семенящие на миниатюрных, связанных ступнях, которые напоминали ноги газелей. Крики, толпы, суматоха во всех направлениях, так что тебе казалось, что ты находишься в середине разбивающихся волн, из которых нельзя было сложить целостной картины, лишь детали поддавались осмыслению. Все плыло посреди гула из несметного количества языков, горячих жестов и возбуждения, пока мы не очутились внезапно перед воротами *Харам*, Священной Мечети.

Это были ворота с тремя арками и каменной ступенью, ведущей к ним. У порога сидел полунагой индийский попрошайка, протягивая свою отошталую руку в нашу сторону. И тогда в первый раз я увидел внутреннюю площадь святыни, которая располагалась ниже уровня улицы — намного ниже порога — и таким образом открывалась взору как чаша: большой

квадратный двор, окруженный со всех сторон подпираемой множеством колонн крытой аркадой из полукруглых арок, а в его центре — куб около двенадцати метров в высоту, украшенный в черное, с широкой полосой золототканых стихов из Корана, проходящей по верхней части покрывала, — Кааба...

Это и была, значит, Кааба, предмет устремлений для многих миллионов людей на протяжении многих веков. Чтобы достичь этой цели, бесчисленные паломники жертвовали многим в течение лет: многие умерли по дороге, многие достигали ее только после великих лишений, — и для всех них это маленькое, квадратное строение являлось кульминацией их желаний, и достичь его означало осуществить мечту.

И вот она стояла здесь, почти идеальный куб (на что и указывает ее арабское наименование), полностью покрытая черной парчой, скромный островок в середине обширного квадратного двора мечети, намного более скромный, чем любое другое архитектурное сооружение где бы то ни было в мире. Почти казалось, что тот, кто впервые построил Каабу — а со времен Авраама исходная конструкция перестраивалась несколько раз в той же форме — хотел создать аллегорию человеческого смирения перед Богом. Строитель знал, что никакая архитектурная красота и гармония, никакое совершенство линии, как бы ни были они прекрасны, не смогут отдать должное понятию Бога, и так он ограничился самой простой трехмерной формой, которую можно представить, — каменный куб.

Я видел в различных мусульманских странах мечети, в которых руки великих мастеров создавали вдохновенные шедевры искусства. Я видел мечети в Северной Африке — блестящие молитвенные дворцы из мрамора и белого алебастра; Купол Скалы в Иерусалиме — величественный, совершенный свод над изысканным строением, идеальное сочетание легкости и значительности при отсутствии противоречия; и грандиозные здания Стамбула, мечети Сулеймание, Йени Валиде, Баезид; и мечети Бурсы в Малой Азии; и мечети Сефевидов в Иране — королевское сочетание камня, разноцветной майолики,

черепицы, мозаики, огромных ворот со сталактитами над серебром тисненными дверьми, грациозные минареты с алебастровыми и бирюзово-голубыми галереями, мрамором крытые дворы с фонтанами и многовековыми платанами; и грандиозные руины мечетей Тамерлана в Самарканде, великолепные даже в своем упадке.

Все это я видел, но никогда я не чувствовал так сильно, как сейчас, перед Каабой, что рука строителя настолько приблизилась к его религиозному пониманию. В совершенной простоте куба, в полном отречении от всякой красоты линии и формы читалась следующая мысль: «Какую бы красоту человек ни создал своими руками, лишь только тщеславие посчитает ее достойной Бога; поэтому самое простое, что может помыслить человек, является наилучшим из того, что он может сделать, чтобы восхвалить Бога». Похожее чувство могло быть причиной математической простоты египетских пирамид, хотя там человеческое тщеславие по крайней мере нашло выражение в огромных размерах тех сооружений. Но здесь, в Каабе, даже размер говорил о человеческом самоотречении и подчинении; и гордая сдержанность этого маленького строения не знает сравнений на земле.

Существует лишь один вход в Каабу — серебряная дверь на северо-восточной стороне, около двух метров над уровнем земли, так что к ней можно добраться лишь посредством передвижной деревянной лестницы, которую ставят перед дверью несколько раз в год. Внутренняя часть, обычно закрытая (я видел ее лишь позднее), очень проста: мраморный пол с несколькими коврами и бронзовыми и серебряными лампами, свисающими с потолка, который поддерживается тяжелыми деревянными брусками. На самом деле, внутреннее помещение не имеет никакой важности само по себе, потому что священным считается все здание, которое является *киблой*, то есть направлением в молитве, для всего исламского мира. Именно в сторону этого символа Единства Бога сотни миллионов мусульман по всему миру поворачиваются лицом в молитве пять раз в день.

В восточном углу строения вставлен неприкрытый черный камень, окруженный широкой серебряной рамкой. Этот черный камень, который был зацелован множеством поколений паломников до образования выемки на нем, является причиной частого недопонимания среди немусульман, которые верят в то, что это какой-то фетиш, перенятый Мухаммадом как уступка язычникам Мекки. Не может быть ничего более далекого от правды. Точно так же, как Кааба, черный камень является объектом уважения, но не поклонения. Потому что это единственная часть, что осталась от первоначального сооружения Авраама, и потому что губы Мухаммада коснулись его в прощальном паломничестве Пророка, все паломники поступают так же с тех пор. Пророк был хорошо осведомлен, что все более поздние поколения верующих будут всегда следовать его примеру, поэтому, когда он целовал камень, он знал, что губы будущих паломников встретят на камне память о его губах в символическом воссоединении, на которое он указал таким образом, вне времени и смерти, для всей его общины. И паломники, когда целуют черный камень, чувствуют, что они соединяются с Пророком и всеми другими мусульманами, что были здесь до них, а также теми, что придут после.

Ни один мусульманин не станет отрицать, что Кааба существовала задолго до Пророка Мухаммада; и конечно же, ее значимость заключается ровно в этом факте. Пророк не утверждал, что он является основателем новой религии. Напротив, подчинение себя Богу — *Ислам* — было и остается, согласно Корану, «естественной склонностью человека» со времени появления человеческого сознания. Именно этому учили Авраам, и Моисей, и Иисус, и все другие пророки Бога; послание Корана является лишь заключительным в череде Божественных Откровений. Также мусульманин не будет отрицать, что эта святыня была полна идолов и фетишей до того, как Мухаммад разбил их, точно так же, как Моисей разбил золотого тельца на Синае, ведь задолго до того, как идолы заполнили Каабу, здесь поклонялись Истинному Богу, и тем самым Мухаммад лишь восстановил изначальное назначение храма Авраама.

И вот я стоял перед храмом Авраама и долго смотрел на это диво без размышлений (мысли и рассуждения пришли намного позднее), и из какой-то скрытой, улыбающейся сущности внутри меня медленно вырастал восторг, подобный песне.

Гладкие мраморные плиты с танцующими на них отражениями солнечных лучей покрывали землю широким кругом вокруг Каабы, и по этим мраморным плитам ходили люди, много людей, мужчины и женщины, всё кругами да кругами, вокруг завешанного черным Храма Бога. Среди них были те, кто рыдал, и те, кто громко взывал к Богу в молитве, многие без слов и без слез просто ходили с опущенными головами...

Частью *хаджа* является семикратный обход вокруг Каабы. Не просто для того, чтобы выразить уважение центральной святыне Ислама, но напомнить себе основное требование исламской жизни. Кааба является символом Единства Бога; и телесные движения паломника вокруг нее являются символическим выражением человеческой деятельности, при этом подразумевается, что не только наши мысли и чувства — все, что включает в себя понятие «внутренней жизни», — но также наша внешняя, активная жизнь, наши дела и утилитарные устремления обязаны иметь Бога своим средоточием.

И я тоже медленно выдвинулся и стал частью кругового потока вокруг Каабы. Время от времени я замечал мужчину или женщину возле меня; разрозненные картины появлялись мимолетом перед моими глазами и исчезали. Вот передо мной появился огромный темнокожий африканец в белом *ихраме* с деревянными четками, обмотанными как цепь вокруг мощного, черного запястья. А теперь старый малаец бежал вприпрыжку возле меня, его руки свисали, будто в беспомощной растерянности, на фоне батикового саронга. Серый глаз под густыми бровями... Чей?.. Но вот он уже потерялся в толпе. Среди множества людей перед черным камнем была молодая индийская женщина. Она была очевидно больна, в ее узком, нежном лице виднелось необычно искреннее томление, так же явно, как видно жизнь рыбы и водорослей в глубинах кристально чистого пруда. Ее руки с бледными, повернутыми

кверху ладонями были протянуты к Каабе, а ее пальцы дрожали, как будто в аккомпанемент безмолвной молитве...

Я шел не останавливаясь, минуты проходили, все, что было мелким и горьким в моем сердце, начало покидать мое сердце, я стал частью кругового потока — о, разве не было это смыслом того, что мы делали, — узнать, что каждый является частью движения по кругу? Может быть, это был конец всякой растерянности? И минуты растворились, и время само остановилось, и мы были в центре вселенной...

Девять дней спустя Эльза умерла.

Она умерла неожиданно, после менее чем недели недуга, который сначала казался не более чем недомоганием от жары и непривычной диеты, но позднее оказался неясной тропической болезнью, перед которой сирийские доктора в больнице Мекки оказались бессильны. Темнота и крайнее отчаяние сомкнулись вокруг меня.

Ее похоронили на песчаном кладбище Мекки. Поставили камень над ее могилой. Я не желал делать никаких надписей на нем; думать о надписи означало думать о будущем, а я теперь не мог думать о будущем вообще.

Маленький сын Эльзы, Ахмад, оставался со мной еще в течение года и сопровождал меня в мое первое путешествие вглубь Аравии — храбрый десятилетний товарищ. Но через некоторое время я вынужден был распрощаться и с ним, так как семья его матери наконец убедила меня, что ему следует пойти в школу в Европе; и тогда ничего уже не оставалось от Эльзы, кроме памяти, камня на мекканском кладбище и темноты, которая рассеялась лишь намного позже, по прошествии длительного времени после того, как я предался непреходящему осваиванию Аравии.

Глубокая ночь. Но мы продолжаем сидеть вокруг мерцающего костра. Абу Саид теперь вышел из яростной бури своего гнева; его глаза грустные и немного уставшие; он говорит нам о Нуре, как о дорогом человеке, который давно ушел из этой жизни.

— Она не была красивой, знаешь, но я любил ее...

Луна над нами — полная полнотою живого существа. Неудивительно, что арабы в доисламский период полагали, что она является одной из «дочерей Бога», длинноволосая Аль-Лят, богиня плодородия, о которой говорили, что она передает свои таинственные силы плодovitости земле и таким образом порождает новую жизнь в людях и животных. В ее честь юноши и девушки древней Мекки и Таифа праздновали ночи полной луны гуляньями под открытым небом, безудержными выражениями любви и поэтическими конкурсами. Из глиняных кувшинов и кожаных бутылок текло красное вино, и, потому что оно было настолько красное и настолько возбуждающее, поэты уподобляли его в своих необузданных дифирамбах крови женщин. Эта гордая и пылкая молодежь непринужденно изливала свое радостное возбуждение в честь Аль-Лят, «чья миловидность похожа на блеск луны, когда она полная, и чья статность подобна полету черной цапли», — древняя, по-юношески сильная богиня, которая расправила свои крылья от Южной Аравии к северу и достигла даже Эллады в форме Лето, матери Аполлона.

От расплывчатого, смутного обожествления сил природы в форме поклонения Аль-Лят и сонму других богов к совершенному понятию Одного Бога Корана — длинный путь, пройденный арабами. Но как-никак человек всегда любил путешествовать далеко по дорогам своего духа. Он полюбил это занятие настолько, что вся его история в действительности может быть охарактеризована как история поиска веры. И в этом Аравия не отличается от остального мира.

У арабов этот поиск всегда был нацелен на абсолютное. Даже в самый ранний период, когда их воображение наполняло мир вокруг них множеством богов и демонов, они все же осознавали присутствие Одного, который пребывал в Своем величии над всеми божествами, — невидимое, непостижимое Всемогущество за пределами человеческого понимания, Вечная Причина, выше всех следствий. Богиня Аль-Лят и ее небесные сестры, Манат и Узза, были не более чем «дочерьми Бога», посредниками между Непознаваемым Единым и осязаемым миром, символами необъяснимых сил, окружавших рождение человека. Однако глубоко на фоне арабской мысли всегда присутствовало знание о Едином, всегда готовое вспыхнуть осознанной верой. Как же иначе это могло быть? Ведь это люди, которые выросли в тишине и одиночестве между суровым небом и суровой землей; их жизнь была сурова посреди этих грозных, бесконечных пространств; и так они не могли избежать сильного стремления к Силе, которая бы охватывала все существующее непогрешимой справедливостью и добротой, строгостью и мудростью, — Бог Совершенный. Он пребывает в бесконечности и распространяется на бесконечность. Но, так как *ты* находишься в сфере его деятельности, *Он ближе к тебе, чем твоя шейная артерия...*

Костер погас. Зейд и Абу Саид спят, неподалеку три наших верблюда расположились на побледневшем от света луны песке и жуют свою жвачку с мягким, хрустящим звуком, останавливаясь время от времени. Хорошие животные... Иногда один из них сменяет свое положение, трется ороговевшей кожей груди о землю и выдыхает фырка, будто вздыхая. Хорошие животные. Они не имеют характерных выражений, совсем непохожие на лошадей, у которых всегда отчетливо выраженный характер; да, непохожие ни на одно другое животное, что используется человеком, точно так же, как пустыня, которой они принадлежат, непохожа ни на один другой ландшафт: без определенных выражений, раскачивающаяся между противоположностями, капризная и все же бесконечно скромная.

Я не могу уснуть и поэтому покидаю место ночлега, я взбираюсь на небольшой холм поблизости. Луна висит низко над западным горизонтом и освещает низкие скалистые холмы, которые высятся подобно призракам над мертвой равниной. Начиная отсюда прибрежная низменность Хиджаза растекается на запад легким покатом: группа лощин, изрезанная множеством извилистых, пересохших русел рек, лишенных всякой жизни, без поселений, без домов, без деревьев, — суровость в своей наготе под светом луны. И все же именно из этой опустошенной, безжизненной земли, из этих песчаных лощин и голых холмов распустилась самая жизнеутверждающая вера в истории человечества...

Теплая и спокойная ночь. Неяркий свет и расстояние заставляют холмы колыхаться и пошатываться. Под светом луны подрагивают бледно-голубые переливы, и через эту бледную синеву скользит опаловая нотка, призрачное напоминание о всех цветах на земле; однако неземная синева подчиняет их всех, сливаясь без перехода с тем, что должно было бы быть горизонтом, она подобна призыву к загадочным, непостижимым вещам.

Недалеко отсюда, скрытая от моих глаз посреди этой безжизненной пустыни из лощин и холмов, лежит долина Арафат, на которой все паломники, приезжающие в Мекку, собираются в один день года, что служит напоминанием о том Последнем Сборе, когда человек будет держать ответ перед Создателем за все, что он сделал в жизни. Как часто я стоял там сам с непокрытой головой, в белом одеянии паломника, посреди множества точно таких же паломников с трех континентов, с лицами, повернутыми в сторону Джабаль Ар-Рахма, «Горы Милости», которая возвышается над огромной равниной: стояние и ожидание в течение дня, в течение всего дня, размышление над неизбежным Днем, «когда ты будешь открыт для обзора и никакие твои тайны не смогут быть открыты»...

И в то время как я стою на гребне холма и долго смотрю вниз в сторону невидимой долины Арафат, залитая лунным светом синева пейзажа передо мной, мертвая мгновение назад, вдруг

оживает потоками всех людских жизней, которые проходили через долину, и наполняется призрачными голосами миллионов мужчин и женщин, которые прошли или проехали между Меккой и Арафатом за более чем тринадцать столетий ежегодного паломничества. Их голоса и шаги и голоса и шаги их животных вновь пробуждаются и звучат по-новому. Я вижу, как они шагают, едут и собираются, все те мириады паломников в белом за тысячу триста лет. Я слышу звуки их прошедших дней. Крылья веры, которая собрала их вместе на этой земле скал, песка и кажущейся мертвенности, бьют снова теплотой жизни поверх свода веков, и могущественное биение крыльев втягивает меня в это действо и воссоздает мои собственные прошедшие дни, делая их настоящим, и снова я еду по равнине...

... еду в грохочущем галопе по равнине посреди тысяч и тысяч одетых в *ихрам* бедуинов, возвращающихся с Арафата в Мекку, — маленькая частица той ревущей, сотрясающей землю, непреодолимой волны несметного количества галопирующих верблюдов и людей с племенными знаменами на высоких шестах, бьющихся на ветру подобно барабанному бою. Их боевые кличи разрывают воздух: «Йа Рауга, йа Рауга!» — так люди племени Атайба вспоминают имя своего предка, им вторят люди племени Харб: «Йа Ауф, йа Ауф!» — и эхом раздается, почти вызывающе: «Шаммар, йа Шаммар!» — из самого правого крыла колонны.

Мы продолжаем ехать очертя голову, пролетая над степью, и мне кажется, что мы летим вместе с ветром, предаваясь счастью, которое не знает ни конца, ни предела... и ветер в моих ушах громко и радостно напевает неистовую победную песнь: «Никогда более, никогда более, никогда более ты не будешь чужим!»

Мои братья справа и мои братья слева, все они незнакомы мне, но ни один не является чужим: в шумной, радостной погоне мы — единый организм, преследующий одну цель. Широкий мир перед нами, а в наших сердцах брезжит искра от пламени, что пылало в сердцах сподвижников Пророка. Они знают, мои

братья справа и мои братья слева, что они не оправдали возлагаемых на них надежд и что с бегом времени их сердца измельчали, и все же обещание полного счастья не отнято у них... не отнято у нас...

Кто-то из этого бушующего сонма отказывается от племенного клича ради клича веры: «Мы братья тому, кто предается Богу!» — и другой подхватывает: «*Аллаху акбар!* Бог Превыше всего! Лишь только Бог Велик!»

И все племенные отряды подхватывают этот клич. Они больше не бедуины Наджда, упивающиеся чувством гордости за свое племя, они — люди, которые знают, что божественные тайны только и ожидают их... ожидают нас... Посреди грохота тысяч ног несущихся верблюдов и хлопанья сотен знамен их клич перерастает в триумфальный рев: «*Аллаху акбар!*»

Он проносится мощными волнами поверх голов тысяч галопирующих людей, по широкой равнине, во все концы земли — «*Аллаху акбар!*» Эти люди выросли над своими ограниченными жизнями, и теперь их вера несет их вперед, в единстве, к не отмеченным на карте горизонтам... Страстному стремлению не нужно более оставаться мелким и скрытым; оно нашло свое пробуждение, ослепляющий восход полноты и завершенности. В этой полноте и завершенности человек шагает во всем своим Богом данным великолепии; его шаг — радость, его знание — свобода, а его мир — вселенная без границ...

Запах тел верблюдов, их тяжелое дыхание и фырканье, гром бессчетного количества ног животных; крики людей, бряцание винтовок, свисающих с рукояток седел, пыль, испарина и чрезмерно взволнованные лица вокруг меня... и внезапное, приятное спокойствие внутри меня.

Я поворачиваюсь в седле и вижу позади себя волны сплетенной воедино массы из тысяч наездников в белом и дальше за ними мост, по которому я пришел, — его конец прямо позади меня, тогда как его начало уже затерялось в туманной дали.

Содержание

[Глоссарий арабских и персидских терминов](#)

[История одного рассказа](#)

[I. Жажда](#)

[II. Начало пути](#)

[III. Ветра](#)

[IV. Голоса](#)

[V. Дух и плоть](#)

[VI. Сны](#)

[VII. Середина пути](#)

[VIII. Джинны](#)

[IX. Письмо из Персии](#)

[X. Даджаль](#)

[XI. Джихад](#)

[XII. Конец пути](#)